ISSN 0130–6545

2. 1984

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЧАН ВАН КАН. Скоро зима.

Цветные иллюстрации номера — работы вьетнамских художников

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

2 *февраль*
1984.

Содержание

Из сальвадорской поэзии

ОСВАЛЬДО ЭСКОБАР ВЕЛАДО. ДАВИД ЭСКОБАР ГАЛИНДО. ХАЙМЕ СУАРЕС КЕМЕН *(Вступление Марии Мартинес. Перевод с испанского В. Максимова, О. Островского)* 3

ДОНЧО ЦОНЧЕВ — Рассказы *(Перевод с болгарского Н. Глен)* 8

ШУБХАШ МУКХОПАДДХАЙ — Мыс, или Болезнь Гансена *(Повесть. Перевод с бенгальского В. Коровина)* 35

СТИВЕН КИНГ — Мертвая зона *(Роман. Продолжение. Перевод с английского О. Васильева и С. Таска)* 86

Литературное наследие

УИЛЬЯМ КАРЛОС УИЛЬЯМС — Стихи *(Перевод с английского Натальи Сидориной)* 162

Критика

АРСЕНИЙ ГУЛЫГА — Миф и современность *(О некоторых аспектах литературного процесса)* 167

Заметки писателя

РОБЕР АНДРЕ — Дельфы, или Критика сегодня *(На коллоквиуме МАЛК. Перевод с французского Марии Зониной)* 175

Наши публикации

АГНЕССА КУН — Из воспоминаний *(Вступление И. Зориной)* 180

Культура и современность

Г. КРАСНОВА — Мотор западногерманского кино 190

Публицистика

Писатели мира отвечают на обращение Михаила Шолохова 195

Отклики, встречи, впечатления

НАТАЛЬЯ ПОПОВА — Португальская сказка 200

Документальная проза

ЖОРЖ СИМЕНОН — Я диктую *(Монтаж по книгам. Окончание. Перевод с французского Э. Шрайбер)* 211

Антирубрика

ГИ ДЕ МОПАССАН — Неизвестные страницы *(Публикация и перевод Валентина Дмитриева)* 221

Наши гости

Т. БАЛАШОВА — Бернар Дельвай (Франция) 230

К нашим иллюстрациям

М. ИЛЬИНСКИЙ — Разговор в мастерской художника 233

Среди книг

Издано в СССР

ИЛЬЯ ФОНЯКОВ — Кто шагает по дороге *(Владимир Минач. Избранное)* ◆ АЛЕКСАНДРА СПАЛЬ — Что есть человек? *(Эмил Манов. Избранное)* ◆ М. ВОЛЬПЕ — Писатель из народа *(Чинуа Ачебе. Стрела бога. Человек из народа)* 236

Издано за рубежом

Т. МОТЫЛЕВА — Письма Брехта *(Бертольт Брехт. Письма 1913—1956)* ◆ А. Г.— Критика цинизма *(Петер Слотердайк. Критика циничского разума)* 241

Из месяца в месяц 247

Авторы этого номера 255

На 1-й и 4-й страницах обложки — работы вьетнамских художников НГУЕН ШИ НГОКА «Чашка чаю» и КИМ ДОНГА «В сельской гончарне».

© «Иностранная литература», 1984.

Из сальвадорской поэзии

С испанского

Сегодня журнал «Иностранная литература» знакомит своих читателей с творчеством трех известных в Сальвадоре поэтов. Каждый из них олицетворяет собою определенную веху нашей истории и нашей культуры, нашей борьбы и нашей поэзии.

Поэзия и борьба за подлинное национальное освобождение в нашей стране неотделимы друг от друга: поэзия вдохновляет сальвадорских патриотов на борьбу с тиранией, а кровь, пролитая в этой борьбе, взывает к сердцам наших поэтов, многие из которых сражаются за будущее своего народа не только боевым стихом и песней, но и на баррикадах сальвадорских городов. Таков был завет вдохновителя нашей революции Фарабундо Марти: «Когда историю нельзя писать пером, ее пишут языком винтовки». Наши поэты верны этому завету, о чем можно судить по стихам, представленным в этой публикации, и по судьбам их авторов.

Освальдо Эскобар Веладо (умер в 1961 г.) — один из основоположников социальной поэзии Сальвадора, глава литературной группы «СЕЙС» («Социальная группа в защиту высших идеалов»), боровшейся с тиранией еще во времена диктатуры М. Эрнандеса Мартинеса.

Давид Эскобар Галиндо — один из молодых поэтов, чье творчество сложилось под воздействием литературной группы «Октябрь», боровшейся в 50—60-е годы с реакционными режимами Сальвадора. Продолжая дело своих предшественников, они включились в политическую борьбу в 70-е годы; политическая поэзия окрепла в годы народного сопротивления фашистской хунте, пришедшей к власти в октябре 1979 года.

Хайме Суарес Кемен — сальвадорский поэт и журналист, член Комиссии по печати и пропаганде Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти. Зверски убит полицией хунты 11 июля 1980 года.

Мария МАРТИНЕС,
специальный корреспондент агентства «Нотисиаль»

ОСВАЛЬДО ЭСКОБАР ВЕЛАДО

Вот она — моя родина

Вот моя родина:
множество людей, миллионы
нищих людей,
ни один из которых не знает,
где истоки и корни
их неимоверно тяжкой жизни.

Вот моя родина:
море нестерпимой боли
и островок подлецов,
нагло
у всех на виду
пьющих кровь
обездоленных.

Что ни управляющий компании —
то наемный пират;
что ни министр
«демократического» правительства —
то демагог,
читающий проповеди народу,
который их просто не понимает.

Вчера я слышал, как некий специалист
по экономическим вопросам
заявил, что, дескать,
все идет хорошо;
что золото моей родины
освещает вашингтонские ночи;
что предоставленный нам кредит
баснословно выгоден, а торговый баланс
у нас безупречен, а цены на кофе
останутся и дальше высокими,
как полет орла,
и что все мы — счастливый народ,
не знающий ни горя, ни страданий.

Так вот и лезет к нам в уши неправда,
беспардонная ложь безответственных лиц,
занимающих ответственные должности.
В этой клетке позолоченного вранья
вовсю заливаются,
словно чахоточные канарейки,
несколько поэтов,
закупленных на корню правительством.
Наберитесь смелости, канареечные поэты.
Скажите хоть однажды правду —
мы ведь все равно ее знаем с детства.
Скажите правду о нашем голодном народе,
которому швыряют объедки
чиновники всех мастей.

Признайтесь, что у большинства сальвадорцев
на обед не найдется и куска хлеба,
что ежедневно умирают сотни людей
и врачи не спешат им на помощь,
что нашим женщинам приходится рожать
в поле и на грязном тротуаре.

Скажите о нас правду,
скажите о том, что сердце народа
истерзано болью,
что народ не умеет ни читать, ни писать,
что тело его иссушено голодом,
но он по-прежнему силен духом,
и народ этот не сломить!

Это, друг мой, и есть наша родина.
Такой мы ее воспоем в наших гимнах.
Слово «родина» мы произносим нежно,
для нас нет земли прекрасней и краше,
и до последнего удара сердца
мы будем думать о ней...

Перевод В. МАКСИМОВА

ДАВИД ЭСКОБАР ГАЛИНДО

Кровью сердца

Друзья мои, отважные рыцари меча!
Я никогда не томился в застенках,
но я знаю, что тюремный воздух
насыщен запахом боли.
Меня никогда не метили
каленым железом,
не травили клеветой,
не вырывали из рук
у самых близких людей,
не тыкали носом в парашу
тюремного небытия.
И все-таки я тоже знаю,
что слово может истекать кровью,
что тень льдистого ужаса
вдруг сдавливает горло
и вера задыхается на дыбе.

Вы учите меня,
что опасны и камень и тина —
и если шрам пересечет лоб,
то глаза лишь лучше будут видеть
в тумане.

Что спорить — вы правы:
мало верить,
что сам собой настанет
справедливый век,
что придут справедливые люди
и с корнем вырвут сорняки,
заполонившие омертвелые города.
Мало верить, что ясная вьюга
чудом сорвет с нас
обвислые клочья грязных одежд...

Я люблю разноголосье
моего города,
ажурные крыши домов,
прозрачный рассветный туман
в изгибах узеньких улиц,
люблю знакомых, друзей
с их житейскими хлопотами
и печалями.
И хоть я не томился в застенках,
я знаю, что беда, горе, боль

каждого из нас
оставляют свой оттиск
на влажной странице песка,
как символ общей судьбы.

Иногда я боюсь, что сердце мое
не выдержит и разорвется,
и тогда я бегу от людей,
от лживого звона монет,
от праздного смеха,
от пустой болтовни.

Я хочу окунуться в одиночество
и вдруг вижу:
по улице идут люди
с флагами и плакатами,
они словно говорят мне —
да ведь я и сам это знаю, —
что за правду в ответе каждый.

Друзья мои, отважные рыцари меча!
Я никогда не томился в застенках,
но скажите: разве я не еще одна жертва
несправедливого приговора?

Перевод О. ОСТРОВСКОГО

ХАЙМЕ СУАРЕС КЕМЕН

Когда идешь навстречу урагану...

Когда идешь навстречу урагану
и хочешь устоять, не согнуться,
ты должен быть
тверже камня.
Пусть знают все, что ты готов сражаться
до конца.

Ведь не ради красивой фразы
ты писал о любви к родине.
Пора показать свою любовь на деле.

Истинная поэзия рвется на улицы:
она — в летучих листовках,
в пламенеющих взрывах,
в растущих баррикадах.

Вокруг нас все пропитано смертью —
так пусть пронесется ураган,
пусть порывы ветра
унесут ко всем чертям,
на переплавку в ад,
оловянных солдатиков хунты
с их пистолетами и автоматами,
с их слезоточивым газом,
с их изощренными орудиями пыток.

Пусть разразится очистительная буря,
ибо нашим детям нужен чистый воздух.
Да грянет гром! Иначе,
когда наши дети повзрослеют и поймут,
что мы оставили им страшное наследство,
нам некуда будет укрыться
от их презрительного взгляда.

Да здравствует очистительный ураган!
Не осталось времени для фразерства,
для пустой болтовни.
Нужно организовать всенародную
генеральную репетицию
свержения генералов.

Низвергнем ненавистную хунту,
вместе со всей фашистской нечистью!

Перевод В. МАКСИМОВА

■

ДОНЧО ЦОНЧЕВ

Рассказы

Перевод с болгарского Н. ГЛЕН

Человек

Он был чабан и жил в раю. Так говорили, пошучивая, другие, так говорил и он сам. И правда, горы давали ему все. Бездонное небо над папахой, бескрайние зеленые леса перед глазами, тучные луга — у ног. Луга, что пели голосами овечьих колокольцев. Молоко, и шерсть, и брынзу, и ягнят, и вяленое мясо — а хлеб, яйца и все прочее он брал в деревне. Спускался туда, менял свой товар и уходил обратно.

Он играл на свирели, и не было ему в этом равных. Когда его пальцы перебирали, обращая в жалобу, мягкие звуки, стекавшие с губ по деревянной трубке,— дровосеки опускали на землю свои топоры. Старухи садились где стояли, не снимая с плеч вязанки дров, и глаза их блестели — живые бусины на потемневших, точно прошлогодняя листва, лицах. Бродяги, дети, собиравшие грибы,— все вытягивали шеи и прислушивались...

Так сладко умели петь только птицы да ручей, журчавший по камням.

Человек этот — чабан — не мог, конечно, обходиться без других людей и часто наведывался в деревню. Он играл и там — в корчме, на свадьбах, на посиделках, а был он весел, за словом в карман не лез, и приглашали его наперебой.

Поспевать повсюду было нелегко — приходилось оставлять овец одних. В горах водились волки, и по ночам они совершали набеги на овечьи загоны. Правда, здоровые, верные псы справлялись с волками, когда те появлялись по одному, по двое,— почуяв их издалека, собаки отгоняли их громким лаем. Но иногда волки налетали целой стаей, и тогда овец не удавалось уберечь.

Оголодавшие и готовые на все волки, сбившись в стаи по пятеро, по шестеро, нападали с дикой яростью. Их не пугали железные шипы, торчавшие на собачьих ошейниках, они как тени выскакивали со всех сторон, их страшные челюсти лязгали — рвали шкуры и крушили кости,— и весь загон заполнялся отчаянным блеянием и запахом крови.

Собаки, которым выпало встретиться с волчьей стаей, потом не могли справиться даже и с одним волком. Они становились какими-то чудными. Уловив волчий запах, они не лаяли, а выли. Поджимали хвост и в тревоге жались к овцам.

Человек это заметил и стал менять собак. Он выращивал новых, еще более сильных и злобных, обильно кормил их и выковывал им ошейники. И все шло как будто неплохо, но — до появления очередной

волчьей стаи. Одна страшная ночь — и новые собаки тоже выходили из строя. Короче говоря, только человек был надежным защитником отары. Старое ружье его отца не боялось никаких стай. Одного выстрела в ночи оказывалось достаточно — звери исчезали.

Две вещи, принадлежавшие ему, обладали магической силой — ружье и свирель. Но разве мог он каждую ночь оставаться в кошаре? Дружки в корчме распевают песни, девки хохочут... А ты сиди все ночи напролет с овцами, охраняй их от волков.

Иногда человек просто шел на риск. Волки ведь приходят не каждую ночь. И собаки, какие ни есть, лают, худо-бедно отпугивают зверье. Он держал их по три-четыре штуки — они съедали целые караваи хлеба, и спускался на ночь в деревню, положась на судьбу. Но лишь до следующего появления свирепой стаи.

Стоило ему увидеть на поляне кровь, трупы полутора десятков овец, дрожащих, искусанных собак, он начинал истошно вопить, проклиная дьявола, бога и себя самого,— и потом месяцами не покидал загона.

Все изменилось случайно — у него и в мыслях такого не было,— когда однажды в его кошару завернул мимоходом охотник с волчатами. Их было двое, охотник нес их в мешке, словно котят. Где, когда, как он их нашел? Охотник сел рядом и все ему рассказал. В лесу он напал на след, вышел по следу на логово и выводок. Волчицы не было, и вот прихватил волчат.

— Двумя зверями меньше,— сказал охотник. — Да и платят за них, знаешь небось.

Он посидел еще с чабаном — выкурили по цигарке, поговорили. Охотник рассказывал, как один человек приручил двух волков и приспособил их стеречь овец. Он слышал об этом от деда, дед видел тех волков своими глазами.

Чабан посмеялся его рассказу, они вытащили волчат из мешка, и те стали играть на траве. Волчата были пушистые и смешные, прямо щенки.

— Кабы это правда была... — сказал задумчиво чабан.

— Чистая правда,— сказал охотник. — Я же тебе говорю: дед мой своими глазами видел.

Чабан попросил охотника отдать ему волчат. Охотник сказал, что они стоят денег. Чабан подумал и предложил ему вяленого мяса, брынзы и две ягнячьи шкурки. Ударили по рукам. На прощанье веселый чабан сказал:

— Коли они в самом деле приживутся, на Георгиев день получишь барашка!

— До Георгиева дня еще дожить надо,— сказал охотник, взваливая на плечо бурдюк с брынзой, и еще раз понюхал вяленое мясо. — Надо же! Вместо двух волков мясо и брынза.

Он поправил на плече поклажу, вскинул ружье, помахал чабану и пошел прочь.

Остаток дня чабан играл с волчатами. Под конец они заснули у него на руках — перед этим досыта налакавшись молока. Чабан напоил их подогретым молоком из собачьих посудин. На утро — то же самое, и на обед, и вечером; в играх и в ожидании побежали день за днем.

Да разве можно приручить волка? Ведь как волка ни корми... Ты спятил, ты еще за это поплатишься! Вот подрастут, увидишь...

Так говорили ему в деревне, так нередко думал и он сам. А волчата росли, радостно кидались к нему, лизали ему руки и повизгивали.

Человек сжимал руками их морды, брал за уши, иногда подолгу всматривался в глаза. Там он видел — отраженным — свое чувство. Волчат он окрестил Пано и Гюро — оба были самцы.

— Смотрите у меня... — говорил он иной раз, глядя им в глаза.

Волчата удивлялись и по-детски склоняли головы набок. Словно хотели сказать ему: «Чего ты? Вон как хорошо мы себя ведем!».

Привыкнув лежать возле овец, Пано и Гюро не любили далеко уходить от кошары. Жили при отаре, как собаки, терпеливо поджидали, когда их накормят, и узнавали хозяина даже по голосу его свирели. К другим людям, приходившим в кошару, относились с холодным безразличием.

Первое их появление в деревне вызвало общий переполох. Ростом уже с собаку, они шли слева и справа от хозяина, легко ступая и оглядываясь по сторонам,— скопление народа ошеломило их. Часто вздрагивали, удивлялись незнакомым запахам. И казались скорее робкими, чем страшными. Интерес свой к собакам проявляли сдержанно; впрочем, и собаки отнеслись к ним так же. Только один щенок не сообразил что к чему и в истерике кинулся на них. Пано остановился, посмотрел на него и чуть пригнул голову. Гюро слегка обернулся, верхняя губа его вздернулась и приоткрыла один зуб. Не добежав до них пяти шагов, щенок тоненько взвизгнул и бросился назад, так забавно перекувырнувшись в воздухе, что смеялась вся деревня.

Для человека наступили счастливые дни. Вечером он иногда оставлял волков одних и издали следил за ними. Они вели себя как обычно — укладывались в кошаре, рядом с овцами. Однажды он решил уйти на всю ночь — утром Пано и Гюро встретили его веселые и верные.

Отныне человек спускался в деревню когда хотел. Спокойно ночевал там и спокойно возвращался в горы. Два его волка стояли на посту. Иногда, шагая утром из деревни, он еще у ручья свистел им, и они тут же оказывались рядом. Прыгали на него, лизали ему руки — хвосты их дрожали от радости.

Так все и шло. Днем человек и волки были неразлучны. Ночью они делали свое дело в загоне, он свое — в деревне. Уже и свадьба была на носу. В самый Георгиев день охотник получил двух барашков.

— Волчат двое,— сказал ему чабан,— пусть и барашков будет двое, а не один, как я тебе обещал.

— Я ж тебе говорил,— засмеялся охотник.— Что я от деда слышал, все так и выходило.

Чабан пригласил его на свадьбу и пошел домой.

И вот наступило это памятное утро...

Человек провел вечер и ночь так, как проводят их перед свадьбой, наутро проспал и теперь шел к загону позже обычного.

Дойдя до ручья, он свистнул. Пано и Гюро не появились. Он свистнул еще раз, и от скверной мысли у него потемнело в глазах.

Он ускорил шаг и, запыхавшись, вышел на взгорок.

Ручные волки встретили его лишь у самой кошары. Они были неузнаваемы — все в крови, словно бы меньше ростом и смотрели понуро и горестно.

Разумеется, они попытались приласкаться по обыкновению, но все у них получалось как-то неловко. Их пошатывало, они оступались, точно хромые...

Человек схватился за голову и побежал вперед. Он увидел кровь на поляне, потом двух зарезанных овец.

Страшным голосом взревел человек. И, матерясь, кинулся к кошаре. Вынес свое ружье и, пока заряжал его, выл не переставая.

— Ах, вы так?! — ревом оглашал он окрестность. — Ах, это вы со мной?!..

Пано сидел в пяти шагах от него и смотрел на него устало. Когда грохот выстрела толкнулся в окрестные холмы, он повалился на бок и умер мгновенно.

При следующем выстреле Гюро словно бы попытался подпрыгнуть — он прыгал так, когда играл еще малышом. Но теперь он только чуть приподнялся, как от быстрого вздоха, и его длинное тело вытянулось на траве.

Ругаясь и причитая, человек пошел досматривать, каковы размеры бедствия.

Зарезаны оказались только две овцы — те, что он увидел в самом начале. А крови было много, и вела она к чащобе в овраге.

Человек пошел по кровавому следу и у первого же куста увидел труп волка. В пяти шагах от него — еще один. Еще в десяти шагах — третий.

Он побежал вниз по оврагу, два раза падал и снова вскакивал. Волчьих трупов было пять — у всех было разодрано горло.

Человек вернулся наверх и с непокрытой головой остановился у кошары — расхристанный, лицо расцарапано. Он посмотрел на Пано и Гюро. Вымазанные в собственной крови, они лежали, оскалясь, на траве и ничего не могли сказать.

Человек не заплакал, не бросился их целовать. Он не издал ни звука. Только взял двумя руками свое ружье и сломал его о колено.

Бросил обломки на траву, взял свирель. Сломал и ее — бросил обломки в сторону.

Потом, не оборачиваясь, пошел вниз. Вскоре он мелькнул у ручья и исчез.

Никто больше этого человека не видел. Ни овцы, ни девушка, которая должна была стать его женой, ни друзья его в корчме и в горах, скучавшие по его свирели.

Осталась только песня — об отаре, о чабане и о волках. Но она была такая грустная, что пели ее редко-редко — порой на рождество, порой на Георгиев день.

Близ одного равнинного села жил человек, тесал камень. Делал из камня памятники и молчал — вот уже больше двадцати лет. Никто не знал, как его зовут. Никто не знал, откуда он. Самый старый из каменотесов — к этому времени он уже умер — рассказывал когда-то, что этот человек пришел с гор.

Он и тогда молчал, каменотесы сами так рассудили, глядя на его одежду — горскую, чабанью. Считали, что он немой, что он не в своем уме, но работал он превосходно. Называли его Данчо. Молот в его руках пронимал камень до сердца, железо легко отскакивало и звенело: «Дан, дан, дан, данн...» Так и пристало к нему это имя. Спал он в каморке при складе, где хранился инструмент, и помаленьку старел. Медленно, одиноко и безмолвно — как дерево. Никто не помнил за все эти двадцать лет, чтоб он поднял голову от камня, чтоб он на кого-нибудь зачем-нибудь посмотрел.

Такое случилось только раз. К каменотесам пришел священник заказывать два памятника. Для двух братьев, погибших в одночасье. Сначала один убил другого, а потом повесился сам.

— Как же это, батюшка? — стали спрашивать каменотесы. — Страхи какие в корчме рассказывают.

— Да вот так,— сказал священник. — Я же вам говорю, на заборе. Поссорились...

Молоты умолкли. Каменотесы — все, кроме молчуна,— подняли на священника глаза в ожидании страшных подробностей.

— Чему быть, того не миновать,— помолчав, добавил священник. — Что тут толковать... Ведь так человеку и на роду написано — с первого дня его истории. Для того и изгнали его из рая — чтобы страдал. И чтобы в поте лица своего добывал себе хлеб.

Тогда и помешанный, вечно молчавший каменотес бросил работать и поднял голову. Рот его медленно открылся. Он постоял так перед священником. Капля пота стекала по его заросшей щеке. Вот-

вот что-то скажет — но он снова взялся за молот. «Дан, дан, дан, данн...».

Да и как заговорить, когда уже двадцать лет бьется в тебе вопрос, на который и Библия не дает ответа.

Страшный вопрос: человека изгнали из рая или он сам отгоняет рай от себя?

Домлинка

Деревушка еще жила, хотя никто об этом не знал — никто, если, разумеется, не считать малой части тех, кто здесь родился, той части, которая не стала вливаться в поток, устремившийся к городам, которая сохранила свою слабость— или свою силу — и удержалась на месте вопреки всеобщему неудержимому движению вниз, к равнине. Старики и старухи, один мужик — Иван-слепой, несколько баб, еще способных работать, и их мужья: помощник старосты, продавец в магазине, ветеринар, он же брадобрей,— все чем-то похожие на свою деревушку. На старые ее дома, на старые каменные ограды. Даже учитель был похож, хоть и не числился в списке местных жителей — он был человек пришлый.

Что же до истории с Домлинкой, корни ее тоже здесь — девчушка и вовсе была похожа на свою деревню. Волосы — рожь под ветром, глаза — небо, улыбка — цвет дикой сливы в горах.

Она бегала босиком, как и остальная ребятня,— в желтовато-серой нечистой рубашонке, сшитой из поскони. Только когда начинался учебный год, ребята, ясное дело, обувались — так велел учитель. Одни — в постолы, другие — в тапки на резине, третьи — в красивые новые туфли. У Домлинки тоже были тапки на резине — новые и синие,— но она где-то поранила мизинец, и палец теперь нарывал. Было очень больно, и дедушка раздобыл ей одну вьетнамку. Вьетнамка, вполне сходившая за обувь, вместе с тем не давила на больной палец, и девочка так и пошла в школу: на левой ноге синяя тапочка, на правой — вьетнамка. Но никто этого не заметил, даже учитель. Когда дедушка потом спросил ее, как прошел день, она только пожала плечами.

Она часто пожимала плечами, когда заходила речь о школе,— и добрый дедушка не мучил ее вопросами. Ведь Домлинка была в первом классе «четверогодницей» (как она в прошлом месяце написала матери), и ей было неинтересно рассказывать о школе. Они с дедушкой все уже переговорили, целых три зимы одно и то же — чего ж снова-то повторять?

И не то чтоб девочка плохо училась, или не запоминала, или не старалась, а просто существовала инструкция, в которой говорилось, что, если в первом классе меньше семи детей, школу в деревне закрывают. Школу закроют, а дети пусть учатся в городе. Ближайший же город был далеконько, и дорога через горные отроги еще не была проложена, так что и автобус не ходил. Получив инструкцию, учитель обошел оставшихся жителей — прочел ее, потом все долго думали, рассуждали. Под конец все-таки выход нашли. Учитель вызвал в школу Домлинкиного дедушку и объяснил ему, какое сложное создалось положение.

— Двадцати с лишком ребятам придется ходить на занятия в город. Каждый день, туда и обратно, в снег и дождь, по тропе...

— Ну? — отозвался Домлинкин дедушка, ожидая продолжения.

Он был стар и умен — понимал, для чего могли его призвать, еще до того, как узнал подробности. Сколько лет за плечами — когда с ним говорили вежливо, он заранее пугался.

— Выход только один,— сказал учитель,— потому я и должен с тобой поговорить.

— Ну?

Дед ждал, постукивая пальцами по своей палке.

Учитель смотрел в окно, передергивал плечами, кашлял.

— В первом классе должно быть не меньше семи детей.

— Ну?

— Осенью в школу поступят шестеро. Нужен еще один.

Дед понял — теперь уже он смотрел в окно.

— Раз детей больше нет, кому-то придется остаться на второй год. Чтоб спасти других. Всю деревню. Ты меня понял?..

— Ну? — сказал старик в последний раз, не отрывая взгляда от окошка, от горных отрогов, от всего, что за ними — там, далеко, где он никогда не бывал, где открываются «манящие горизонты», как прочла ему из одной своей книжки Домлинка. А он эти горизонты ненавидел.

С тех пор как они поманили его дочь (мать Домлинки), все пошло наперекосяк. Сначала она привела отца девочки, о котором... впрочем, тогда старик смолчал. Потом она привела девочку. И с тех пор больше не показывалась.

«Оно и лучше»,— думал дед и сейчас, глядя в окно; с той минуты, как ему сказали, что Домлинкин отец куда-то запропал и никто не знает, где он, он не хотел больше видеть дочь. Малышку он вырастил — вон как вытянулась — и теперь никому бы ее не отдал. Адрес матери был фальшивый — он придумал его для внучки.

— Я предлагаю,— долетел откуда-то близкий голос учителя,— еще раз записать Домлинку в первый класс, тогда в первом классе их будет семеро и мы выйдем из положения, понимаешь?

Потом они шли по деревенским улицам, мимо домов и каменных оград, на которые старик смотрел уже семьдесят лет, смотрел и сейчас — на сливовые деревья, плетни, неправдоподобно разросшиеся орехи на площади,— и пришлый учитель объяснил ему, как они спасут деревню. Почему именно Домлинка? Как почему, кто-то же должен принести себя в жертву, неужели он не понимает, ясно ведь что получится, если школу закроют, и без того деревня при последнем издыхании, молодые бегут, как и повсюду, старики один за другим умирают...

Старик все это знал, он кивнул («ну» он больше не говорил), и они с учителем расстались.

Что уж там — Домлинкин дед отлично понимал: у шести остальных первоклассников есть родители, и говорить с ними учителю было бы еще труднее; он снова кивнул и, постукивая палкой, пошел вверх, к воротам, в которых так часто виднелась желтовато-серая нечистая рубашонка. «Наверное,— думал он,— так и господь является людям, в открытых воротах, с прядями ржаных волос, в поскони».

Во второй раз, когда девочке снова пришлось спасать других, все прошло гораздо легче — и Домлинка, и ее дед, и учитель уже как бы успели привыкнуть к этой ее роли. И все остальные тоже, некоторые даже смеялись — совершенно, впрочем, беззлобно.

Но в третий раз — когда Домлинке предстояло остаться в первом классе «четверогодницей» — разразился скандал. Старик кричал, размахивал своей палкой, и к школе сбежались все родители. Они с трудом утихомирили старика, он кипятился, а они объясняли, что в деревне есть семеро ребятишек (семеро!), которые на следующий год пойдут в школу, и все уладится. Домлинке не придется быть «пятигодницей».

— Прошлый год тоже было семеро! — кричал он громко, и палка дрожала в его руках.

— Были да сплыли! — кричали родители еще громче. — За две недели до школы Стояновы в город подались!

— Нам бы только год начать, дедушка Домлин,— сказал учитель,— понимаешь? Только бы начать учебный год, как инструкция требует, чтоб школу не закрыли, а уж потом...

Потом он пошел провожать деда и растолковал ему и девочке, как можно будет все уладить. Домлинка сдаст дополнительные экзамены и, перескочив через два класса, догонит сверстников. Надо лишь дождаться момента, когда на будущий год семеро новых учеников дадут школе необходимое число.

Момент этот не спешил, время шло, Домлинке исполнилось десять лет. Она вытянулась, рубашонка стала ей коротка, косы загустели, глаза смотрели внимательно и светло. Сидела она сзади, глядела в окошко или уходила с уроков домой. Она уже могла готовить или по крайней мере помогать деду. А больше всего она, разумеется, любила читать. Учебники для старших классов. Они были у нее все до единого — дедушка покупал ей каждый год. Из хрестоматии она вычитывала замечательные сказки — благодаря Домлинке слепой Иван тоже их знал. Они любили сидеть, прислонившись к стене школы, рядышком, оба тихие — слепой слушал, а девочка читала. Глаза у него — белые, как бумага,— смотрели вверх, в небо. Ее глаза — синие, как небо,— вниз, на строчки. Так сидели они рядышком у стены, голос Домлинки вспыхивал и гас в черном мире слепого — и оба были счастливы.

Так сидели они и в тот послеполуденный час, когда приехал школьный инспектор.

Он прикатил на «виллисе», который развернулся на площади и остановился прямо перед ними, у стены.

— Девочка,— сказал человек, вылезший из «виллиса», и показал на школу,— это ваша школа?

— Да,— ответила Домлинка.

Шофер закурил, инспектор пошел к входу. Со ступенек он обернулся и спросил:

— А ты... а ты не учишься?

Девочка покраснела и спрятала книгу за спину.

— Идем со мной,— сказал он.— Покажешь мне, где класс.

— Ступай, ступай,— сказал слепой Иван, нащупывая свою палку. — Ступай покажи.

Девочка подошла к человеку, тот взглянул на ее ноги. Увидел вьетнамку и тапку, помолчал, взял ее за руку.

— Как тебя зовут?

— Домлинка.

— В каком ты классе?

— В первом.

Лицо у нее было как пион — так они и вошли в класс.

Инспектор представился, они поговорили немного с учителем, потом он стал задавать вопросы детям. Шестеро ребятишек наперебой тянули руки и все знали. Только Домлинка сидела сзади и молчала. Она так низко наклонила голову, что над партой видны были только волосы.

— А теперь,— сказал инспектор,— Домлинка расскажет нам сказку. К примеру, ту, которую она сейчас читала у стены. Это ей в наказание за то, что пропускает урок.

Девочка сконфуженно взглянула сначала на учителя, потом на инспектора, а тот повторил:

— Ну, Домлинка, расскажи нам сказку!

— Начинай,— сказал учитель,— чего ты ждешь?

Домлинка встала и простояла несколько секунд, глядя в окошко. Потом сказала, как называется сказка (шестеро ребятишек, обернувшись, уставились на нее), и начала.

Инспектор знал эту сказку — он сам составлял хрестоматию для четвертого класса. Открыл было рот — хотел что-то спросить, но решил дождаться конца.

Он знал все сказки из своей хрестоматии и знал, как ученики обычно рассказывают их; знал он даже и на какую уловку пошли в школе, чтобы набрать необходимое число первоклассников, не знал только одного — что творилось в душе перепуганной девочки. Но теперь, слушая знакомую-презнакомую сказку, инспектор начал понимать и это.

Румянец постепенно сходил с Домлинкиных щек, ее налитые смущением глаза с каждым словом становились все прозрачнее, она вскидывала голову, и ржаная челка приветливо махала ему.

Это была самая прекрасная сказка, какую только слышал когда-либо школьный инспектор. Старая и словно бы новая. Давно знакомая и словно бы иная. Девочка знала ее назубок и словно бы сочиняла на ходу. Сказку о гадком утенке, который оказался лебедем.

Когда Домлинка замолчала и в тишине села на место, все продолжали сидеть не шевелясь...

Спас ребятишек звонок, они выбежали из класса и забыли о Домлинке.

Учитель двинулся по коридору рядом с инспектором — сначала слева, потом справа; классный журнал, который он держал в руках, страшно мешал ему.

Потом у инспектора нашлись дела в других классах, он покончил с ними и собрался уезжать.

Ехал он все на том же «виллисе» — по узкой разбитой дороге, через овраги и взгорки — к равнине, к городу, к своей жизни.

Прежде чем выехать на асфальт, он велел шоферу остановиться, вытащил из портфеля блокнот и что-то записал.

Потом он посмотрел назад и вверх, туда, где горы поддерживали небо с первозданной мощью. Умирающей деревушки отсюда не было видно. Нельзя было даже и представить себе, что она есть на свете, если только судьба не заносила тебя туда.

Если только ты когда-нибудь и как-нибудь не почувствовал, что эти старики, опирающиеся на палки, эти каменные ограды и плетни, эти улыбки — цвет дикой сливы, и эти ржаные косы, и родовое семя, укрытое посконью, поддерживают и тебя самого — с первозданной мощью.

Асфальт

Было холодно. К вечеру задул пронзительный ветер, и уже к семи рабочие, строившие дорогу, засели в корчме. Корчма была теплой и болтливой, каждый мог поговорить здесь с каждым; важные слова, у которых днем машины то и дело отсекали хвосты, могли теперь вольготно потягиваться за столами.

У Стойчо родился внук, и он ставил дружкам. Три килограмма сто пятьдесят граммов, мальчик, да к тому ж назвали Стойчо.

— Значит, говоришь, никаких Станимиров — Красимиров? — с удовольствием повторяли приятели.— Стойчо, и все тут!

— Стойчо, Стойчо, вот телеграмма!

— Не то что у Михо, назвали внучку вроде как в его честь, и на тебе — Марчелла. Ребята смеялись: «Поздравляем, хоть первая буква твоя».

Свежеиспеченный дед гордо показывал листок с телеграммой (жалкий в его громадных руках), там было написано ясно, не ошибешься: «Поздравляем внуком назвали Стойчо. Милка».

© Дончо Цончев, 1981 с/о Jusautor, Sofia.

— А про килограммы тут ничего нет, откуда ты взял килограммы?

— Три сто пятьдесят, говорят вам! А рост — пятьдесят один сантиметр. Я ж тебе крикнул, что иду по телефону звонить.

— Я не понял, машина больно гудела. Что внук, это я услышал, а что ты по телефону говорил...

— Я тогда еще не говорил, пошел только. Старуха мне и сказала: «Записали Стойчо, три килограмма сто пятьдесят граммов, здоровенький, ну и... все».

— Давай за твое имя!

— Ну, дедушка Стойчо, за твое здоровье!

Их смешило это — «дедушка Стойчо», он был молодой, как они. Недавно здесь же и так же они обмывали его медаль. Вручили ее Стойчо, когда ему стукнуло пятьдесят, за отличную работу в дорожном управлении за столько-то лет — на объект прибыло большое начальство и даже произнесло речь. Газетные слова, но все равно правильные, ребята били в ладоши от всего сердца. «И эта великая песня моторов, которая катится по нашим автострадам, по нашим хозяйственным артериям и венам, украшает жизнь товарища Стойчо Стойчева!»

Стойчо, получив медаль, загрустил. Плакать не плакал, но напился. Вспомнил всю свою жизнь до этой минуты и увидел, что вспоминать нечего. Он сказал об этом вечером, когда засел с ребятами в корчме, но те стали возражать.

— Дай бог всякому, как тебе,— сказал один из молодых.— Ты хоть сосчитал, сколько километров асфальта уложил для народа?

— Да что асфальт,— сказал Стойчо и задумался.— Асфальт душу не греет. И это самое...

Он хотел сказать: «...и медаль тоже, медаль на пиджаке висит», но объяснять это показалось ему слишком долго и нудно, он лишь махнул рукой и замолчал. Ребята продолжали в чем-то его убеждать, вино вскоре залило подспудную тоску, он поддался общему настроению, и старый, вечный, живой сон об асфальте снова завладел им.

На строительстве дорог Стойчо работал с малых лет. Щебенка, булыжник, брусчатка — по всем концам Болгарии. А после Девятого сентября — асфальт. Сначала расстилал его лопатой, возил на тачке, потом выучился работать на машине. Это было единственное, чему он в жизни учился,— так уж как-то сложилось. Впрочем, в его роду другого не бывало. О своем дедушке он знал песню, в ней говорилось, как «Стойчо-гайдук в лесу помирает»,— старухи в его селе и теперь еще могли ее спеть. Отец его батрачил, семья жила в сарае. Отец все больше помалкивал, ходил в лес, возвращался, пока однажды не явились полицейские, не забрали его и не избили до полусмерти. Потом — сразу после Девятого сентября — жизнь пошла на лад, отец получил хорошую пенсию, Стойчо собирался бросить дороги и пойти учиться. Но не пришлось — отец вскоре умер, и сын навсегда остался при лопате. Щебенка, булыжник, брусчатка. Асфальт и тачка, асфальт и машина. Жена в бараке, в деревне, в бараке. Сын в деревне, в бараке, в деревне. Под конец он — в бараке, они — в деревне, этот период оказался самым долгим. Мальчик непременно должен был учиться и жить на одном месте — отец хотел и мог ему это обеспечить, потому что неплохо зарабатывал. И дом он построил, в котором проводил с семьей зимы. Но лето каждый год получалось куда длиннее зимы — с марта до декабря, и это время он не виделся с женой и сыном. Впрочем, видаться-то виделся, но изредка, урывками, а жили врозь. Мысль о том, как бы жить вместе, точила его, словно болезнь. Особенно после сорока и до пятидесяти. Но и эти от сорока до пятидесяти когда только успели промчаться, точно одна неделя... Хотя важных событий было дополна: свадьба сына, потом медаль, теперь вот внук...

— И самое главное,— надрывался за столом все тот же молокосос,— через руки нашего Стойчо прошли километры и километры асфальта! И когда он медаль получил, я вам про это говорил,— вот что самое главное!

— Будет тебе,— осадил его другой,— побереги-ка лучше разные слова для собрания, а сейчас пей, как все люди. А главное — это то, что у Стойчо внук! Вот что самое главное!

— И что его зовут Стойчо!

— И что он весит три сто пятьдесят!

— За его здоровье!

— Пусть маленький Стойчо будет крепким, работящим и добрым, как его дед! За ваше здоровье — за вас за всех!

— Дай еще графин, эй! Теперь я ставлю!

Корчмарь подносил новые графины, ласково улыбаясь (дом у него был самый лучший, и семья всегда жила при нем), подносил закуску; празднество в честь новорожденного разворачивалось на славу. Мужчины, чьи задубевшие ладони расстилали гладкие дороги Болгарии, пили не спеша, думали и об этом, и о многом другом, у них было свое богатство, несравнимое с богатством корчмаря.

У них был свой сон об асфальте — живой, настоящий,— об их собственном, их руками уложенном асфальте, по которому теперь летела жизнь; вечерами, прежде чем заснуть, они смотрели в окошко барака, как бегут яркие снопы лучей, белые, красные и желтые, подобные солнцам, и звездам, и лунам, они кого-то куда-то везут, надежно и быстро доставляют своих к своим, одолевают долгий путь до сельского домишка, до блеснувших во мраке женских глаз, до колыбели маленького внука; работяги в бараке долго слушали эту песню колес; как-то раз молчаливый Стойчо прошептал в темноте соседу:

— Ишь как воют, а? Значит, дорога хорошая.

— Свистят,— помолчав, отозвался тот.

Они еще помолчали, послушали — сияние фар проносилось по потолку.

— Рокочут,— раздался третий голос — еще кто-то не спал.

— Издалека воют, мимо проносятся — свистят, а как проехали — рокочут,— определил Стойчо и сам обрадовался своему заключению.

Так оно и было, как он сказал. И вместе со снопами света в ночи звуки эти внушали ему, что он работал не зря. Что трудом его создано нечто прекрасное. Что если и вся жизнь пролетит так же незаметно — вон уже пятьдесят стукнуло,— можно будет покинуть ее с достоинством.

— Стойчо, послушай,— сказал кто-то,— на твоем месте я б ни за что не утерпел! Шапку в охапку и поехал — внук ведь, да еще Стойчо назвали, ну нипочем бы не утерпел, право слово!

— Ехать-то всего ничего,— добавил другой,— поездом два часа.

— Это поездом, да поезд ушел,— сказал молокосос, взглянув на ручные часы.— Двадцать минут как ушел.

Стойчо не стал ничего объяснять — бригадир и другие, кто отвечал за машины, сами все знали. Объект пусковой, их участок задерживает открытие всей магистрали. Завтра понаедут разные начальники, с утра пораньше работа должна кипеть. Под угрозой премия — для всех, выполнение плана решают часы.

— Нет, я б поехал, а там хоть... хоть что! — продолжал первый.— Пусть хоть что угодно, а я б встал и поехал!

Стойчо вспомнил сына — тогда, в корзине, двадцать семь лет назад,— что-то розовое, сморщенное, с глазами, носом и ртом, с такими смешными ушками, и эти красненькие овальные орешки, которым предстояло стать пальцами мужчины...

— Куда ж, коли поезд ушел? Пешком? — Он откашлялся.— Слыхал, который час?.. Поезд давно ушел. Теперь все.

— Подумаешь, важность — поезд ушел. Нельзя разве выйти на шоссе и проголосовать? Сколько народу так ездит.

— Поднимешь руку, и тебя посадят.

— Верно, нынче мода такая пошла. Парни из разных стран по всему свету так катаются.

Свежеиспеченный дед долго молчал, потом опрокинул в горло полную стопку, оглядел всех по очереди и усмехнулся.

— Стойчо,— сказал его сменщик,— ты, правда, подумай... Если ты это самое... я Гецу передам, пока ты... Простаивать не будем, если ты, значит...

— Да оставьте его в покое! Он и так себе места не находит, а вы еще подначиваете! Внук никуда от него не денется, все равно он сейчас в родильном доме. Стойчо попрет черт-те куда, а ему самое большее в окошко его покажут. Никакого тебе навару, Стойчо, от этакой... прогулки. Наша жизнь здесь, на объекте.

Голос звучал убедительно, человек говорил серьезно. Над столом нависло долгое молчание. Потом двое причмокнули, а серьезный повторил: «Внук никуда от тебя не денется, а жизнь наша здесь, на объекте». И снова молчание, пока слова Стойчо не громыхнули угрозой, совершенно неожиданной при его покладистом характере:

— Так ее и раздак, эту жизнь! И твой навар тоже...

Он встал, опрокинул еще стопку и пошел к выходу.

Корчмарь посмотрел ему вслед и ничего не сказал — трудно было найти клиента более аккуратного и более честного, чем Стойчо. А Стойчо словно спиной его увидел, вернулся от дверей, положил на стол две десятки и, покачиваясь, вышел.

Так он и добрался в темноте до шоссе — повторяя свое открытие насчет жизни, спотыкаясь и падая.

Последний раз он ударился головой об асфальт — ноги не справились с кюветом. Он почувствовал боль, потекла кровь, подступила дурнота.

И все же он был уже здесь, на асфальте, по которому шли машины,— беспокоиться больше не о чем.

Первая промчалась мимо — люди в машине, видно, его не заметили. Ничего, машины еще будут, какая-нибудь да остановится, а он тем временем придет в себя.

«Перебрал я,— подумал он,— и стукнулся здорово, да что уж теперь... Ладно, ветерком обдует».

И еще шли машины — в ту и другую сторону, но ни одна не притормозила.

«Надо им махать, а то они...»

Он приподнялся, оперся на локоть и, когда из-за дальнего поворота показывались огни, начинал махать свободной рукой.

— Эй, стойте! — заревел он, когда больше десятка машин промчалось мимо.— Стойте, мать вашу, раз я зову, это я положил здесь асфальт!

Стойчо завалился на спину, еще раз ударился головой, перестал материться и заплакал.

— Стой, парень (говорил он какому-то воображаемому парню)... Стой, посади меня. Ты только остановись, я скажу тебе, куда мне ехать, а там хоть и не бери.

Машины мчались мимо, просьбы сменялись угрозами, под конец он закричал сколько хватало сил:

— Э-э-э-эй! Кто меня возьмет, дарю тому все мои дороги. Все дороги, что я сделал! И землю по обе стороны, потому что вы (он имел в виду проносившихся мимо) ее не стоите-е-е!

После еще одного падения кричать уже не хотелось. И просить не хотелось. И говорить — ни с кем и ни о чем.

Тогда раздался визг тормозов, машина остановилась, и над ним наклонились двое.

— Ля-ля-ля? — сказал один.

— Ля-ля-ля,— сказал другой.

Стойчо оторвал голову от асфальта, он хотел их увидеть, но свет фар хлестнул его по глазам. Он страшно испугался, что так неосмотрительно пообещал им свой асфальт и землю по обе стороны, хотел скинуть их с дороги, но лишь глухо простонал и перевернулся на живот. В рот попал песок, он выругался и спросил, кто они такие. Они снова что-то пролопотали. Он изо всех сил пытался определить их язык и национальность, но усталость, вино и холод, накопившиеся за столько лет, прижимали его к асфальту — наконец он перестал противиться и заснул.

Так Стойчо и спал на асфальте, ничком, вывернув руки ладонями вверх, а мимо пробегали яркие снопы света — белые, красные и желтые. Как солнца, и луны, и звезды.

И еще проносилась воющая, свистящая, рокочущая песня колес, та самая, что — как говорили люди — украсила его жизнь.

Звездная пыль

Илии Богданову просто в голову не приходило, что его могут не пустить в варьете. Он был в костюме, при галстуке. Брызги извести тщательно стерты с ботинок мокрой тряпкой. Денег в кармане раз в пять больше, чем у всех этих пацанов, толпившихся у входа. Однако швейцар только небрежно отмахнулся от него (катись, мол) и заслонил роскошной своей курткой с блестящими пуговицами дверной проем.

— Я же плачу́,— сказал Илия Богданов тихо, поднося к его носу десятилевовую бумажку.

— Граждане, мест нет! — с досадой отозвался швейцар, не глядя ему в глаза.

Мгновение спустя этот солидный страж, подсуетившись, расчистил проход для двух посетителей, тяжелой поступью двигавшихся к двери. С ними вошли и две девицы, которым он улыбнулся и кивнул. Илия Богданов, встрепенувшись, только хотел было спросить, как это так — для одних места есть, а для других нету, но его опередил другой парень из кучки жаждущих. Швейцар сказал громко и нервно, что у этих, которые вошли, столик заказан. Илия Богданов обернулся, чтобы посмотреть, слышала ли это (оскорбление как-никак смягчалось) Мария, но та стояла в глубине просторного вестибюля у гардероба и, похоже, не вникала в детали.

Двое негров (у одного волосы были точно проволочная щетка для паркета, другой доставал головой до ламп у потолка) вошли так же легко и бесцеремонно. Илия Богданов снова взглянул на Марию. Она сказала с гримасой: «Пойдем отсюда», но он застонал беззвучно и вдруг решился на то, чего не делал никогда. Он пробился к швейцару и сказал:

— Нас двое, плачу за четверых. Вот.

— Граждане, отойдите от двери! — сказал швейцар голосом, предназначенным не людям, а воздуху над их головами.— Попрошу.

Дело было безнадежное. Один из парней у входа выругался. Блестящие пуговицы протянули руку и почти незаметным, но достаточно твердым движением отстранили близстоящих, прокладывая дорогу двум толстым немцам. Мария все так же торчала у гардероба, словно забытое пальто. Глаза ее обегали все вокруг, но дольше всего взгляд задерживался на красивой блестящей мозаике у нее под ногами.

Мозаику эту делал Илия Богданов. И высокий цоколь — снаружи и внутри здания,— и колонны. Каждый кусочек мрамора прошел че-

© Дончо Цончев, 1981 с/о Jusautor, Sofia.

рез его руки. Каждый желобок он сто раз прощупывал глазом. Никто в целом мире, даже заказчик, никогда не всматривался в эту облицовку с таким вниманием, как он. Он отлично знал это, знал еще тогда, когда, сбив вперед и налево свернутую из газеты шапку, сжимал в руках мастерок и насвистывал, испытывая ни с чем не сравнимое удовольствие. Он представлял себе, как гулко будут отдаваться шаги, как взгляды будут ощупывать и одобрять,— он просто видел ботинки и глаза из Канады, Якутии, Голландии. Это он работал здесь — он, Илия Богданов. Это его рук дело оглядывают и одобряют гости и унесут память о нем в свои далекие края. Ничего больше он для себя и не хотел. Только работать так и впредь. Он был счастлив и сам сто раз себе в этом признавался.

И как приятно было, что Мария засмотрелась на мраморную картину у себя под ногами. А сколько бы еще она увидела за дверьми, в самом варьете, если б этот болван с пуговицами не стал насмерть. Что тут сделаешь? Катись он к такой-то матери. На побережье есть и другие заведения, которые работают допоздна. И такси найдутся. И карман у Илии Богданова не пустой, если на то дело пошло.

Он без слов сказал это Марии и вывел ее на улицу. Она понимала все, как обычно. Потому он и женился на ней с ходу, не раздумывая. Сколько девчонок попадалось ему, пока он мотался по стройкам, каких девчонок... И за всех за них он не отдал бы Марииного мизинца.

Такси подвернулось тут же, они сели, и Илия Богданов сказал:

— «Цыганский табор», будьте добры.

Шофер помчался, точно на гонках, а Мария спросила, не рядом ли этот табор с бараками, вроде он ей писал. Точно, сказал Илия Богданов, заведение от бараков в двух шагах.

— Вот и хорошо, к дому близко,— отозвалась Мария и вздохнула с облегчением.

Илия Богданов сжал ее руку, тоже почувствовал, как боль, причиненная тем болваном с пуговицами, потихоньку отпускает, но не сказал жене, что кое-что для нее припас.

Подъехали к «Табору» (он дал шоферу лишний лев) и безо всяких осложнений расположились за столиком в саду.

— И чего мы там себе нервы портили? — сказала Мария и наконец улыбнулась.— Гляди, как здесь славно.

— Славно-то славно, да я хотел тебе свою работу показать.

— Что ж, я не знаю твоей работы? Небось не первая твоя стройка.

Они прекрасно поужинали, он выпил две по сто виноградной и потом еще пива. Мария рассказывала ему о стариках — о его, о своих, несколько раз расхохоталась так, как умела она одна, и сжала под столом его руку. Мир встал на прежнее место, и Илия Богданов снова испытал то ни с чем не сравнимое удовольствие, для которого он и появился на свет.

Много ночей в бараке он думал о том, как расскажет ей о своем исключительном открытии, как она обрадуется, и вот сейчас он уже близок к цели. И опять же благодаря ей, ее неожиданному приезду. Он сказал ей об этом, но она замотала головой.

— Вот если б я в твой день рождения не приехала, тогда б ты мог сказать «неожиданный». А так «ожиданный».

Они поднялись, чтобы потанцевать,— конечно, они уже не первой молодости, ну и что? Получалось-то здорово. Захотелось остаться вдвоем. Илия заплатил (на лев больше, чем по счету), и они пошли к выходу.

— Я думала, он там,— сказала Мария, когда они уже шагали по реденькой просвечивающей рощице.

— Ты о чем?

— О твоем бараке.

— Там и есть.

— А куда мы идем?

— Увидишь,— сказал Илия и гордо протянул руку.— Вон смотри. Отель вырос перед ними, как в сказке.

— И это ваша работа?

— А ты как думаешь? — Илия Богданов выпятил грудь.

— Красотища.

— Ты внутри сейчас увидишь,— сказал Илия.— Внутреннюю отделку.

Внутри они оказались через две минуты — Марию он усадил в одно из кресел и велел смотреть по сторонам. «До чего все новенькое, с иголочки»,— подумала она и, хотя еще не знала об открытии Илии насчет ни с чем не сравнимого удовольствия, почувствовала, что ее тоже распирает гордость.

Илия Богданов вежливо поздоровался с девушкой-администратором и спросил номер.

— Свободных номеров нет,— любезно ответила девушка.

Илия Богданов улыбнулся. Это он создал эти номера. И коридоры, и холлы, и залы. Подвалы, и крышу, и туалеты. Он совал нос во все углы, он сражался с мертвыми стройматериалами, он пел им песни. Он вопил от экстаза, когда из его рук выходила облицовка феерической лестницы и веранд.

— Ни одного номера? Мне с женой, на одну ночь.

— Нет,— сказала девушка-администратор.— Мы обслуживаем только иностранцев. Обратитесь в центральное бюро. Или я им сейчас позвоню. Вероятно, где-нибудь найдется номер для двоих.

— Вот как,— сказал Илия Богданов,— ну что ж, хорошо.

Девушка в самом деле была очень любезна и уже вертела телефонный диск, но Илия Богданов повернулся, кивнул Марии, и она поднялась из глубокого роскошного кресла.

По феерической лестнице они спустились вниз и снова вошли в реденькую освещенную рощицу. Здесь было слышно море. А вблизи и вдали — множество огоньков, будто звездная пыль с неба усыпала побережье.

— Это мы спускаем с неба звезды,— вот в чем состояло открытие Илии Богданова.— Я спускаю. Вот этими двумя руками. Послушай, Мария, ты ведь по себе знаешь: один человек может съесть за день три тарелки или пять тарелок. Но он может наполнить тарелки сотням людей, понимаешь?

Это и есть ни с чем не сравнимое удовольствие.

Послушай, можно всю жизнь спать на одной кровати, в одной комнате. Но можно сделать своими руками тысячи. Ты понимаешь?

Это и есть ни с чем не сравнимое удовольствие.

Ничего этого сейчас, пока они шли рощицей, Илия Богданов не сказал — только обнял Марию за плечи.

Так они дошли до барака, где он шепотом попросил ее подождать. Он нырнул в темноту и потряс спящего Ивана за плечо. Иван поднялся тотчас. Спросил хрипло и тихо:

— Илийка, ты?

— Я.

— Сейчас,— сказал Иван и вскочил с постели.

Он натянул брюки, накинул куртку и закурил. Илия сказал ему:

— Ты бы мог пока...

— Не ерунди,— прервал его Иван.— В ведерке «Радебергер». Чао.

И он вышел.

Илия Богданов выглянул чуть погодя и сделал Марии знак, чтоб она заходила. Она только этого и ждала.

Уже в комнате, все еще держась за ручку двери, она всем сердцем—гулким и полным до краев — отозвалась на запах известки, неиз-

менно спокойный и чистый. И ощутила большие ладони Илии — неизменно на своей пояснице.

Она взглянула на звездную пыль, усеявшую побережье, и, рывком закрыв за собой дверь, одним движением смахнула ее.

Петух

История эта начинается с того, без чего ей никогда бы и не случиться,— с холмистой зеленой земли с понатыканными в нее, словно свечи, дубами. Дубами, дубками, дубочками. Дерево одно, а называй как хочешь. Понатыканы деревья — точно божьи памятники. И земля одна, а слов для нее не счесть.

Холмы, поросшие травой, спускались к реке (спускаются сейчас, будут спускаться вовеки), белая полоска воды очерчивала их границу. На одном из них стоял дом. Деревья вокруг — те самые дубы, дубки, дубочки — давали тень и желуди, в развилках ветвей копили на зиму лиственный корм.

У дома не было ни двора, ни ограды, единственным его соседом было небо. Дождем и травой дарило оно овец, солнечным светом — песни пернатой живности. Хозяева молились ему молча, измученные, но не униженные сражением с землей. Небо щадило их — из сражения они всегда выходили победителями.

Самым многочисленным, вечным, кишащим всяческими историями было куриное общество. Куры, в отличие от овец, не отлучались от дома даже ненадолго. Они всегда толклись здесь, расхаживали, рыли, неслись, и клевали, и напоследок коротко кудахтали на колоде. Смягчали — пестротой и шумом — первозданную тишину гор, придавая ей тем самым некий смысл.

Самыми важными в пернатом стаде были, разумеется, петухи. Белые, пестрые, красные. Мелкие, огромные, средние. Они проворно делали свое дело, иногда выдирали друг у друга перья, хрипли с годами; последнее «хрясь!» произносил топор.

Одному из них удалось дожить до старости — хозяйка питала к нему слабость. Всеобщий родственник, живая история всего своего окружения, он ходил медленно, ложился поздно и вставал рано. В тихие солнечные дни любил поваляться на навозной куче.

Он был, разумеется, не так красив, как юнцы. Не так силен, как зрелые мужи. Перья его потеряли блеск. Поступь не выдавала больше лихих намерений. Даже шея с годами утратила свой изгиб. Порой старый петух напоминал дурно сделанную игрушку: перья уныло топорщатся, ноги раскорякой, сизый гребень поник. И глаз не сверкал у него, как у других. И бегал он по-стариковски. А в те мгновения, когда он должен был — хоть ты тресни — быть мужчиной и вшептать свое имя в яйцо, он бывал неуклюж и медлителен. Не то что раньше — огненный, стремительный, наглый. Теперь его скорее можно было назвать созерцателем...

Они не понимали всего этого — благодушные дамы-несушки, или как раз это им и нравилось. Они не убегали от него. Не отказывали. Держались так, как держались в свое время их бабушки. И (единственное, быть может, преимущество его возраста) петушиный закон ревности на него не распространялся. Он мог — один из всех — медленно выпустить крыло, спокойно, со вкусом вздыбить перья и описать вокруг избранницы священный полукруг, не думая о том, что на него вдруг налетит другой петух, разгневанный и бесцеремонный.

Порой старик удивлялся — откуда такое почтение? Те были сильнее, чем он. Те занимались любовью впятеро чаще, чем он. Клювы у

© Дончо Цончев, 1981 с/о Jusautor, Sofia.

тех были каменные, цвета воска, когти и взгляды — орлиные. Они покачивали раздутыми зобами, шпоры и манеры у них были точно у крестоносцев. И ах какие кровавые, мясистые гребни дрожали в решающий миг электрической дрожью — будто короны сказочных драконов...

Конечно, он знал о них то, чего они никак не могли бы узнать о нем. Он был когда-то молод. Они еще не были старыми. И он словно бы прощал им их превосходство. И словно бы наслаждался своей тоской — насколько это было возможно. Смиренно ложился на навозную кучу, с которой возвещал о стольких днях и годах, расстилал свои перья в тепле, которое шло и сверху и снизу, вытягивал ноги, раскидывал крылья и рассеянным круглым глазом взирал на мир. На петухов и кур, поляну и небо. Сражения, любовь, пищу, врагов. На ночи, солнце, зимы. Бешеное, неудержимое, раздирающее глотку «кукареку», извергающееся, точно лава. Старик смотрел и отдыхал. Зелень травы, колода. Влажные глаза и сладостный голос хозяйки. Пестрая юбка вокруг ее стана, так похожая на курицу. Ее рука — вкусная и щедрая, словно ток после молотьбы. Белые яйца в руке, тоненькое попискивание пушистых желтых шариков. Все тех же пушистых шариков — вечных, но каждый раз неожиданных и смешных.

Что значит быть петухом?

Что значит быть?

Старик засыпал на навозной куче, видел во сне свою молодость, зерна, хозяйку (превратившуюся в своей пестрой юбке в настоящую курочку), кукарекал хрипло, басовито и блаженно, вставал и продолжал жить.

Вот этого-то и не знали юнцы — что он живет. Крупные, сильные, молодцеватые, распаленные спорами, страстями и желаниями, они воспринимали мир как зеркало. И существовали в нем лишь они — раскрасавцы. И то, что доступно ногам и клюву. Клюешь себе и расхаживаешь возле дома. Находишь червяка и сообщаешь: «Тут-тут-тут-тут!» Или: «К-р-р-р-р!» — когда тень ястреба вдруг скользнет по траве. Вот мир и вот жизнь. Что еще скажешь о жизни? Юнцы набивали зобы, взглядывали одним глазом в небо, топтали кур, чтоб оставить на яйце свою подпись. И забирались в курятник спать. Надежно укрытые от хорька и лисицы, они расслабленно дремали в ожидании следующего рассвета.

Так и текла жизнь в курином мире близ одинокого дома. И кончилась бы она в ночь чрезвычайного происшествия, если бы не...

Но начнем с того, с чего все началось.

Было полнолуние, ясное небо — в лунном свете белели холмы. Свет проникал и в курятник, день и ночь разделили его пополам. Рассевшись на перекладинах и жердочках, петухи и куры дремали или спали, и никто не почувствовал появления полоза. Он просочился в щель бесшумнее тени и свернулся, подняв неподвижную голову. Яиц в гнездах, вопреки обыкновению, не было. Цыплята подросли и уже не попискивали в корзине с соломой, а сидели на насесте вместе со старшими.

Полоз смотрел на них, с мучительной радостью припоминая их вкус. Язык его дрогнул. Голова поднялась еще выше. Которого? Или которых? Прежде всего того, что поближе. Вот этого. Ну-ка открой глаза, взгляни на меня...

Змея все так же бесшумно продвинулась вперед и снова подняла голову. Голова была сплющенная и здоровенная, как у кошки. В пяди от куренка.

Полоз выжидал — сражение должно было начаться с боя глазами. Он бился так с детства, даже в самых невыгодных условиях. Днем, при ясном устрашающем свете, обвившись вокруг какого-нибудь куста. Птичка должна была взглянуть ему в глаза. Он ждал, слушал птичью песню. Когда нервы сдавали, он с легким свистом менял положе-

ние. Птичка оборачивалась, видела его глаза и умолкала. Замирала надолго, потом начинала дрожать. Коготки ее выпускали ветку, и комочек перьев безвольно шлепался на землю. Полоз открывал пасть...

Ну же, цыпленочек, взгляни на меня.

Куренок по-прежнему спал. Полоз ждал. Он помнил сотни случаев, подобных этому. Запах курятины делался все гуще, кончик хвоста его задергался.

Куренок так и не проснулся, полоз просто придвинулся еще ближе и куснул его в голову.

Жирный куренок, спавший, притулившись к соседу, умер не сразу. Он успел вскрикнуть, захлопал крыльями — остальные проснулись в ту же секунду. Они плохо видели, но луна светила ярко, да и полоз извивался весьма энергично, пока кудахтанье не затихло в его глотке.

Не прошло и минуты — кошачья голова поднялась снова. Соседний куренок взлетел и упал на двух других. Куры — взрослые и молоденькие — кудахтали, охваченные ужасом. «Что такое?! Что такое?!» — они дрожали, не в силах двинуться с места. «Тут, тут, тут! Тут, тут!» — отстукивали петушьи ноги, а перья опадали на глазах, словно намокли под дождем. «Не-е-ет!» — вскрикнул и затих еще один куренок.

Собака за стеной залаяла хрипло и сонно. «Чего зря шумите? Ни лисы, ни хорька нет, я первая бы учуяла. Чего ж вы раскудахтались посреди ночи? Ну и народ...» — рыкнула она напоследок и замолчала.

Спасения не было. Полоз понял, что для игры глазами условий нет, и продолжал нападать грубо и дерзко. Челюсти его сжали то, что сумели ухватить, новый крик затихал мучительно и долго.

Петухи подпрыгивали как безумные, наталкивались на стены и друг на друга, куры и молодняк тоже — ужас стер различие между их ролями в жизни. Не было ни гонора, ни рыцарства, ни детства. Исчезли мораль, чувство долга, мужская доблесть. Остались стук сердец, пересохшие глотки, встрепанные перья и обмороки. Полоз был сильнее всех.

И вот в разгар этой трагедии, когда куриное племя в муках и страхе отправлялось к праотцам, один из петухов отчаянно закукарекал и сверху упал на змею. Вонзил в нее когти, сильно клюнул и отскочил. Он не был самым сильным из петухов. И, уж конечно, не был самым молодым.

Широко расставив ноги, устремив голову вперед, старик, залитый белым светом луны, смотрел полозу прямо в глаза. Раскинутые крылья отведены назад. Перья на шее встали дыбом.

Полоз оторопело замер, и петушиный клюв тут же настиг его. Шум в курятнике затих, все смотрели на то невероятное, что разворачивалось у них перед глазами. Цыплята и куры — сжавшись от безумного страха. Молодки — вытянув шеи, онемев, не веря. Красивые молодые петухи — распластавшись по углам от страха.

Один из ударов старика наконец попал полозу в глаз. Тогда хвост змеи взвился, и страшная его сила сбила петуха с ног. Он три раза перевернулся в пыли и снова вскочил. Вонзился когтями, клюнул, но еще один удар полоза отшвырнул его к стене. Когда он поднимался, пасть змеи была от него в сантиметре. Петух из последних сил торкнулся в пролом в стене и оказался на дворе. Взбешенный полоз с проткнутым глазом ринулся за ним. Но когда голова его уже была снаружи, а тело еще в курятнике, петух снова клюнул его в глаз.

Полоз корчился, хлеща все вокруг, стараясь во что бы то ни стало достать петуха. Теперь это было труднее, потому что слева к нему навсегда подступил полный мрак. А беспощадный петух наскакивал именно с этой стороны. И пошло-поехало: петух бил клювом, полоз валил его с ног, противники кидались друг на друга, катались по траве и постепенно отдалялись от курятника.

Упав в очередной раз, петух не смог быстро вскочить, и полоз успел обвиться вокруг него. В следующую секунду, несмотря на защиту перьев, кости его страшно затрещали. Змея обладала громадной силой. Из петушиного горла вырвался жалобный хрип, словно его мучил типун, ноги напружились в агонии. Голова полоза метнулась, чтобы его прикончить.

И тут, собрав последние силы, в порыве смертного отчаяния петух клюнул полоза во второй глаз. Змеиные кольца разжались, хвост забился о землю. От одного из этих ударов нога сомлевшего петуха хрустнула, и больше он уже не мог на нее ступить. Хромая, падая, умирая, петух яростно и стремительно клевал своего врага, сам получал жестокие удары, драл полоза когтями...

В свирепом своем поединке противники так далеко откатились от курятника, что оцепеневшее пернатое племя перестало слышать звуки боя. «Как, как?» — подала наконец голос курица, все еще не веря, что осталась жива. «Как так?» — отозвался один из петухов, уставившись, точно загипнотизированный, на пролом в стене. Потом они долго молчали, потом забылись и заснули.

Через час в курятнике все было спокойно. Так, как и должно было быть. Ведь около этого дома, на зеленом этом холме, у этих деревьев цыплята, и куры, и петухи жили с незапамятных времен.

Еще через час рассвело. Пернатый народец, привыкший просыпаться с первыми лучами солнца, повалил из курятника, один из петухов забил крыльями. Любить, искать зерна, кукарекать. Нестись, кудахтать, закатывать глаза. Ревновать, изменять, охорашиваться. От пестроты оперенья слепит глаза. Что еще рассказать о жизни?

А тот, другой, валялся в это время на куче навоза, похожий на дурно сделанную игрушку. Игрушку, место которой на свалке.

Лежал наш петух на навозной куче, ободранный и старый. Уродливый и жалкий, точно грязная тряпка. Совершенно неподвижный, кривой, сплющенный — под веками невидящие глаза.

Время шло, петух лежал, перезвон овечьих колокольцев давно затих в овраге. Тени дубов становились все короче, солнце мало-помалу сметало росу. Хозяйка открыла окно и запела.

Тогда потихоньку открылся сперва один глаз петуха, потом — другой. Он увидел поляну, небо, дубы — ветви их покачивались от голоса хозяйки. Увидел цыплят, кур, молодых петухов. Он слегка отвел крыло, встал и попытался привести в порядок перья. Только теперь он заметил полоза, вздрогнул и сказал предостерегающе: «Кр-р-р!» Но длинное страшное тело змеи не шевелилось. У глазных ее впадин роились ярко-зеленые мухи.

Петух постоял, потом заковылял по навозной куче. Копнул здоровой ногой, обнаружил что-то съедобное. «Тут, тут, тут!» — заговорило его мужское естество. Молодой петушок услышал и подбежал. Увидел червячка и склевал его. Вытер клюв о траву и отправился по своим делам.

Опьяненный голосом хозяйки, потрепанный годами и всем пережитым, почти недвижимый, старик долго следил за юнцом — на фоне зеленых холмов.

Потом он отвел от него свой круглый глаз и уставил его — в суету сует.

Подарок

Надо купить Ангелине подарок — сегодня ей исполняется восемь лет. Иду и думаю: не остается ли в наших воспоминаниях только то, что мы сами же потом досочиняем? Ведь не так уж прекрасно было там, у очага, где в мои восемь лет бабушка рассказывала мне разные разности — не спеша, с чувством, с

привычным выражением блаженной скуки на добрейшем лице. Если там было так уж прекрасно, чего бы я торопился вырасти? Чего бы манил меня стук копыт тех коней, что мчатся по пламенеющим угольям, сквозь клубы дыма; чего бы рука сама взлетала вверх над головой, когда я мерил, на сколько я вырос, съев очередную миску тюри, там, среди почерневших шпеньков с кругляшом на конце, на которых по сю пору висят в моей памяти начищенные медные ведерки и ковшик,— там, в незабываемом, светящемся сумраке полуподвала?

О, тогда «прекрасное» было и далеко и высоко — еще метр вверх, еще много сказок и много мисок тюри и еще десять или даже пятнадцать шалых годков. Оно влекло к себе шикарными ботинками и костюмами, роскошными усами, погонами, оно было всем тем, что моя фантазерка бабушка придумывала, лишь бы избавиться от моих пытливых глаз.

«Значит, то прекрасное, то желанное наступило,— сказал я себе, остановившись у случайной витрины.— Интересно, как же я не заметил». Я отвернулся от витрины, закурил, и именно тогда мелькнула у меня эта мысль о воспоминаниях. Я быстренько пристегнул ее к моим соображениям насчет истории, которую я толкую таким же образом, решил, что по сути это и хорошо, ибо хорошо то, что служит ныне живущим смертным, притом служит куда лучше, чем любые недостатки бессмертных покойников, и только я почувствовал веселую легкость, как на меня обрушилась изнутри другая глупая мысль: «Где же все-таки оно, «прекрасное», если мальчику оно виделось мужчиной, а в глазах мужчины оказалось ребенком»? Или: раньше прекрасное называлось «потом», а теперь оно зовется «давно». Неужели нельзя не разминуться с ним и оно, это прекрасное, перемещается во времени, точно тень, точно мечта, к которой никогда нельзя приблизиться вплотную?

Так, вместо того чтобы зайти в «Детский мир» или другое подобное заведение, я очутился перед забегаловкой, в которой заметил знакомые лица. Я зашел и попытался с ходу утопить свои глупые мысли в двух рюмках обыкновеннейшей сливовицы. Завязался разговор, я сказал, что у дочки день рождения, знакомцы тут же выставили меня на угощение, ну и так далее. Вскоре мы, естественно, ударились в философию, и я изложил им свои мысли.

— Ты с этим справился,— сказал один из знакомцев.— Дочке твоей восемь, так?

— Так.

— Тебе тридцать восемь.

— Да.

— Значит, прекрасное где-то между вами, вы с дочкой его ухватили.

— Точно,— сказали все остальные,— раз для восьмилетних оно «потом», а для тридцативосьмилетних — «давно», значит, вы взяли его в вилку. Чтобы его ухватить, надо иметь ребенка.

Логически они были правы. А раз так — давай еще по одной. Но я тоже был прав, стало быть, и от других еще по одной.

С трудом расстался я с этой великолепной компанией — мне все-таки нужно было купить подарок и вовремя явиться домой. Оказалось, что и на улице теперь чудесно. Прозрачный вечерний час, огни, народ, праздничное оживление. Духи, красивые платья. Все мы смертны, но сейчас мы здесь. Глаза, которые видишь долю секунды, а помнишь долго.

Что ж мне купить дочке?

«Купить»,— подумал я, и слово точно ожгло меня. Я тут же полез в карман и убедился в том, чего боялся. После увлекательной беседы в забегаловке у меня в кармане осталось тридцать пять стотинок. Я готов был сам себе влепить пощечину. Знакомцы мои разошлись. Магазины вот-вот закроются. Я кинулся в писчебумажный магазин на-

против и стал рассматривать все мелочи на прилавке, словно самый педантичный инспектор. Продавщица сказала, что их рабочее время кончилось.

— Сколько стоит эта точилка?

— Тридцать пять стотинок.

Ура! Теперь сам черт мне не брат. Прозрачная пластмассовая полусфера с рельефным изображением мифического или астрологического стрельца. (Может, она к тому же еще и точит.) Я заплатил и вышел. Я совершенно воспрянул духом — что же такого, совершенно новенькая точилка! Как будто бабушка дарила мне электронные японские подлодки! Мне? Мне было восемь лет? Когда? Тогда, возле начищенных медных ведерок. Неужели это был я? И что я теперь? И кем я буду в шестьдесят восемь? Буду ли я тогда вообще? Все равно потом, когда-нибудь, меня, ясное дело, не будет. Кто же такой я — тот, кто в движении своем от восьми к шестидесяти восьми ищет это убегающее прекрасное, а находит многое другое, совсем непохожее на то, что ищет? Остается ли что-нибудь от всех усилий или жизнь человека подобна следу, что оставляет в море лодка?

Из самого нутра моего раздался крик: «Ангелина!» Я увидел торт величиной с целый город — торт, который мне так страшно хотелось ей подарить. И две горы, и несколько желтых лун, круглых и удивительных, как теплые лепешки, что вынимала из печи моя бабушка. Моя бабушка, мои восемь лет, моя Ангелина, ее восемь лет... В тот миг, восемь лет назад, в этот самый день, когда моросил такой же дождик — незаметный и задумчивый,— в каком-то дурацком окошке родильного дома (даже не единственном) сконцентрировался весь свет. И потом мои пальцы долго пахли стертыми в кашу стеблями гвоздики...

Меня подмывало завопить, побежать, крепко схватить эту малышку за плечи и закричать, что я дарю ей, в сущности, всю свою жизнь — и ту, которая у меня была без нее, и ту, другую, которой она будет жить без меня.

Кое-как я добрался до дома; уже на лестнице слышался гул голосов. Родственники, салаты, водка, пироги — я отлично знал все наперед. Не знал я только деталей — например, что бабушка прислала посылку, а в ней, в конверте, десять левов, что другая бабушка купила ей платье, дедушка — дорогую игрушку, конфеты и шоколад,— вообще множества подобных деталей, от которых мне захотелось залезть в точилку и завертеться там, словно затупившемуся карандашу.

Все уставились на меня. Она тоже. Подарки успели в этот день избаловать ее, и она смотрела мне в руки, улыбаясь до ушей.

Я дал ей точилку. Сказал, что это и есть подарок. Девочка взяла точилку, переждала секунду, потом кинула на меня по-старушечьи мудрый взгляд и воскликнула:

— Папа! Папочка, послушай... Знаешь, я именно такую и хотела! Папочка, ты молодец! А то все карандаши ломаются... Смотри, какая красивая!

Я смотрел. Я смотрел ей в глаза, прямо в глаза, а они впились в мои и будто держали меня, не давая разлиться. Словно я был неустойчивым сосудом, доверху наполненным чем-то опасным и вверенным в эту минуту глазам Ангелины. Смешным, прекрасным, чистым глазам ребенка, которые сумели удержать налитую в сосуд жидкость. Ни капли не пролилось. Я только поднял ее, прижал к лицу и стиснул сильней, чем нужно. И прижимал к себе намного дольше, чем она ожидала.

Ведь и я не ждал от нее этого подарка. Просто потому, что человек, которого я увидел в своей маленькой соплячке,— добрый, прощающий и умный, догадавшийся в восемь лет, что неустойчивые сосуды надо не опрокидывать, а поддерживать,— такой человек стоил несказанно и неизмеримо дороже, чем торт величиной с целый город.

Человек, которого оставит мой исчезающий след.

Единственный в моей жизни напарник, вдвоем с которым мы ухватили неуловимое «прекрасное» и сжимали его в этот миг словно клещами.

Жена подтолкнула меня, кто-то из стариков закашлял, я поставил дочку на пол, она спрятала точилку в портфель, и домашнее торжество пошло своим чередом.

Еноты

Дело было на пасху. Трава рвалась вверх и пахла жизнью — от этого запаха кружилась голова. Чирикали птахи. Мы вылезли из машины, и неуклюжие фокстерьеры — Ганка и Прити,— которых Шатун любил никак не меньше, чем ближайших своих родственников, тут же вывалили красные языки. Двое журналистов, не закрывая рта, обсуждали предстоящую охоту, предаваясь, в сущности, воспоминаниям о своих прежних охотничьих вылазках (впрочем, на енотов, вернее на енотовидных собак, никто из нас еще не ходил). От необычайно теплой погоды меня одолевала болезненная лень, которую я упорно старался скрыть.

— И меня разморило,— благодушно и хрипло сказал Шатун, с которым мы вот уже двадцать лет осыпаем двенадцатикалибровыми гильзами поля софийской котловины.

Вероятно, и через много лет после нашего с Шатуном конца над могилами нашими все будет витать этот ни с чем не сравнимый едкий запах только что выпущенного патрона, совсем не тот, что запах нежного облачка над стволом (похожего на облачко над горлышком только что откупоренной бутылки пива). Таким же образом меняется после выстрела, когда ты уже продуваешь ствол, выражение твоего лица, а каким оно делается, зависит от главного — от того, кувыркается ли уже заяц в траве или еще продолжает свой жуткий спринт к горизонту — до следующего воскресенья.

Я ткнул пальцем вперед и сказал:

— Вон этот курган.

Журналисты (мои знакомцы, известные люди, выхлопотавшие мне разрешение на охоту до открытия сезона) были жестоко разочарованы. Они удивленно переглянулись, оттенив свои взгляды вполне профессиональной гримасой, выражающей точно вымеренную среднюю линию между «понимаю, понимаю, ты шутишь» и «да брось ты, не может быть!».

Через пять минут мы уже были там, у совершенно заурядного кургана, поросшего травой и бурьяном. Вокруг — зеленя. Из травы торчит камень, на камне надпись: «Фракийская гробница — памятник культуры. Строго запрещается копать, пахать и пр.».

— Что значит «и пр.»? — спросил меня один из журналистов.

— И прочее,— ответил я.

Он сумел засмеяться вполне естественно и вежливо сказал:

— Да, конечно. Я спрашиваю, что еще запрещается, кроме как пахать и копать.

— Например, дышать,— сказал я, и одно из отверстий уже было передо мной.

Лаз в нору располагался чуть ниже верхушки кургана, диаметр отверстия — сантиметров тридцать пять, сорок. Я остановился, рассматривая следы на рыхлой земле перед лазом. Шатун обошел верхушку с другой стороны и стоял возле невысокой, раскидистой дикой сливы.

— А здесь рыли,— глубокомысленно заметил другой журналист.— Значит, кто-то там есть.

© Дончо Цончев, 1981 c/o Jusautor, Sofia.

Я попросил у него прикурить. Пусть хоть чем-нибудь займется, вместо того чтоб говорить глупости.

— Рыли, ведь правда? — повторил он, щелкая элегантной зажигалкой перед самым моим носом.

— У них есть другой способ проделывать в земле ходы,— сказал я.

— У кого? — спросили одновременно мои знаменитые знакомцы.

— У зверей.

Шатун взглянул на меня, и я пошел к нему. У корней сливового деревца, не имевшего понятия о том, что невысоким раскидистым сливам строго запрещается расти на памятниках фракийской культуры, зиял еще один лаз. На рыхлой земле ясно виднелись следы, похожие на собачьи, но более удлиненные — словно следы волчонка. Сухая косточка куропатки с присохшими к ней крупными перьями из крыла, запачканными кровью, валялась поблизости. Ганка заскулила и натянула поводок, подрагивая хвостом и не отводя глаз от норы. Прити — как настоящий джентльмен — держался с достоинством.

Мы обошли курган и почти на самом верху нашли третий лаз (под углом, чтобы не попадал дождь).

— Еще один был там, внизу,— сказал Шатун,— но зарос бурьяном.

Все-таки мы подошли и к нему. Ганка проявила к нему несомненно меньший интерес.

— Пустим их у сливы, а? — предложил Шатун.

— Сначала Ганку,— сказал я,— Прити потом. Пусть сохраняет силы для решительного удара. А сейчас давайте присядем.

Я хотел объяснить журналистам, кто у какого выхода из лабиринта должен стать, как могут развиваться события дальше, когда и куда надо будет стрелять, но не успел я произнести до конца слово «присядем», как один уже лежал навзничь в траве, а другой протягивал руку Шатуну, и над его белыми пальцами ярко сверкал колпачок «Тичерз».

— Что это? — спросил Шатун и ухмыльнулся.

— Не бойся, не отравишься,— сказал журналист.

— Виски,— добавил я.— Помнишь, Шатун, мы с тобой пили, только бутылка была другая. Да, я ведь вас не познакомил.

Я назвал фамилии журналистов, их ответственные посты, а моего приятеля представил несравненной кличкой «Шатун». Отхлебнув два-три глотка, Шатун одобрил новую марку виски и, любуясь блестящим колпачком, отказался и от воды, и от кубиков льда из большого термоса, который появился в руках у лежащей знаменитости в то время, как набитый его рюкзак откачнулся в мою сторону.

(Шатуну нравятся все виды крепких напитков, пьет он вначале очень быстро и еще быстрее приходит в прекрасное расположение духа.)

— Эй, что вы за люди такие? — сказал он, сосредоточив наконец свой взгляд на журналистах, а это — сосредоточенный взгляд — было у него признаком величайшего интереса и уважения к людям и предметам, попадавшим в поле его зрения.— Каких людей ты привез ко мне, Дончо?

Им это было приятно. Они вытащили второй термос — с кофе. Так и сидели мы под апрельским солнышком, среди неповторимых (глупости — вечных) божьих запахов травы; Шатун сдвинул свою кепку вперед и еще раз сказал:

— Ну и ну, таких людей я сроду не встречал!

Нам грозила опасность напиться слишком быстро, поэтому я велел убрать бутылку в рюкзак, проинструктировал журналистов, и вскоре все мы, с ружьями в руках, заняли свои места около отверстий.

Шатун спустил Ганку у сливы, и она мгновенно нырнула в лаз.

Для меня наступил самый важный момент охоты — когда собака,

тяжело дыша, исчезает в норе. Ожидание. Мой приоткрытый рот. Стук сердца.

Что такое выстрел, пусть даже отличный, по сравнению со всем этим? Что такое шкура на стене? Кусок мяса ценой в два или пять левов? Мальчишеское хвастовство перед другими, перед компанией?

Ничто.

Честное слово.

Я снова оглянулся — где мои журналисты? — и в десятый раз прикинул, куда мне встать, чтобы никто в меня не попал. (Охотники подстреливали меня трижды, но рассказывать об этом не хочется.) Позиция у меня была удобная. Я наклонился еще ниже и приник ухом к земле. Услышал (словно бы из преисподней) Ганкин лай. Свистнул Шатуну. Тот тоже уткнулся своей косматой головой в траву. Поднял руку и махнул мне: «Слышу!»

Лай внизу умолк, потом зазвучал снова — еще глуше, дальше и чаще. Подобный звук раздается, когда ночью у соседей льют сливовицу из оплетенной бутыли.

Я привстал, закурил сигарету и крикнул Шатуну:

— Достается кому-то там, внизу, а?

— Обоим,— отозвался он.

— Что?

— Да обоим достается. И собаке и тому, кто в норе. Не слышишь, как сцепились?

Я снова прильнул ухом к земле и уловил далекое, далекое рычание.

Вскоре Ганка вылезла из норы. Нос поцарапан, левая бровь ободрана. Шатун взял ее на поводок и напоил.

— Ну, Прити,— сказал я,— теперь ты. Только отсюда.

Я пустил его в лаз рядом с собой. А Шатун, смачно выругавшись, дал ему понять, как обращаться с теми, внизу.

Прити рванул в нору, и мы приникли к земле. Прошло немало времени, пока мы услышали лай, рычанье и зверский хрип фокстерьера.

— Ну и ну,— сказал мой старый приятель.— Или там лев засел, мать его за ногу? Енот, выходит, почище зверь, чем лиса, а?

— Не знаю, Шатун. Будь там лиса, они б ее десять раз уже выгнали.

— Может, барсук? — предположил один из журналистов.

— Один черт,— сказал Шатун.— Прити их ровно пробки из бутылок вытаскивает.

Мы решили снова пустить Ганку, чтоб собаки действовали внизу одновременно. Вскоре лай зазвучал с удвоенной силой — война в преисподней разгорелась вовсю. Потом все стихло, и обе собаки вылезли из норы. Морда у Прити тоже была здорово ободрана. Мы привязали их, дали воды.

— Что происходит? — спросили журналисты.

— Не знаю,— ответил я.— Никто вам не скажет.

Левый глаз Ганки сильно покраснел, а бровь стала опухать.

— Дай-ка эту штуку,— сказал Шатун.— С колпачком.

Журналист вытащил бутыль, Шатун налил виски в горсть и, уговаривая Ганку не пугаться, продезинфицировал ее раны. Она заскулила и стала дрожать.

— И этого тоже,— сказал я, удерживая руками Прити.

Шатун сжал его пасть и полил морду. Наш смиренный джентльмен (золотая медаль на собачьей выставке 1974 года) бросил на меня злобный взгляд и зарычал.

Мы строили догадки, снова пили кофе и долго курили, растянувшись на траве. Виски кончилось, и владелец его подарил бутылку Шатуну. Ганка лежала, временами вздрагивая. Прити сохранял уныло-сердитый вид.

Порешили так: Шатун отведет собак в коровник к жене — та о них позаботится, и собаки отдохнут; я пойду на луг рвать щавель; журналисты будут дожидаться нас на кургане. Как раз к тому времени, как мы снова соберемся, смеркнется, и звери сами вылезут из норы.

Так мы и сделали. Я нарвал щавеля, полакомился заячьей капустой. Обошел любимые места. Набрел на четыре гнезда куропаток, видел больше полусотни утиных пар, выгнал из зарослей трех зайцев. Насмотрелся на травы, на птах, на букашек. Все предавалось любви, все плодилось и размножалось. Солнце и Земля тоже предаются любви — эта мысль мелькнула, когда я отдыхал, сидя на пеньке.

В самом деле — чего стоит какой угодно зверь в ягдташе перед этой прогулкой по стране великой любви? Чего стоит твой выстрел, превративший в реальность одну из бесчисленных (и прекрасных) охотничьих баек, если ты не разглядел смешных утят, не наблюдал, затаив дыхание, страсти пестрокрылого селезня? И если ты вместе с Землей и Солнцем, с травами, воздухом и зверьем не славил любовь — что тебе похвальба, и дичь, и охотничьи трофеи?

На закате я снова подходил к кургану. Когда я был уже совсем близко, один из журналистов крикнул:

— Скорей, скорей!

Я побежал — кто знает, что там стряслось. Журналисты стояли, склонившись над отверстием у дикой сливы, и что-то рассматривали.

Я увидел, на что они смотрят. Оно было похоже на котенка. Или на игрушку — плюшевого медвежонка, очень красивого. Обгоревшая игрушка лежала неподвижно. Рядом — еще одна.

— И вот,— сказал журналист, показывая мне третью игрушку в траве.— Только что была живая.

Я поднял голову и ошалело уставился на своих знакомцев.

— Мы вылили в отверстие канистру бензина и подожгли,— объяснил любитель виски.

— И пока мы ждали там,— сказал другой,— зверек вынес своих детенышей отсюда. По одному, в зубах. Я увидел, когда он нес третьего. Морда вся расцарапанная, как у фокстерьеров. Я выстрелил, то есть нажал на спуск, но ружье было на предохранителе. И он сбежал.

Я спиной почувствовал присутствие Шатуна. Пока мы разговаривали, он подошел к кургану (обычной своей бесшумной лисьей походкой) и все слышал. Он держал в руках бутыль из-под виски, наполненную сливовицей, и смотрел на мертвых маленьких обитателей кургана.

— Видишь, Шатун, не лев это был,— сказал я после страшно долгого молчания.— Видишь, Шатун, это была мать...

Шатун, приоткрыв рот, посмотрел на меня, потом на журналистов. И тихо сказал своим хриплым голосом:

— Эй, что вы за люди такие? Каких людей ты привез ко мне, Дончо?

Очертания человеческих фигур расплывались в сгустившихся сумерках, а раскидистая маленькая слива словно бы стала больше. Шатун отвинтил колпачок у бутылки, запрокинул ее, и пока я слышал звук, подобный звукам сегодняшнего боя там, внизу, и пока думал, с чем бы сравнить это бульканье, журчанье, этот напор, бутыль была опорожнена наполовину. И мой старый приятель еще более хриплым голосом, пристально глядя мне в глаза, сказал:

— Ну и ну, таких людей я сроду не встречал.

Один из журналистов произнес «н-но» — и замолчал. Другой закурил. Шатун снова запрокинул бутыль, выпил ее до дна и уронил в траву. Оглядел журналистов по очереди и крикнул:

— Еноты!

Слегка пошатываясь, повернулся и пошел прочь.

— Еноты! — громко повторял он в темноте.— Еноты-ы!..

Мы тихо собрали багаж и долго молчали, пока шли к машине.

Умри, но связь обеспечь

Женушка Серафима Петрова в урочный час варила на кухне кофе, а сам Серафим Петров сидел в гостиной у камина на своем любимом складном стуле и смотрел в большое, начинавшееся от самого пола окно на соседние дома и крыши. В тихом, солнечном, предполуденном воздухе носились голуби, они были гораздо заметнее, чем в другие часы или другие месяцы, и Серафим Петров раздумывал: в том ли дело, что ребятишки с улицы перенесли свои отчаянные вопли на пляжи, в горы, в деревни к бабушкам, или в том, что голуби улавливают приближение осени и тонкий инстинкт властно сбивает их в стаи.

— Женка, что ты думаешь по этому поводу? — громко крикнул Серафим Петров по направлению к кухне.

Ответа, по обыкновению, не последовало — шестидесятидевятилетняя женушка Серафима медленно и неуклонно (и не делая из этого трагедии) теряла слух. К тому же Серафим Петров на пороге своих восьмидесяти девяти задавал страшно трудные вопросы. Поразмышляв с полчаса о чем-то, никому кроме него неведомом, он вдруг спрашивал: «А ты что скажешь в связи с этим?» Вначале женушка честно спрашивала: «В связи с чем?» Он пренебрежительно махал рукой. Потом она научилась хитрить и стала ему отвечать. Ну, к примеру, так: «Да что тебе сказать?..» Или: «Знаешь, я, пожалуй, с тобой согласна».

Так ответила она и неделю назад, когда Серафим Петров спросил ее громко и звучно, глядя прямо в глубь родных, лишь с целым миром сравнимых, пять десятилетий знакомых глаз: «Что скажешь, женушка, не пора ли мне писать воспоминания?» Потом он усадил ее рядом с собой на низенький стул по другую сторону камина, выкурил назло всем врачам целую сигарету и объяснил великий, возвышенный смысл того девиза, под которым прошла его жизнь: «Умри, но связь обеспечь!»

«Не только почтовую связь, которую я обеспечивал на службе, не только связь в узком смысле слова,— сказал старик.— Вот мне уже на тот свет пора. У детей другие профессии, раскидало их по всему миру... (Один из его сыновей работал на Чукотке, другой — в Тунисе.) Неужели все, что я помню и знаю о жизни, отправится на тот свет вместе со мной?» — «Ты все на тот свет собираешься,— возразила женушка, не любившая эти разговоры.— Двадцать лет собираешься».— «Я, может, еще двадцать пособираюсь, но никто этого заранее знать не может. Двум вещам человек не волен назначить срок: рождению своему и смерти. Потому я и думаю, что пришла пора передать бумаге все, что накопилось во мне чуть ли не за столетие».

Он носился с этой идеей всю неделю, неотступно и трезво, подхлестываемый неодолимым своим упрямством и бесконечной верой в добро, которая пронесла мелкого почтового служащего сквозь бурные, страшные времена его молодости (вера, подобная чудесному спасательному кругу в океане перемен, событий, ошибок, успехов, провалов, головокружительных побед), и сейчас, глядя на голубей, крыши и недвижный воздух за большим, от пола, окном, он думал о том, с чего начать и чем кончить эти свои воспоминания.

Отчаяние охватывало Серафима Петрова: как рассказать о своей жизни? На скольких страницах? Каждый ли должен перед концом сесть и описать все, что с ним происходило?

Воодушевление согревало его: с какими личностями встречался он на долгом и крутом пути борьбы... Личностями, которые делают историю. Какие передряги выпадали на его долю... Передряги, которые могут превратиться в прекрасную книгу.

© Дончо Цончев, 1981 c/o Jusautor, Sofia.

И вот сегодня он ее начал. Без раскачки. Просто взял и наметил части — строго, точно, без всяких финтифлюшек. Теперь он ждет кофе и после кофе сядет писать. Великий миг! Кладешь перед собой лист бумаги, распахиваешь душу и... подводишь черту под всей своей жизнью — посмотрим, каков будет итог. Ну же, Серафим, без сантиментов!

Часть первая.

Два десятка лет после освобождения от туретчины. «Учителю здесь и на кусок хлеба не заработать! — мрачно заявил Петр Серафимов, чабан, узнав, что четвертый его сын задумал учиться.— Но коли решил, мешать не буду. Учись. И рассчитывай только на себя».

Заплечный мешок — рубаха, кусок хлеба, головка лука. Свиштов: работа, голод, удивление — вот она какая, жизнь! София: училище, голод. Плевен: служба — вроде бы можно жить нормально, размеренно, лучше, чем жили голодные предки—рабы. Свиштов: нормально при этом строе не проживешь, увольнение. Стара-Загора: 1923 год[1], избиение в участке. Свиштов: женушка, партия, первый сын. «Умри, но связь обеспечь!» — под этим девизом, и в узком и в широком смысле слова, пройдет его жизнь. Первый провал, почти у него на глазах убивают Георгия Штерева. София: какая связь? Связь — с кем? Конечно же, с партией и с теми идеями, которые преобразуют мир. Избиение в участке... Второй сын. Провал, недолго на воле, провал.

Приговор: виселица.

Часть вторая.

Всего восемь дней. (На скольких страницах сможет он их описать?) Другие смертники. Отек от кандалов на ногах. Парашютисты[2]— по двенадцать человек в камерах на двоих. И они пели, о господи...

Новый судебный процесс.

Часть третья.

Ах, эти лица по ту сторону барьера... Глаза, носы, губы. Тоже ведь мужчины. Отцы маленьких детей, нежные мужья, сыновья своих матерей. Тоже болгары. Он ли сумасшедший, или мир сходит с ума, постепенно и неудержимо?

Его интересовало не столько решение судей, сколько, *что* у них в душах, *что* у них в мозгах — у тех, по ту сторону барьера? Он обратился в рентгеновский луч, проник в их клетки, двигался с их кровью, молча кричал: «Что же это, *что же это за болгары*?!»

Анто — будто во сне — ладный костюм, благородная осанка и голос, громкий и ясный: «Кого судите, господа судьи? Юношей, которые, подобно Ботеву, идут на смерть во имя Болгарии? На что вам их головы? Они наполнены идеями, как ваши головы наполнены идеями другого толка. Я не удивлюсь, если однажды вы поменяетесь местами и они будут судить, а вы — держать ответ. Какой приговор вынесут они тогда? И вот еще что, господа судьи: идеи успешнее всего распространяют именно отрубленные головы».

Часть четвертая.

Пожизненное заключение в Пазарджикской тюрьме. Пожизненное — чепуха. Вера его смеялась над приговором.

Свобода...

В дверь позвонили, и Серафим Петров пошел открывать. В первое мгновение он не поверил своим глазам, потом вскрикнул и чуть не подпрыгнул, как мальчишка. Красимир (младший внук) вошел с чемоданчиком в руках, наскоро обнял их и попросил у бабушки чашечку кофе. Кофе как раз был готов.

---

[1] В сентябре 1923 года в Болгарии вспыхнуло антифашистское восстание, закончившееся поражением повстанцев. *(Прим. перев.)*

[2] Летом 1941 года в Болгарию нелегально вернулись из СССР несколько групп болгарских эмигрантов-антифашистов (на самолетах и подводных лодках). После судебного процесса в 1942 году восемнадцать человек из них было расстреляно. *(Прим. перев.)*

— Исчезаю молниеносно, у меня на вас тридцать пять минут. Вернее, двадцать пять, поскольку...

Мальчишка разделся (в каждой из комнат на полу осталось что-то из его одежды) и закрылся в ванной. Оттуда он отвечал на взволнованные вопросы деда и бабки, и бабушка слышала (а скорее улавливала) только шум душа. Но и он радовал. Ведь под душем стоял Красимир. Она стеснялась признаться — в свои шестьдесят девять,— что внуков любишь, пожалуй, больше, чем детей.

Серафим Петров энергично растолковывал ей ответы внука, прибавляя от себя живописные подробности. Выйдя из ванной, Красимир все же счел возможным объяснить, что он попросил одного приятеля из посольства сообщить им телеграммой, что он вылетел из Туниса, но тот, видно, забыл, а впрочем, это неважно, потому что он с ходу мчит на Золотые Пески, а вот уж когда вернется, они повидаются как следует и он расскажет им все, что они захотят, хотя рассказывать-то, в сущности, не о чем.

— Такие-то дела,— заключил юнец и, шаря повсюду в поисках какой-то «Аббы» (бабушке послышалось «Баба!», и глаза ее засияли), потом «Бони М.» и «Донны Саммер», перевернул квартиру вверх дном.

— А я начал,— торжественно сказал Серафим Петров, улучив мгновение относительной тишины.

— Что? — спросил Красимир, стоя к нему спиной.

— Мемуары. Только что. Ты застал меня в ту самую минуту, когда...

— Ох, и ты туда же,— сказал Красимир.— От одного слова «мемуары» у меня оскомина. Заскочил сейчас в лавку за сигаретами, там какой-то дедок сдает бутылки. А продавщица не принимает — плохо вымыты. Так он как раскипятится: «Я ко всему привык! Я столько в жизни натерпелся, как-нибудь вытерплю и это. Меня пытали! — кричит.— Меня гноили в тюрьмах!» И пошел-поехал — мемуары, одним словом. Послушайте, куда вы задевали «Маму Бейкер»? На Новый год была вот здесь, на этой полке.

— Что ты сказал про маму? — спросила бабушка, не теряя надежды.

— «Мама Бейкер»! — громко крикнул Красимир.— Пластинка!

Бабушка тут же ее нашла — она была в самом проигрывателе — и радостно подала ему. А Серафим Петров усек почесывание Красимира по левому виску, дал ему двести сорок левов — все, что было у него на руках,— и они попрощались.

Вскоре он уже сидел на стуле у камина, как за полчаса до этого. Счастливый — по-своему. Погруженный в еще более глубокие раздумья. Может быть, чуть более грустный, чем обычно,— ощутивший, подобно голубям, что стае действительно пришла пора собираться в путь...

«Умри, но связь обеспечь!» — прочитал он написанное его рукой заглавие. Да. Он напишет эту книгу. Обеспечит связь со своей жизнью, своим временем, своей стаей тружеников и борцов.

Но кряжистый этот, сребroголовый, древний человек, Серафим Петров, не любил предаваться грусти — он громко откашлялся и крикнул по направлению к кухне:

— Слышишь, женка, насчет связи не поручусь, но первое слово моего девиза наверняка принимаю к исполнению!

А женка его варила вторую порцию кофе (мечтая о том, чтоб явился второй внук и выпил его) и благодаря своему ослабевшему слуху, благодаря веселому и кроткому своему нраву, который здорово помогал ей все эти мучительные, страшные и красивые пятьдесят лет, прожитые рядом с Серафимом Петровым, сумела и на этот раз его не услышать.

ШУБХАШ МУКХОПАДДХАЙ

Мыс, или Болезнь Гансена

ПОВЕСТЬ

Перевод с бенгальского В. КОРОВИНА

Нет такой профессии, которая бы не привносила с собой в жизнь ее обладателя тех или иных неприятных обязанностей, в особенности если он человек общительный.

Поговорка: «При виде свободно разгуливающей лошади любой путник немедленно чувствует, что он охромел», более всего применима к той ситуации, в которой всякий раз оказываются врачи, стоит им попасть в компанию людей, проведавших об их занятии. Те тут же начинают испытывать забытые было болезненные ощущения.

Писателям тоже, хотя и в сравнительно меньшей степени, приходится терпеть подобные неприятности. Но если врачам суждено возиться с больными, то писателю — со своим же братом, писателем. Боль ищет врача, а писатель — писателя.

В прежнее время существовал обычай приглашать поэтов в дом, где игралась свадьба, для выполнения почетной обязанности сочинять приличествующие случаю вирши, которые оттискивали на бумажных салфетках и полотенцах, использовавшихся в дальнейшем дорогими гостями по их прямому назначению. Теперешние поэты свободны от этого. Разумеется, приходится заниматься сочинительством ко всевозможным торжественным оказиям — будь то чей-то юбилей или прибавление в семействах друзей и знакомых, а также и для так называемых little magazines [1], в которых свалены в одну кучу вещи профессионалов с именем и никому не известных дилетантов; и, по всей видимости, подобные обязанности для нас просуществуют еще много лет.

Не было бы нужды распространяться на эту тему столь обширно, если бы я сам, испытывая полное отчаяние, не вынужден был так часто просиживать над чужими сочинениями. Наши издатели, известные своей оборотливостью, экономя на штатных редакторах, из кожи вон лезут, чтобы заполучить для рукописи, намеченной к выпуску, редактора, работающего в каком-нибудь крупном журнале. Иногда они обращаются за рекомендацией к кому-нибудь из известных писателей. И если одобренная вещь завоевывает расположение читателей — в противном случае, разумеется, расплачивается сам автор,— издатель ставит это в заслугу исключительно самому себе.

Не берусь и сосчитать, над сколькими рецензиями на такие рукописи мне пришлось потрудиться, но в подавляющем большинстве все это были пустые хлопоты. В тех же двух или трех случаях, когда успех к опубликованным сочинениям все-таки приходил, издатель с автором делили его таким образом, что мне не оставалось и малой толики.

© Шубхаш Мукхопаддхай, 1983.

[1] Little magazines *(англ.)*— журналы для узкого круга читателей. *(Здесь и далее прим. перев.)*

Понятно, что теперь, когда почта приносит мне чью-нибудь рукопись, я с раздражением откладываю ее куда-нибудь подальше в сторону. Моя раздражительность растет пропорционально росту цен, а также той суммы, которой выражаются мои долги. Прогорбатив всю свою жизнь, я не заработал ничего, что можно было бы оставить после себя своим детям. И когда настанет мой час, они, лишившись единственной поддержки, окажутся в этом мире без всякой надежды на помощь.

Моя внучка, двух с половиной лет,— возможно, в силу принадлежности к современному поколению,— гораздо более искренне выражает свои чувства. Разгневавшись, она расшвыривает свои игрушки и восклицает: «Ах, чтоб вы пропали!» Я же, как ни в чем не бывало, подобно заводной кукле, растягиваю рот в улыбке. В последнее время в ней появилось лукавство, но старые мои друзья этого не замечают.

Однако, не отвлекаясь более на объяснения, почему я считал нужным сказать все это, приступлю к изложению существа самой истории.

А история эта началась приблизительно два года назад.

Я тогда как раз собирался уезжать, и вот за день до отъезда почтальон принес мне заказную бандероль. Как только толстый сверток перешел в мои руки, я понял, что на мою шею навешивают новый жернов, обретший форму рукописи.

Мной овладело отчаяние. Думайте что хотите, но по-настоящему никто, кроме тех, кому доставалась подобная мука, не может понять всех страданий, которые приходится испытывать с этими треклятыми чужими рукописями. У меня нет даже подходящего места для их хранения, потому приходится все время быть начеку и следить, как бы какая-нибудь из них случайно не пропала. Известное дело, если издатель и согласился прочитать такую рукопись, то, вполне возможно, он положит свой экземпляр в долгий ящик, а случись, и вовсе потеряет, виноват все равно буду я. И не успеешь получить рукопись, как немедленно начинают приходить кипы писем от автора. Сначала в них мольбы и просьбы, но вскоре их сменяют упреки, а наконец, и проклятия. Таков гонорар за мои труды! В конце концов еще приходится платить из своего кармана за то, чтобы отослать рукопись обратно.

И вот, решив, что займусь полученной рукописью после своего возвращения, я забросил ее на полку и уехал.

Когда я вернулся домой, сразу навалившиеся со всех сторон заботы заставили меня совершенно забыть об этой рукописи. Обычно автор сам принимает меры к тому, чтобы подстегнуть мою память, но на этот раз этого не случилось. Так минуло целых два года, и лишь несколько дней назад, когда я решил прибрать книжные полки, мне на глаза снова попалась та самая нераспечатанная бандероль.

Я немедленно отказался от всех своих прежних дел и, сдув с нее пыль, занялся ею. Тогда в спешке я даже как следует не прочел адрес и имя отправителя. Теперь же они привлекли мое внимание. И адрес, и имя говорили о том, что бандероль была послана с Юга Индии. Мне стало досадно, что я не вскрыл пакет сразу после его получения. Разорвав конверт, я заметил, что в него был вложен еще один, тоже запечатанный. В первом конверте оказалась коротенькая записка, написанная по-английски:

«Дорогой сэр! В вагоне поезда я нашел оставленный конверт с надписанным на нем Вашим адресом. Возможно, это нужные Вам бумаги, поэтому посылаю их заказной бандеролью. Прошу простить, что, будучи занят важными делами, делаю это с опозданием».

Вот так штука! Вместо того чтобы в свое время поблагодарить письменно этого господина, я, напротив, совершенно выбросил из го-

ловы и всякую мысль о бандероли. Несомненно, южанин составит себе скверное мнение о бенгальцах.

Но делать было нечего. Даже признайся я, что прочитал письмо лишь спустя два года после его получения, дела этим не поправить. Уж лучше оставить все как есть и не ворошить старого.

Пока я раздумывал обо всем этом, мой взгляд упал на тот конверт, что был внутри первого. Адреса отправителя нет. Но что это? Разве это мой адрес? Название улицы и номер дома тридцатилетней давности! Тогда все улицы в округе назывались одинаково, а вместо номеров домов в адресе указывали номера участков. Я живу с семьей на одном месте вот уже сорок лет, и только этим обстоятельством можно объяснить, что бандероль нашла меня по давно вышедшему из употребления адресу, который я и сам уже забыл и увидев который я вдруг заново в мыслях пережил свои прошлые годы.

Но все-таки главной причиной, позволившей мне получить бандероль, посланную по несуществующему теперь адресу, было, конечно, то, что наш почтальон давно знает меня.

Теперь мне уже не терпелось поскорей узнать, что же находится во втором конверте.

Распечатав его, я увидел поверх пачки листов письмо. Оно также было написано по-английски, без обращения по имени к адресату и подписи в конце его, как не было имени и адреса отправителя на конверте, в который оно было вложено. Выходило, тот, кто писал его, желает оставить свое имя в тайне.

Моего любопытства тут же как не бывало. Я терпеть не могу этих анонимных писем. За свою жизнь — а мне не раз доводилось дразнить гусей — я нажил немало врагов, и оскорбительного содержания письма, на которые они не скупились, всегда были анонимными или подписаны вымышленными именами. В этом видится такое жалкое бессилие, что всякий раз, прочитав их, вместо раздражения я испытывал лишь презрение и гадливость.

Но я ошибся. Это письмо было другого сорта. Первая же его строчка заставила меня изменить свое несправедливое мнение об авторе. Она гласила: «Если это письмо в конце концов и дойдет по назначению, то следует считать, что произошло чудо...»

Из этого следовало, что конверт с письмом был оставлен в вагоне поезда намеренно. Ясно также, что за этим намерением стояла уверенность в том, что какой-нибудь добряк, найдя его, отправит пакет за свой счет по указанному на нем адресу, но какова была сила этой уверенности, остается только гадать.

Однако, без сомнения, это был рискованный шаг. Невозможно предсказать, какова была бы дальнейшая судьба этого письма, попади оно к неграмотному метельщику. А главное, ошибка заключалась в самом начале всего предприятия: мыслимое ли дело, чтобы письмо с неверным адресом нашло своего получателя?

Отсутствие же имени автора, разумеется, означает, что он отказывается от каких-либо прав на свое сочинение. А это может быть вызвано двумя обстоятельствами: первое — автор желает избежать ответственности, которая налагается на него одновременно с правами, второе, автор — святой, чуждый страстям и желаниям человек.

Сомнительно было, впрочем, чтобы он был абсолютно равнодушен к судьбе своего детища, потому что в таком случае он свободно мог выбросить рукопись в сточную канаву. Он же, напротив, хотел, чтобы она дошла по назначению. Это видно хотя бы из того, что на конверте был написан адрес.

Может быть, у него просто не было денег, чтобы отправить рукопись?

Но и это предположение не давало ответа еще на многие вопросы. Кто бы ни оплатил почтовые расходы, действительным отправи-

телем следует считать того, кто писал ее. А раз так, случайна ли связь между отправителем и адресатом? Почему же тогда письмо без обращения? Чтобы я не смог о чем-то догадаться?

Будь письмо написано по-бенгальски, то по тому, как — на «ты» или «вы» — его автор обращался бы ко мне, можно было бы судить о его возрасте. Но английское «you»[1] в этом смысле абсолютно непроницаемо.

Кто же писал его? Мой старинный знакомый, с которым у меня не было связи в течение уже тридцати лет?

Но почему же он послал сочинение именно мне? Ведь название улицы и номер моего дома переменили гораздо раньше, чем я стал известен как писатель. А если он не знает, что я занимаюсь литературой, то зачем он послал свою рукопись именно мне?

Самое же большое недоумение вызывал тот факт, что все сочинение, как я убедился, было написано по-английски.

Надо признаться, что среди моих однокашников было, разумеется, немало таких, кто считал унизительным для своего достоинства изъясняться письменно на «грубом» бенгальском языке и смотрел свысока на нас — тех, кто тогда пописывал на родном языке.

Но для чего же в таком случае кто-нибудь из этих людей станет посылать рукопись, написанную по-английски, обыкновенному бенгальцу?

Или же?

Тут я внезапно вспомнил, что слышал от кого-то о некоем моем родственнике, давно переселившемся в Андхра-Прадеш[2]. Я, если не ошибаюсь, даже виделся с ним еще в отроческие годы, когда был с родителями на свадьбе кого-то из нашей дальней родни. Его дети, мне сказали, и слова не знают по-бенгальски.

Так, может быть, это кто-нибудь из его семьи?..

Но, с другой стороны, хотя они, возможно, и знают мой старый адрес, полное мое имя (а оно было написано на конверте) вряд ли им известно.

Таким образом, ничто не проливало и слабого света на все это дело.

Наконец я убедился, что плутать долее в поисках разгадки не имеет никакого смысла, и решил, не тратя попусту времени, обратиться к самой рукописи.

С первого взгляда стало очевидно, что это были записки, которые велись в течение долгого времени. Бумага рукописи была разной по фактуре и формату, исписанная то ручкой, то химическим карандашом. Почерк очень мелкий, но вполне разборчивый. Язык, которым автор излагал свою повесть, был лишен всякой вычурности — совершенно простой, обыденный. Что же касается грамматических правил и орфографии, то автор, как видно, испытывал к ним полнейшее безразличие.

Последнее, разумеется, не будет иметь значения для вас, читатели, так как написанный по-английски оригинал я перескажу по-бенгальски.

Вы не услышите голоса самого автора, звучать будет лишь голос переводчика. Но у вас, читатели, нет иного выхода, кроме того, чтобы считать его голосом автора. И если кто-нибудь из вас, особенно придирчивый, заявит, что ему не удалось почувствовать настоящего вкуса подлинника, то в ответ на это обвинение мне останется лишь развести руками.

Не сказать об этом в самом начале я не имею права.

Автор, надо заметить, по-особенному относится к именам. Он утаил не только свое, но не раскрывает и настоящие имена тех, о ком пишет.

---

[1] You *(англ.)*— личное местоимение второго лица, единств. и множ. числа.

[2] Один из южноиндийских штатов.

В связи с этим мне вспоминается один случай, который произошел много лет назад. Однажды глубоко уважаемый мною покойный Сунити Кумар Чаттерджи[1] пригласил меня в числе других к себе, чтобы познакомить с одной французской романисткой. Из разговора с ней стало известно, что она не наделяет героев своих произведений именами. Если вкратце изложить ее тогдашние речи, то смысл их совершенно совпадал с тем, что писал о своем герое в повести «Он» Рабиндранат Тагор: «Почему, спрашиваете, я не называю его имени? Из опасения, что если я назову его, то за ним встанет единственно его обладатель, и никто другой».

Я говорю об этом, чтобы у вас, читатели, не создалось впечатления, будто такова была моя прихоть.

И еще одна оговорка. Английское «уои» я переводил как «ты» или «вы» лишь в меру своего собственного разумения, что, возможно, не будет во всех случаях совпадать с намерением автора.

Наибольшую трудность в переводе мне доставили диалоги. Я должен признаться, что мне совершенно не знакомы местные наречия, и мне пришлось немало изворачиваться, чтобы передать какими-то другими средствами речевые особенности героев и тем самым, хотя бы до некоторой степени, восполнить этот свой недостаток. Наши авторы, пишущие по-английски, любят щегольнуть сочным диалогом, а каково потом приходится переводчику?..

Вполне возможно, что автор оригинала желал бы, чтобы я, придав его материалу окончательную форму, раскрасил его всеми цветами. Но в этом отношении мое решение твердо: у меня и своих забот хватает, так что ломать себе голову над этим я не намерен.

Да, и еще одно: если у меня возникнет крайняя необходимость сказать что-нибудь от себя посреди пересказа чужих слов, то я буду это говорить уже своим собственным языком.

Итак, я начинаю. Слушайте же произнесенную моим голосом историю, которую рассказывает автор.

Мне было сказано недвусмысленно: «Это все... Теперь тебе самому придется позаботиться о своей судьбе».

Наш главный врач — человек добрый. Если бы не это его качество, угадывающееся во всем его облике, разве удалось бы мне задержаться в больнице после излечения еще на целый год?

«Здоров», «излечен» — эти слова я слышал по отношению к себе не один раз. Но есть ли что-нибудь худшее, чем излечиться от этой болезни? Нет смысла притворяться перед самим собой, что это не так. Тебе отлично известно: выздоровление — это конец. Теперь, выйдя отсюда, нигде, даже в аду, тебе не найти пристанища.

Да, воистину так!

Когда сюда привозят больных их родные, сколько слез они проливают! Целые реки. Так убиваются, что даже нашему брату, привыкшему к подобным зрелищам, не по себе становится. А сколько уверений и утешений они произносят на прощанье!..

И после того, как расстанутся со своими дорогими и близкими, поначалу действительно пишут письма, чтобы не очень скучали, а время от времени, бывает, и сами наведываются. Но чем лучше становится больному, тем меньше они проявляют к нему интереса, а потом в один прекрасный день все замолкают, будто ничего в прошлом и не было. Постепенно все шире раскрываются глаза и у самого больного. На всю ту новую обстановку, что поначалу казалась ему невыносимой, он реагирует уже по-другому, начиная к ней привыкать. Прежние его привязанности, окутанные плотным туманом нежных чувств, лишаются со временем своих недолговечных покровов и,

[1] Сунити Кумар Чаттерджи (1890—1977)— крупнейший бенгальский филолог и общественный деятель. С 1969 г. — президент Литературной академии Индии.

наконец, исчезают вовсе. Прежние лица, если он попытается вызвать их в памяти, являются ему лишь рядом лишенных выражения масок.

А потом настает тот роковой день, когда нужно выходить из больницы. Об этом сообщают домой заблаговременно, и само ожидание встречи становится целым ритуалом, хотя все знают, что никто не придет. Всякому известно, что поступить в больницу с таким диагнозом — значит порвать все связи с прошлым.

Когда становится ясно, что человек заболел, окружающими овладевает ужас. Домашние начинают суетиться, чтобы пристроить его в больницу, а если делают это не слишком старательно, то тут уж начинают действовать соседи. Если заболевает даже подзаборный бродяга, лишенный каких-либо средств, то под давлением общественности и ему не избежать больницы: неудобно как-то, чтобы больной — и на улице, да и зрелище не из приятных.

Если бы наперед было известно, что все они умрут, то избавиться от всех проблем, связанных с ними, было б просто, ну а если выздоровеют?..

А ведь выздоравливают!

Что и говорить, близкого из дому гнать — сердце разрывается. Как-никак родной человек. Но и из-за одного жертвовать всеми — это же немыслимо.

Любовь, родство душ, голос крови — всем этим чувствам положен предел, и я берусь измерить расстояние до него простой рулеткой.

Даже самое чувствительное сердце в конце концов зачерствеет и превратится в камень, если ему придется терпеть слишком долго.

Многим, вероятно, памятно, как в прошедшую войну в Индию хлынул поток беженцев, пробиравшихся сюда кто как мог, и часто пешком, из Бирмы [1]. В детстве меня распирало от желания услышать от кого-нибудь из них его историю. Но встретиться с таким человеком мне довелось лишь тогда, когда я был уже, что называется, вполне зрелым человеком.

В каком-то провинциальном городке, куда я заехал по делам, мне удалось наконец познакомиться с одним господином, бежавшим в свое время из Бирмы, и я тотчас же стал приставать к нему, чтобы он порассказал о себе.

С недовольной миной, скривив губы, он ответил:

— Что же тут рассказывать? Это и так всем известно.

Не желая дать ему так легко отвертеться, я продолжал настаивать:

— И тем не менее...

То, что за этим последовало, привело меня в полнейшее замешательство. Господин этот вскочил со стула и, сложив известным образом пальцы своей руки, с ужасающей гримасой поднес получившуюся фигуру к самому моему носу и неестественным голосом воскликнул:

— И тем не ме-енее!.. А вот это ты видел?

И с этими словами быстро удалился.

Остолбенев от удивления, я был не способен хоть что-нибудь понять. Когда я пришел в себя, то подумал: только ненормальный мог выкинуть подобную штуку. В конце концов я убедил себя тогда в том, что у него просто не все дома.

Сознание, что нельзя было так легкомысленно относиться к той истории, пришло ко мне совсем недавно, после странного сна, который привиделся мне на днях. Я и сейчас, хотя и несколько расплывчато, помню тот сон.

Густой лес. Посредине его — тропинка. Цепляющиеся за деревья

[1] Речь идет о массовом бегстве в Бенгалию и Ассам выходцев из Индии в конце 1941 — начале 1942 года перед угрозой оккупации Бирмы войсками японских милитаристов.

низкие тучи висят на их макушках, как тряпки нищих на ограде парка. Неожиданно все потемнело, поднялся порывистый ветер. Как будто промелькнула чья-то резко отдернутая нога, и тут же — душераздирающий женский крик: «Не уходи! Не бросай меня!..» И вдруг к этому крику примешался плач ребенка, звуки эти слились воедино, и затем все стихло.

Проснувшись, я понял, что видение это посетило меня неспроста: мне все-таки было известно кое-что о людях, бежавших из Бирмы во время войны. И что только не способен выкинуть ради спасения собственной шкуры тот, кто погубил свою жену, не получив за ней ожидаемого приданого? Желая навечно похоронить память о своей жестокости, он готов на какую угодно выходку, лишь бы избавиться от того, кто неосторожно коснулся его прошлого.

Я совершенно уверен теперь: тому господину было что скрывать. Преступление? Без сомнения, так. Насколько тяжелое — остается гадать. Бросил ли он кого-нибудь из близких, беспомощного перед лицом грядущих опасностей, или придушил слабого, отобрав у него все, чем тот владел,— все это вполне возможно.

Как бы то ни было, раз обжегшись, я с тех пор стал более осмотрительно проявлять свое любопытство. Как знать, не обернется ли безобидный дождевой червь ядовитой змеею?

Есть такое понятие — «прошлая ашрама»[1]. Так говорят о своей прежней жизни саньяси. И вытянуть из них, кем они в ней были, нет никакой возможности.

Мы здесь не произносим таких слов, у нас это называется «прежнее рождение». Сами знаете: в доме повешенного не принято упоминать о веревке.

Так что не будем говорить лишнего. Скажем: «болезнь Гансена». При этих словах у меня начинаются приступы дикого хохота. До колик в животе...

Итак, говорим: «болезнь Гансена», и все. Ха-ха-ха-ха! Как будто так просто заморочить упрямца. А ведь человек именно таков!

Назови слепого ребенка хоть Ясноглазым, хоть Сурдасом[2], он от этого не прозреет.

Дома нас давно скинули со всех счетов. Одного члена семьи как не бывало. Даже и не то чтобы раньше был, а теперь не стало. Тогда может возникнуть вопрос, куда же он делся? Если б умер, то ответ простой, а тут... Так что быть живым и не существовать — это посерьезней смерти.

Конечно, можно было бы, притворившись, считать, что умер. Но ведь мертвые оставляют память о себе, и будет она терзать так, что и с ума сойти нетрудно. Что ни говори — родной человек, кровиночка и прочее и прочее.

Лучше уж покончить с этим раз и навсегда. Не оставить и лазейки. Просто не брать отсутствующего в расчет и говорить: «Нас только двое братьев» или: «У меня только один сын».

Известно, люди обладают острейшим нюхом. Как ищейки, они по самому незаметному признаку могут разнюхать, что где нечисто. Так сделайте вывод: не оставляйте следов!

Пусть растворится тот, кого нет с вами, как бесцветный газ в атмосфере. Если необходимо, переезжайте на новое место, туда, где о вас и слыхом не слыхивали и ни за что не смогут узнать, что одного из вас не хватает. Тогда никому и в голову не придет донимать вас расспросами: где он да что с ним.

[1] По традиционным установлениям, в жизни правоверного индуса выделяются четыре периода (ашрамы). В последнем из них ему надлежит становиться саньяси — бродячим аскетом.

[2] Индийский средневековый (XVI в.) поэт — религиозный проповедник; по преданию, был слепым.

Говорят: нет хуже проклятья, чем смерть.

Есть. И доказательство тому — мы.

Гнусавые, с чудовищно изуродованными болезнью лицами, мы похожи на мертвецов, восставших из могил. И не избежать обморока тому, кто повстречает нас, подобных привидениям, под вечер. Но мы лишены привилегии привидений — бесплотности. И если брошенный в них камень проходит сквозь них, сотканных из воздуха, не причинив им и малейшего вреда, то наша — живая — плоть страдает от удара. И даже очень. И кровоточит.

Мой случай не совсем обычный, не похож на другие.

Положение, когда ты жив, но не существуешь, на меня не распространяется. И если говорить о моем доме, то я там присутствую, хотя меня в действительности и нет. Более того, присутствие мое ощущается очень остро.

Несмотря на то что я давно ушел из дому, моя семья помнит обо мне и по сию пору. Могу побиться об заклад, что в гостиной они повесили увеличенный и вставленный в раму мой фотопортрет и наверняка в день моего рождения украшают его цветочными гирляндами.

Я никому здесь не рассказываю об этой моей «прошлой ашраме». Если расскажу — все мне станут завидовать.

Но в действительности, все это — результат заблуждения, в котором пребывает моя семья.

Я вовсе не стараюсь напустить тумана, и это станет ясно, когда я объяснюсь.

Случилось все так.

Я летел в Дели утренним рейсом. Покончив с завтраком, поданным нам в самолете, я вынул из портфеля кое-какие бумаги, над которыми мне предстояло поработать. Закурив, я откинулся на спинку кресла и стал просматривать эти документы, готовясь к скорой встрече с юристом. Моя правая рука, в которой я держал сигарету, лежала на ручке кресла с выдвинутой из нее пепельницей.

Неожиданно кто-то сильно шлепнул меня по этой руке, так, что горящий окурок вылетел из пальцев, зажимавших его, и свалился в пепельницу. Я вздрогнул от неожиданности и невольно повернулся в ту сторону, откуда последовал удар.

Справа от меня сидел пожилой господин.

«Что за грубые выходки? — пронеслось у меня в голове.— Да и вообще к чему могут привести эти шутки с огнем в самолете!»

Я почувствовал, что закипаю. Но, сделав над собой усилие, я сдержался и рассудил, что, возможно, случайно обжег его своей сигаретой, и в таком случае извиниться следовало бы мне самому. В общем, неприятное положение.

Вглядевшись в лицо своего соседа, я увидел, что оно не выражает и тени гнева. Мне показалось, что он, напротив, хочет сказать мне что-то примирительное.

И действительно, повернувшись ко мне, он негромко спросил:

— Вы что же, не заметили, что жжете себе пальцы?

Выражение его лица и голос, которым он произнес эти слова, заставили меня забыть о своем недавнем раздражении, и я спокойно ответил:

— Да нет...

После этих слов он, опершись на ручки своего кресла, всем телом подался в мою сторону и, взглянув на меня в упор, сказал:

— Дайте мне осмотреть вашу руку!

«Что за странный тип, честное слово?! Теперь еще и руку ему дай посмотреть...» — подумал я про себя.

Изобразив на лице дружелюбную улыбку, я протянул ему ладонью вверх руку. Я заметил, однако, что, завладев ею, он уделил

больше внимания не ладони, а тыльной стороне кисти. Затем он стал тискать мои пальцы. Не препятствуя ему в этом, я ждал, когда он, наверняка обычный шарлатан-хиромант, приступит к своим неизбежным заклинаниям: «Вижу я, впереди у тебя счастье нежданное...»

Занятый разглядыванием его внешности, я вдруг услышал вопрос:

— Вам так не больно?

Я отвел глаза от его лица и увидел, что он с силой вонзил ноготь в один из моих пальцев.

— Ничуть!..— ответил я абсолютно равнодушно.

Тут он выпустил мою руку и в полном молчании откинулся в кресло.

Странное поведение этого господина вывело меня из равновесия, и после всего происшедшего я так и не смог сосредоточиться на тех важных бумагах, что были у меня в руках.

В конце концов мы приземлились в Паламе[1], и когда я очутился уже в здании аэропорта, меня окликнул все тот же господин. Вынырнув сзади меня из толпы, он сказал:

— Позвольте вас задержать на минутку.

После того как мы отошли несколько шагов в сторону, он, понизив голос, сказал:

— Я знаю, вы сердитесь на меня за то, что было в самолете. Я искренне жалею об этом...— Он остановился. Затем, взяв меня за обе руки, продолжал: — Послушайтесь моего совета: сегодня или завтра — только обязательно! — пойдите к какому-нибудь хорошему врачу и расскажите ему о ваших лишенных чувствительности пальцах.

С этими словами он подхватил с пола свой портфель и исчез в толпе.

Я послушался его совета.

Я предчувствовал, что услышу от врача что-то нехорошее. Но невозможно было и предположить, насколько ужасным окажется то, что он мне скажет.

Лепра. В этом коротком слове заключалась такая убийственная сила, что, услышав его, я не упал лишь потому, что вцепился изо всех сил в ручки кресла, на котором сидел.

— Не стоит слишком пугаться,— сказал врач, сочувственно глядя на мое наверняка смертельно побледневшее лицо.— Ляжете в больницу, и постепенно вас вылечат.

Но его слова не доходили до моего сознания. Очутившись на улице, я почувствовал, что земля уходит у меня из-под ног.

Мое тогдашнее состояние было подобно тому, как если б я выпрыгнул из летящего самолета: камнем падаешь вниз в зияющую под тобой бездну, а парашют еще не раскрылся. Но затем настает момент — и над головой разворачивается купол парашюта, который служит хоть некоторой поддержкой, хотя ноги еще по-прежнему болтаются в воздухе. И вот, наконец, приземление, твердая почва под ногами — лишь тогда можно перевести дух и ощутить, что ты остался цел.

Именно такое вот падение, парение и приземление и характеризуют те состояния, через которые я прошел после памятного визита к врачу и до теперешнего момента. И время это составляет новую, другую мою жизнь.

Но об этом после, а пока о том, что случилось тогда.

Выйдя от врача, я побрел по Коннаут-плейс[2]. С каждой секундой мне все больше казалось, что я уже не тот, кем был еще совсем недавно. Будто я отстал от поезда: он еще рядом, еще слышен его дроб-

[1] Аэропорт в Дели.
[2] Площадь в центре Дели.

нящий пронзительный гудок, но уходит все дальше и дальше, и тоска утраты становится все острее.

Мне было невыносимо видеть здоровых людей, которые окружали меня со всех сторон на улице. И чем яснее я осознавал, какое несчастье обрушилось на меня, тем больше мной овладевала потребность счастья и наслаждений. Казалось, кто-то, заставив бурлить мою кровь, манил меня блестящей мишурою и, подмигивая, внушал: «Не упусти случая, это твой последний праздник!..»

Помню, я схватил такси и бросился в такое место, где — только пожелай — можно купить сколько угодно вина и женской любви.

Подобное случилось со мной впервые, прежде это было просто немыслимо. Но тогда я был словно бы сорвавшийся с удерживающей его нити воздушный змей. Общественные, семейные узы перестали для меня существовать.

Во мне говорило лишь одно желание: забыться, хоть бы и преступив границу привычных понятий о любви, дружбе, нежности, добре. В душе моей дымился слепой гнев, ненависть ко всему свету захлестнула все мое существо.

Глядя перед собой невидящими глазами, я опрокидывал стакан за стаканом, нимало не обращая внимания на то, что же я пил. Впервые я обращался с женщиной как животное. Я ни разу даже не взглянул, какое у нее было лицо.

Тогда же я решил, что сделаю потом. На следующий день сразу из аэропорта я отправился на службу и, возвратив бумаги, испросил себе отпуск на несколько дней. Всем было видно, что я изрядно утомлен поездкой. Не укрылась от внимания сослуживцев и моя рассеянность.

Дома я пробыл всего два дня. Это время помнится мне очень смутно. Но помню, уже нажимая звонок у двери своей квартиры, я чувствовал себя абсолютно чужим всему, что ждало меня дома. И когда я вошел к себе, даже привычная обстановка показалась мне совершенно незнакомой.

Всеми возможными средствами я старался увернуться от общества своего маленького сына, настойчиво просившегося ко мне на колени: любой ценой надо было не допускать, чтобы он касался меня. Придя домой, я объявил, что не буду впредь есть скоромного. Не знаю, связано ли это было с болезнью, но у меня начались обонятельные галлюцинации: мне всюду чудилась жуткая вонь. Я зажег в гостиной палочки благовоний и читал до глубокой ночи. Это были запыленные религиозные книги, принадлежавшие моему отцу, которые я впервые за свою жизнь снял с полки.

Моя жена происходила из Гоа[1]. Светлой кожей и голубыми глазами она была обязана своим португальским предкам. Мы познакомились в студенческие годы в Бомбее. Мать моя умерла, когда я был совсем ребенком, и меня воспитывал отец. Он был страстный любитель чтения. После долгого рабочего дня, проведенного в конторе принадлежащей ему небольшой экспортно-импортной фирмы, все вечера он неизменно коротал за книгой и стаканом бренди.

Отец был доволен, что я поступил на службу. Одобрил он и мой выбор будущей супруги, но я сам так долго не решался на окончательный шаг, что он не смог увидеть нашей свадьбы.

Хотя отец и проявлял видимый интерес к потусторонним силам, в глубине души он сомневался в их существовании, религиозным же ритуалам он вообще не придавал никакого значения.

С детства я рос как бы в отрыве от своих корней: мне не приходилось встречаться даже с кем-нибудь из ближайших родственников. И характер мой, подобно отцовскому, был сдержанным. Какая бы

[1] Территория на западном побережье Индии, бывшая колония Португалии.

буря ни бушевала в моем сердце, внешне я продолжал оставаться спокойным.

Но прочь все эти воспоминания о прошлом!

Прежнее родство для меня теперь — пустой звук. И прошедшее я стер из памяти.

Те же, кто знал меня прежде, без всякого сомнения, решили, что я сделался садху [1].

В первый момент, как я узнал, что болен, мне пришла в голову мысль о самоубийстве. Но потом, поразмыслив, я испугался. Я не так был воспитан, чтобы верить, что за гробом существует какая-то жизнь. Пугала меня пустота — бесконечная и скучная. И страх этот заставил меня отступиться от своего первого порыва.

Тогда вместо смерти я выбрал другую жизнь.

Ночью я ушел из дому и сел на поезд, отправляющийся на север Индии. Душа моя была вулканом, гулкими толчками выбрасывающим огненную лаву. Это сильнейшее возбуждение спало, лишь когда небо на востоке стало светлеть. И мне пришло в голову, что, вероятно, первый раз в своей жизни я вижу рождение утра. Тогда, впервые успокоившись после трех бессонных ночей, я сомкнул глаза.

Неправда, что я ушел из мирской жизни, чтобы стать садху. Но правда то, что я ушел на поиски святых угодников.

Я не желал, чтобы моя жена и сын пострадали из-за меня, уверенный, что, если мне не удастся скоро излечиться, все очень быстро выплывет на поверхность.

По профессии эксперт по финансовым делам, я рассчитал все без ошибки: разумнее поступиться одной жизнью, чем разрушать жизнь сразу троих.

Теперь я понимаю: этот расчет был ошибочен. То, что тогда в моих глазах означало разрушение, теперь, в другой жизни, видится по-другому.

Когда дерево пересаживают, то неизбежно часть корней рвется. И это больно. Но даже люди, лишившиеся ноги или руки, постепенно к этому привыкают.

Так случилось и со мной.

Вначале действительно было больно. Я еще не мог привыкнуть к своему новому положению, да и ушел от семьи не потому, что я желал того. Как жгла меня тоска по прошлому!

Но оставалась еще слабая надежда: а вдруг случится нечто, что позволит мне снова стать тем, кем я был. И никто даже не узнает о моей болезни. Возвращусь домой и скажу: «Я уходил из дому и вот вернулся, став другим человеком».

Я тогда надеялся на чудо, на какую-то чудесную силу, способную изменить меня.

Так прошли первые пять лет.

После того как я ушел из дому, со мной стало происходить что-то странное, и лучше сразу рассказать об этом.

Неожиданно мне стало казаться, что мое «я» раздвоилось. В каждую секунду своего существования я видел себя как будто со стороны. Будто я — это вовсе и не я.

Мне, взращенному в домашнем комфорте, и не могла присниться эта новая жизнь — жизнь пилигрима,— ее просто не с чем было сравнить в моем прошлом. Но способность как бы извне наблюдать за собой помогла мне понемногу освоиться в окружающей меня новой обстановке.

В таких случаях больше всего человека мучит его память. И я нашел чудесное избавление от нее, призвав на помощь то новое свое «я», что следило пристально за каждым моим движением. Я и дер-

[1] Индийский святой.

жал его так перед собою, не давал ему оборачиваться и глядеть назад, лишая возможности ворошить старое.

Я обошел все святые места. Был и в самых недоступных гималайских пещерах[1], посетил мавзолеи пи́ров[2]. Видел и тантрических[3] святых, и факиров[4]. Кое-кто из них произвел на меня впечатление людей удивительных, выдающихся.

Если бы я был здоров, то, наверно, рядом с ними провел остаток своей жизни. Но болезнь, признаки которой день ото дня все ясней стали проступать на моем теле, не брали никакие заклинания и снадобья.

Те, кто доставил меня в государственный лепрозорий после этих пяти лет моей паломнической жизни, сами жили почти под открытым небом. Это были обитательницы трущоб, служившие утехой посещавшим их почтенным отцам семейств.

Не помню, как, спустившись с горних высот, я в бессознательном от приступа лихорадки состоянии очутился в царстве грешниц. Когда я очнулся от того, что голову мою смочили водой, то глазам моим предстало склоненное надо мной лицо с красным тилаком на лбу — лицо продавщицы пана[5], которую я видел раньше сидящей со своим товаром на одной из улиц города. Мои опухшие конечности и ушные раковины не остались незамеченными ею, и когда приступ лихорадки немного отпустил, она притащила меня к себе.

Уже после того, как мне стало несколько лучше, она рассказала о себе. У нее был муж — плотник, и жили они вполне счастливо до тех пор, пока она не заболела проказой. Это случилось сразу после рождения первого ребенка. Ее отправили в лепрозорий. Когда, излечившись, она вернулась, то ей не нашлось места ни в доме свекра, ни в доме родителей. Она стучалась во все двери, но, изгнанная отовсюду, очутилась наконец здесь, в трущобах на окраине.

Здешние женщины испытывали ко мне сильнейшую жалость. Я-то знал, что будь на моем месте и шелудивый пес, они относились бы к нему с не меньшей заботой — в действительности им только и нужно было найти кого-нибудь, кому бы они могли сострадать. Одна из них раздобыла для меня чудодейственный амулет у некоего прославленного садху. Моя вера в сверхъестественное дала трещину еще раньше, я понял, что петля на моей шее постепенно затягивается. Но хотя ничто не могло поколебать этого убеждения, я с улыбкой наблюдал за тем, как они возлагали на меня амулет.

Через некоторое время опухоли спали, и я почувствовал, что поправился. Заметив это, женщины отправились к избавителю с благодарственным поклоном.

В тот день к вечеру стал порывами налетать ветер, и вскоре начался проливной дождь. Я сидел, съежившись, в углу и думал: «Все! Довольно! Как можно скорее надо удирать отсюда. Я уже начинаю против своей воли привязываться к ним...».

Надвигалась ночь, а дождь все лил не переставая. Стояла непроницаемая тьма: все окна в окружающих домах были закрыты ставнями, и из-за них не пробивался наружу даже лучик света.

С беспорядочными порывами ветра иногда в мой угол под навесом залетали капли дождя, и с каждой новой каплей, попадавшей на меня, я настраивал себя на решение — так настраивают ситар[6], щипля одну за другой его струны.

---

[1] Гималайские горы как мифологическое пристанище индусских богов являются традиционным местом паломничества.

[2] Мусульманский святой.

[3] Тантризм — направление в индуизме, одной из характерных черт которого является обрядность, связанная с практикой йоги.

[4] Мусульманский аскет.

[5] Традиционная индийская жвачка из толченых плодов арековой пальмы, завернутых в лист бетеля.

[6] Индийский струнный музыкальный инструмент.

Отросшие борода и усы изменили мое лицо, но я изменился и внутренне. Теперь даже старые мои знакомые ни за что не смогли бы меня узнать. Прежние свои привычки, которые, казалось, стали неотъемлемой частью моей натуры, я стряхнул с себя, как стряхивают с одежды какую-нибудь козявку.

Но главным было то — и в это не верилось даже мне самому,— что каждая минута моей теперешней жизни казалась мне сладкой, как мед, не важно, испытывал ли я в эту минуту радость или муку, счастье или горе.

Я свернулся калачиком, стараясь сохранить тепло собственного тела, но от сырого ветра по телу стала проходить дрожь, начинавшаяся в озябших ногах. Я закрыл глаза и с наслаждением впитывал в себя звуки глухой ночи, завывание ветра, шум дождевой воды, падавшей с крыши на камни двора.

Мне послышалось, что кто-то прошлепал по лужам.

Через несколько секунд чья-то рука потянула меня внутрь. Поднявшись, я заметил, что едва могу передвигать ноги; зубы стучали от холода. Когда я повалился на постель, то почувствовал, что с каждой волной дрожи, пробегавшей по моему телу, я все больше и больше впадаю в забытье. Моментами мне казалось, что я ощущаю, как какая-то женщина теплом своего тела старается отогреть меня.

Что было после, я не помню. Когда я открыл глаза, то увидел себя лежащим в длинном коридоре больницы.

Оттуда меня уже отправили в далекий лепрозорий.

Не подумайте, что я занят своим жизнеописанием. Что я за фигура, чтобы моей биографией можно было заинтересоваться?

Но я посчитал, что надо вначале рассказать, почему я взялся за перо. Вот только не знаю, как это делается...

(Переводчик подобен послушному ребенку. Ему не годится выражать неудовольствие по какому-либо поводу. Но переводить отрывочную рукопись безымянного автора все равно, что ходить босиком по раскаленному песку. Могут, конечно, возразить, что я по своей охоте занялся этим делом; и мне придется проглотить этот упрек. С детства меня сильнейшим образом тянуло к себе все, что было за пределами того мирка, в котором я рос. И, услышав доносящийся извне голос, я тотчас настораживал уши. Меня снедало желание задавать вопросы, узнать все, что только возможно. Мне хотелось на себе испытать все — хотелось не только ходить, но и спотыкаться, и падать, и валиться от усталости с дрожащими после долгой ходьбы коленями. В работе же над переводом необходимо сдерживаться. Надо довольствоваться лишь тем, что есть в оригинале, ничего не отнимая и ничего не добавляя от себя. У англичан есть такое понятие — ghost writing [1]; книга подписана именем того, кто придумывал общую канву повествования, а писал ее кто-то другой. Такая традиция ведется издревле. Раджи и падишахи держали специальных людей, за вознаграждение составлявших как будто бы со слов первых, а на деле сильно приукрашенные их жизнеописания. Это, конечно, не значит, что все заслуги в создании литературы принадлежат писателям-профессионалам. Какие бы ни велись споры по поводу того, чьи заслуги больше — того, кто поставлял материал, или того, кто обрабатывал его, для меня лично ценнее первое. Но в данном случае я был бы счастлив быть не переводчиком, а тем самым литературным поденщиком, работающим на того, кого я сейчас перевожу. У меня была бы возможность взвесить каждое его слово, восполнить пробелы, задав множество вопросов. Не знаю, правда, решило ли бы это все проблемы. Пусть и принадлежащие одной прямой, но мы разные точки на ней. Как ни старайся, а прийти к полному по-

[1] Ghost writing *(англ.)*— выполнение литературного труда за другое лицо.

добию мы не можем. В лучшем случае мы можем лишь протянуть через себя какие-то близкие параллели. Мне приходится идти следом за тем, до кого я не могу дотянуться даже вытянутой рукой. И я продвигаюсь на ощупь, зная, что выход из этого положения, в которое я против своей воли попал, лишь в том, чтобы закончить начатое.)

Если бы не лечение в лепрозории, я неминуемо лишился бы обеих рук. Но хотя их удалось сохранить, я остался с провалившимся носом и распухшими ушными раковинами, которые ужасно уродовали мое лицо. После излечения мне под разными предлогами удалось задержаться в лепрозории еще на год. Потом у меня оставалось лишь одно: отправляться куда глаза глядят. Болезнь отступила, но вернуться к прежней жизни я не мог. Та пустота, которую я оставил за собой тогда, одиннадцать лет назад, уйдя в добровольное изгнание, наверняка уже заполнилась. Время заполняет постепенно все пустоты.

Я вышел из ворот лепрозория. В руках у меня был небольшой узелок. Когда-то я с пустыми руками ушел из дому, но и тогда я не чувствовал себя таким одиноким. Передо мной лежал весь мир: может, милостью господней выпадет доля — проснусь однажды и увижу, что болезнь моя прошла, как кошмарный сон. Тогда я снова получу в обладание прежнюю жизнь. Но она не будет все такой же. Я изменю ее, соединив со старым, привычным то, что я испытаю в своих странствиях.

Но только теперь, бредя по дороге из лепрозория, я понял, что впереди у меня нет ничего и никого. Лица тех, кого я знал прежде, сначала окутались дымкой, спутались, а после того как я отвернулся от своих воспоминаний, стерлись окончательно.

Прошагав немного, я почувствовал слабость. Торопиться мне было теперь некуда, и я присел, чтобы перевести дух, под ветвистым манговым деревом. Легкий ветерок дул с открытого поля. Я прислонился к стволу и вскоре задремал. Всю прошлую ночь, одолеваемый думами, я не сомкнул глаз.

Неожиданный топот ног множества людей и звуки их голосов вывели меня из дремотного состояния.

Кто-то толкал меня в плечо беспалой рукой и звал:

— Писатель! Эй, Писатель!..

Писатель? Ах, ну да, это же я и есть. Так звали меня в лепрозории другие пациенты.

Окончательно очнувшись от сна, я увидел ватагу людей с перекинутыми через плечо сумами для сбора подаяний.

Я узнал многих из них. Они лечились вместе со мной, и я пользовался у них особым уважением, поскольку мне доводилось разговаривать по-английски с самим главным врачом, и по ночам, когда все уже обычно спали, при свете ночника я записывал кое-что пожалованной им же ручкой. Отсюда и пошло это прозвище — Писатель.

Мне совершенно некуда было идти, и при первом же предложении присоединиться к ним я без малейшего колебания отдал себя в руки этих сокрушенных судьбой людей.

Так началась еще одна моя жизнь. Та жизнь, начало которой положил уход из дому, была парением. Теперь уже у меня была твердая почва под ногами, получил я и спутников — равных мне людей.

Это было невиданное собрание уродов и калек. С возгласами: «Это Писатель! Писатель!» — они, подбежав ко мне, тянули меня за руки к себе. Я чувствовал себя так, словно после долгой разлуки снова увиделся с родными мне людьми.

Это был мой первый день во Время-вне-временье, но, лишь вступив сюда, я почувствовал себя на земле обетованной. Я мог смотреть прямо в глаза каждому, кто жил здесь, и не бояться, что испугаю кого-нибудь своим видом с наступлением темноты.

Уже потом я узнал, как несколько лет назад возникло это поселение.

Здесь, чуть в стороне от дороги, на краю заброшенного поля, в шалашах, служивших укрытием от дождя и солнца, нашли себе пристанище первые из тех, кому было некуда податься после лепрозория. Постепенно на этом самовольно захваченном ими куске земли выросла целая деревня вылечившихся от проказы. Теперь ряды хижин, в которых приютились эти горемыки, протянулись через все поле.

Я был занят беседой, когда меня окликнули. Это была Одноглазка.

— Уже полдень, Писатель. Пора подкрепиться,— сказала она, подойдя ближе.

Я очень хорошо знал ее. Мы лечились вместе. Она вышла из лепрозория приблизительно за год до меня. Ее правый глаз был безвозвратно потерян, но другой кое-как удалось спасти. Эта темнокожая молодая женщина славилась тем, что сразу очаровала всех нас, лечившихся в лепрозории, своими деревенскими песенками.

Мне было странно видеть ее здесь, так как в лепрозории всем было известно, как она предана мужу. И его самого нам приходилось видеть, когда он являлся к ней с какими-нибудь гостинцами или новым сари. Потом уже мне стала известна ее история. Муж выманил у Одноглазки бумагу на передачу ему принадлежащей ей земли, скрепленную по неграмотности отпечатком пальца. И когда Одноглазка вернулась из лепрозория, она увидела, что в бывшем когда-то ее доме хозяйничает другая, а ей же отведено место в хлеву. Горя презрением и стыдом, бежала она в тот же день из своей родной деревни.

Одноглазка протянула мне свежеприготовленный рис на банановом листе. После того, как я ушел из дому, я принимал пищу, лишь уступая чувству голода. Не скажу, чтобы я не испытывал при этом удовлетворение, но это было удовлетворение насыщенной плоти, не более. Теперь же, устроившись в тени на расстеленной Одноглазкой дырявой циновке, я испытывал удивительное наслаждение от каждой пригоршни риса, попадавшей мне в рот.

Покончив со своей трапезой, я, полный удивительного покоя, растянулся на циновке.

Я почувствовал, что нашел здесь, среди этих отринутых обществом, клейменных болезнью людей, свое место под солнцем.

Так наступила новая эпоха в моей жизни.

Когда я впервые вышел вместе с другими для сбора подаяния, мне и в голову не приходило, что в городе, куда мы направляемся, нас ждет такой прием.

Я шел позади всех. Солнце только всходило, распространяя повсюду красноватый еще свет, который казался особенно густым на древесных листьях, присыпанных красной же дорожной пылью, и радостное чувство, рожденное этим зрелищем, наполняло мою душу.

Мы шли, занимая всю дорогу, словно она принадлежала исключительно нам.

Вскоре впереди в облаке пыли показалась движущаяся нам навстречу повозка в воловьей упряжке, в которой сидели несколько человек,— видно, ездили в город по какой-то своей торговлишке и сейчас возвращаются уже без поклажи. Неожиданно повозка свернула на самую обочину и, сильно покосившись набок, остановилась. Сидящие в ней люди, словно окаменев, застыли в неподвижности с

прижатыми к лицу накидками, напуганные ужасной мыслью, что с дорожной пылью к ним в легкие проникнут бациллы проказы.

Похоже было, что никто из наших и не обратил внимания на эту сцену, которая так поразила меня, еще новичка.

Как ни в чем не бывало колонна продолжала шагать, и, свернув влево с дороги, по откосу, усыпанному камнями, мы спустились на прямую тропинку. Так мы достигли того места, где она проходила посредине городской свалки с копошащимися в кучах мусора хрюкающими свиньями. Впереди между деревьями показались первые два-три каменных дома с облупившейся штукатуркой.

Тут же я заметил волнение, пробежавшее по рядам всего шествия. Даже те, кто до сих пор не произносил и слова, вдруг сразу заговорили, сливая свои голоса с общим шумом.

Тропинка перешла в мощеную городскую улицу. Это послужило сигналом для тех, кто шел впереди,— толкая друг друга, они бросились в город.

Началось нечто невообразимое. Безносые, безгубые, с открытым от этого оскалом зубов, беспалые, гнусавыми глотками издавая стоны и воздевая к небу руки, они завертелись в такой дьявольской пляске, что я был совершенно сражен видом происходящего.

Разом захлопнулись двери и окна близлежащих домов, и улица обезлюдела. Немного погодя в нашу сторону полетели комья грязи и камни. Я заметил, что швыряют их дети, прячущиеся кто за колодцем, кто за деревом или углом дома.

Однажды, путешествуя в поезде, я стал свидетелем неожиданного происшествия. Кто-то из пассажиров нашего купе вдруг воскликнул: «Окна, окна!.. Берегись!» Никто не успел и сообразить, в чем дело, как в открытое окно влетел камень и угодил прямо в очки пожилого господина, сидевшего подле меня. Очки слетели с его лица, и битые стекла рассыпались по полу. Только потому, что он сидел к окну боком, осколки не поранили ему глаза, но без очков он был все равно как слепой и провел остаток пути почти без движенья.

О тех случаях, когда дети бросают в окна проходящих поездов камни, я слышал не раз и раньше.

Для детей это нечто вроде игры: кто дальше бросит, кто самый меткий. Но и только ли? Чему в действительности они радуются, попав камнем в бродячую собаку,— своей ловкости? А может быть, им доставляет удовольствие слышать, как она скулит от боли? Не сокрыта ли жестокость за их бездумной детской простотой? Громким голосом заявляют они о правах своей личности и, силой утверждаясь в них, не останавливаются перед тем, чтобы оттолкнуть другого или причинить ему боль.

С возрастом меняют люди те мерки, которыми они меряют свои и чужие права.

Я с трудом поспевал за остальными. Происходящее напоминало мне лихую вылазку отчаянных смельчаков, бросившихся с криками «ура» на приступ вражеского стана.

Вдруг в голову мне попал камень. Схватившись за ушибленное место, я рухнул на землю. Ощупав горящий от боли висок, я заметил, что крови нет, но на месте удара вздулась шишка. Рука моя сама собою потянулась за куском кирпича. В голове пронеслось: «Ну, держитесь! Всем головы расшибу!..» Я готов был уже замахнуться, но опомнился и выпустил кирпич: «Господи боже, на кого поднял руку?!».

Как стая саранчи, мы рассыпались по переулкам и улочкам с отвратительными криками, похожими на крысиный писк, которые издавали наши гнусавые глотки.

Уже теперь мне стало ясно, что все они — стреляные воробьи. Это были люди не того сорта, что выпрашивают милостыню, выжимая слезу сочувствия к своим несчастьям. Калеки, они обладали качествами настоящих воинов, и подаяние они не вымаливали, а отвоевывали, что называется, приставив нож к горлу.

Поначалу горожане, укрывшись за запертыми дверями, гнали нас отовсюду прочь с бранью. Кое-где даже лили с крыш на наши головы кипяток.

Тогда пришлось применить сильное средство, и дело сразу же пошло на лад.

Достаточно было нескольким из наших взобраться на стены оград, за которыми прятались горожанки, и изобразить на своих безобразных лицах ужасающие улыбки, как те немедленно падали в обморок, и тут уж нас прямо-таки стали наперебой упрашивать принять милостыню.

Когда мы с видом победителей возвратились во Время-вне-временье, нагруженные тяжелой поклажей, я едва чувствовал под собой ноги от усталости.

Не могу объяснить, чем это вызвано, но я чувствую, что стал другим. Вот уже несколько дней я не вижу перед собой мое другое «я», заслонявшее от меня прежде всего то, что происходило передо мной. И, избавившись от него, я получил возможность смотреть перед собой.

Было бы не точно назвать наше здешнее поселение просто деревней. В действительности мы — одна большая семья, насчитывающая в своих рядах уже два поколения.

Что бы там ни говорили другие, а мы — тоже люди.

Когда я впервые увидел здесь женщину с ребенком на руках, то был совершенно уверен, что ребенка этого наверняка подобрали, а то и стащили где-нибудь.

Мое заблуждение рассеялось лишь после рождения Сони.

Проказа съела пальцы на обеих ногах и почти полностью на одной руке матери Сони, Дукхонти. Но лицо ее осталось нетронутым. И когда я впервые увидел ее девочку, то не поверил своим глазам. Я невольно снова и снова разглядывал ее крошечные ножки и ручки с целыми пальчиками, и радости моей не было предела. Даже на лицо ее я взглянул лишь много позже.

Вообще, рождение детей у нас здесь — событие особое.

Одноглазка хранит в своей хижине морскую раковину. При каждом появлении новорожденного эту раковину извлекают на свет, и она, переходя из рук в руки, трубит о нем во всеуслышание. В такие дни весь двор дома, где родился ребенок, бывает запружен толпой, собравшейся по этому случаю на угощение. Каждый год в деревне появляется несколько новорожденных, и не успевает утихнуть один праздник, как его сменяет другой. Но совсем не потому, что мы лишь ищем повод для веселья. Радуясь рождению новой жизни, мы испытываем и чувство благоговения перед величием природы, когда на место исчезающего, уходящего, приходит становящееся, растущее.

Примешивается к этому и чувство изумления. Что может быть более поразительного, чем появление на свет полноценного человека, родившегося от объятий двух убогих калек.

Мы не в ладу с окружающим нас миром, отделены от него стеной презрения. По ту сторону живут нормальные люди, а здесь — сломленные калеки. Но в том, что мы живем вне общества полноценных людей, есть своя положительная сторона. Иначе же сердце наше томилось бы в постоянной муке, но не ненависти, нет! — зависти. Было бы нестерпимо видеть окружающее нас благополучие. Мы привыкли постоянно видеть людей, лишившихся кто носа, кто паль-

цев, с веками, не опускающимися на глаза, с истертыми до ран обрубками ног,— и это не вызывает в нашей душе никакого волнения. Здесь это естественно.

Мне даже часто приходит на ум вопрос: не стали ли мы считать здесь, что именно таков и есть нормальный человек?

Но мы же не родились такими, и родителями нашими были нормальные люди.

Кроме того, наши дети... Всякий раз, видя их, мы невольно вздрагиваем: их лица с пропорциональными чертами, целые руки и ноги кричат о нашем уродстве.

Быть красивым и нравиться — разве это совершенно одно и то же? Существует ведь и такая красота, что отталкивает, а может быть и другое: некрасиво, а нравится...

Взять хоть нашего Крикуна — голос у него что твоя труба,— в свое время он работал кочегаром на железной дороге. Как попал в лепрозорий, братцы его обобрали до нитки: оттягали и дом со всем имуществом, да и про жену не забыли.

Но с его рваного лица, украшенного клочковатой бородой, с блестяще маслеными дугами на месте бровей никогда не сходит улыбка. Веселье его увеличивают и постоянные возлияния.

Что ж его радует?... Или это лишь маска, прикрытие...

Крикун — глава здешней воровской шайки. Не раз он приступал ко мне со словами:

— Пойдем с нами!.. Развлечешься в свое удовольствие.

— Нет уж, уволь! — отвечал я ему.— А что, если попадусь?.. Тогда тюрьмы не миновать...

Крикун заливается смехом. Успокоившись, набрасывает на голову накидку, что носит на плечах, и выставляет вперед свое лицо: налитые кровью глаза, уродливая жуть черт заставляют холодеть все внутри. Он говорит:

— Мы же страшней мертвецов, кто нас заберет, зачем?..— И снова смеется.

Прибежали запыхавшиеся дети, посланные на станцию подбирать уголь, и сообщили, что идет облава.

Но тем, к кому они спешили с вестью, это давно известно. Они разжигают свою винокурню лишь по ночам, и к семи утра все уже бывает закончено.

Когда с бравым видом явились вооруженные палками солдаты, огонь догорал. Те же, отчаянно труся, боясь прикоснуться к чему-либо, первым делом взмахами палок отогнали столпившихся женщин от того места, где стояли загодя приготовленные старые худые горшки и глиняные чаны. Затем наши герои, держась на безопасном расстоянии, расколотили их, после чего отступили бегом на заранее подготовленные позиции.

Стоявшие в стороне и наблюдавшие за всем происходящим женщины как могли зажимали свои рты, чтобы не прыснуть со смеху. Представление вышло на славу. Без таких развлечений было бы скучно жить. Всему свету известно, что в нашей деревне вовсю гонят самогон.

Днем здесь все вымирает, и в округе не найти ни одного чужака — в это время мы одни. Дневной свет для нас, прокаженных,— жестокий палач: при нем всему миру видны наши телесные изъяны. И весь день мы ждем темноты — лишь под ее покровом мы способны укрыть свое уродство.

Подаяние, которое мы собираем за день,— это крохи, которыми мы не способны прокормиться. Да и как они достаются? В обмен на синяки и ссадины.

Здешняя кормилица — ночь. С наступлением вечера жизнь во Время-вне-временье распускается пышным цветом. В хижинах, освещенных тусклыми лампами, наполняются стаканы, и начинается азартная игра. То тут, то там слышны амурные песенки, потом вдруг тухнет свет, и если прислушаться, можно услышать приглушенные звуки отправлений животной страсти.

Являются к нам люди и посерьезней. Таких не интересует выпивка и женщины, их волнует лишь краденое добро и контрабанда. Не выходя на свет, они торгуются и, сладившись, так же в темноте исчезают.

С одним из таких сыграл однажды шутку наш Бхуто. Это был известный в городе ростовщик. В тот день он возвращался от нас домой с купленным за бесценок золотым ожерельем. Вдруг в темноте перед ним предстал скелет со светящимися ребрами. Обезумевший от ужаса ростовщик рухнул на землю, а узелок с ожерельем откатился в сторону. Бхуто нашарил его посреди дороги светом того самого фонарика, с помощью которого он, осветив себя снизу, и «превратился» в скелет, и дал тягу.

После ему здорово влетело за это от Крикуна, не поскупившегося на тумаки. Бхуто был вынужден поклясться, что ни за что больше не станет заниматься подобными паршивыми делами.

Досталось же ему поделом. Распространись весть об этом нападении по городу, и ни один смельчак не появится здесь после наступления темноты. Даже у того, кто не боится никого из себе подобных, недостанет храбрости вступить в единоборство с бестелесной силой. И в результате во Время-вне-временье не заманишь ночью ни одной души.

Ростовщик же был известен в городе как великий праведник, поклонявшийся богине Кали[1], и к тому же — последователь некоего наставника-тантриста. Так что, хотя его здорово напугал Бхуто, он не осквернил своих уст произнесением того нечистого места, в котором с ним приключилась эта история, и все дело сохранилось в тайне.

ШУБХАШ МУКХОПАДДХАЙ ■ МЫС, ИЛИ БОЛЕЗНЬ ГАНСЕНА ■

Говорят: и в раю горшок будет кашу варить. То же самое случилось со мной. На меня взвалили обязанности вести всю здешнюю бухгалтерию.

Конечно, то, что здесь не рай, известно каждому. Все добрые граждане соседнего города знают, Время-вне-временье — геенна огненная, ад на земле.

Пролистав все книги учета, я забеспокоился. Мне не понравилось, что в последнее время в массе контрабанды, которая хранится у нас в поселении, стремительно растет доля всяких винтовок и револьверов.

Как бы ни желали мы в свое время смерти, поселившись здесь, мы снова почувствовали очарование жизни. Поднять же руку на чужую жизнь для нас дело немыслимое — тем более что у многих этих рук просто нет.

Каждый день к нам является немало выпивох и жуликов, но ни один из них ни за какие блага не пробудет здесь всю ночь до рассвета: страх увидеть нас при свете дня гонит их отсюда. Это самое чувство заставляет их и в опьянении не терять головы.

Время-вне-временье словно бы накрыто невидимым шатром страха, поднявшимся над ним до самых небес, и когда чужаки поворачивают к нам с дороги на краю поля, кажется, что на них падает его тень.

Прошло уже много лет, как появилось наше поселение, но не было и слышно, чтобы здесь произошло не только убийство, но и

[1] Одна из наиболее почитаемых богинь индусского пантеона.

просто кровавая драка. Никому не хочется оставить здесь свое мертвое тело — всякому известно, что, появись здесь труп, он здесь и останется: ни один могильщик не согласится притронуться к телу того, кто побывал в селении прокаженных.

Когда-то мне казалось, мы отделены от всего остального мира, но со временем я понял, что это ошибка.

То, что представлялось мне островом, на самом деле оказалось мысом.

Дочь Дукхонти, Соня, и Полтон, сын Баташи,— мои любимцы. Каждый день они приходят со своими друзьями поливать мой маленький садик.

Вчера в нем распустилась первая роза. Я послал ее с Соней Одноглазке. Украсив цветком прическу, Соня заставила восхищаться своей красотой тех, кто приходил к нам в тот вечер. Уже ночью мне передали, как была рада Одноглазка, получив от меня эту розу.

Почти сразу, как только возникло здесь поселение, повелось, что мужчины и женщины стали сходиться парами. Дети, кто бы ни был их отцом, до трех лет живут с матерью, а потом их устраивают в другом месте отдельно от родителей.

Вечером, перед тем как ребята улягутся спать, я часто прихожу посидеть у них.

Крикун тоже приходит, если у него выдается свободный вечер, и заводит свои истории, непременно украшая их прибаутками да стишками.

Когда его нет, мне приходится нелегко: я вынужден сам выдумывать какие-нибудь рассказы. Детям нравится, как я говорю, самый мой язык кажется им непривычным и от этого будто даже по-настоящему сказочным.

Тот мир, который исконно существовал во Время-вне-временье, стал давать трещину, и мы все более и более ясно начинаем осознавать это. Оказалось, что те, на кого мы смотрим как на свою опору в будущем — как бы ни были они хороши в других отношениях,— не годятся для этого: с каждым днем все яснее проявляется шаткость и непостоянство нашей молодежи.

Последнее время было отмечено чрезвычайными событиями.

В течение полутора месяцев в городе случилось шесть убийств. В совершении каждого из них подозревают прокаженного: люди видели, что лицо убийцы безобразно изуродовано.

Когда до нас дошла весть об убийце-прокаженном, мы были ошарашены: выходит, кто-то из наших.

Но кто же?

Одно за другим приходят известия о новых убийствах, и мы исподтишка начинаем следить друг за другом.

Естественно, первым, на кого мы подумали, был Крикун с его безобразным лицом. Но, глядя на его лицо, действительно пугающе уродливое, невозможно было заметить в нем хоть что-нибудь, похожее на нечеловеческую жестокость. Правда, нельзя отрицать, что в те ночи, когда совершались убийства, он действительно выходил из поселения воровать, но ведь убийства происходили между восемью и девятью вечера. Крикун же отправлялся на свой промысел уже после полуночи, и тому есть много свидетелей — его собутыльников в те вечера.

Кто же тогда, если не он?

До сих пор мы свободно и с легкой душой разгуливали по всему поселению, а теперь мы стали ходить с оглядкой. Даже и не поворачивая головы, можно было быть уверенным, за каждым нашим шагом следят.

В таком кошмаре мы прожили два месяца.

В конце концов убийца был схвачен на улице соседнего города

с пистолетом в руках. Тут же стало известно, что это не прокаженный — его лицо было обезображено ожогами.

Нам первым сообщили об этом знакомые полицейские из ближайшего участка, наведывавшиеся, чтобы пропустить стаканчик из наших запасов.

Но, к огромному удивлению, эта новость, которая должна была бы привести нас в ликование и позволить вздохнуть, наконец, свободно, не произвела такого эффекта. Все так настойчиво стали расспрашивать гостей, что, казалось, никто не верил в истинность их слов.

Скрытое напряжение, которое владело нами в то время, как речное половодье, стало спадать. Но спав, оно открыло всем взорам ту грязь, что осталась после него.

Теперь стало ясно, что мы в конце концов уверовали в убийцу-прокаженного. Не потому ли, что эта вера была так сильна, нам было трудно расстаться с нею? Так бывает жалко выпустить из клетки вскормленное тобой животное.

Но только ли в этом все дело?

Мы сами не знали, что под спудом наших отношений со всем миром, основанных на страхе, скопилось столько ненависти к нему, готовой, как порох, вспыхнуть в любую минуту.

Но чудовище, вызывающее ужас окружающих, несмотря на всю свою показную мощь, на самом деле бессильно. Все, чем оно обладает,— лишь пугающая внешность, и нет смысла обманывать самих себя, что это не так.

Сезон дождей — трудное для нас время. Поскольку наше поселение расположено на возвышенности, нас не заливает, но когда дождь льет без перерыва, нет возможности растопить сырыми дровами котлы винокурни, стоящие под открытым небом. Естественно, сокращается и производство самогона, так что жаждущие вынуждены отправляться домой несолоно хлебавши.

Наступившая же в этом году засуха, которая разорила крестьян всей округи, принесла нам огромную прибыль: винокурня работала в полную силу. Женщины, в чьи обязанности входит присматривать за ней, не имели и свободной минуты.

В нашей деревне еще месяц назад поселились трое парней. Для всех чужаков это тайна.

Они попались в лапы полицейских, но им удалось бежать. И однажды они очутились у нас, во Время-вне-временье. Пробрались они сюда, зная, что только здесь на некоторое время смогут укрыться от вездесущих сыщиков.

Один из них коротышка, двое других — длинные и худые.

Это были не уголовники, и с первого же взгляда на них я понял, что тут не обошлось без политики.

У нас они, еле передвигаясь от изможденья, объявились после того, как просидели два дня в каком-то полуразрушенном доме соседнего города.

С самого детства я существовал в узком мирке своей семьи и немногочисленных друзей, и меня никогда не волновали судьбы тех, кто находится за пределами этого круга. Живя в большом городе в многоквартирном доме, я не замечал даже своих соседей. И не испытывал ни малейшего интереса к политике со всеми ее деятелями, которые в своих предвыборных речах не скупятся на высокие слова, а добравшись до власти, строят из себя вельможных особ.

Первую неделю эти ребята лишь отсыпались. Заботливое отношение и здоровая пища сделали свое дело: через несколько дней

они пошли на поправку. Чуть только они поднялись на ноги, стали собираться в дорогу. Но в конце концов остались еще на две недели, вняв предупреждению Одноглазки, что стоит им выйти за пределы нашего поселения, как полиция тут же бросится за ними по пятам.

Эти две недели, на которые трое ребят задержались у нас, доставили нам немало радостей.

До того как встать под флаги движения [1], все трое были студентами-медиками.

Один из них обладал чудесным голосом и научил нашу молодежь своим песням: «За это мне и жизнь свою отдать не жалко...» и «Гляди, гляди, настанет день...» Другой же удивительно здорово умел подражать крику разных птиц, а коротышка мог, поднеся к лампе ладони с хитроумно сложенными пальцами, показывать на стене совершенно уморительный театр теней.

Когда они ушли, нам показалось, что селение вдруг опустело. И было от чего опечалиться: впервые за все существование этого поселения сюда пришли жить люди из внешнего мира. Ведь у нас ни родных, ни друзей — кому взбредет в голову прийти на это кладбище живых мертвецов? Казалось, эти ребята были пришельцами с другой планеты. Если бы не отчаянное положение, в котором они оказались, пришли бы они сюда?

С их появлением мы узнали, что в том желанном мире, который нам пришлось покинуть и тоска по которому не оставляла нас никогда, не все благополучно, как это нам казалось отсюда. Если бы это было не так, по какой же еще причине эти трое благополучных молодых людей встали бы на путь отчаянных сорвиголов?

Если я правильно понял их речи, они видят свою цель в том, чтобы до основания переделать весь мир, а наводить на него внешний лоск, по их мнению,— лишь увеличивать муки людей. Тут нужны не старанья ювелира, а могучий удар кузнеца.

Ну что ж, хорошо, коли удастся все сделать так, как они говорят. А что, если нет?..

В проворстве им так или иначе не откажешь. Им удалось сохранить память о себе. Песни, которые с их голоса распевает сейчас наша молодежь, заставляют нас помнить о них и теперь, когда их нет с нами.

Впервые в жизни я дал волю слезам.

По ком же я плакал?.. По тому самому Бхуто, к которому я никогда не питал особенно нежных чувств. Он размозжил себе голову о камни, свалившись с карниза третьего этажа дома, в который он собирался забраться. В тот самый момент, когда он было хотел проникнуть внутрь, навстречу ему выскочила огромная разъяренная собака с оскаленными клыками. Испугавшись ее, он потерял равновесие и сорвался вниз. Умер он, когда его несли назад к нам.

Крикун рвет на себе волосы, говоря, что он лишился своей правой руки.

Тело опустили в вырытую яму и медленно забросали землей.

На этой церемонии присутствовала девушка, которая незадолго до этого ушла от Бхуто к другому. Она никак не могла совладать со своими слезами, и, наконец, ее увел тот самый парень, которого она предпочла Бхуто.

По здешнему обычаю, мертвеца хоронили в земле. Конечно, огненное погребение нам во многих отношениях подходит больше:

[1] Речь идет о левоэкстремистском движении так называемых «наксалитов», члены которого пытались вести вооруженную партизанскую борьбу против существующего в Индии государственного строя.

к чему сохранять останки изъеденного болезнью организма... Но кремация — дело дорогое.

По здешнему же обычаю, никто не осуждал ту девушку за ее измену. В подобные дела общество не вмешивается — люди сходятся и расходятся друг с другом, лишь полагаясь на собственные чувства.

Болезнь Гансена! То есть я хотел сказать — проказа... Мы здесь все прокаженные. Хотя и излечились, но остались по-прежнему прокаженными и будем таковыми всю свою жизнь. Спрятать это проклятье невозможно, при первом же взгляде на нас любой заметит нашу ущербность.

Мы здесь не принимаем в расчет тех, кто умер в материнском чреве или сразу после родов. В нашей памяти остаются лишь те, для погребения которых приходится вынимать много земли. Среди них Бхуто был третьим.

Раньше умерла одна женщина во время родов и один мужчина — от укуса змеи. Так что смертей было немного.

После похорон я сидел в одиночестве под деревом, и вдруг меня точно прорвало: я рыдал без остановки и никак не мог успокоиться, сам не понимая, отчего это со мной происходит.

Еще ребенком я отличался сдержанностью.

Пусть внутри я испытывал мучительную боль, но никто, глядя на мое лицо, не мог и догадаться об этом. Даже известие о смерти отца заставило меня лишь беззвучно опуститься в кресло. И через четверть часа я уже смог отправиться выполнять свой сыновний долг.

Если бы на месте Бхуто была Соня, может быть, тогда... Но кто такой Бхуто?.. Я не слишком любил его. Напротив, этот случай с украденным у перепуганного до смерти ростовщика ожерельем вызвал самый большой гнев именно у меня.

Я взбесился тогда потому, что Бхуто — будь то из прихоти или из жадности — поставил себя над всеми прочими. И его необходимо было примерно проучить, чтобы такое было неповадно и всем другим.

Сейчас видно, что Крикун тяжело переживает смерть Бхуто. Потому лишь, что он утратил своего первого помощника?..

Люди из внешнего мира боятся и ненавидят нас, и на этих чувствах зиждилось все наше существование. Нашей самой большой силой всегда была уверенность, что нас не тронут, боясь прикоснуться к прокаженному.

Впервые эта уверенность пошатнулась.

Мог ли предполагать Бхуто, что ему придется столкнуться с таким существом, которое не побоится не только прикоснуться к нему, потому что он жил в поселении прокаженных, но и готово разорвать его в клочья.

В годы своих странствий однажды на ярмарке я видел представление джатры [1]. Актеры разыграли сцену нападения на Арджуну [2] лесных разбойников: его дивный лук — гандива,— дарованный ему богами, бездействует, и Арджуна оказывается беспомощен против них.

Помню, как тяжело мне было смотреть на это.

То, что я видел вчерашним вечером, очень сильно меня огорчило, но все равно я не стал распространяться об этом.

Решив промочить горло, я вышел из дому. По пути к винокурне я заметил стоящую за одной из хижин Соню. Я вдруг поразился, увидав ясно различавшуюся и в полутьме крутую волну ее груди,—

[1] Вид народного театра, представления которого в большинстве случаев основаны на эпизодах из древнеиндийских эпических циклов.

[2] Один из братьев-пандавов — главных героев эпоса «Махабхарата».

боже, да ведь она стала совершенно взрослой! В тот же момент я заметил, что она не одна: рядом с ней стоял городской парень, известный своими уголовными делами. Они о чем-то горячо шептались, а я почувствовал, что сердце у меня защемило.

Словно чтобы подбодрить себя, я спросил:

— Кто это? Соня?..

— Да, это я.

— Не пора ли домой?..

— Нет, что-то спать не хочется...

Делать нечего. Соня катится в пропасть. И ничего с этим не поделаешь.

Мы не на острове. Мыс, на котором мы живем, неотделим от материка. Но те, кто живет на самом материке, так устроили свои сточные канавы, что вся их грязь стекает к нам.

Вот те трое ребят, которые толковали про силу оружия, подумали ли они о том, что их универсальное средство не годится для тех, кто не может сжать руку в кулак, а то и вовсе лишен рук?..

Я вдруг почувствовал, что плачу — не о ком-то или о чем-то конкретном. И я не стал сдерживать этих слез, быть может, впервые в жизни, благо вокруг не было никого, кто смог бы стать свидетелем моей слабости.

Мы все были несказанно удивлены, когда к нам пришел Большой Бабу [1].

Поначалу издалека был виден только его черный зонт и под ним фигура в ослепительном от падавшего на него солнца белом одеянии. Когда он подошел ближе, рубцы, покрывавшие его лицо и руки, стали заметны. Но и сейчас было видно, что когда-то он был очень красив.

Впервые я с ним встретился в первые годы моего пребывания в лепрозории. В его жестах и манерах было что-то аристократическое. Он обладал характером серьезным.

Происходил он из старинной заминдарской семьи, владевшей имуществом и в городе. Его отец был юристом по профессии, старым конгрессистом [2], убежденным либералом и гандистом. Не удивительно, что он не оставил своего больного сына в беде, напротив, Большой Бабу видел от своих домашних даже больше ласки, чем его братья.

Его случай был очень серьезный, и отец за большие деньги отправил его лечиться в лучшую платную больницу на Юге Индии. Там он совершенно излечился и после этого вернулся домой.

— И женился,— добавил он, широко улыбаясь, в заключение рассказа о последних годах своей жизни.

— Неужели на Упрямице?

— Да. А я вижу, вы помните ее.

Главный врач нашего лепрозория, отец Рили, получал время от времени письма от Большого Бабу, когда тот уехал на Юг. В них Большой Бабу просил его подробнейшим образом писать ему о том, как живут все его прежние знакомые.

Однажды, уже через много дней после отъезда Большого Бабу, отец Рили пришел ко мне, очень озабоченный, и сказал:

— Зайди ко мне... У меня есть важная новость.

Когда мы оказались в его кабинете, он со словами: «Прочти это» протянул мне письмо. Оно было от Большого Бабу. Он писал:

«Отец мой, я не говорил вам об этом раньше: я люблю одну женщину. Мы познакомились с ней, когда я в самом начале болезни находился в первом своем лепрозории. Однажды я пошел к ней,

[1] Бабу (букв. «господин»)— почтительное обращение к старшим по возрасту или положению.

[2] Имеется в виду партия Индийский национальный конгресс.

неся с собой написанные для нее стихи. Когда я читал их ей, она слушала, сидя на кровати, и качала ногой. Затем неожиданно вскочила и быстро сказала: «Я все поняла... Но не трудитесь напрасно — нелегко заманить упрямицу...» Мое мужское самолюбие было уязвлено, и я повторял про себя: «Ну погоди, строптивая Упрямица!.. Настанет день — и я укрощу твою гордыню». А через несколько дней я уже был в другой больнице, там, у вас. И оттуда я послал ей первое свое письмо, совершенно не надеясь, что она на него ответит. Письмо мое было очень сдержанным, в нем я лишь осведомлялся о ее житье-бытье. Но ответ пришел очень быстро. Дальше — больше. Постепенно через эту переписку мы оба почувствовали, что близки друг другу. Теперь она свободна, и я месяца через два-три смогу возвратиться домой. Родители согласны на наш брак. У меня же одно условие: у нас не должно быть детей».

И вот через столько лет я снова вижу Большого Бабу перед собой.

Заглянув во все уголки, он внимательно осмотрел наше поселение. Беспрестанно справлялся, сколько в нем хижин, сколько взрослых, сколько детей, кто из них пришел сюда с родителями, а кто родился уже здесь, какова площадь участка.

Перед уходом он обещал вскоре прийти снова, возможно, вместе с Упрямицей.

Я проводил его до дороги.

Видно, у Большого Бабу есть что-то на уме. Что же это в действительности, он пока умалчивает. Одно ясно — об этом говорило все его поведение,— ему хотелось, чтобы это «что-то» осуществилось не без моего участия.

Я и сам уже с некоторых пор стал чувствовать, что так жить больше нельзя. Мы очутились в тупике, и если из него не удастся найти выхода, то судьба этих несчастных людей будет ужасной.

Меня очень волнует участь людей всего этого поселения, хотя это и может показаться странным: ведь не родился же и не вырос я на этой земле, среди этих деревьев; и эти несчастливцы — кто они мне? Я, наконец, не их роду-племени. Но тем не менее я чувствую, что связан с ними какими-то таинственными, нерасторжимыми узами.

За последнее время у нас произошло несколько событий, которые меня очень обеспокоили.

Не раз я замечал, что наша молодежь, ходившая прежде на поденную работу в соседние деревни, все чаще слоняется без дела. Правда, конечно, что там на них взваливают самую грязную и трудную работу, за которую они не получают и половины полагающейся платы. И всем заметно, как с каждым годом растет их недовольство.

Обидно, что их раздражение обращено на старших. Хотя, разумеется, тому есть причины: не будь они детьми здешних жителей, все было бы иначе. Они по крайней мере имели бы возможность настаивать на своих условиях, торговаться с теми, кто их нанимает. Но они родились от прокаженных, и оттого рушится их жизнь.

Безусловно, в том, что они прогуливают или вовсе не желают идти работать, нет ничего удивительного. Но нас заботит то, что это лишь симптом скрытой болезни.

Ну хорошо, пусть они притаскивают краденого, по всей видимости, козла, чтобы, изжарив его, устроить себе пир, но все эти яркие тряпки, в которые они вдруг стали наряжаться,— откуда они?

Заметили это мы совсем недавно.

Прежде у нас и в помине не было зеркал, хотя нельзя сказать, что люди ходили растрепанными и неопрятными. Пойлу первым об-

завелся купленным на базаре зеркальцем и бритвой — у него только стал пробиваться темный пушок на верхней губе. И сразу же в кругу молодежи началась борьба за право обладания этим желанным предметом.

Потом купила зеркало и Соня. Так постепенно все эти вещицы прочно вошли в обиход в ребячьем мире.

Откуда все-таки берутся деньги на эти цветные майки, в которых разгуливает Пойлу, не слишком утруждающий себя работой? Да и не только Пойлу, с него стали брать пример и другие.

От Сони, начавшей пудриться и красить губы, теперь не отстают и остальные девушки. Ангти, например,— а надо заметить, она стала совсем взрослой — такое выделывает у себя на голове, что только диву даешься: волосы взбиты, цветные ленточки навязаны...

На молодежь стали бесконечно жаловаться. Начала Одноглазка: «Вот напасть!.. Что ни день — один или два кувшина с самогоном как сквозь землю!». «Опять гости говорят, самогон водой разбавили...» Кроме того, без конца пропадает что-нибудь из контрабанды. А и то и другое бьет по самому главному, на чем держится экономика здешнего сообщества.

Все это ширится, как круги на воде и грозит вскоре захватить собой все...

Да будет так! Такова наша судьба. Молодые растут и неизбежно занимают наши места.

Наш охранительный талисман — проказа. Но уйдем мы, и исчезнет граница, отделяющая наше поселение от внешнего мира, и дети наши будут перед ним совершенно беззащитны. Пока их броня — это мы, но долго ли нам еще существовать?..

Крикун никак не может прийти в себя после смерти Бхуто. Его мучает мысль: что станет с его ремеслом, если все заведут себе собак, не боящихся никакой проказы?..

И разве заманишь во Время-вне-временье гостей, если наш самогон все время будет разбавлен?

Недавно Пойлу притащил щенка. Крикун же, отобрав его, той же ночью унес куда-то, так что и следов не сыскать,— чужаки могут испугаться собаки, а это до добра не доведет.

Все овощи, которые идут нам в пищу,— с моего огорода. Часто люди приходят поглядеть, как идут дела на нем, всякому интересно, что нового я посадил. Вид растущих овощей их несказанно радует.

Помню, как все началось. Однажды я — скорее даже из простой прихоти — разбросал по земле сухие зерна перца. Через несколько дней я заметил пробившиеся ростки с двумя зелеными листочками на каждом — и с тех пор это стало моим увлечением, целиком меня захватившим.

Я никогда не занимался тем, что принято называть физическим трудом. Знай себе посиживал в офисе, закинув ногу на ногу. Даже дома я лишний раз палец о палец не ударял.

Разумеется, я работал, но то была работа для ума, и отдавался я ей лишь тогда, когда она меня чем-то привлекала. К тому же, честно говоря, это было лишь в студенческие годы. Как ни сухи на первый взгляд все эти расчеты пассива и актива, которыми я занимался, но и в них можно было почувствовать биение жизни. Но после того как я попал на службу, это доставляло мне все меньше и меньше удовольствия. Моим делом стало при помощи всяких подтасовок и ухищрений превращать невозможное в возможное и наоборот. Поначалу, это мучило меня, но скоро жирное жалованье, которое мне платили, заслонило все перед моими глазами.

Сейчас, когда я думаю о себе, мне кажется, что, получи я возможность снова вернуться к своей прежней жизни, я не чувствовал бы себя счастливее, чем теперь. Теперь я понимаю, каким ничтожно

глупым был тот идеал счастливой жизни, к которому я стремился тогда: много денег, номер в лучших гостиницах, персональный автомобиль с шофером от фирмы. Сейчас мне ясно также и то, что покойная жизнь притупляет все чувства.

Когда-то я не мог оставаться наедине с самим собой из страха, что память о прошлом набросится на меня сзади. И я бежал от воспоминаний, глядя на себя через свое второе «я», которое не спускало взгляда ни на секунду с моего лица. Когда же я пришел сюда, оно растворилось во всех окружающих и мои терзания, наконец, прекратились.

Знаю, что все, о чем я теперь рассказал, будет не под силу понять моим прежним знакомым.

Сейчас мне в голову пришла одна мысль, изумившая меня самого: я не смогу сказать — если спросит меня кто-нибудь — не только какое сегодня число, но и какой сейчас год! И причина не в том, что время здесь остановилось. Нет, на самом деле каждый день для нас — единственный, и позади, и впереди его ничего нет.

В прошлом мне казалось, что если я не прочту свежей газеты, то буду чувствовать себя оторванным от всего мира. Но когда я заболел и действительно оказался оторванным от всего мира, эта привычка получать ежедневную порцию новостей исчезла.

Вчера мне попался обрывок газеты, свернутый в кулек, каким-то ветром занесенный к нам. Расправив его, я вздрогнул от неожиданности: пишут, что человечество на грани новой мировой войны. От какого числа газета — выяснить было невозможно, но, судя по пожелтевшей от времени бумаге, далеко не свежая.

Следовательно, человечество встало перед лицом всемирной катастрофы. Достаточно нажать кнопку — и все взлетит на воздух. Но ведь нажимать ее будет человек... Может, потому, что ему еще дорога жизнь, он и не нажал пока роковой кнопки?.. А что, если до этой кнопки доберется самоубийца?..

Вчера ночью меня разбудила Одноглазка. Я был весь в поту, грудь сдавило. Очнувшись ото сна, я вспомнил, что мне снился кошмар. Городские подожгли Время-вне-временье. Наши дети стоят у полных ведер воды и рыдают. Пальцы их рук сжаты — они не могут поднять ведра.

Я не стал рассказывать о своем сне, но весь день я не мог успокоиться.

Конечно, эти люди из города не такие дураки, чтобы, запалив наше поселение, заставить разбежаться повсюду изъеденных болезнью прокаженных. Наоборот, их устраивает, что мы живем в отведенном для нас хлеву. Меня удручало другое. Дети не могли разжать свои пальцы, но ведь они способны ими двигать! Так что же, мы растим их по своему образу и подобию?.. Эта мысль стучит у меня в голове с самого утра, не давая ни минуты покоя.

(Перевод никогда не бывает абсолютно точным. Даже в переводе, который делает сам автор, вполне могут возникнуть некоторые расхождения с оригиналом. Когда же автор недосягаем, переводчик способен подчас почувствовать чрезмерную свободу. Я лично считаю наилучшим принципом для перевода — как можно точнее следовать оригиналу. Снимая по роману фильм, авторы последнего перекладывают литературное произведение на язык кино. И бывает, когда один и тот же роман экранизируют дважды, фильмы получаются разные; даже при разных переводах одной и той же вещи на один и тот же язык вполне возможны различия. Мне бы не пришлось вдаваться в столь длинные объяснения, если бы автор этой вещи был лицом известным, а сама она существовала не в виде написанной от руки пачки листков, но была отпечатанной в типографии книгой. Любой смог бы в таком случае — возникни у него какие-то сомнения в правиль-

ности моего перевода — заглянуть в нужное место оригинала. Разумеется, таким образом можно было бы составить мнение и о своих способностях. Но это особая статья. А действительность же такова, что сравнение с оригиналом в конкретном случае невозможно.

Передо мной, безусловно, был открыт такой путь: попросить кого-нибудь из моих знакомых романистов сперва обработать как следует оригинал, а затем уже приступать к его переводу. Что я и попытался осуществить. Но тот, на кого я насел со своей просьбой, ответил мне, что лучше не трогать чужих вещей. Я и сам это после понял. Существуют вещи, которые просто невозможно себе присваивать. В том, что мой автор ничуть не заботится о конкретности изображаемых им лиц, времени и места происходящего, угадывается его авторский замысел; но не только как читатель, более всего как переводчик я испытываю от этого неловкость. Мое положение подобно тому, в которое попадает человек, ведомый с повязкой на глазах в какое-то тайное обиталище: неизбежно спотыкаешься по пути. Было бы нечестно не извиняться за свое вторжение в чужой рассказ, но, сказать по чести, я и по сию пору не возьму в толк, зачем и для кого автор хотел моим голосом донести до читателя свое сочинение.)

Уже несколько дней у меня очень тяжело на душе. Причиной этому — целая череда неприятных событий.

Об одном из них мне не хотелось говорить никому, даже и Одноглазке.

Было раннее утро, когда я, справив нужду, возвращался к себе. Проходя мимо свалки, я вдруг заметил какой-то узелок в пятнах крови. Его вид показался мне подозрительным.

Подняв с земли палку, я пошевелил узелок и убедился, что это была плоть с едва проступившими признаками человеческого существа. Первым моим порывом было броситься прочь от этого места. Небо светлело, скоро люди начнут вставать, и, увидев меня здесь, кто-нибудь наверняка заинтересуется, почему я задержался.

Но потом мне пришло в голову, что этот сверток, лежащий на открытом месте, неизбежно привлечет внимание кружащих в небе коршунов. Ведь все-таки человек! Раз уж заметил, не годится оставлять его здесь...

Вытащив из кучи мусора какую-то железку, я расковырял неподалеку небольшую ямку. Времени на это ушло немного. Затем я перенес сверток туда и осторожно засыпал его землей, воткнув сверху крохотный росток полевого цветка.

Покончив с этим, я сел на траву и вытянул ноги; торопиться было некуда. Легкий утренний ветерок освежал мое лицо. Вдали над холмом все ярче распускался красный цветок солнца.

В моей голове волнами проплывали мысли. Это первый подобный случай во Время-вне-временье. Было немыслимо, чтобы здесь случилось такое! Ведь, узнав, что женщина ждет ребенка, все эти калеки приходят в восторг и сбегаются поглядеть на новорожденного — нормального малыша.

Солнце начало припекать, и я встал. У меня было такое чувство, будто я весь извалялся в грязи. «Надо поскорее пойти умыться»,— подумалось мне.

Я уже было направился к дому, как вдруг увидел перед собой Соню. Я и не заметил, когда она появилась. Ее лицо, освещенное солнцем, было бледно. Мне показалось, что глаза ее блестят. Не от слез ли? Я хотел взглянуть на нее еще раз, но она опустила голову. Зачем она здесь? Может, пришла попросить меня о чем-то?

Оглядев ее, я впервые заметил, что она сменила свое детское платьице на сари.

И тут я все понял. Мне захотелось обнять ее, прижать ее голову

к своей груди, гладить ее волосы, как я делал это, когда она была маленькой, но тут же вспомнил, что руки мои испачканы. Да и дотянуться ли мне до нее через ту пропасть, которая лежит между нами?..

Я подумал, что надо улыбнуться и уйти. Но где ей заметить улыбку на моем обезображенном лице?.. И я ушел, так и не сделав этого.

Мне теперь все чаще хочется побыть одному. Прежде я просиживал вечера рядом со всеми на нашей винокурне, сейчас же меня туда не тянет.

Многие из тех, что раньше приходили к нам ради дешевой выпивки и женщин, задрали носы. Все это они могут получить и в городе, и к нам теперь ни шагу.

Те же, кто еще продолжает приходить, за эти несколько лет очень изменились. Когда-то они, сжавшись от страха, приносили с собой свои стаканы и закуску. Сейчас же они нередко оставляют свои стаканы дома и хладнокровно покупают себе закуску у матери Ангти. Ее лицо, лишенное носа, не вызывает у них никаких особых эмоций.

Было время, когда эти искатели выпивки и продажной любви потихоньку приползали сюда и так же бесшумно исчезали. Ни буйства, ни беспорядков — ничего этого не было.

Помню, однажды на моих глазах один пьяный замахнулся на другого ножом. Его не пришлось хватать и бороться с ним. Я, подойдя, лишь притронулся к его плечу, и он тут же как будто свернулся весь, подобно улитке, прячущейся в своей раковине.

Остается только надеяться, что их прежний страх не прошел еще окончательно.

Прежде они заходили в хижины к женщинам, тушили там свет и очень скоро выходили обратно. Теперь же их посещения занимают немало времени, они стали требовать от женщин всяких непотребств. Глядишь — зайдет речь и о любви. Тогда нам остается одно: камень на шею — и в воду.

Это все скверные для Время-вне-временья приметы.

Прощаясь, Большой Бабу обещал вскоре прийти опять, но не появляется вот уже два месяца.

Насколько я понимаю, он человек сердечный. Не знаю, какова его жена, но обыкновенно люди, которым в жизни много пришлось пережить, добры к окружающим.

Большого Бабу тяготит то, что его семья слишком заботится о нем,— он так и не смог в свое время порвать все родственные связи. Его отец — человек весьма уважаемый, и потому Большой Бабу смог остаться в городе, но был обречен на затворничество в своем доме.

Отцовского наследства хватит, чтобы Большой Бабу безбедно смог прожить всю свою жизнь. Но в городе он одинок, и избавиться от этого наказания он не сможет никогда.

Из его слов, которые он говорил в свое прошлое посещение, мне показалось, он хочет уйти из родительского дома. Неужели сюда, к нам?.. Не верится, чтобы он смог.

Большой Бабу сострадает нам, но все-таки он не наш до конца. Он оказался в положении того, кто встал одной ногой в одну, а другой — в другую лодку.

А мы — здесь, во Время-вне-временье. И уже столько лет. Мы очутились здесь потому, что были сброшены со всех счетов. Как следствие — между нами нет отчуждения.

Если бы у нас была возможность не иметь контактов с внешним миром, тогда, вероятно, стало бы ясно, способна ли здесь возникнуть

какая-то новая жизнь или нет. Но неизбежные внешние связи мешают этому. Или все дело в том, что прошлое в нас не изжито?..

Вчерашней ночью я впервые заметил в волосах Одноглазки седые нити. Кто бы мог подумать!.. Стало быть, моя-то голова уже вся белая.

Почему же не показывается Большой Бабу?

Я плохо спал ночью, успокоение пришло лишь под утро, поэтому проснулся поздно. Когда я, наконец, встал, чай, который был оставлен для меня в стакане, уже давно простыл.

До меня донеслись крики, исходившие, по-видимому, с центральной площади поселения. Я поспешил узнать, в чем дело. Надо сказать, прежде шум у нас случался редко, теперь же люди стали очень несдержанны, выходят из себя по малейшему поводу.

Когда я подошел ближе, то услышал голос Крикуна, разносившего кого-то на чем свет стоит. Пробравшись сквозь толпу, я увидел, что весь сыр-бор разгорелся из-за Пойлу. На него, плачущего, с расквашенным носом, жалко было глядеть.

Покончив с наказанием, Крикун зазвал меня в свою хижину. Мы уселись на циновки, и Ангти принесла нам горячего чая. Я давно ее не видел. Она склонилась ко мне, подавая стакан с чаем, и я заметил, что детское платьице уже не может прикрыть ее развившееся тело. Взглянув на ее лицо, я заметил в уголках глаз следы краски, на губах — остатки помады; а на щеке — царапина от ногтей.

Я быстро отвел взгляд. Было непохоже, чтобы Ангти испытывала передо мной хотя бы малейший стыд.

Крикун был занят, унимая свой гнев добрыми глотками чая, и не замечал моей реакции на вид Ангти.

Наконец он начал рассказ. Голос его был схож со звуками надтреснутого гонга. Пойлу с некоторых пор стал бегать в кино на вечерний сеанс, и об этом знали многие ребята, а потом стали догадываться и взрослые, наблюдая, как он распевает со всякими ужимками песенки из фильмов.

Он пробирался в зал после того, как тушили свет, чтобы никто не признал его.

Вскоре он понял, что обшаривать карманы в темноте у увлеченной происходящим на экране публики — дело нетрудное. Но жадность сослужила ему дурную службу: он был пойман за руку. Если бы не знакомый полицейский, утащивший Пойлу в участок, вырвав его из рук разъяренной толпы, ему едва ли удалось бы уйти оттуда живым и невредимым.

Но то, что случилось вчера в полицейском участке, и было самым страшным. Об этом рассказал запыхавшийся Пойлу, подняв рано утром с постели невыспавшегося Крикуна.

Когда Пойлу очутился в полицейском участке, ему сразу бросилась в глаза необычная для позднего времени суета, царившая там: большие и малые чины беспрестанно бегали через двор, стуча каблуками по каменным плитам, к помещению, отгороженному с одной стороны железной решеткой.

Предоставленный самому себе, Пойлу примостился в укромном уголке и задремал, но вскоре был разбужен лязганием замка на двери зарешеченной камеры: из нее выводили троих мужчин в наручниках, с трудом передвигавших ноги.

Пойлу спрятался за широкий столб и смотрел во все глаза. Когда эти трое вышли на свет, Пойлу с дрожью узнал их: те самые, что скрывались когда-то во Время-вне-временье. Именно от них Пойлу с Полтоном услышали первые в своей жизни настоящие песни.

Он смотрел, не отрываясь, на них, и тут сзади кто-то дал ему затрещину. Обернувшись, Пойлу увидел стоящего за его спиной полицейского. Махнув рукой в сторону ворот, он сказал:

— Ты чего тут раззевался?.. А ну дуй отсюда скорее!..

Пойлу выскользнул из полицейского участка и пробрался мимо черной машины с решетками на окнах, стоявшей вплотную к воротам.

Через несколько минут, когда он был уже неподалеку от пустыря, та машина догнала его и, ревя мотором, пронеслась мимо. Из нее до него донеслись неясные выкрики, среди которых он смог различить лишь слова: «Да здравствует!..»

Пойлу видел, что машина подъехала к разрушенному храму и там остановилась. А через несколько секунд со стороны рва за храмом раздались громкие хлопки выстрелов. Вне себя от страха Пойлу бросился в какую-то канаву. Полицейская машина долго не возвращалась, а когда она, наконец, появилась, Пойлу, сжавшийся на сухом дне канавы, никаких криков уже не услышал.

Исцарапанный и помятый, Пойлу, до смерти перепуганный звуками выстрелов, не посмел выбраться из своего убежища, пока небо на востоке не начало светлеть.

Когда он прибежал домой и поднял с постели Крикуна, у него не было сил даже рассказать обо всем сколько-нибудь связно и Крикуну долго пришлось выпытывать у него, что случилось.

Глядя на увлажнившиеся глаза Крикуна и слушая его дрожащий голос, которым он поведал всю историю, я понял, что, наказывая Пойлу, он дал выход своей настоящей боли.

Тот день во всем Время-вне-временье был отмечен постом. Винокурня обезлюдела, и тем, кто забрел к нам вечером, пришлось вернуться восвояси, не промочив горла.

Прошла еще одна неделя, и, наконец, появился Большой Бабу. Он привел с собой жену и друга-врача. Подойдя, Большой Бабу стал знакомить меня со своими спутниками:

— Писатель, познакомься: мой друг Доктор, а вот и Упрямица.

До сих пор я относился очень настороженно к Упрямице, но теперь, при встрече с ней, стало ясно, что она человек открытый и дружелюбный: не прошло и минуты, как она уже подружилась с Одноглазкой, Дукхонти и Баташи. Вместе с Доктором они пошли прогуляться по поселению.

Большому Бабу не терпелось остаться со мной наедине. Видно было, что его так и распирало от желания рассказать мне что-то важное.

Из того, что он рассказал потом, выходило: Время-вне-временье ждут великие перемены. На месте нашей деревни вырастут жилища нового поселка. Он займет в четыре раза больше площади, чем теперь, и будет построен на законных основаниях. Когда же не станет нас, он будет похож как две капли воды на все другие поселения.

— Как две капли воды?..— вырвалось у меня.

— Совершенно верно!— с воодушевлением подтвердил Большой Бабу.— И не отличишь...

Потом он объяснил, почему так долго отсутствовал. Составление проекта переустройства оказалось лишь половиной дела, надо было еще убедить, что он соответствует возможностям страны. Пришлось обивать пороги десятков инстанций. В конце концов дело сладилось. Решения осталось ждать недолго.

Да, Большой Бабу обладает одной способностью: все его мечты обретают плоть. Но, как лошадь в шорах, он видит лишь то, что впереди, и не замечает происходящего по сторонам.

Я отмалчивался, отвечая на все его слова лишь краткими восклицаниями.

Вернулась Упрямица, оставив Доктора в самом центре деревни. Наверняка люди, заполучив врача, набросились на него со всеми своими накопленными за годы хворями, которые, как засидевшиеся в

клетке птицы, вдруг разом выпархивают наружу через открытую дверцу.

С приходом Упрямицы разговор пошел по другому руслу. Оказалось, они поддерживают связи со многими своими прежними знакомыми. Не удивительно — они живут в своем доме, и у них есть адрес, по которому можно писать.

— Писатель, вы ведь не были знакомы с Червонной Дамой?.. Когда она попала в лепрозорий, у нее уже было двое сыновей. Глядя на нее, никто бы и не сказал, что она больна — красота ее осталась абсолютно нетронутой. Она сама была из семьи родовитой и вышла замуж за богатого профессора. Он очень часто приходил навещать жену, принося с собой груду лакомств и книги. Мне досталось коечто из этих книг, и поэтому я всегда с нетерпением ждал его прихода. Ее же преданность мужу не имела границ — не часто можно увидеть такое. Она читала вслух Упрямице все письма своего мужа, давала читать и свои. Поглядеть только — идеальная супруга, воплощение женской любви. Мы и дали ей прозвище — Червонная Дама. Не раз она хвасталась Упрямице: «И после смерти мы не расстанемся с мужем».

Большой Бабу перевел дух.

— Так прошло года два. Однажды я заметил, что она, всегда такая веселая и счастливая, совершенно переменилась, сникла вся както. Ни с кем не разговаривает, всех сторонится. Вскоре я узнал, в чем дело,— ее муж собирается жениться вторично. Она вначале не хотела верить этому, да и сам он, когда она стала расспрашивать его при очередном свидании, промямлил что-то неопределенное. Но в конце концов скрыть от Червонной Дамы, что женится снова, ему не удалось.

И тут наша Дама показала себя в ипостаси воительницы: затеяла тяжбу в суде по обвинению мужа в противозаконном браке при живой первой жене. После долгих проволочек делу вышло компромиссное решение: мужу дали свободу, а ей вернули все приданое и сверх того еще изрядную сумму денег,— Большой Бабу снова остановился.

— Но самая главная перемена, Писатель, была в другом,— продолжал он прерванный рассказ.— И я, к великому своему сожалению, невольно подтолкнул ее на это. Дело в том, что я поместил в нашем рукописном журнале, который мы выпускали в лепрозории, рассказ. Он был написан в форме открытого письма некой больной проказой женщины по имени Лакшми своему мужу, вознамерившемуся жениться снова. В начале его описывались обращенные к мужу мольбы отказаться от новой женитьбы, а заключалось оно угрозой отдаться другому, чем она надеялась разбудить в муже ревность.

Я и не предполагал, что это сочинение может принести такие ядовитые плоды. Вскоре Червонная Дама, совершенно излечившись, вышла из лепрозория и получила место в министерстве здравоохранения. Что началось дальше — и говорить не хочется. Для почину она заставила своего начальника бросить жену и детей и женила его на себе. Но этим она не ограничилась, ею владела страсть разбивать чужие семьи. А тем временем ее благоверный, глядя на ее фокусы, дал от нее тягу. Надо сказать, что, на ее счастье, болезнь была захвачена на ранней стадии, и поэтому никому было и невдомек, что она когда-то лечилась от проказы. Ее красота нисколько не пострадала и служила тем пламенем, на котором сжигали свои крылышки мотыльки-мужчины. Подумать только — женщина из порядочной семьи может в своем мстительном гневе пасть так низко!..

Случилось, я повстречал ее однажды и в разговоре с ней между прочим заметил, что, живя среди людей, необходимо соблюдать общественные нормы. Разве не так, Писатель?.. Так знаете, что она заявила в ответ? «Плевала я,— говорит,— на ваши общественные нор-

мы». А жестикуляция при этом — самих слов стоит: водит пальцем перед самым моим носом! Вот тебе и жрица домашнего очага!.. Я уж и не чаял, как бы от нее улизнуть поскорей, боясь, что меня заметят в ее обществе.

Но Червонная Дама не такова, чтобы, заполучив мужчину, дать ему легко отделаться. Я был готов провалиться сквозь землю от стыда, когда она, словно бы желая потешиться надо мной, стала задерживать меня и, вынув из сумочки бумажку в пять рупий, сказала: «Сделайте мне одолжение, уважаемый. Я знаю, вы человек святой, но, думаю, не осквернитесь, если купите для меня пачку сигарет и спички?» Сами посудите, в какой я переплет попал.

— И вы, конечно, не отказали ей в этом одолжении,— сказал я.

— А что прикажете делать?.. Хорошо еще, что она не заставила меня купить ей бутылку спиртного — от такой женщины чего угодно можно ожидать. После этого случая я поклялся, что и под дулом пистолета меня не заставят с ней больше видеться. Ну что вы скажете на это, Писатель?

Чтобы переменить тему, я торопливо сказал:

— Постойте, я пойду взгляну, что там с нашим Доктором.

Я и вправду очень беспокоился: он остался один против целой армии пациентов, которые при его появлении наверняка тут же почувствовали, что им необходимо получить лечение от множества недугов.

По пути я размышлял. Большой Бабу так стремится остаться во Времени-вне-временье, но он и не понимает, что сам накликает беду на себя. Положим, ему удастся, заразив своим прожектом всех этих изгоев общества, осуществить его, но вместе с этим рано или поздно падет и та стена страха, которая ограждает Время-вне-временье, а с нею исчезнут все различия между нами и внешним миром.

Я был уже неподалеку от нашей главной улицы, и тут мне послышались звуки шумной овации. Что это, Доктор речи произносит?.. Подойдя поближе, я увидел, что на улице собралась целая толпа. Когда я поднялся на носки, чтобы заглянуть в середину, то взору моему предстал Доктор со стетоскопом на шее, держащий в руке нечто, сильно смахивающее на колоду карт.

При чем тут карты? Я решил приглядеться еще раз повнимательней, не доверяя своим глазам. Сомнений не было — то были карты; и через секунду я уже понял, в чем дело. Доктор показывал карточные фокусы, демонстрируя чудесную ловкость рук, приводившую в изумление всех этих людей — молодых и старых, тут же забывших о своих болезнях.

Неожиданно мне пришло в голову: Доктор именно тот человек, который нужен нам здесь, во Время-вне-временье,— кудесник, одним взмахом волшебной палочки способный сделать невозможное и превратить ночь снова в день.

Всю прошлую ночь я провел в каком-то бреду. Одно за другим во сне возникали неясные отрывочные видения.

Железная дорога. Вдаль уходят стальные рельсы, но вот они вдруг на глазах оживают, начинают искривляться, словно ползущие по земле черви. По обеим сторонам — две тропинки: по одной из них перекатывается кто-то скрюченный, по другой ползет на коленях какой-то человек средних лет. Неожиданно показались ворота нашего лепрозория, и в них, выпуская на полном ходу облака пара, со свистом исчезает чудовищных размеров паровоз. За ним в открытые ворота вползает тот, средних лет человек. Снова рельсы. По насыпи, вижу, кружась, катится голова и, шлепнувшись в воду во рву под откосом, исчезает в ней.

Тут я очнулся. Чувствуя, что у меня пересохло во рту, я сделал несколько жадных глотков воды и снова повалился на постель.

Но когда я сомкнул глаза, на меня опять навалилась подобная же бессмыслица. Я стою на железнодорожном мосту, опираясь на поручни ограды, и вижу перед собой бальный класс. Я вглядываюсь в его окна и вижу, что фигуры танцующих пар, выгибаясь и дробясь, сливаются друг с другом в один ком. Кто-то тянет меня за ногу, и я, обернувшись, замечаю сидящего рядом со мной человека в одежде рабочего. В руке его — горящая зажигалка, и он жжет ее огнем сначала пальцы на ногах, а потом на руке. При этом он то тихо хихикает, то разражается громким хохотом, а на тарелку, стоящую подле него, со звоном летят монеты и падают бумажки. Вдруг вся эта картина заволакивается черным паровозным дымом, и на ее месте возникает человек со смешной, растянутой в улыбке маской на лице, отплясывающий в вестибюле гостиницы.

Так прошла вся ночь, и я опять встал поздно.

Одноглазка, вероятно, заметила, что я плохо спал, когда появилась с чашкой свежего дымящегося чая.

У этой женщины, лишившейся глаза, все лицо изрыто следами болезни, и угадать по нему ее настроение невозможно.

Странный механизм — это человеческое тело, со всеми своими винтиками, гайками и проводками.

Еще не видя ее, я по звуку приближающихся шагов понял, что у нее на сердце какая-то радость.

Хотя я сидел спиной к двери, она, видно, почувствовала, что я расстроен, и, поставив чашку, собралась уходить. Я окликнул ее:

— Ты хочешь что-то сказать?

— Да. Тут вот какое дело: пора в нашем доме в раковину дуть...

— Неужели?! — вскричал я.

Одноглазка опустила лицо. Я бросился к ней и сжал ее в объятиях. По ее щекам текли слезы радости — мертвое дерево зацвело!

Через несколько дней снова появился Большой Бабу, с ним был Доктор.

— Надо что-то предпринять,— сказал Большой Бабу.— Под лежачий камень вода не течет, а скоро наступит сезон дождей, и появятся всякие обстоятельства... Вот Доктор предлагает одно средство, оно может оказаться действенным.

И это средство подействовало — результаты его были поразительны.

В один прекрасный день жители соседнего города, к своему ужасу, увидели на улицах процессию из шести сотен людей. Вместо нищенской сумы в их руках были транспаранты с требованием нормальных условий жизни. Те, кто был способен идти, шли сами, опираясь на палки и костыли. Калек же везли в больших упаковочных коробках с прилаженными к ним колесами.

В городе в тот день царила большая суматоха: откуда ни возьмись прибежали встревоженные окружной судья, начальник полиции, глава местного отделения правящей партии.

Через несколько часов был готов документ — обязательство, о чем с большой торжественностью было возвещено всему народу.

Вечером во Время-вне-временье стоял дым коромыслом, лились реки спиртного. Во всем поселении не было ни одного чужака. Хорошо, что Большой Бабу не пришел, не то бы он ужаснулся, увидев все то, что здесь творилось.

Межевание, составление планов будущего поселка — все позади. На расчищенных участках раскинулись палатки, в которых временно живут бывшие обитатели снесенных лачуг. На их месте будут возведены новые жилища.

Большой Бабу переселился к нам. Они с женой занимают сейчас небольшую отдельную палатку.

Время-вне-временье не узнать теперь — будь то ночью или днем. С самого рассвета начинается движение грузовиков. Круглый день вся местность оглашается скрежетом и лязгом машин, работающих на стройке. С наступлением ночи повсюду зажигаются мощные лампы, и ночь становится светлой, как день.

Никого из чужаков теперь к нам не пускают — прямо на улице лежат груды всякого дорогого добра. Шайка Крикуна теперь занята новым делом: сторожит его, не смыкая глаз.

Пойлу, Полтон и другие парни с утра до ночи не имеют и свободной минуты — их сделали подручными каменщиков.

Упрямица, переезжая сюда, прихватила с собой ножную швейную машинку. Одноглазка, Баташи, Ангти и Соня принялись учиться шить на ней.

Седовласого Хаджи теперь не увидишь пьяным с утра — по распоряжению Большого Бабу он организовал школу, занятия проходят под сенью раскидистого дерева. Сюда заглядывают и взрослые, прилежно изучающие наравне с детьми премудрости грамоты.

Говоря по правде, жизнь во Время-вне-временье становится невыносима своей обыденностью, на все потихоньку наползает унылая ржавчина рутины.

На месте моего разметанного сада выросла высоченная колонна водонапорной башни с резервуаром для воды наверху. Поначалу я сильно огорчался, но со временем свыкся. Большой Бабу и меня приставил к делу, и когда я окунулся в него, у меня просто не оставалось свободной минуты, чтобы предаваться размышлениям о прошлом.

Всего за несколько дней Время-вне-временье безвозвратно изменилось. Куда только девалась та прежняя тишина, такая, что можно было услышать летящую муху,— с самого утра вокруг грохочут моторы.

Даже калеки целыми днями, ковыляя, шатаются из конца в конец стройки, чтобы поглазеть с удивлением на все эти механизмы, легко справляющиеся с работой, от которой и десятки людей высунут языки.

Доктор выбрал Пойлу и Соню себе в помощники для работы в строящемся диспансере. Прежде чем начать их обучение, он взвалил на меня обязанность научить их разбирать английские слова. Как я мог отказать Доктору? Но получится ли у меня это? Я очень сомневаюсь...

Доктор дал своим подопечным, Пойлу и Соне, новое задание — снимать мерки с ног тех, кто постоянно испытывает боль при ходьбе. По этим меркам для них готовят специальную обувь, чтобы они не страдали от бесконечных болей в незаживающих ранах на ногах.

Те же, у кого веки не опускаются на глаза, получили очки с затемненными стеклами.

Утром ко мне заходил Крикун. Такие очки очень ему идут. Он, правда, еще к ним не привык, они мешали ему, и, разговаривая со мной, Крикун несколько раз снимал их. Я заметил, что его глаза теперь не так красны, как раньше.

Да, забыл еще об одном.

Тут у нас завелась вещь, которая заслонила собой все, что только появилось нового, и лишила покоя всех без исключения. Это, говоря словами Одноглазки, «машина, что показывает время», очутившаяся здесь вместе с багажом Большого Бабу,— громадные старые настенные часы, громко отбивающие каждый час и половину. Их водрузили высоко на столб, который поддерживает железную крышу складского строения, возникшего в центре поселка, и оттуда их бой слышен в самых отдаленных его уголках.

Прежде мы жили неторопливо, никуда не спеша и не опаздывая. С появлением же этой машины все словно сорвались с насиженных

мест. Когда бьют часы, всякий теперь, где бы он ни находился, начинает нетерпеливо ерзать на стуле и порывается бежать дальше. У каждого сейчас есть на уме какая-то заветная цель, к которой его гонят разгоревшиеся желания.

Это нестерпимо! Даже я, хотя ничего не жду и никуда не спешу, чувствую время от времени пощипывание этих проклятых часов Большого Бабу.

А тут еще Одноглазка — у нее теперь в животе запущены свои часы, и она изо всех сил желает, чтобы они неслись вперед, будто призовая лошадь. Она никак не дождется, чтобы цветок, распустившийся на мертвой ветви, дал наконец и плод.

Но не только Одноглазка, все бегут, торопятся в своей гонке за временем. Каждому стало ведомо не только, который теперь час, но и какой сегодня день и месяц года.

Я по сию пору отстаю от других в подобных вещах.

— Как давно я лежу в больнице? — спросил я Одноглазку.

— Подожди-ка, сейчас прикину... Тогда была... да, точно, среда. И сегодня тоже среда. Выходит, восьмой день ты здесь.

Все очень огорчились, что меня не было на торжествах по случаю открытия поселка в прошлую субботу. Я, разумеется, никому об этом не говорю, но сам-то я думаю иначе. Все эти праздники, шум, речи, произносимые прочувствованными голосами, мне не по нутру, и окажись я тогда там, это было бы для меня невыносимой пыткой.

Но и здесь меня не оставили в покое: большие и малые старались утешить меня своими рассказами о происшедшем. В результате я вынужден был выслушивать их болтовню о всякой чепухе, на которую я бы и внимания не обратил.

Вот что примерно говорили мне с вытаращенными глазами Пойлу, Полтон, Соня и Ангти:

— Ты бы только видел, Писатель, сколько народу собралось — яблоку негде упасть. Кругом столики чайные, мороженым торгуют, куклами и игрушками разноцветными. Ну прямо праздник колесниц[1]. Мы, правда, сами не видали, но слыхали, что именно так на нем и бывает. Говорят, взявшись за веревки, там везут по улицам эти самые колесницы. Да что там те колесницы, вот та, что мы видели, это — да!.. С самого неба опустилась... А грохот какой, Писатель!.. Один там говорил, что вот над колесницей такое колесо блестящее вертелось — это будто диск самого Вишну[2]. Когда она спускаться стала, такой ветер поднялся — так нас чуть не сдуло. Хорошо, там пузатый такой, как бочка, полицейский стоял, мы за него спрятались — ну и ничего, пронесло. А с колесницы уже сходят трое — худой, толстый и средний — чисто три бога. Один, второй, третий. Да, трое. Ты знаешь, Писатель, мы теперь до двенадцати считать умеем. А что за двенадцатью идет? Опять один... Да, так вот, влезли они в открытую машину, всем кланяются, приветствуют сложенными руками. Когда через толпу пробились и на площадь въехали, на часах — три, тютелька в тютельку. А чужаки так на дороге и остались. А чего им к нам забираться — мы их к себе и не звали... Наш праздник, и все тут. Они небось нас на свои праздники не очень-то скликают... А наши уже все стоят, дожидаются. Нарядились — смотреть любо-дорого. А несколько чужаков все же втерлись в толпу, шушукаются о чем-то. Думают, приперлись — мы и растаем от радости. Не то теперь время, дождутся!.. А, Писатель? Сами боги в гости пожаловали, где тем чужакам теперь до нас...

[1] Ежегодный храмовый праздник в г. Пури (штат Орисса), во время которого на больших колесницах вывозятся изображения Джаганнатхи (одно из имен Вишну) и других божеств. На эту церемонию стекаются многие сотни тысяч паломников со всей Индии.

[2] Диск с зазубренными краями — метательное оружие, один из атрибутов Вишну.

Взрослые говорили всяк по-своему:

— Это, что с колесом наверху,— вертолет, что ли, Писатель? Ну, вот, что я говорил!.. Плешивый-то — это был вице-губернатор, средний — главный министр штата, а толстяк — его помощник. А всякие провода и палка с набалдашником, в которую они говорили,— это микрофон. Слово скажет — за километр слыхать. Мне ли не знать, я еще мальчишкой все это видал.

— Начальство-то слова говорило хорошие, да за словами, видно, хотят сказать: вы, дескать, столько лет, как скотина, жили, а мы вот теперь из вас людей сделаем. О нас речи нет, сами знаем — отбросы изъеденные, швырни в канаву — да и только. Но и ваш брат — гусь нам известный.

— Что там ни говорите, а хорошо все было. И сказали они верно: мы люди конченые, сколько еще на белом свете мыкаться осталось? А если ребятишки наши утерянные права получат, то и слава богу, чего ж еще желать?..

— Большой Бабу, Большой Бабу, Большой Бабу, а кто же еще? Кабы не он, кто бы к нам и прикоснулся?

— Нет, тут еще поглядеть требуется — цыплят по осени считают.

В том, что я провел несколько дней в больнице, была и еще одна положительная сторона: это помогло мне избавиться от чрезмерной привязанности к Время-вне-временью, в почву которого, я чувствовал, стал врастать всеми корнями.

Почему я неожиданно на улице потерял сознание, так и осталось неясно. Да меня это не очень и беспокоило. Доктор же посчитал нужным заверить меня, что мое сердце в полном порядке.

В больнице я несколько ближе узнал Доктора, и, надо заметить, его поведение мне показалось странным. Он ежедневно приходил в нашу палату осматривать меня, но вернее было бы сказать, он приходил, чтобы я на него мог посмотреть,— в его манере осматривать больного заключалась удивительная способность скрывать сам факт осмотра. На лице его всегда играла широкая улыбка, он вечно балагурил о чем-то постороннем; непонятно было, какое это все имеет отношение к болезням находящихся здесь людей. Все были очень недовольны таким его обращением — казалось, он не желает принимать всерьез ничьи хвори. Тем не менее за ним водилась слава отличного врача, выходит, и без того, что принято называть лечением, ему удавалось как-то поднимать на ноги своих пациентов.

И все же не было среди больных такого, кто бы не смотрел косо на то, как он, переходя от кровати к кровати, напевает что-то, хотя и, справедливости ради надо заметить, очень приятным голосом. Как бы то ни было, а вокруг больные. Можно ли с такой легкостью относиться к людским недугам?

Но Доктору все было нипочем, и не то чтобы он не знал, какие именно чувства испытывают при этом больные...

Что же касается меня, то я был рад, что он не говорил со мной о болезнях, и каждое наше с ним свидание доставляло мне удовольствие.

Доктор был завзятым театралом, это было видно из всех его разговоров. Он рассказывал:

— Я и сам руковожу любительской труппой. Вот проведут в поселок электричество, наведаюсь тогда к вам с представлением.

Когда меня в больничной машине привезли домой, показалось, что я попал в какой-то иной мир — так все переменилось: эти невесть откуда взявшиеся ворота и проволочная ограда. На воротах огромными буквами надпись: «Поселок Новожизненский».

Машина въехала внутрь и вскоре остановилась у конторы. Большой Бабу, покинув свое место за столом, быстро вышел мне навстречу.

— Ну как, все в порядке, Писатель? — сказал он.— Ничего, ничего, еще несколько дней покоя и хорошего питания, и будете себя чувствовать лучше прежнего. Но уж тогда я от вас не отстану. Вот тут будет ваше рабочее место. Придется вам заведовать нашими бухгалтерскими делами.

У меня вдруг пересохло в горле. Кое-как справившись с собой, я сказал:

— Не заманивайте меня своими конторскими удобствами, Большой Бабу. Я прекрасно могу справиться со всеми бумагами, которые вы мне дадите, и сидя дома.

— Разумеется, разумеется! Делайте так, как вам будет удобно, какие могут быть разговоры...

От Одноглазки я узнал, что занятия в школе Хаджи идут полным ходом.

Вместе с хижинами была снесена и винокурня. Те же, кто прежде и часа не мог провести без выпивки, с легкой руки Большого Бабу отдались теперь другой страсти: воскурив фимиам, они проводят все вечера в прославлении Хари [1], оглашая округу барабанным боем и звоном колокольцев.

В прошлый понедельник грабители попытались совершить налет на городской дом Большого Бабу. Но напуганные холостым выстрелом из ружья сторожа, они ретировались с поджатыми хвостами.

Случайно ли также, что как раз на следующий день в стекло машины Доктора запустили камнем?

Совершенно очевидно, что здесь поработала одна и та же шайка молодчиков, которым не по нраву пришлись все здешние перемены.

Дело, однако, этим и закончилось. Им, очевидно, стало ясно, что столкнуть Новожизненский обратно во Время-вне-временье невозможно, как ни старайся.

Верно, что все эти обитатели городского дна были ближе всего к нам, прокаженным, чем кто-нибудь еще. Они приходили к нам, презренным уродам, и делали это не из милосердия или сострадания, а из соображений делового сотрудничества. Естественно, их взбесило, что объявились там какие-то, нашептали что-то о прекрасной жизни, и все рухнуло. Как бы то ни было, а до всех этих перемен наше поселение было единственным местом, где всякий мог найти безопасное укрытие. А кто ответственен за все происшедшие перемены, им отлично известно.

Но как теперь ни шипи и ни извивайся, а своим неядовитым, так же как и у нас, жалом никого не испугать.

На днях Соня и Пойлу, наведавшись в город, повстречались там с одним из наших прежних посетителей — главарем вагонных грабителей. Он стал их угощать и всячески обхаживать, а напоследок сказал:

— Вы там у себя теперь нашего брата и на порог не пускаете. Ну что ж, только знайте, что наша-то дверь перед вами по-прежнему открыта.

Удивительное бахвальство!

А в Новожизненском все кипит и бьет ключом. Что ни день, приходят посмотреть на новый поселок люди.

С тех пор как провели электричество, во всю мощь заработали моторы в мастерских, и за их шумом не услышишь — разве что в выходной — и птичьего пения.

В один прекрасный день разорвалась новая бомба, которую подбросил Большой Бабу. Вызвав к себе главных в нашем поселке людей, он заявил:

— Я тут переговорил со свами[2] из одного религиозно-благотво-

[1] Одно из наиболее употребимых имен Вишну.

[2] Почетный титул индуистского святого подвижника.

рительного общества... Он сказал, что шестнадцать — число будущего месяца — очень благоприятный день, так вот мы и устроим коллективную свадебную церемонию. Вы сегодня все это обсудите, а завтра мы это дело начнем улаживать.

Эта весть облетела весь поселок в мгновение ока.

Вся эта история с коллективной свадьбой развернулась так стремительно, что ни у кого недостало духу выйти из игры.

С самого основания нашего поселения в обычай вошло жить парами, не связывая себя при этом никакими формальностями. Люди могли сходиться и расходиться как им того хотелось. Каждый был волен полагаться в этих случаях лишь на собственные чувства, и это не вызывало беспокойства у окружающих.

Мы были изгоями. И в соединении друг с другом мы находили радость обретения своего мира. Не было никаких неразрывных уз, была лишь тяга друг к другу.

Один садху сказал однажды: «Знай, сынок, мир — это создание двоих. Он держится на двух началах. Помни же, что в двоих — созидание, в одном — разрушение»[1].

Большой Бабу хочет эту тягу двоих скрепить теперь и узами супружества.

Но разве не было уже сказано об этом в наших книгах? Древний закон позволял мужчинам и женщинам быть свободными в своих поступках и выбирать всякий раз тех, кто им был по душе. Потом было введено новое установление, ограничившее эту свободу[2]. Так были установлены границы, и поле и семя были заключены в рамки брака.

По всей видимости, время Время-вне-временья минуло. Мы — в Новожизненском. И наступил момент, когда брачные установления придут на смену естественному праву.

Бессмысленно ворошить прошлое. Уйдя из мира, многие из нас сбросили с себя и шелуху прежних имен. Вместо них мы приняли несколько знаков. Они годились в нашей среде, но только не за ее пределами.

Теперь же все будет записано документально — одно имя напротив другого.

Эта мысль не давала мне покоя с тех самых пор, как я вышел после приступа из больницы. И сколько ни думал, решения не находил.

В конце концов я пошел на поклон к Большому Бабу. Вначале он отшучивался:

— Ну запишут имена в книги — велика ли беда, Писатель?

Тогда я высказал ему напрямик все свои сомнения:

— Одно дело имена — можно, наконец, и придумать какие-то другие, а вот как же с фамилиями? Сразу же полезут в глаза все кастовые различия[3].

Взглянув на Большого Бабу, я увидел, что улыбка исчезла с его лица. Он помолчал и немного погодя заговорил:

— Я давно хотел вам рассказать об одном случае, Писатель. Предложил я было одному тут заняться ремеслом корзинщика. Так знаете, что он мне ответил? Я, говорит, не той касты, чтобы таким делом заниматься. И он не единственный, есть и другие под стать ему. Так скажите, как тут быть?

— Знаете, в чем дело, Большой Бабу? Это просто болезнь выздоровления,— сказал я не без желания досадить ему.

[1] В соответствии с представлениями одной из школ индуистской философии видимая реальность является результатом взаимодействия вселенских начал, мужского и женского — Пируши и Пракрити.

[2] Намек на изложенные в «Махабхарате» в виде легенды сведения о древних формах брака и последующем установлении моногамии (Книга I, гл. 113).

[3] Индийские фамилии в своем большинстве являются по существу кастовыми титулами.

— Вы что же, хотите сказать, что раньше этого не было?

Его слова произвели на меня впечатление пощечины. Я был совершенно не готов к тому, как он повернет этот проклятый вопрос.

Я-то сам был все это время уверен в противном. Смотрел и, как это часто бывает, не замечал. Имел глаза, но не видел. Важно желать видеть, когда смотришь. Я столько лет внушал себе, что если и есть на земле настоящие люди, то они — именно эти сокрушенные судьбой жители Время-вне-временья. Болезнь одним мановением сорвала с них покровы неравенства.

Теперь понятно, как я глубоко заблуждался,— если бы все это не продолжало жить в них, то откуда бы вдруг взялось?

Ему же, пытаясь обойти существо дела, я сказал:

— Время-вне-временье было пандемониумом, но мы чувствовали себя в нем как дома и потому не ведали кастового неравенства.

Большой Бабу расхохотался. Мне показалось, он увидел в моих словах лишь способ защитить себя в споре. Пусть я и не сдался, но вопрос с именами так и остался нерешенным.

На следующий день я снова пришел к Большому Бабу.

Он усадил меня за стол и, передавая чашку, с улыбкой произнес:

— Ничего не поделаешь, Писатель, ничего не поделаешь... Я всю прошедшую ночь об этом думал.— Он потер пальцем нос и продолжал: — Вот эта самая перемена имен... Заболев проказой, люди из стыда, или заботясь о последствиях, присваивают себе чужие имена; и, Писатель, вы не найдете среди них такого — за исключением нескольких простаков, не пытающихся скрыть своего происхождения,— кто бы взял фамилию выходца из какой-нибудь низшей касты. А назови себя Чаудхури [1] — вот тебе и способ избавиться от щекотливой религиозно-общинной проблемы. Так что лишь с меньшинством будут действительные трудности. Их имена и фамилии выдадут их национальность, скажут, кто из них адиваси[2], кто — мусульманин, кто — христианин. Но избежать этого можно лишь, если вместо имен ввести номера. А кроме того, неужели вы думаете, что так легко избавиться от всех различий? Мне кажется, людей никогда нельзя будет стричь под одну гребенку и мерить на один аршин.— В продолжении всей речи Большой Бабу не раз потирал свой нос — привычка, которая становилась еще очевидней, когда ему приходилось говорить о чем-то серьезном.

Я не мог не согласиться с его мыслью. А через секунду подумал: «Это что же, я, сам того не замечая, скатываюсь на позиции Большого Бабу? Ну пусть так, но и не мешает смотреть на все своими глазами...»

Взять, к примеру, эту затею со свадьбами — с ней уж я не могу искренне согласиться. В социальном смысле Большой Бабу толкает нас назад.

Ему, безусловно, ведома людская натура. Он способен заглянуть в самое нутро человека. Я же не мог допустить и мысли, что все с таким воодушевлением примут предложение об устройстве свадебных обрядов.

Я был ошеломлен, когда увидел, что Одноглазка чуть не пляшет от восторга при этой новости. Она, даже не спросив меня, вихрем понеслась в контору и включила наши имена в списки желающих участвовать в церемонии, а затем, захлебываясь, стала рассказывать мне об этом.

Это взбесило меня, я едва сдержался, чтобы не поколотить ее за такие штучки.

А впрочем, в ее поведении нет ничего противоестественного.

[1] Распространенная фамилия, носители которой могут быть и индусами, и мусульманами.

[2] Общее название этнических меньшинств на Севере Индии.

Я сержусь на нее и люблю ее за одно и то же: ей кажется, что то, чего желает она, на уме и у другого, и невдомек ей, как это может быть, чтобы кто-нибудь думал иначе. И когда ей противоречишь, она смотрит на тебя с полуулыбкой, дескать: «Знаю, знаю, это ты нарочно, чтобы меня позлить...».

Говорить об этом Одноглазке бесполезно, но я не желаю участвовать в готовящейся клоунаде. Слышал я, что в цветочный магазин в городе были посланы сотни заказов на изготовление свадебных гирлянд[1]. Для невест в нашей ткацкой мастерской срочным порядком ткут красные сари[2].

Отцы, матери, их дети — все готовятся окрутиться одним махом.

— Посмотри, кто пришел,— сказала Одноглазка, в одной руке держа приготовленную для меня чашку с чаем, а другой подталкивая меня.

Это была Соня. Она нарядилась в красное сари, и на лбу ее красовался ярко-красный тилак.

Ласково взяв ее за подбородок, я сказал:

— Поглядеть только, как ты разневестилась!..— Тут рядом с ней появился Пойлу.— Пойлу? А ты что тут делаешь?..

Взглянув на его смущенную физиономию, я наконец догадался:

— Ах, понял, понял... Вы здесь подождите, я пойду умоюсь и приведу себя в порядок, только никуда не уходите, я скоро...

Когда я вернулся, Одноглазки уже не было — отправилась совершать омовение.

Соня сидела, прижав руки к лицу, и не поворачивала голову в мою сторону, хотя наверняка слышала, как я вошел. Когда я попытался насильно отвести ее руки, она неожиданно разразилась рыданиями. Я с недоуменным взглядом обратился к Пойлу; он опустил голову.

Когда я увидел эти слезы Сони, перед моим взором встала картина того самого наполненного криком коршунов раннего утра: я только что забросал землей кусочек плоти и повернул было в сторону дома, как вдруг заметил в отдалении окаменевшую фигуру — воплощение горестной тоски. Я сделал тогда вид, что не заметил ее, но знал, настанет день и Соня восплачет.

И теперешние ее слезы смыли тень, лежавшую до сих пор у меня на душе. Она рассказала обо всем и Пойлу — я понял это, увидев, как он стоял, опустив голову.

Положив свою руку на волосы Сони, я сказал:

— Ты знаешь, мне очень хочется стать дедушкой.

Тут же забыв о слезах и улыбнувшись, она шаловливо замахнулась, чтобы шлепнуть по моей руке.

— Что тут за потасовки в счастливый день? — В комнату вошла Одноглазка. На ней тоже было красное сари, и тилак на лбу, ладони же были раскрашены хной по мусульманскому обычаю. Что это она, совсем ума лишилась?

Не успел я и рта раскрыть, как она бросила передо мной сиявшую белизной праздничную одежду:

— Уже пора. Одевайся поскорее!

Если бы не Соня, потянувшая меня за руку, я ни за что бы не сдвинулся с места.

Это было забавнейшее представление, в жизни своей не видал подобной комедии.

На специально воздвигнутом возвышении на коврике восседал с видом смиренного умиротворения свами. Перед ним пылал жертвенный огонь.

[1] Обмен цветочными гирляндами — ритуальный акт, являющийся частью свадебной церемонии.

[2] Красный цвет — традиционный цвет одежды невест.

Навес из ткани, устроенный для защиты от солнечных лучей, покрывал собой немалую площадь, благоухавшую от дыма курильниц.

Все расселись парами: Крикун, Хаджи, Дукхонти, Баташи, Полтон, Ангти — при этом, я заметил, рядом оказались совсем не те, кого я ожидал увидеть друг подле друга.

Для начала свами произнес на санскрите несколько благословений, и его удивительно приятный голос зазвучал на всю округу:

— Священный Агни — жертвенный огонь возжжен передо мной, так приступим к сулящей нам радость службе. Я, которого вы избрали себе в хотары[1], так же, как и вы, живу вне пределов мирского общества. Я служу не богам и дваждырожденным[2]. Человек — предмет моего поклонения, и в служении ему я вижу цель своего подвижничества. Я не искусен в совершении обрядов, но хочу призвать от вашего имени творца всего живого — Праджапати,— да простит он, милостивейший, все ваши прегрешения. Произнесите каждый из вас в сердце своем: «Да будет благословен сегодняшний обряд! Да будет счастливым заключаемое в этот святой день супружество!»

Все как завороженные слушали его медоточивый голос, а свами, точно перепархивающая с ветки на ветку птичка, легко переходил от одной темы к другой.

Он заговорил об упоминаемой в «Ригведе»[3] дочери риши[4] Какшивана Гхоше.

— Черная немочь — проказа,— говорил свами,— поразила ее, несчастную, в годы расцветающей молодости. Но милостью богов она вернула себе здоровье и красоту и получила в мужья достойного юношу. Так обратилась она к божественным врачевателям — братьям Ашвинам[5]: «О, братья Ашвины, вы — надежда убогих, исцеляющие слепых, слабых и немощных калек. Услышьте же меня, о Ашвины, к вам взываю я. Помогите мне, как отец и мать помогают своему сыну. Слабая разумом, я лишена поддержки рода, участия друзей. Избавьте меня, пока не поздно, от этого проклятья, подобно тому как вы во мгновение ока дали Вишполе способность передвигаться, заменив его ногу, потерянную на поле брани, железной. Где вы, Ашвины, пребываете вечером, где — утром? Где ваше пристанище, где вы располагаетесь на отдых? К вам, о Ашвины, пришла я, дочь раджи, Гхоше, со словами моления: «О Герои, пребудьте со мною днем, пребудьте со мною и ночью; помогите мне, вступившей в зрелость, получить в мужья воина — вождя, разъезжающего в колеснице и владеющего многими конями. Пусть по вашему повелению с семикратным громом прольются грозовые тучи, и земля родит растения невиданной красы. Исполните же мое моление: сделайте меня желанной для мужа. О братья Ашвины, где вы сейчас?»

После этого свами произнес гимн риши Бхишака к целебным травам:

— «О Матери, целебные травы, прорастающие из земли, обладающие тысячью целительных сил, смилостивитесь к расслабленному: исцелите! Бхишаком-врачевателем зовут того мудреца, губителя болезней, который, обладая знанием трав, подобен владыке, окруженному подданными. Целебные свойства трав устремляются в тебя, болящий, подобно стаду коров, выходящему из стойла,— трав, которые спасут твое жизненное дыхание. О травы, изгоните боль из

---

[1] Профессиональный жрец, совершающий ритуальный обряд.

[2] Дваждырожденными называют выходцев из высших каст, приобщенных к «священному знанию».

[3] Древнеиндийский памятник, представляющий собой сборник гимнов и магических заклинаний, обращенных к различным божествам. Ниже в тексте приводятся несколько искаженные цитаты следующих гимнов: X. 39; X. 40; X. 47; X. 161; X. 167.

[4] Святой мудрец.

[5] Юные братья-близнецы, боги утренних и вечерних сумерек, обладающие чудодейственными целительными способностями.

того, через чей костяк вы течете — член за членом, сустав за суставом! Пропади, Дух болезни, изыди! Улети со стремительным ветром, исчезни вместе с ним! О травы, помогите друг другу, станьте все, как одна, согласны друг с другом, сделайте по моим словам. Да пребудет невредим тот, кто выкапывает вас, и тот, для кого это сделано! Все травы, что слышат мою речь,— и те, что далеко отсюда, даруйте свои целебные силы этой траве, что я держу в руке».

А вот,— продолжал свами,— заклинание сына Праджапати Якшманашаны: «Освобождаю тебя, болящий, с помощью этих жертвенных принадлежностей от скрытой лихоманки, чтобы ты жил. Если ты попал в лапы Грахи [1], о Индра [2], о Агни [3], освободите его от нее! Угасла ли его жизнь, умер ли он, настигла ли его смерть, я возвращаю его из хватки божества смерти — Ниррити. Живи счастливо сто осеней, сто зим и сто весен! Я нашел тебя, больной, я снова возвращаю тебя к жизни!»

Риши Ракшоха, сын Брахмы [4], так обратился к гонителю ракшасов — Агни: «О Агни — губитель ракшасов,— устрани все препятствия к зачатию, изгони из женского лона болезнь. Того, кто вредит падающему семени, или зачатому зародышу, или шевелящемуся в утробе плоду, того, кто убивает ребенка во время родов, мы изгнали! Того ракшаса, что, желая истребить плод, ложится с тобой, приняв вид брата, любовника или мужа, мы умертвили! Того ракшаса, что, желая истребить плод, ложится с тобой, зачаровав темнотой или сновидением, мы умертвили!»

Церемония окончилась. Как лунатик я побрел домой, испытывая сильнейшее смущение. В ушах моих продолжали звучать слова свершившегося обряда.

Придя домой, я опустился на стул и, не обращая внимания на бумагу, которую мне сунула в руки Одноглазка, тотчас после этого отправившаяся на кухню, просидел в оцепенении до наступления темноты. Тусклая керосиновая лампа не могла соперничать со светом взошедшего месяца, проникавшим через окно. Его бледные лучи упали на слова: «Я, Кульсум Биби...»

Кульсум, то есть я хотел сказать Одноглазка, взяла надо мной верх. Но некоторые поражения могут приносить радость, и в тот день было получено прямое доказательство этому.

Да, я поддался тогда, но внутренне восставал против того, что мне навязывали. Говорить восставал — говорю, но сам подчинился, нимало не протестуя.

Это мой недостаток — не могу настоять на своем. И когда, кажется, необходимо дать отпор, я малодушничаю, а из-за чепухи устраиваю шум.

Вот Большой Бабу в этом отношении хват. Он крепко держит в своих руках руль и смотрит вперед, а все остальные налегают на весла, обратив свой взгляд на него. И Большой Бабу без лишних разговоров решает сам, куда направить лодку.

Большому Бабу легко — у него в голове есть ясная идея мира, и он желает воплотить ее в Новожизненском. И когда указываешь ему на существующие недостатки, он отвечает: «Все это можно осторожно исправить. Не выросла еще та яблоня, чтобы ее черви не точили».

Бессмысленно спорить там, где доводы логики заменяют дешевыми сравнениями.

Иногда Большой Бабу приводит меня в бешенство, и я чувствую, что не удержусь и когда-нибудь разобью ему физиономию. Я даже

[1] Злой дух женского рода.

[2] Царь богов, бог-громовержец.

[3] Бог огня и жертвенного костра, в котором сжигаются дары; ритуальной функцией его является истребление злых духов — отсюда его эпитет «убийца демонов-ракшасов».

[4] Верховный бог индуистского пантеона, творец Вселенной.

знаю, что я ему при этом скажу. Скажу, что он жалкий прихвостень смердящего общества, на которое он так молится, и заявился к нам, чтобы мы, воры и нищие, не нарушали его законы и спокойствие, лишая сна добропорядочных граждан. А ведь обращаться за помощью к государству — значит сидеть приживалом на чужой шее.

Но, впрочем, даже если все это и правда, Большой Бабу действует так бессознательно — сам он не преследует никакой личной выгоды. Напротив, он мог бы прожить жизнь гораздо спокойнее, не ввяжись он во все это.

Теперь в Новожизненский валом повалили различные чинуши, лезущие обниматься с теми, кого прежде их общество вытолкало взашей. Мог ли кто-нибудь из обитателей Время-вне-временья и предположить, что наступят такие времена?

Я-то отлично знаю подобных кровопийц, наводнивших наш поселок. Эти великие прохвосты, играющие кто на кастовых, кто на религиозных различиях, ловят в свои сети души здешних людей в надежде отхватить для себя кусок пожирнее.

Поглядеть на них, как они сидят на своих местах в конторе, словно статуи,— кажется, они и встать боятся, как бы не лишиться своего кресла, и при этом не сводят с Большого Бабу хищных глаз, выжидая удобный момент, чтобы занять его место. Но Большой Бабу — человек проницательный и, вероятно, все это понимает. Возможно, он не боится их, зная доподлинно способности каждого.

Сейчас меня вдруг, словно молния, поразила одна мысль. А верно ли, что я стал изгоем, потому что заболел проказой? Может, я лишь ждал повода для бегства из общества? И этим поводом стала проказа?..

Если это не так, то как объяснить, что образованный человек, едва услышав, что он болен, теряет голову и бежит из дому куда глаза глядят? Разве не читал он никогда, что эта болезнь в наше время поддается лечению и не все ее случаи опасны для окружающих? Неужели он не мог понять, что в его распоряжении имелось множество способов скрыть свою болезнь от всех и впоследствии излечиться? Тогда, стало быть?..

Жизнь не укладывается в мерки обыденной логики. Она всегда может вильнуть в неожиданном направлении. И в этом есть свое очарование.

Вчера Соня, эта мерзавка, затеяла шадх[1] для Одноглазки. Каждый внес свою лепту — получилось как на пикнике.

Соня скрыла, что Пойлу отправился за Доктором, и я неожиданно для себя увидел, как перед нашим домом остановилась его машина, из которой он с Пойлу и появился, держа в руке горшочек со сладостями.

Очутившись среди нас, Доктор первым делом запустил руку в свой докторский саквояж и извлек оттуда — что бы вы думали? — куклу и усадил ее себе на колени.

Кукла запищала: «Уа-а, уа-а»,— и Доктор стал успокаивать ее, раскачивая на своей ноге. Все были изумлены. Надо же — говорящая кукла! У нее внутри, наверно, пластинка.

Кукла же разглядывала все вокруг себя, ворочая головой, время от времени шептала что-то Доктору в самое ухо — это было очень забавно. Она комментировала такие ситуации, которые и невозможно было предусмотреть заранее, например: «Ой, глядите, глядите!.. Писателя зевота одолела». Выходит, пластинка тут была ни при чем.

Доктор же на протяжении всего представления и губ не разжимал. Ну, значит, он обладает даром чревовещания.

---

[1] Церемониальное кормление беременной женщины, удовлетворение каких-нибудь особенных ее вкусовых потребностей.

Перед тем как откланяться, Доктор, показав глазами в сторону Одноглазки, сказал мне:

— Ждать осталось недолго, Писатель. Думаю, что еще до вотировки.

— Вотировки? — Я был изумлен.

— Ну да! Я вижу, вы не следите за новостями: после всех проволочек Большой Бабу получил наконец письменное уведомление. Здесь ведь в подавляющем большинстве совершеннолетние, так что и голосов много можно собрать. Увидите, что здесь начнется через пару деньков...

Когда Доктор ушел, Одноглазка спросила:

— Что это еще за вотировка такая?

— Из области убеждений,— ответил я, чтобы поскорее отделаться.

Было время, когда я смотрел, обратив свой внутренний взор так, чтобы находиться лицом к лицу к самому себе. В результате из моего поля зрения выпадало то, что делалось позади меня. Идти — означало тогда пятиться.

Сейчас происходит обратное: я смотрю на себя сзади, и потому сам закрываю себе то, что делается впереди. Самое неприятное — мне не видно, что происходит на моем лице, и от этого я чувствую крайнее неудобство.

Большой Бабу сообщил мне, что с недавних пор Хаджи служит пять раз в день намаз. Одноглазка собиралась поститься в рамазан, но в конце концов, по настоянию Доктора, отказалась от своей затеи.

В первые же дни основания Новожизненского адиваси поместились в обособленных жилищах и почти не общаются с другими.

Прежде никто и не спрашивал у молодых, кто их родители. Теперь же на каждом шагу от них требуют называть свои фамилии.

Недавно Одноглазка спросила, не сохранилась ли у меня фотография тех времен, когда я еще был здоров. Получив отрицательный ответ, она вздохнула с облегчением.

Наше уродство в подобных случаях даже становилось преимуществом: нет никакой возможности сказать, на кого похож появившийся на свет младенец — ведь настоящая внешность его действительных родителей неизвестна.

Все, о чем я говорил выше,— новые черты жизни в Новожизненском, раньше ни у кого не было подобных проблем.

«Не было», «не существовало» — повторять беспрестанно эти слова стало моей манией. В действительности следует говорить: «Не хотел помнить, что существовало». У меня просто не было другого выхода, кроме как придавать все это забвению.

Вчера, уже под вечер, к нам неожиданно пришел Большой Бабу с Упрямицей. Они заглянули, чтобы навестить Одноглазку.

Мы долго болтали с Большим Бабу о том о сем. Наконец он сказал, что вернуть этим людям право голоса было его долгожданной мечтой.

Воистину, мечтам Большого Бабу не видно конца. Но я промолчал, ожидая, что он скажет дальше.

В этот момент послышался голос Крикуна:

— Большой Бабу, вы здесь?

— Иду,— ответил он и вышел.

Вернулся он не скоро. Через загар, который он приобрел за последние дни, поживя здесь, на его лице явственно проступала краска гнева.

— Подождите минутку,— сказал он,— прежде выпью воды, потом расскажу, в чем дело.

Он сделал большой глоток и, утолив жажду, со стуком поставил стакан на стол.

— Вот ведь развелись на белом свете такие субъекты, Писатель,— эти подрядчики. Взрастили их еще англичане во времена Британской Индии. За последние годы у них на загривках еще больше сала наросло. Когда пришел в контору, вижу, сидит этакий пузатый свинтус, на каждом пальце — по перстню. Сразу видно — подрядчик. Я тут же говорю: «Приемные часы окончены». Он на это с бесстыдной улыбочкой отвечает: «Неприемные часы, Большой Бабу, для нас — самое подходящее время». Меня от всех этих намеков с души воротит, но я ему спокойно отвечаю: «Если у вас есть какое-то дело к нам, то прошу пожаловать в рабочие часы». До него дошло, что я буду стоять на своем. И что бы вы думали он тогда делает? Вынимает из кармана пачку банкнот и говорит: «Этот вот для вашего общества десяток тысчонок»— и, подмигнув, добавляет: «Нет, нет, расписки не требуется, это так...» Я стиснул зубы и произнес только: «Убирайтесь прочь!» Видали бы вы, как он тут задал стрекача к своей машине... И после того как завел мотор, кричит: «Погодите, я вам еще покажу!..»

Большой Бабу допил остаток воды в стакане и произнес:

— Да, Писатель, вот такое положение теперь...

Большой Бабу думал, что от его рассказа весь мир в моих глазах перевернется вверх тормашками, но не мог он знать, что я сам когда-то был существом того же рода, впрочем, может быть, более разборчивым в приемах и с некоторым налетом лоска, но по сути того же поля ягода.

Большой Бабу расположился поудобнее, и было ясно, что в этот вечер он свободен и никуда не торопится. Он махнул рукой, как бы отделываясь от всего предыдущего, и молвил:

— Но оставим это. Так вот, я начал говорить о выборах...

Невозможно было предположить, что избирательная кампания пройдет у нас с таким шумом.

Хотя вопрос с выборами был делом решенным, все ждали официального бюллетеня. И стоило ему выйти в свет, как колеса машины завертелись и она быстро набрала полный ход. Теперь же она мчится уже на самом пределе — осталось всего несколько дней до голосования. Из города, словно прорвав дамбу, к нам хлынул поток кандидатов. Немудрено — у нас здесь почти все имеют право голоса, так что кто сумеет перетянуть их на свою сторону, тот и победит на выборах.

Новожизненский запрудили потоки машин с развевающимися флагами всех партий, залепленные агитплакатами и воззваниями. Здешние жители с изумлением открыли для себя, что столько, оказывается, есть людей, принимающих участие в несчастной судьбе прокаженных.

Лужайка, где располагались школьные классы, стала местом проведения митингов и собраний. Что за прочувственные речи там произносят! Первые пять минут, чтобы взвинтить хорошенько аудиторию, один за другим выкрикивают лозунги. Потом соловьем заливаются: «Товарищи, друзья, дорогие братья и сестры...» Кое-кто, большего эффекта ради, вещает: «Друзья и братья мои, матери и сестры мои!..» А то и: «Страждущие мужи и жены!..»

От этого шутовства у меня желчь разливается, и я ходил туда только два раза: в первый и последний дни кампании. Но и сидя дома, я не мог спрятаться от оглушающих криков, несущихся с лужайки.

Для меня все стало ясно в первый же день. Каждая из партий заручилась поддержкой той или иной группы жителей Новожизненского. Нельзя сказать, чтобы всех их приманили звонкой монетой. Так или иначе наибольшей популярностью среди наших пользуются

те, чью сторону взяли Пойлу и его компания, все эти дни марширующие по улицам с флагом партии и призывающие голосовать за ее кандидата. Мне отлично видно, что за его спиной как тень стоит Крикун, хотя он и не появляется рядом с ними на виду у всех.

Кандидат от правящей партии, произнесший здесь свою предвыборную речь, оказался просто тупицей. Когда кто-то из здешних, желая уважить его, предложил вкусить от местных блюд, этот толстяк заявил: «Боже упаси! У нас сегодня пост...» Заключавшееся в словах «боже упаси» и «у нас» значение не осталось загадкой ни для кого. Да и тот, кто был вместе с ним и выступал после, тоже оказался ему под стать. Оба они талдычили одно и то же: дескать, Время-вне-времень было адом, а теперешнее правительство построило на его месте рай — Новожизненский. Жидкие хлопки тех, кто был заранее подставлен для создания бурной овации, потонули в нестройных выкриках толпы.

После Большой Бабу сказал мне с горечью:

— Посмотрите только, что за времена настали. У того, кто выступал первым, сигаретная фабрика, а другой — перекупщик риса. Ну и политика теперь тоже стала бизнесом.

Через несколько дней, зная, что кампания вот-вот завершится, я снова пошел послушать речи.

В тот раз угощение устраивали ребята Пойлу. Появился худой человек с всклокоченной шевелюрой, который, как мне сказали, и выдвигал свою кандидатуру. Его сопровождал коренастый — с портфелем в руках. Оба с поклоном приняли приглашение угоститься.

Похоже было, что оба они мучаются голодной изжогой, хотя ясно, что не от соблюдения постов.

Какая же потом была зажигательная речь! Нечего ожидать хорошего, говорили они, пока не разрушено это разлагающееся общество. Потому-то по всему миру идет борьба за то, чтобы угнетенные взяли власть в свои руки. И если страждущие и эксплуатируемые объединятся, то ключи к потерянному счастью человечества будут найдены. Не преминули они сказать и то, что многие теперь подделываются под их цвета. «Запомните же — вот истинный символ нашего движения»,— и с этими словами они подняли высоко над головами изображение, начертанное на большом куске материи.

Разочарован ли я в будущем?

Думаю, что нет. Иначе смог ли бы я испытывать удовольствие от ранней долгой прогулки на митинг по свежему утреннему ветерку? Напротив, я остался бы дома и, завернувшись в одеяло, полеживал бы себе в теплой постели.

А Одноглазка? Она еще посапывает в глубоком забытьи...

Сегодня последний день перед голосованием. Митинги, процессии, речи — все стихло к утру. После шумной агонии наконец наступило относительное спокойствие.

Вчера, зайдя в контору, я увидел там несколько книг Священного писания, присланных каким-то миссионерским обществом. Захватив с собой одну из них, я отправился домой, надеясь почитать на досуге.

Раньше я брал с собой и газеты, но последнее время перестал это делать: пропало всякое желание читать их.

Впервые после стольких лет сегодня я снова решился взять в руки газету. Когда-то я был заядлым любителем газетных новостей: не прочитав утренней газеты, ни за какое дело не принимался. Когда я здесь вдруг опять увидел перед собой газетные листы, то почувствовал, что моя прежняя страсть вновь проснулась. Я схватил газету и помчался домой, дрожа от нетерпения.

На первой странице того номера под набранной жирным шрифтом шапкой стояло сообщение об исчезновении с лица земли целого города в результате землетрясения. Ниже приводился список американских военных баз на земном шаре. Потом сообщалось, что там-то

и там-то после археологических раскопок были найдены такие-то и такие-то новые свидетельства о жизни человека в каменном веке.

Я читал и чувствовал, что с каждой строчкой растет мое отчаяние. Ни одна из новостей не говорила мне ни о чем, что было бы неизвестно мне и прежде. Иными были лишь названия, имена, числа, все остальное — бесконечно знакомым. Так в чем же прогресс человечества?

Война и милитаризация, голод и нищета, жадность и насилие — неужели они неистребимы?

После этого я еще несколько раз пытался заставить себя проглядеть газеты, но мне так и не удалось возродить свое безвозвратно ушедшее любопытство.

Я только что заходил к Одноглазке — она еще спит. В теперешнем ее положении, когда в любой момент могут начаться схватки, это самое лучшее.

Мне вдруг показалось, что кто-то позвал меня с улицы.

Я вышел во двор — кругом было безлюдно. Значит, показалось. Я решил не возвращаться и размять затекшие от долгого сидения ноги и тут увидел две фигуры, двигавшиеся в мою сторону. Это были Полтон и Ангти. Полтон нес холщовую суму. За ними шли еще двое. Одну я узнал — это была Баташи. А кто же рядом с ней? Человек был одет в лунги[1] и нарядную безрукавку поверх рубашки.

Когда они поравнялись со мной, Полтон представил мне незнакомца:

— Это мой дядя. Он долго жил далеко от дома. Потом узнал как-то, что я здесь, и вот — приехал... Теперь увозит меня. Говорит, найдет мне место в корабельной команде. Потом и Ангти ко мне приедет.

Каков дядюшка! Полтон будет по морям скитаться, а Ангти на берегу ждать его.

Но кто я, чтобы судить их? Я привлек к себе Полтона, обнял его и сказал: «Береги себя». Потом, отстранив его, задумчиво, как бы про себя, произнес: «Стало быть, Полтон первый, кто вышел отсюда...»

Они ушли, и я, вернувшись домой, стал растапливать печку, чтобы вскипятить воду для чая. Я решил сперва приготовить завтрак, а уж потом будить Одноглазку.

Пока закипала вода в чайнике, я стал перелистывать страницы Библии в ярко-красном переплете и наткнулся на знакомый мне еще с детства псалом — не раз его слова доносились до моего слуха, когда в соседней с нашим домом церкви велась служба:

Бог наш на небесах (и на земле); творит все, что хочет.

А их идолы — серебро и золото, дело рук человеческих.

Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят;

Есть у них уши, но не слышат; есть у них ноздри, но не обоняют;

Есть у них руки, но не осязают; есть у них ноги, но не ходят; и они не издают голоса гортанью своею.

Подобны им да будут делающие их и все, надеющиеся на них[2].

Чайник закипел, и, налив в стакан заваренный чай для Одноглазки, я отправился в ее комнату. Войдя туда, я увидел, что ее сари быстро, прямо на глазах, становится мокрым от крови. Я бросился на улицу и первого же попавшегося мне встречного отправил к Большому Бабу за помощью.

Вскоре он появился, с ним пришла и Упрямица, а через полчаса к дому подкатила больничная карета.

Когда мы прибыли в больницу, нас ждал там Доктор, которого уже успели предупредить о случившемся. Едва мы его увидели, нам

[1] Мужская одежда, состоящая из куска ткани, обертываемого вокруг бедер.

[2] Псалтырь, псалом 113, ст. 11—16.

вздохнулось вольнее. Можно было оставить Одноглазку с уверенностью — Доктор сделает все, что нужно в такой ситуации.

К полудню к нам вышел Доктор.

— Положение заметно улучшилось,— сказал он.— Но не буду скрывать: сказать что-нибудь определенное можно будет лишь спустя день-другой. А пока отправляйтесь домой, я тоже сейчас ухожу к себе и вернусь вечером. Если потребуется ваше присутствие, я сообщу вам.

Упрямица, вопреки моим настояниям, вечером все-таки заглянула ко мне, принеся с собой приготовленный для меня ужин. Но, зная мой характер, она просто оставила его на столе и немедленно удалилась.

Я просидел весь вечер в темноте, не зажигая света. Снова я остался один, и нельзя сказать, что это было тягостно.

Я, разумеется, беспокоился об Одноглазке, но страха за нее не испытывал: опыт говорил мне, что души прокаженных очень крепко прикреплены к их телам.

Написав слово «страх», я вдруг припомнил то, что видел сегодня, возвратившись из больницы в поселок. Снаружи на воротах ограды были налеплены несколько плакатов с выведенными на них крупными буквами словами. Не похоже было, чтобы они появились здесь стараниями кого-нибудь из чужаков. Судя по тому, что их никто не сорвал, было ясно: те, на чьей ограде красовались эти плакаты, были согласны с тем, к чему они призывают.

Два плаката висели рядом, и я прочитал их буква за буквой. Первый гласил: «Требуем кремации для индусов». Это просто смехотворно! Живые — и думают о мертвецах. На втором было: «Мусульманам — отдельное кладбище!». И ниже был еще один плакат: «Долой самовластие Большого Бабу!»

Эти плакаты уже совершенно открыто кричат о происшедшем расколе. И никакие лекарства тут не помогут. Возыметь действие сможет лишь шокотерапия. Надо, чтобы извне был нанесен сильный удар, и тогда все вернется на круги своя: каждый станет тем, чем он был прежде. Интересоваться же жизнью за гробом стали те, кто почувствовал, что их время в этом мире подходит к концу. Но ни я, ни Одноглазка не страдаем этой слабостью, впрочем, по разным причинам.

Хотя Одноглазка и прежде была замужем, это будет ее первый ребенок. Если родится девочка — а я хотел бы, чтобы у меня была дочь,— будет ли она похожа на мать? На ту, которой она когда-то была. Тогда и я смогу увидеть ее, прежнюю. Но, впрочем, почему обязательно девочка?.. Ведь бывает, сын похож на мать как две капли воды. Все это заставляет меня сгорать от нетерпения и любопытства.

Я давно покончил с ужином, уже половина одиннадцатого, а электричество в поселке еще не было выключено. Обычно же к десяти часам его выключают, и Новожизненский погружается в ночную тьму. Завтра состоится голосование, и потому горит свет.

Поскольку горел свет, ничто мне не мешало пролистать еще раз Библию.

Утром Большой Бабу пришел ко мне, чтобы передать новости из больницы. Доктор пробыл всю ночь подле Одноглазки, и, по его словам, лекарства помогли. Теперь ей нужен только соответствующий уход; схватки начнутся, видимо, уже сегодня. Во второй половине дня Доктор обещал снова сообщить, как будут обстоять дела.

У меня теперь не было необходимости отправляться с утра к Одноглазке, и я решил не пропускать голосование.

Отправившись на избирательный участок, я увидел, что чужих там было всего несколько человек, и они сидели, забившись по углам и съежившись от страха. Ясно было, что их привели сюда лишь

пустые желудки. Доверенными лицами кандидатов были назначены местные, из Новожизненского. Отдав заранее свои голоса, они сидели, предаваясь единственному доступному занятию: покусывали свои карандаши — другие искусы им, беднягам, были не под силу.

В голосовании не приняли участия лишь двое: Одноглазка и Полтон. Поскольку всем было известно, почему они не явились, избирательный участок закрыли сразу после полудня.

Я вернулся к себе. Чувствуя, что утомлен, я решил растянуться на кровати и немного передохнуть, а потом уж приготовить себе что-нибудь на обед.

Но едва я опустил голову на подушку, глаза мои сомкнулись, и я не заметил, как погрузился в глубокий сон.

Я покинул Новожизненский, ни с кем не попрощавшись. Все будут искать причину моего ухода в смерти Одноглазки. Что и говорить, ее смерть — страшное горе для меня.

Доктор сокрушался, что, не уйди он домой, ничего бы не произошло. Может быть, он и прав. На все родильное отделение оставалась лишь одна медсестра, когда Одноглазка в родовых муках стала метаться на кровати. Помочь ей тогда — означало удержать. Но им там прекрасно известна разница между следами ожогов и рубцами, оставленными проказой, потому-то сестра и не нашла в себе смелости прикоснуться к Одноглазке и не помешала ей упасть с кровати. Одноглазка упала животом как раз на низкую скамейку, стоявшую рядом с ее постелью. Ни ее самое, ни ребенка спасти не удалось.

Разве думали мы с ней, что наша лодка вот так вдруг перевернется, уже почти достигнув самого берега?.. Смерть могла бы, кажется, призвать ее и после того, как мы увидим личико новорожденного.

Когда все было кончено, я в больнице сделал письменное распоряжение, чтобы здоровый глаз Одноглазки поместили в глазной банк, а тело было предоставлено в распоряжение медицинского колледжа.

Я сам всегда ношу при себе заверенное завещание подобного же содержания — пусть жизнь прошла даром, хоть тело может быть полезным.

Вчера вечером я сошел с поезда на этой узловой станции. Куда двинусь дальше, я еще не решил.

С Новожизненским я порвал навсегда. Не в моем характере возвращаться туда, откуда я единожды ушел.

Сам удивляюсь странностям своей натуры.

В тот день в госпитале, например... Все — даже, как мне показалось, Доктор — ожидали увидеть слезы на моих глазах.

Мне вовсе было не трудно уронить слезу, но что-то мешало дать волю скрытым в сердце чувствам на виду у всех. Но и когда я остался наедине с самим собой, я не разразился стенаниями. Я сидел, стиснув зубы, и только медленно ползущие по лицу беззвучные слезы выдавали мое состояние.

Приступ рыданий случился со мной лишь вчерашней ночью.

Это была изумительная лунная ночь. Я стоял на мосту высоко над платформами, держась за перила. Внизу, пуская клубы дыма, прошел локомотив, за ним потянулись вагоны товарного состава, и вскоре последний из них исчез из виду за станционной сторожкой.

Неожиданно из глаз моих, точно прорвав заслон, полились нескончаемые слезы. Мне почудилось, будто вся земля до самого горизонта накрыта белой простыней, и я боюсь приподнять этот покров, боюсь увидеть там бледное, как бумага, лицо с улыбкой на бескровных губах.

Тогда же уста мои сами собой стали произносить сетования томимого болью и страданиями, покрытого язвами проказы Иова:

Вспомни, что жизнь моя дуновение, что око мое не возвратится видеть доброе.

Не увидит меня око видевшего меня; очи Твои на меня,— и нет меня.

Редеет облако и уходит; так нисшедший в преисподнюю не выйдет,

Не возвратится более в дом свой, и место его не будет уже знать его [1].

Я и теперь еще не знаю, куда мне идти. Я говорил, кажется, что смотрю теперь на себя сзади, и поэтому не могу видеть выражения своего лица. А не видя того, что происходит на моем лице, я не могу понять, что творится у меня в душе.

Ах да! Совершенно забыл.

Когда я стоял на больничном дворе, разговаривая с Доктором, сбоку подошел к нам кто-то, презрительно щуривший глаза. Разглядев его как следует, я увидел, что это был Хаджи. Рядом с ним оказался вертлявый маулави [2].

Почесывая затылок, Хаджи произнес:

— Я должен вам сказать кое-что...

— Говорите,— сказал я твердым голосом.

— Кульсум была моей женой...

Я был поражен, но, не подав вида, процедил:

— Ах, вот оно что...

— Я, собственно, насчет похорон...— продолжал он.

Я молчал. Тут вмешался этот субъект, маулави:

— Вы там скажите Большому Бабу, потребуются расходы...

И здесь я сделал то, чего никогда в жизни не делал: дрожа от ярости...

(Я вынужден окончить перевод на этом месте. То была последняя строка последней страницы попавших ко мне в руки записок. Вполне возможно, за ней следовали и другие, а может быть, у писавшего эту повесть попросту вышли чернила, как то показывают последние строчки, все более бледные и неразборчивые. Так или иначе, что может сделать переводчик, кроме как оставаться верным оригиналу? Обладает ли он правом не останавливать бег своего пера там, где автор не досказал что-то или не заключил своего произведения?)

[1] Книга Иова, глава 7, ст. 7—10.

[2] Мусульманский учитель и богослов.

■

СТИВЕН КИНГ

Мертвая зона

РОМАН

Перевод с английского О. ВАСИЛЬЕВА и С. ТАСКА

В тот год снег выпал рано. К первому ноября он покрыл землю ковром дюймов в шесть, так что перед прогулками к почтовому ящику Джонни приходилось надевать старые зеленые сапоги на каучуковой подошве и старую штормовку. Две недели назад Дейв Пелсен прислал ему тексты, по которым предстояло работать в январе, и Джонни уже начал составлять примерные планы уроков. Он с нетерпением ждал возвращения в школу. Дейв нашел ему и квартиру — на Хауленд-стрит в Кливс Милс. Хауленд-стрит, 24. Джонни положил листочек с адресом в бумажник, потому что улица и номер дома, к большому его раздражению, то и дело вылетали из головы.

День стоял пасмурный, по небу плыли низкие облака, столбик термометра держался чуть ниже двадцати градусов по Фаренгейту [1]. Когда Джонни вышел на подъездную дорожку, закружились первые снежинки. Рядом никого не было, и Джонни без смущения высунул язык, чтобы поймать снежинку. Он почти не хромал и чувствовал себя отлично. Последние две недели, а то и больше его ни разу не мучили головные боли.

Почта состояла из рекламного листка, журнала «Ньюсуик» и маленького плотного конверта, адресованного Джону Смиту, но без имени отправителя. Джонни вскрыл его на обратном пути, сунув остальное в задний карман брюк. Он вытащил листок газетной бумаги, увидел сверху слова «Инсайд вью» и остановился на полдороге.

Это была третья страница журнала за прошлую неделю. Центральное место занимала «разоблачительная» история про симпатягу комика из телевизионного детектива; в свое время его дважды выгоняли из школы (двенадцать лет назад) и раз арестовывали за хранение кокаина (шесть лет назад). Свеженькая новость для американских домохозяек. Еще там была зерновая диета, фотография вундеркинда и рассказ о девятилетней девочке, чудесно исцеленной в Лурде от церебрального паралича (ВРАЧИ ОЗАДАЧЕНЫ, ликующе возвещал заголовок). Внизу страницы помещалась отчеркнутая заметка без подписи под названием «ЯСНОВИДЯЩИЙ» ИЗ МЭНА ПРИЗНАЕТСЯ В ОБМАНЕ:

«Инсайд вью» всегда считал своей главной задачей не только давать читателям исчерпывающую информацию об экстрасенсах, которых игнорирует так называемая «большая пресса», но и разоблачать жуликов и шарлатанов, до сих пор мешающих официальному признанию паранормальных явлений.

Продолжение. Начало см. в № 1.

[1] Приблизительно минус 7° по Цельсию. *(Здесь и далее прим. перев.).*

Один из таких жуликов недавно признался в обмане корреспонденту нашего журнала. Этот, с позволения сказать, «ясновидящий», Джон Смит из Паунала, штат Мэн, сказал: «Все было подстроено с целью оплатить мои больничные счета. А если мне удастся состряпать книжонку, я получу достаточно, чтобы разделаться с долгами и безбедно пожить еще пару лет. Нынче люди поверят чему угодно, так почему бы мне не приправить свою еду хорошей подливкой?» Тут Смит ухмыльнулся.

Благодаря «Инсайд вью», который всегда предупреждал читателей, что на одного настоящего ясновидящего приходится по два самозванца, подливка Джону Смиту не досталась. И мы подтверждаем свое обещание выслать 1000 долларов каждому, кто уличит любого из наших знаменитых ясновидящих в обмане.

Обманщики и шарлатаны, берегитесь!

Джонни перечитал заметку дважды; снег уже повалил хлопьями. Он невольно усмехнулся. Да, недремлющая пресса не любит, подумал Джонни, когда какой-то Джон Смит спускает ее представителя с лестницы. Он вложил вырванную страницу в конверт и сунул его в задний карман, где лежала остальная почта.

— Дис,— сказал он вслух,— надеюсь, твои синяки еще не прошли.

•

Спустя около месяца все вроде бы забылось. Джонни отправился на совещание учителей, приступавших к занятиям в середине года, с тем чтобы заодно отвезти вещи на новую квартиру, которая оказалась маленькой, но вполне пригодной для жилья.

Он поехал в отцовской машине, и когда уже готов был тронуться, Герберт спросил:

— Ты не боишься? Не боишься вести машину?

Джонни покачал головой. В последнее время воспоминания о дорожном происшествии мало беспокоили его. Если что должно случиться с ним, все равно случится. В глубине души он был уверен, что молния не ударит второй раз в то же место,— он не думал, что погибнет в автомобильной катастрофе.

И в самом деле, долгая поездка прошла тихо и спокойно, а на самом совещании царила совершенно домашняя атмосфера. Все его старые коллеги, еще продолжавшие преподавать в школе Кливс Милс, подходили, чтобы пожелать ему здоровья и счастья. Но он, конечно, заметил, что лишь немногие обменялись с ним рукопожатиями, он ощущал некоторую сдержанность и настороженность во взглядах. Наверное, показалось, убеждал он себя по дороге домой. А если нет, ну и пусть... в этом даже есть что-то забавное. Жаль, что они не читают «Инсайд вью», а то бы знали, что он обманщик и нечего его бояться.

После совещания ему пришлось вернуться в Паунал и ждать окончания рождественских каникул. Бандероли с вещами приходить перестали, словно кто-то поставил на их пути невидимый заслон,— вот она, сила печатного слова, сказал Джонни отцу. Их сменил короткий поток рассерженных — в основном анонимных — писем и открыток от людей, которые сочли себя обманутыми.

«Згарите в А-Д-У! за свои грязные планы абжулить наши Американские Штаты,— гласило типичное послание. Оно было написано на измятом листке почтовой бумаги отеля «Рамада» и отправлено из Йорка, штат Пенсильвания.— *Вы просто Жулик-Трюкач и грязное вонючее дерьмо.* Спасибо журналу, который раскусил вас. Вам должно быть стыдно за себя, Сэр. По Библии обычного грешника бросят в Озеро ОГНЯ и он ищезнет там, а ЛЖЫВЫЙ ПРАРОК! будет гореть *вечно* и *ВСЕГДА!* Это вы Лжывый Прарок, который продал свою Бессмертную Душу за несколько дешовых монет. И это конец моего письма и я надеюсь для вашего же блага никогда

не поймать вас на Улицах вашего Родного Города. Остаюсь ДРУГОМ (Бога, а не вашим Сэр)!»

После появления заметки в «Инсайд вью» за двадцать дней пришло десятка два писем такого же примерно содержания. Несколько проходимцев пожелали стать партнерами Джонни. «Я был ассистентом фокусника,— похвалялся один из корреспондентов,— и мог запросто вытряхнуть старую шлюху из корсета. Если вы репетируете какой-нибудь телепатический трюк, я вам очень пригожусь!»

А затем поток писем иссяк, так же как ранее поток коробок и бандеролей. Однажды в конце ноября Джонни открыл почтовый ящик и в третий раз подряд ничего в нем не нашел; он повернул обратно и вдруг вспомнил предсказание Энди Уорола: для каждого американца наступает день, когда он может прославиться на пятнадцать минут. Судя по всему, его пятнадцать минут пришли и ушли, и никто на свете не радовался этому больше, чем сам Джонни.

Но, как показали события, радоваться ему было рано.

— Смит? — спросил голос в телефонной трубке. — Джон Смит?

— Да. — Голос был незнакомый, но человек явно не ошибся номером. Странно, ведь отец три месяца назад поменял номер телефона. Приближалось рождество, в углу гостиной стояла елка в старой крестовине, изготовленной Гербертом, когда Джонни был еще ребенком. За окном валил снег.

— Моя фамилия Баннерман. Шериф Джордж Баннерман из Касл-Рока. — Он откашлялся. — У меня, как бы это сказать... предложение к вам.

— Кто вам дал этот номер?

Баннерман снова откашлялся.

— Ну, положим, я мог бы узнать его, все-таки я работаю в полиции. Но на самом деле мне его дал ваш друг. Доктор по фамилии Вейзак.

— Сэм Вейзак дал вам мой номер?

— Так точно.

Джонни, совершенно ошеломленный, присел возле телефона. Теперь фамилия Баннерман начала ему кое-что говорить. Совсем недавно он встретил ее в статье, опубликованной в воскресном приложении. Баннерман был шерифом графства Касл, расположенного значительно западнее Паунала, в районе озер. Касл-Рок, центр графства, находился милях в тридцати от Норуэя и двадцати от Бриджтона.

— Ведете расследование? — спросил он.

— Пожалуй, что так. Я подумал, не посидеть ли нам за чашечкой кофе...

— Что-нибудь с Сэмом?

— Нет. Доктор Вейзак не имеет к этому отношения,— сказал Баннерман. — Он позвонил мне и назвал ваше имя. Было это... э-э... месяц назад, а то и больше. Честно говоря, я решил, что он спятил. А теперь мы сами голову сломали.

— Из-за чего? Мистер... шериф Баннерман, я не понимаю, о чем вы.

— Нам, правда, лучше бы встретиться за чашкой кофе,— сказал Баннерман.— Может, сегодня вечером? На Главной улице Бриджтона есть славное местечко под названием «У Джона». Это как раз посередине между нашими городками.

— Нет, извините,— сказал Джонни. — Я должен знать, о чем идет речь. И почему доктор Вейзак не позвонил сам?

— Очевидно, вы не читаете газет,— вздохнул Баннерман.

Но он ошибался. С тех пор как Джонни пришел в сознание, он

заставлял себя читать все газеты, стараясь наверстать упущенное. И совсем недавно он встречал фамилию Баннермана. Совершенно точно. Баннерман попал в какой-то переплет из-за...

Джонни отставил руку с телефонной трубкой и, взглянув на нее, внезапно все понял. Он смотрел на нее так, как человек смотрит на змею, вдруг сообразив, что она ядовитая.

— Мистер Смит? — еле слышно прокричала трубка. — Алло? Мистер Смит?

— Слушаю,— сказал Джонни, вновь приложив трубку к уху. Его распирала глухая злость на Сэма Вейзака, Сэма, который только нынешним летом твердил ему, чтобы он не высовывался, а сам за его спиной наговорил бог знает чего первому встречному.

— Вы звоните по поводу задушенных, да?

Баннерман долго колебался. Затем спросил:

— Мы могли бы встретиться, мистер Смит?

— Нет. Совершенно исключено. — Глухая злость внезапно переросла в ярость. В ярость и во что-то еще. Джонни стало страшно.

— Мистер Смит, это очень важно. Сегодня...

— Нет. Я хочу, чтобы меня оставили в покое. И потом, разве вы не читаете этот дурацкий «Инсайд вью»? Я же самозванец.

— Доктор Вейзак сказал...

— Он не имел права ничего говорить! — закричал Джонни. Его трясло. — Прощайте! — Он бросил трубку на рычаг и быстро отошел от телефона, будто это могло помешать новому звонку. Он чувствовал, как в висках зарождается головная боль. Глухие толчки. Не позвонить ли матери Сэма в Калифорнию, подумал он. Сказать ей, что у нее есть сынок. И сообщить, как связаться с ним. Око за око.

Вместо этого он вытащил из ящика телефонный справочник, отыскал рабочий телефон Сэма в Бангоре и набрал номер. Едва на другом конце линии раздался звонок, как он, испугавшись, повесил трубку. Зачем Сэм устроил ему это? Зачем, черт возьми?

Он взглянул на рождественскую елку.

Все те же старые игрушки. Два дня назад они с отцом принесли их с чердака, вытащили из мягких бумажных оберток и повесили на елку. Вот ведь как забавно с этими елочными игрушками. Когда человек вырастает, мало что остается из вещей, окружавших его в детстве. Все на свете преходяще. Не многое может служить и детям и взрослым. Одежда переходит кому-то по наследству или отправляется в Армию спасения; из часов с утенком Дональдом на циферблате выскакивает заводная пружинка; ковбойские сапоги изнашиваются. Вместо бумажника, который ты сам смастерил в летнем лагере, появился другой, из настоящей кожи, а свою красную коляску и велосипед ты променял на взрослые игрушки — автомобиль, теннисную ракетку, модную приставку для игры в хоккей по телевизору. Мало что сохраняется от детства. Несколько книг, да счастливая монетка, да еще коллекция марок, которая уцелела и пополнилась.

Да еще игрушки для рождественской елки в доме родителей.

Из года в год все те же облупившиеся ангелы и та же звезда из фольги, которой увенчивали елку; небольшой жизнестойкий взвод стеклянных шаров, уцелевших из целого батальона (мы не забудем геройски павших, подумал он: один погиб, сжатый рукой ребенка, другой выскользнул у отца, когда тот его вешал, и хлопнулся об пол, а третий, красный, с Вифлеемской звездой, каким-то загадочным образом оказался вдруг разбитым, когда однажды мы достали игрушки с чердака, и я долго горько плакал); а вот и крестовина. Но иногда, размышлял Джонни, рассеянно потирая виски, было бы, наверное, лучше, милосерднее совсем утратить связь с этими последними отголосками прошлого. Старые книги уже никогда не всколыхнут тебя так, как в детстве. Счастливая монетка не уберегла тебя от ударов, издевок и обыденности. Глядя на елочные

игрушки, вспоминаешь, что когда-то здесь хозяйничала мать; она всех учила наряжать елку; казалось, ей нравилось изводить тебя указаниями: «немного выше», или «немного ниже», или «по-моему, дорогой, слишком много мишуры слева»,— а ты тихо закипал. Глядя на игрушки, вспоминаешь, что на сей раз вы развешивали их вдвоем, потому что мать сошла с ума и умерла, а хрупкие шары по-прежнему здесь, они украшают новую елку, срубленную в небольшом лесочке за домом, и разве ты не слышал, что на рождество бывает больше самоубийств, чем в любое другое время года? Стоит ли удивляться!

Какую силу дал тебе господь, Джонни.

Ну да, конечно, господь бог неподражаем. Он вышиб меня через ветровое стекло такси, я сломал ноги и пролежал почти пять лет в коме, а трое других людей погибли на месте. Моя девушка вышла замуж. У нее сын, который мог быть моим, от юриста, лезущего из кожи вон, чтобы попасть в конгресс и там вместе со всей честной компанией кататься на большом игрушечном электропоезде [1]. Стоит мне пробыть на ногах два часа подряд, и ощущение такое, будто кто-то взял огромную спицу и вогнал ее мне в пятку до самого паха. Господь бог — просто шутник. Большой шутник, он создал не мир, а какую-то комическую оперу, в которой стеклянный шар живет дольше, чем ты. Славный мир и во главе поистине первоклассный бог. Он, по-видимому, был на нашей стороне во время вьетнамской войны, потому что так он правит от сотворения мира.

Он уготовил тебе миссию, Джонни.

Вытащить из дерьма какого-то провинциального олуха, полицейского, чтобы его переизбрали в будущем году?

Не беги от нее, Джонни. Не прячься в пещере.

Он потер виски. Ветер усиливался. Скоро отец пойдет домой с работы. В такую погоду надо быть поосторожнее.

Джонни встал, натянул толстый свитер и вышел. Изо рта повалил морозный пар. Он направился в сарай. Слева высилась поленница дров, которые Джонни наколол совсем недавно, осенью; дрова были аккуратно распилены по размеру печки. Рядом стоял ящик со щепой, а по соседству лежала кипа старых газет. Он присел и начал их перебирать. Руки быстро онемели, но он продолжал листать и наконец нашел то, что искал. Воскресную газету трехнедельной давности.

Он принес ее в дом, разложил на кухонном столе и начал просматривать. Он нашел интересовавшую его статью и присел, чтобы перечитать ее.

Статью сопровождало несколько фотографий: на одной была видна старуха, запирающая дверь; на другой — полицейская машина на безлюдной улице; еще на двух — почти пустые магазины. Заголовок гласил: ОХОТА ЗА ДУШИТЕЛЕМ ИЗ КАСЛ-РОКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ... И ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

Пять лет назад, говорилось в статье, молодая женщина Альма Фречет, служившая в местном ресторане, была изнасилована и задушена по дороге с работы домой. Прокуратура штата и полиция Касл-Рока провели совместное расследование. Результат — нулевой. На следующий год в маленькой квартирке на третьем этаже дома по Карбайн-стрит в том же Касл-Роке была найдена пожилая женщина — тоже изнасилованная и задушенная. Месяцем позже убийца снова дал о себе знать: на сей раз жертвой стала ученица средней школы.

Новое, более тщательное расследование с привлечением ФБР также не дало результатов. На следующих выборах шерифа Карла М. Келсо, главного стража порядка в графстве чуть ли не со времен Гражданской войны, прокатили и на его место избрали Джорджа

[1] Имеется в виду подземная электрифицированная дорога, которая соединяет старое здание палаты представителей с Капитолием.

Баннермана, он выплыл на гребне активной кампании под лозунгом: «Поймать душителя из Касл-Рока».

Прошло два года. Преступника не поймали, но убийства прекратились. А в прошлом январе двое мальчишек нашли тело семнадцатилетней Кэрол Данбаргер. Она числилась пропавшей без вести с тех пор, как родители заявили о ее исчезновении. В школе с ней без конца что-то случалось — она опаздывала на уроки, пропускала занятия, два раза была уличена в мелких магазинных кражах, а однажды убежала из дома и добралась до самого Бостона. И Баннерман, и полиция штата полагали, что Кэрол голосовала на шоссе и убийца взялся ее подвезти. В середине зимы наступила оттепель, она и помогла обнаружить тело девушки — его нашли двое мальчишек близ Стриммерской протоки. Главный патологоанатом штата сказал, что смерть наступила примерно двумя месяцами ранее.

Наконец, второго ноября уже нынешнего года произошло еще одно убийство. Жертвой стала Этта Рингголд, учительница начальной школы Касл-Рока. В городе ее очень любили. Всю жизнь она была прихожанкой местной методистской церкви, имела ученую степень, пользовалась влиянием в благотворительных организациях. Она обожала Роберта Браунинга [1]. Ее тело нашли в трубе, проложенной под неасфальтированной, почти непроезжей дорогой. По всей северной части Новой Англии пронеслась волна возмущения в связи с убийством мисс Рингголд. Вспоминали Альберта де Сальво, Бостонского душителя, однако эти параллели никоим образом не могли утихомирить разбушевавшиеся страсти. Масла в огонь подлила газета «Юнион лидер», издаваемая Уильямом Лейбом в не таком уж далеком Манчестере, штат Нью-Гэмпшир; редакционная статья была озаглавлена: «БЕЗДЕЛЬНИКИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИЗ СОСЕДНЕГО ШТАТА».

В старой, почти шестинедельной давности газете, впитавшей запах сарая и дров, цитировались два местных психиатра, которые согласились прояснить ситуацию при условии, что их имена не будут названы. Один из них упомянул особый вид сексуального извращения — стремление совершать насильственное действие в момент оргазма. Прелестно, подумал Джонни, поморщившись. Он душил свои жертвы, когда наступал оргазм.

Головная боль давала себя знать все сильнее.

Другой психиатр обратил внимание на тот факт, что все пять убийств были совершены в конце осени либо в начале зимы. И хотя маниакально-депрессивная личность не подпадает ни под какую твердую схему, перепады настроения у маньяка, как правило, связаны со сменой времен года. У преступника мог быть «спад» агрессивности с середины апреля примерно до конца августа, а затем она начинала нарастать, достигая своего «пика» к моменту совершения убийств.

В период маниакального, или «пикового», состояния этот человек, по-видимому, сексуально крайне возбудим, активен, склонен к риску и уверен в своей безнаказанности. «Он, вероятно, убежден, что полиция его не поймает»,— заключил анонимный психиатр. Статья заканчивалась словами: «И пока убийца не ошибся в своих расчетах».

Джонни положил газету и взглянул на часы. Отец вернется домой с минуты на минуту, если только не застрянет из-за снега. Джонни подошел к печке и сунул газету в огонь.

Не мое дело. Все равно, черт бы побрал Сэма Вейзака.

Не прячься в пещере, Джонни.

Он не прятался, совсем нет. Просто так уж случилось, что с ним довольно жестко обошлись. Потерять целый кусок жизни — разве это не дает право самому стать жестким?

Ах, так ты себя жалеешь?

[1] Английский поэт XIX века.

— К чертовой матери,— пробормотал Джонни. Он подошел к окну и выглянул на улицу. За сплошной пеленой снега ничего не было видно. Джонни надеялся, что с отцом будет все в порядке, а еще он надеялся, что Герберт вскоре появится и положит конец этому бессмысленному самокопанию. Джонни снова подошел к телефону и постоял в нерешительности.

Жалел себя Джонни или нет, а все-таки он потерял немалую часть жизни. Можно сказать, лучшую часть. Он многое сделал, чтобы снова обрести себя. Разве он не заслужил самого обыкновенного уединения? Разве он не имеет права на то, о чем мечтал несколько минут назад — на обыкновенную жизнь?

Ее не существует, мой дорогой.

Может, и так, зато существует необыкновенная жизнь. Перебирать вещи людей и внезапно узнавать про их мелкие страхи, ничтожные тайны, незначительные победы — поистине необыкновенная жизнь. Это уже не талант, а проклятие.

Предположим, он встретится с шерифом. Но ведь нет никакой гарантии, что он сможет ему помочь. Даже, предположим, он сможет. Предположим, он подаст ему убийцу на серебряной тарелочке. Повторится больничная пресс-конференция — тот же цирк, только возведенный в чудовищную степень.

Сквозь головную боль начала пробиваться навязчивая песенка, скорее какие-то ее звонкие обрывки. Эту песенку пели в воскресной школе в раннем детстве: «Огонек в моей груди... ты свети, всегда свети... огонек в моей груди... ты свети, всегда свети... ты свети, свети, свети...».

Он поднял трубку и набрал служебный номер Вейзака. Сейчас, после пяти, это почти безопасно. Вейзак уже ушел с работы, а свой домашний номер знаменитые неврологи в справочники не дают. После шести или семи длинных гудков Джонни собирался уже положить трубку, но тут Сэм ответил:

— Да? Алло?

— Сэм?

— Джон Смит? — В голосе Сэма несомненно звучало удовольствие, но в то же время и какое-то беспокойство.

— Да, это я.

— Как вам нравится эта погодка? — спросил Вейзак, пожалуй, чересчур уж бодро. — У вас идет снег?

— Да.

— Здесь он начался всего час назад. Говорят... Джон? Вы звоните из-за шерифа? Вы расстроены?

— Да, я разговаривал с шерифом,— сказал Джонни,— и хочу знать, что, собственно, произошло. Почему вы дали ему мой телефон? Почему не обратились ко мне и не сказали, что вам нужно... почему вообще не связались сначала со мной и не спросили моего согласия?

Вейзак вздохнул.

— Джонни, я бы мог вам соврать, но не буду. Я не обратился к вам, потому что боялся, что вы откажетесь. И не позвонил вам после разговора с шерифом, потому что он поднял меня на смех. Если человек смеется над моим предложением, я заключаю, что оно отвергнуто.

Джонни потер свободной рукой висок и закрыл глаза.

— Но почему, Сэм? Вы же знаете, как я к этому отношусь. Вы сами говорили, чтобы я не высовывался, пока не утихнут слухи. Это ваши слова.

— Все дело в газетной заметке,— признался Сэм.— Я сказал себе: Джонни живет в тех краях. И еще я сказал себе: пять убитых женщин. Пять.— Вейзак был явно смущен, он говорил медленно, с остановками. И от этого Джонни стало не по себе. Он уже жалел, что позвонил ему.— Две девочки. Молодая мать. Учительница младших классов,

любившая Браунинга. Предельно банальная история, правда? Настолько банальная, что из нее, пожалуй, даже нельзя состряпать фильма или передачи для телевидения. И тем не менее все правда. Особенно мне жаль учительницу. Засунули в трубу, как мешок с отходами...

— Ваши фантазии по этому поводу и угрызения совести меня не интересуют. Вы не имеете права, черт возьми...— прохрипел Джонни.

— Вероятно, нет.

— Никаких «вероятно»!

— Джонни, как вы себя чувствуете? У вас такой голос...

— Хорошо! — выкрикнул Джонни.

— Судя по голосу, не очень.

— У меня жутко болит голова, что тут удивительного. Ради Христа, оставьте меня в покое. Когда я сказал вам о матери, вы ведь не позвонили ей. Вы сказали...

— Я сказал, что кое-что лучше потерять, чем найти. Но это не всегда так, Джонни. У преступника, кто бы он ни был, чудовищно изломанная психика. Он может покончить с собой. Наверное, когда убийства на два года прекратились, полиция так и решила. Но у маниакально-депрессивных личностей иногда бывают длительные периоды затишья — так называемое «плато нормальности»,— после чего снова возобновляются перепады настроений. Он мог покончить с собой после убийства учительницы в прошлом месяце. Но если он жив, что тогда? Он может убить еще женщину. Или двух. Или четырех. Или...

— Хватит.

— Почему шериф Баннерман вам позвонил? — спросил Сэм Вейзак.— Что заставило его изменить решение?

— Не знаю. Очевидно, его донимают избиратели.

— Джонни, я сожалею, что посоветовал ему обратиться к вам и причинил столько боли. А еще больше сожалею, что не позвонил и не сказал о своем разговоре с Баннерманом. Я неправ. Видит бог, вы заслужили спокойную жизнь.

Джонни не стало легче, когда он услышал отзвук собственных мыслей. Наоборот, он почувствовал себя еще более несчастным и виноватым.

— Ладно,— проговорил он.— Все в порядке, Сэм.

— Я больше никому ничего не скажу. Это, конечно, все равно что сменить замок в конюшне после того, как у тебя увели лошадь, но тем не менее. Я поступил глупо. Непозволительно глупо для врача.

— Ладно,— повторил Джонни. Он ощущал свою беспомощность, а от заминок и смущения Сэма ему стало еще хуже.

— Мы скоро увидимся?

— Со следующего месяца я начну преподавать в Кливс Милс. Тогда и заеду.

— Хорошо! Еще раз простите, Джон.

— Да хватит вам!

Они попрощались, и Джонни положил трубку, жалея, что вообще позвонил Сэму. Быть может, ему не хотелось, чтобы Вейзак так быстро признал, что был неправ. Быть может, на самом деле Джонни ожидал, что Сэм скажет: *Конечно, я позвонил ему. Я хотел, чтобы вы оторвали задницу от стула и сделали что-нибудь.*

Джонни медленно подошел к окну и посмотрел в темную заметь. *Засунули в трубу, как мешок с отходами.*

Боже, как болит голова.

Через полчаса пришел домой Герберт и, увидев побелевшее лицо Джонни, спросил:

— Голова болит?

— Да.

— Сильно?

— Не очень.

— Надо бы посмотреть новости,— сказал Герберт.— Хорошо, что не опоздал. Сегодня днем в Касл-Роке крутились телевизионщики из Эн-би-си. Там была и эта репортерша, которая тебе нравится. Кэсси Маккин.

Встретив взгляд Джонни, он зажмурился. На миг ему показалось, что на него с выражением почти нечеловеческой боли смотрят десятки глаз.

— Касл-Рок? Опять убийство?

— Да. Утром в городском парке нашли тело маленькой девочки. Ужасная история, просто в голове не укладывается. Пошла в библиотеку за книжкой. Туда надо идти через парк. В библиотеке она побывала, но обратно уже не вернулась... Джонни, что с тобой? На тебе лица нет.

— Сколько ей было?

— Только-только исполнилось девять,— сказал Герберт.— Моя бы воля, я бы того, кто это сделал, за ... подвесил.

— Девять лет,— произнес Джонни и тяжело опустился на стул.— О господи.

— Сынок, тебе что, плохо? Вон какой белый.

— Все нормально. Включай телевизор.

На экране появился Джон Чанселлор с дневным уловом новостей: борьба за власть (избирательная кампания Фреда Харриса идет вяловато), правительственные постановления (американским городам, по словам президента Форда, недостает реализма в решении бюджетных вопросов), сообщения из-за рубежа (общенациональная забастовка во Франции), биржевые новости (играют на повышение) и, наконец, информация «для души» — о мальчике, который при церебральном параличе сумел откормить корову весом в четыре центнера.

— Может, решили не давать,— сказал Герберт.

Но после рекламной перебивки Чанселлор объявил:

— Жители небольшого городка на западе штата Мэн проведут сегодня бессонную ночь. Речь идет о Касл-Роке, где за последние пять лет совершено пять чудовищных убийств — изнасилованы и удушены лица женского пола в возрасте от четырнадцати лет до семидесяти одного года. Сегодня здесь произошло шестое убийство, жертвой стала девятилетняя девочка. Подробности из Касл-Рока сообщит Кэтрин Маккин.

А вот и она, точно фея из сказки, оказавшаяся на подмостках жизни. Кэтрин стояла напротив здания городского управления. Первые хлопья снега, предвестники близкой метели, ложились ей на пальто и светлые волосы.

— В этом небольшом фабричном городке Новой Англии царит атмосфера нарастающей истерии,— начала она.— Население Касл-Рока уже давно живет в тревоге из-за неизвестного, которого местная пресса окрестила «душителем из Касл-Рока», или иначе — «ноябрьским убийцей». Тревога сменилась настоящим ужасом — это слово никому здесь не кажется чересчур сильным — после того, как сегодня днем в городском парке было обнаружено тело Мэри Кэт Хендрасен. Это произошло недалеко от эстрады, где когда-то нашли труп официантки Альмы Фречет, первой жертвы «ноябрьского убийцы».

Последовала панорама городского парка, который сквозь пелену разыгравшейся метели казался мрачным и безжизненным. Затем показали школьную фотографию улыбающейся Мэри Кэт Хендрасен с широкими металлическими скобками на зубах. Красивые белокурые локоны. Платье цвета электрик. Наверное, это ее самое лучшее

платье, с горечью подумал Джонни. Мама нарядила дочку, чтобы она хорошо выглядела на школьной фотографии.

Репортаж продолжался — теперь телезрителям напоминали историю предыдущих убийств,— но Джонни уже набирал номер. Он с трудом крутил диск, в голове у него шумело.

Из гостиной вышел Герберт и с недоумением посмотрел на сына.

— Кому это ты?

Джонни остановил его жестом, прислушиваясь к гудкам. На другом конце провода сняли трубку:

— Графство Касл, управление шерифа.

— Будьте добры шерифа Баннермана.

— Кто его спрашивает?

— Джон Смит из Паунала.

— Подождите, пожалуйста.

Джонни повернулся к экрану и увидел Баннермана таким, каким он был сегодня днем — в меховой куртке с капюшоном и шерифской нашивкой на рукаве. Ему было явно не по себе, хотя он довольно стойко отбивался от наседавших на него репортеров. Баннерман оказался широкоплечим мужчиной с высоким лбом и темными вьющимися волосами. Очки без оправы придавали ему довольно странный вид.

— Мы прорабатываем разные версии,— сказал Баннерман с экрана.

— Алло. Мистер Смит? — раздался в трубке голос шерифа.

Опять это странное чувство раздвоенности. Баннерман находился в двух местах сразу. В двух *временах,* если на то пошло. На миг у Джонни все поплыло перед глазами. Не дай бог пережить такое. Словно ты на ярмарке и катаешься на подвесной карусели или съезжаешь с русских горок.

— Мистер Смит? Вы меня слышите?

— Да, слышу.— Джонни проглотил комок в горле.— Я передумал.

— Молодчина! Чертовски рад это слышать.

— Только не знаю, сумею ли я вам помочь.

— Понятно. Что поделаешь — волков бояться — в лес не ходить. — Баннерман откашлялся.— Меня с позором выставят из города, если узнают, до чего я докатился: обращаюсь за помощью к ясновидящему.

Джонни слабо улыбнулся.

— Добавьте: опозоренному.

— Вы знаете заведение «У Джона» в Бриджтоне?

— Найду.

— Давайте встретимся там в восемь?

— Что ж, можно.

— Спасибо, мистер Смит.

— Не за что.

Джонни положил трубку. Герберт пристально смотрел на сына. В гостиной светился экран, мелькали заголовки местных новостей.

— Он что, звонил тебе?

— Да. Сэм Вейзак сказал ему, что я, возможно, сумею помочь.

— А сам ты как думаешь?

— Не знаю,— ответил Джонни, но голова немного отпустила.

Он опоздал на пятнадцать минут. Ресторанчик «У Джона» был, похоже, единственным заведением на Главной улице в Бриджтоне, которое еще не закрылось. Снегоочистители не успевали убирать сугробы, на дороге в нескольких местах образовались заносы. Завывал ветер, на перекрестке двух автострад, 302-й и 117-й, раскачивался светофор-мигалка. У входа в ресторан стояла полицейская патрульная машина с золоченой надписью на дверце: «Шериф графства

Касл». Джонни поставил свою машину рядом и вошел в ресторан.

Баннерман сидел за столиком, перед ним была чашка кофе и порция «чили» [1]. Телевизор ввел Джонни в заблуждение. Баннерман оказался не просто крупным мужчиной, а настоящим гигантом. Джонни подошел к нему и представился.

Баннерман встал и пожал протянутую руку. При виде бледного, измученного Джонни, утопавшего в просторной куртке, он подумал: *Этот парень болен. Долго он не протянет.* Только пронзительно-голубые глаза Джонни были удивительно живыми — они смотрели на Баннермана в упор с острым, нескрываемым любопытством. Когда Джонни пожимал руку шерифа, тот испытал странное ощущение; позднее он назовет его *выкачиванием.* Потом это ощущение прошло.

— Рад, что вы приехали,— сказал Баннерман.— Кофе?

— Спасибо.

— Хотите «чили»? У них тут потрясное «чили». Мне, конечно, не стоило бы его есть из-за язвы, но не могу удержаться.— Он заметил удивление на лице Джонни и улыбнулся.— Я понимаю, такой с виду здоровяк — и вдруг язва. Не вяжется, да?

— От болезни никто не застрахован.

— А вы, черт побери, молодец,— сказал Баннерман.— Почему вы все-таки передумали?

— Из-за сообщения в теленовостях. О девочке. Вы уверены, что это тот самый тип?

— Он. Тот же почерк. И группа спермы.

В ожидании официантки Баннерман разглядывал Джонни.

— Вам кофе? — спросила официантка.

— Чай,— сказал Джонни.

— И порцию «чили»,— добавил Баннерман. Когда официантка ушла, он продолжал: — Доктор говорит, что, взяв в руки вещь, вы иногда можете определить, откуда она, кто ее владелец и все такое прочее.

— Бывает,— улыбнулся Джонни,— например, я всего лишь пожал вам руку, а уже знаю, что у вас есть ирландский сеттер по кличке Рыжий. Знаю, что он стар, начал слепнуть и вы подумываете, не усыпить ли его, только не знаете, как объяснить это дочке.

Баннерман уронил вилку в «чили» — шлеп! — и с разинутым ртом уставился на Джонни.

— Ну и ну,— сказал он.— И вы это из меня сейчас вытянули? Только что?

Джонни кивнул.

Баннерман пробормотал, покачивая головой:

— Одно дело, когда тебе рассказывают о чем-то таком, и совсем другое... и вас это не выматывает?

Джонни удивленно посмотрел на Баннермана. Никто прежде не задавал ему такого вопроса.

— Вы правы. Выматывает.

— Да как же вы узнали? Ну дела!

— Послушайте, шериф...

— Джордж. Просто Джордж.

— Ладно, тогда и меня зовите Джонни, просто Джонни. Так вот, Джордж, того, что я не знаю о вас, хватит на пять томов. Я не знаю, откуда вы родом, где окончили полицейскую школу, кто ваши друзья, где вы живете. Я знаю, что у вас есть маленькая дочка, ее зовут вроде бы Кэти, но немного иначе. Я не знаю ни чем вы занимались на прошлой неделе, ни какое пиво предпочитаете, ни какую телепередачу любите больше всего.

— Мою дочку зовут Катрина,— тихо произнес Баннерман.— Ей, кстати, девять лет. Мэри Кэт была ее одноклассницей.

[1] Мексиканское острое блюдо.

— Я хочу сказать, что мои... мои способности в общем-то ограничены. Из-за мертвой зоны.

— Какой мертвой зоны?

— Оттуда как бы не доходят некоторые сигналы,— пояснил Джонни.— Я совсем не улавливаю названия улиц и адреса. С цифрами тоже сложно, хотя иногда я могу их назвать.— Официантка принесла Джонни чай и «чили». Он попробовал «чили» и одобрительно кивнул Баннерману.— Вы правы, вкусно. Особенно в такой вечер.

— Наваливайтесь,— сказал Баннерман.— Настоящее «чили» — моя слабость. Но уже после первой ложки язва закатывает мне жуткую истерику. А я ей говорю: иди ты знаешь куда... И давай наворачивать.

Они замолчали. Джонни принялся за «чили», а Баннерман с любопытством разглядывал его. Смит мог, конечно, узнать заранее, что у него есть пес по кличке Рыжий. Джонни мог также разузнать, что Рыжий стар и почти ослеп. Пойдем дальше: если ему было известно имя дочки, он запросто мог ввернуть эту фразочку: «...ее зовут вроде бы Кэти, но немного иначе», чтобы изобразить некоторую неуверенность. Но зачем? И откуда возникло это цепенящее, ни на что не похожее ощущение, когда Смит пожал ему руку? Если тут и надувательство, то очень высокого класса.

Ветер завыл сильнее, сотрясая легкое строеньице. Снег залепил окна кегельбана на противоположной стороне улицы.

— Слышите, что творится? — сказал Баннерман.— Теперь до утра не утихнет. А еще говорят, зимы стали не такие суровые.

— Вам удалось что-нибудь найти? — спросил Джонни.— Какие-нибудь вещи этого типа?

— Может быть, и удастся,— сказал Баннерман и сам же с сомнением покачал головой.— Надежда слабая.

— Но почему?

Баннерман рассказал все по порядку. Начальную школу и библиотеку разделяет городской парк. Когда ученик идет в библиотеку, учитель дает бланк, а библиотекарь делает в нем соответствующую отметку. Примерно посередине парка есть неглубокая ложбинка. На западной ее стороне расположена эстрада. В самой ложбинке — десятка два скамеек, сюда приходят послушать джазовые концерты или поговорить о футбольных баталиях.

— Мы предполагаем, что преступник сидел на скамейке и ждал, когда какая-нибудь девочка пройдет мимо одна. Со стороны входа и выхода из парка видеть его не могли. Дорожка тянется по северному склону, недалеко от скамеек.— Баннерман со вздохом покачал головой.— Как назло, первая женщина, Фречет, была убита там же, только на эстраде. Представляю, какие на меня посыплются шишки на собрании избирателей в марте, если я вообще продержусь до марта. Я, конечно, могу показать свою докладную записку с просьбой выделить людей для патрулирования парка в период школьных занятий. Когда я писал ее, скажу честно, я меньше всего думал об этом убийце. В самом страшном сне я не мог представить, что он вторично придет на то же место.

— И что же, вашу просьбу не поддержали?

— Не нашлось средств,— сказал Баннерман.— Разумеется, начальство постарается переложить вину на городское управление, там, как водится, свалят все на меня, а трава на могиле Мэри Кэт Хендрасен будет расти и...— Тут он остановился и опустил голову — вероятно, не в силах был продолжать. Джонни сочувственно смотрел на него.— Правда, не уверен, что это помогло бы,— заговорил Баннерман уже более сдержанно.— Как правило, на патрулирование мы отряжаем женщин, а этому кобелине, за которым мы охотимся, похоже, наплевать, какого они возраста.

— Итак, вы считаете, что он ждал на скамейке?

Баннерман подтвердил. Возле скамейки нашли дюжину свежих окурков и еще четыре, вместе с пустой пачкой, за эстрадой. К сожалению, преступник курил «Мальборо» — вторую или третью по распространенности марку сигарет. Целлофановую обертку послали на экспертизу, но отпечатков пальцев не обнаружили.

— Ни одного отпечатка? — удивился Джонни.— Странно!

— Почему?

— Ну убийца, само собой, был в перчатках, даже если и не думал о том, чтобы не оставить следов,— просто из-за холода... Но ведь продавец...

— А вы неплохо соображаете в нашем деле,— усмехнулся Баннерман.— Но сразу видно, что вы не курите.

— Верно,— сказал Джонни.— Когда я работал в школе, выкуривал в день несколько сигарет, но после катастрофы бросил.

— Пачку держат в нагрудном кармане. Достал, вынул сигарету, положил пачку обратно. Если я в перчатках, то новых следов на целлофане уже не будет, а старые затрутся. Понимаете? И потом, Джонни, вы упустили из виду еще одно обстоятельство. Знаете, какое?

Джонни подумал и сказал:

— Возможно, пачку просто вытряхнули из блока. А блоки заклеивает машина.

— Вот именно,— сказал Баннерман.— Вы действительно хорошо соображаете.

— А чье торговое клеймо стояло на пачке?

— Штата Мэн,— сказал Баннерман.

— Значит, если убийца и владелец сигарет — одно лицо...— в задумчивости произнес Джонни.

— Конечно, теоретически возможен другой вариант.— Баннерман пожал плечами.— Но я попробовал представить себе — кто еще стал бы холодным зимним утром так долго сидеть на скамейке городского парка? Ведь он успел выкурить двенадцать или шестнадцать сигарет.

— И никто из детей его не видел? — Джонни отпил чаю.

— Нет,— сказал Баннерман.— Я говорил со всеми, кто ходил в библиотеку сегодня утром.

— Это еще более странно, чем отсутствие отпечатков на пачке. Вы не находите?

— Не так странно, как страшно. Вообразите, он сидит и ждет, когда появится ребенок... девочка... Если ребенок не один, ему это слышно издали. И всякий раз он прячется за эстрадой.

— А следы? — сказал Джонни.

— Какие там следы! Утром еще не было снега. Земля промерзла. И вот этот псих, которого надо бы кастрировать и накормить собственным дерьмом, скрывается за эстрадой. Около восьми пятидесяти появляются Питер Харрингтон и Мелисса Логгинс. Занятия в школе начались минут двадцать назад. Когда дети скрываются из виду, он возвращается на свою скамейку. В девять пятнадцать он снова прячется за эстрадой. На этот раз идут две девочки: Сьюзен Флархети и Катрина Баннерман.

Рука Джонни упала, кружка стукнула об стол. Баннерман, сняв очки, усердно тер стекла.

— Ваша дочь тоже проходила мимо того места? О господи!

Баннерман снова надел очки. Лицо его стало жестким и бледным от гнева. И от страха, подумал Джонни. Но не перед избирателями, которые могут прокатить его на выборах, и не перед газетой «Юнион лидер», где могут еще раз проехаться по адресу туповатых полицейских штата Мэн, а из-за того, что, случись его дочке пойти сегодня утром одной в библиотеку...

— И моя дочь тоже,— тихо подтвердил Баннерман.— Она, по-видимому, прошла в каких-нибудь двенадцати метрах от этого... этого животного. Теперь вы понимаете, каково мне?

— Могу себе представить,— сказал Джонни.

— Не уверен. У меня такое чувство, словно ступил ногой в пустую шахту лифта. Или передал кому-то за столом грибы, а они оказались ядовитыми, и человек умер. Меня будто вываляли в грязи. В дерьме. Не знаю, может, поэтому я и решил позвонить вам. Сейчас я готов на все, только бы взять этого типа. На все.

За окном из снежной пелены, словно какое-то чудовище из фильма ужасов, вдруг выползла гигантская оранжевая снегоочистительная машина. Машина остановилась, на землю соскочили двое. Они пересекли дорогу, вошли в ресторан и направились к стойке. Джонни допил чай. Всякий аппетит у него пропал.

— Так вот, преступник опять садится на скамейку,— продолжал Баннерман,— но ненадолго. Приблизительно в девять двадцать пять он слышит, как возвращаются из библиотеки Харрингтон и Логгинс. Он снова укрывается за эстрадой. Приблизительно в девять двадцать пять, потому что пометку в бланке библиотекарь сделал в девять восемнадцать. В девять сорок пять в библиотеку прошли мальчишки из пятого класса. Один из них вроде бы видел какого-то типа за эстрадой. Вот и весь портрет преступника, которым мы располагаем. «Какой-то тип». Может, разослать это описание, как вы считаете? «Обратите внимание на какого-то типа».

Баннерман хмыкнул.

— В девять пятьдесят пять моя дочь и ее подружка Сьюзен идут обратно. И вот примерно в десять ноль пять появляется Мэри Кэт Хендрасен... одна. Катрина и Сью столкнулись с ней на крыльце школы. Они поздоровались.

— О господи,— пробормотал Джонни и нервно провел рукой по волосам.

— И наконец десять тридцать. Трое пятиклассников возвращаются из библиотеки. Один из них замечает что-то на эстраде. Это Мэри Кэт. Ее ноги оголены и залиты кровью, а лицо... лицо...

— Успокойтесь,— Джонни положил руку ему на плечо.

— Попробуй тут успокойся,— сказал Баннерман. Он словно извинялся.— Ничего подобного я не видел за все восемнадцать лет службы. Он изнасиловал девочку, и уже одного этого хватило бы, чтобы... убить ее... врач, производивший экспертизу, сказал, что он так... понимаете, там такие разрывы... в общем, это бы ее почти наверняка... убило... но ему было мало, и он задушил ее. Задушить девятилетнюю девочку и оставить... оставить в таком виде...

И тут по лицу Баннермана потекли слезы. У стойки два парня из бриджтонской дорожной бригады говорили об играх на кубок. Баннерман опять снял очки и вытер лицо носовым платком. Плечи у него тряслись. Джонни молча ковырял вилкой «чили».

Наконец Баннерман спрятал носовой платок. Глаза его стали красными, лицо без очков казалось каким-то беззащитным.

— Вы уж меня простите,— сказал он.— Тяжелый день выдался.

— Еще бы,— сказал Джонни.

— Знал, что этим кончится, только вот думал: как-нибудь продержусь до дому.

— Слишком долго ждать.

— У вас редкий дар понимать людей.— Баннерман снова надел очки.— И не только понимать. В вас что-то есть. Черт его знает, что именно, но что-то такое есть.

— Какие у вас еще зацепки?

— Да никаких. Верчусь как на сковородке, а полиция штата все раскачивается. Вместе со специальным следователем генеральной прокуратуры и нашим любимчиком из ФБР. Пока что экспертизой

установлена группа спермы, но сейчас это нам ничего не дает. Больше всего меня озадачивает отсутствие волос или кожной ткани под ногтями жертв. Все они наверняка сопротивлялись, однако в нашем распоряжении нет ни кусочка кожи. Этому типу точно сам дьявол помогает. Он ни разу не обронил ни пуговицы, ни магазинного чека, ровным счетом ничего. К нам тут приехал спец по психам из Огасты — генеральный прокурор расстарался,— так он уверяет, что все эти типы рано или поздно выдают себя. Чем не утешение. Особенно если позже... если еще дюжина трупов прибавится.

— Эта пачка из-под сигарет находится у вас?

— Да.

Джонни поднялся.

— Ну так поехали.

— В моей машине?

Джонни прислушался к вою ветра и едва заметно улыбнулся.

— В такой вечер,— сказал он,— совсем не мешает проехаться в компании полицейского.

Метель разбушевалась вовсю, и дорога в Касл-Рок на машине Баннермана отняла полтора часа. В двадцать минут одиннадцатого они вошли в вестибюль городского управления и стали оббивать снег с ботинок.

В коридоре находилось несколько газетчиков, они сидели под отвратительным портретом одного из местных отцов-основателей и рассказывали друг другу о своих вчерашних ночных бдениях. Баннерман и Джонни не успели глазом моргнуть, как оказались в кольце.

— Шериф, это правда, что в деле наметился сдвиг?

— Мне нечего пока сказать,— устало отозвался Баннерман.

— Говорят, вы посадили под арест кого-то из Оксфорда. Это правда, шериф?

— Нет. Дайте-ка нам, ребята, пройти...

Но они уже переключились на Джонни, и у того упало сердце, когда он узнал двух журналистов, которые были на пресс-конференции в больнице.

— Разрази меня гром! — воскликнул один из них.— Вы случайно не Джон Смит?

— Да,— сказал Джонни.— Он самый.

— Экстрасенс, что ли? — спросил другой.

— Дайте же нам пройти! — повысил голос Баннерман.— Вам что, делать нечего, кроме как...

— Судя по тому, что пишет «Инсайд вью», вы шарлатан,— сказал молодой человек в меховом пальто.— Это правда?

— На это я могу вам ответить только одно: «Инсайд вью» печатает то, что находит нужным,— сказал Джонни.— Слушайте, нам...

— Значит, вы не согласны с тем, что они написали?

— Да мне правда нечего больше сказать.

Не успели они закрыть за собой двери с матовыми стеклами, как газетчики ринулись к двум телефонам-автоматам, висевшим на стене близ дежурки.

— Да-а, вляпались мы, ничего не скажешь,— огорчился Баннерман.— Клянусь богом, мне в голову не могло прийти, что они будут торчать здесь в такую ночь. Надо было провести вас через заднюю дверь.

— Чего уж там,— с горечью отозвался Джонни,— разве вы не знали, что мы обожаем рекламу? Ради саморекламы мы и подаемся в экстрасенсы.

— Сомневаюсь,— сказал Баннерман.— Во всяком случае не вы. Н-да, опростоволосились. Теперь ничего не поделаешь.

А Джонни мысленно уже видел газетные заголовки — пикантную добавку к недавно забурлившей похлебке: ШЕРИФ ИЗ КАСЛ-РОКА ПРИВЛЕКАЕТ МЕСТНОГО ЭКСТРАСЕНСА К ДЕЛУ ОБ УДУШЕНИИ. ЯСНОВИДЯЩИЙ ИДЕТ ПО СЛЕДУ «НОЯБРЬСКОГО УБИЙЦЫ». МОЕ ПРИЗНАНИЕ В МОШЕННИЧЕСТВЕ — ФАЛЬШИВКА, ЗАЯВЛЯЕТ СМИТ.

Перед входом в кабинет сидели два помощника шерифа; один дремал, другой пил кофе и с мрачным видом просматривал донесения.

— Его что, жена из дому выставила? — раздраженно сказал Баннерман, кивая в сторону спящего.

— Только что вернулся из Огасты,— ответил помощник. Это был совсем еще мальчишка, с ввалившимися от усталости глазами. Он с интересом посмотрел на Джонни.

— Джонни Смит. Фрэнк Додд. А этого спящего красавца зовут Роско Фишер.

Джонни кивнул в знак приветствия.

— Роско говорит, что генеральный прокурор затребовал дело,— сказал Додд Баннерману. Вид у полицейского был возмущенно-задиристый и в то же время растерянный.— Хорошенький подарочек к рождеству, правда?

Баннерман слегка потрепал Додда по загривку.

— Не надо так переживать, Фрэнк. И вообще ты чересчур усердствуешь.

— Должно же что-нибудь выплыть из этих донесений...— Додд пожал плечами и постучал пальцем по стопке бумаг.— Ну хоть что-нибудь.

— Иди домой, Фрэнк, отдохни малость. И забери с собой эту спящую красавицу. Не хватало, чтобы кто-то из репортеров щелкнул его сейчас. А наутро в газетах заголовок: «РАССЛЕДОВАНИЕ В КАСЛ-РОКЕ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ»,— и нас всех отправляют мести улицы.

Баннерман провел Джонни в свой кабинет. Стол завален исписанными листами бумаги. На подоконнике — три фотографии: Баннерман, его жена и дочь Катрина. На стене — диплом в аккуратной рамке, а рядом, тоже в рамке,— первая полоса местной газеты «Колл» с сообщением о победе Баннермана на выборах.

— Кофе? — спросил Баннерман, отпирая бюро.

— Нет, спасибо. Лучше еще чаю.

— Миссис Цукерман бережет чай как зеницу ока,— сказал Баннерман.— Каждый день, к сожалению, уносит его домой. Могу предложить тоник, только нам придется еще раз пройти сквозь строй, чтобы добраться до автомата. Хоть бы они разошлись по домам.

— Ничего, я обойдусь.

Баннерман принес небольшой запечатанный конверт.

— Вот,— сказал он и, помедлив, протянул его Джонни.

Джонни взял конверт, но не спешил открывать.

— Надеюсь, вы понимаете — никаких гарантий. Я не могу ничего обещать. Иногда получается, иногда нет.

Баннерман лишь устало передернул плечами и повторил:

— Волков бояться — в лес не ходить.

Джонни вскрыл конверт и вытряхнул на ладонь пустую пачку «Мальборо». Красно-белую пачку. Он держал ее в левой руке и смотрел на стену. Серая стена. Обычная серая стена. Красно-белая пачка. Обычная красно-белая пачка. Он переложил пачку в другую руку, потом зажал ее в обеих ладонях. Он ждал, ждал хоть какого-нибудь видения. Ничего. Он продолжал сжимать пачку, надеясь на чудо, словно забыв, что если образы возникают, то возникают тотчас же.

Наконец Джонни возвратил пачку.

— Увы,— сказал он.
— Не вышло?
— Нет.
Раздался громкий стук в дверь, и показалась голова Роско Фишера. Он выглядел сконфуженным.
— Джордж, мы с Фрэнком идем по домам. Не знаю даже, как это я вырубился.
— Надеюсь, в патрульной машине с тобой этого не случится,— сказал Баннерман.— Передай привет Дине.
— Обязательно.
Фишер бросил взгляд на Джонни и прикрыл дверь.
— Ну что ж,— сказал Баннерман.— Во всяком случае попробовали. Я отвезу вас...
— Я бы хотел осмотреть парк,— перебил его Джонни.
— Бессмысленно. Там снегу по колено.
— Но вы сможете найти то место?
— Еще бы. Но что это нам даст?
— Не знаю. И все же давайте сходим.
— За нами увяжутся газетчики. Как дважды два четыре.
— Вы говорили, что есть задняя дверь.
— Есть. Аварийный выход. Проникнуть через него в здание можно, но если выбираться этим путем, сработает сигнализация.
Джонни присвистнул.
— Что ж, пусть увязываются.
Несколько секунд Баннерман испытующе смотрел на него и наконец кивнул.
— Идемте.

Как только они вышли из кабинета, репортеры вскочили с мест и окружили их. Джонни вдруг вспомнилась ветхая конура в Дареме, где чудаковатая старуха держала своих колли. Если кто шел мимо с удочкой, собаки выбегали навстречу и нагоняли страху. Они даже и не кусались, просто хватали за ноги.
— Вы знаете, Джонни, кто это?
— Есть идеи?
— Как насчет биотоков, мистер Смит?
— Это вам, шериф, пришла мысль пригласить экстрасенса?
— Шериф Баннерман, об этом знают полиция штата и генеральный прокурор?
— Джонни, вы надеетесь раскрыть это дело?
— Шериф, вы его уже оформили своим помощником?
На ходу застегивая куртку, Баннерман медленно, но решительно пробивал себе дорогу.
— Мне нечего пока сказать. Нечего.
Джонни отмалчивался.
Пока репортеры толпились в вестибюле, Джонни с Баннерманом спустились по заснеженным ступенькам. Они обошли машину шерифа и начали переходить улицу; тут кто-то из репортеров сообразил, что они направляются в городской парк. Несколько человек бросились обратно за верхней одеждой. Те, что были уже в пальто, гурьбой, галдя, как школьники, скатились вниз по лестнице.

В снежной мгле мелькали огни. Ветер с воем швырял им в лицо хлопья снега.
— Ни черта вы здесь не разглядите,— сказал Баннерман.— Вы... тьфу, пропасть! — Репортер в толстой шубе и нелепом берете налетел на него и едва не сшиб с ног.
— Извините, шериф,— пробормотал он.— Забыл галоши. А тут скользко.

Впереди из темноты выплыла желтая нейлоновая веревка, протянутая над землей. На веревке раскачивалась табличка с надписью: ПОЛИЦЕЙСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ.

— Голову вы тоже забыли,— сказал Баннерман.— А ну-ка, осадите все назад! Назад, кому говорю!

— Парк — общественная собственность, шериф,— крикнул кто-то из газетчиков.

— Пусть так, но здесь ведется расследование. Так что стойте лучше за ограждением, не то вам придется провести ночь в кутузке.

Он посветил фонариком, а затем приподнял веревку, чтобы Джонни мог пройти. Они двинулись вниз по склону к заваленным снегом скамейкам. Позади сгрудились репортеры, светя фонариками, так что Джонни и Джордж Баннерман шли как бы в полосе тусклого света.

— Снег прямо в глаза,— сказал Баннерман.

— Все равно пока не на что смотреть,— отозвался Джонни.

— *Пока* не на что. Я уже говорил Фрэнку, чтобы он снял веревку. Хорошо, у него до этого руки не дошли. Хотите подойти к эстраде?

— Потом. Покажите, где валялись окурки.

Они прошли еще немного, и Баннерман остановился.

— Здесь,— сказал он и осветил выпиравшую снежным горбом скамейку.

Джонни снял перчатки, сунул их в карманы пальто и, опустившись на колени, начал сметать снег с сиденья. Баннермана вновь поразило его лицо — изможденное, бледное. Сейчас он напоминал истового богомольца.

Руки у Джонни озябли, почти онемели. Снег под ладонями таял. Наконец он добрался до выщербленной, рассохшейся древесины. И все вдруг представилось ему отчетливо, будто сквозь увеличительное стекло. Когда-то скамейка была зеленого цвета, но со временем краска облупилась или стерлась. Два ржавых стальных болта скрепляли сиденье со спинкой.

Он сжал сиденье обеими руками, и тут на него нахлынуло что-то необъяснимое — никогда прежде это не ощущалось столь остро, и лишь еще раз с ним случится подобное. Изо всех сил он сжимал скамейку и, наморщив лоб, неотрывно смотрел на нее. Это была....

(*Летняя скамейка*)

Сколько сотен людей сидело на ней, слушая «Боже, храни Америку», «Звезды и полосы» («*Не обижай своих друзей с перепончатыми лапками... у этой утки наверняка есть де-ее-точки...*») или боевой марш в исполнении касл-рокских «Пантер»? Зеленая листва, легкая осенняя дымка — она будит воспоминания о летящей мякине, о людях, орудующих вилами в тусклых сумерках. Буханье большого барабана. Мягкое звучание золоченых труб и тромбонов. Школьники-оркестранты в униформе...

(у этой утки... наверняка... есть деточки...)

Сидит беззаботная публика, слушает, аплодирует, в руках у всех программки, изготовленные в художественной мастерской местной школы.

В то утро здесь сидел убийца. Джонни *осязал* его.

На сером небе, предвещающем снег, вырисовываются черные ветви деревьев, похожие на руки. Я (он) сижу здесь, дымлю сигаретой, жду, мне хорошо, как будто я (он) могу перемахнуть через высочайшую крышу мира и мягко приземлиться на обе ноги. Мурлычу песенку. Что-то из репертуара «Роллинг-стоунз». Не могу понять, но совершенно ясно, что все... что все...?

Отлично. *Все отлично, кругом все серое, вот-вот пойдет снег, и я...*

— Хитрый,— пробормотал Джонни.— Я очень хитрый.

Баннерман наклонился к нему, силясь разобрать слова сквозь завывания ветра.

— Что?

— Хитрый,— повторил Джонни. Он поднял глаза на шерифа, и тот невольно попятился. Взгляд у Джонни был холодный и какой-то жесткий. Темные волосы взлетали, открывая побелевшее лицо, ветер со стоном уносился в ночное небо. Руки Джонни, казалось, были приварены к скамейке.

— *Я дьявольски хитрый,*— отчетливо сказал он. На губах его появилась торжествующая улыбка. Глаза смотрели сквозь Баннермана. И Баннерман поверил. Такое нельзя сыграть или подстроить. Но самое страшное... Джонни напоминал ему кого-то. Улыбка... интонации... Джонни Смит исчез, остался один силуэт. За ничего не выражающими чертами стояло совсем близко другое лицо. Лицо убийцы.

Лицо человека, которого Баннерман *знал.*

— Ни за что не поймаете. Всех перехитрю.— У Джонни вырвался смешок, самодовольный, издевательский.— Я всякий раз надеваю его, и как они ни царапайся... и ни кусайся... ничего не останется... а все потому, что я очень хитрый! — Его голос сорвался на торжествующий, диковатый визг, который мог поспорить с ветром, и Баннерман отступил на шаг. По спине его пробежал озноб.

Хватит, говорил он про себя. *Хватит, слышишь?*

Джонни перегнулся через скамейку.

(Снег. Тихий, безответный снег...)

(Она защемила мне это место прищепкой, чтобы я знал. Знал, как бывает, когда заразишься. От какой-нибудь девки. Потому что все они грязные потаскухи, и их надо остановить, слышишь, остановить, останови их, останови, останови — О БОЖЕ, ЭТОТ СТОП-ЗНАК!..)

Он снова ребенок. Он идет в школу по тихому, безответному снегу. И вдруг из клубящейся белизны вырастает человек, ужасный человек, ужасный черный ухмыляющийся человек, с глазами, сверкающими, как две монеты, одна его рука в перчатке, а в руке красный СТОП-ЗНАК... он!.. это он!.. *это он!*

(БОЖЕ, БОЖЕНЬКА... СПАСИ МЕНЯ ОТ НЕГО... МАМОЧКА, СПАСИ-ИИ-И МЕНЯ ОТ НЕГО...)

Джонни вскрикнул и рухнул рядом со скамейкой, прижимая ладони к щекам. Перепуганный насмерть Баннерман присел возле него на корточки. Репортеры за ограждением зашумели, задвигались.

— Джонни! Довольно! Слышите, Джонни...

— Хитрый,— пробормотал Джонни. Он поднял на Баннермана глаза, в которых читались боль и страх. Мысленно он еще видел эту черную фигуру с блестящими глазами-монетами, вырастающую из снежной круговерти. Он чувствовал тупую боль в паху от прищепки, которой мать мучила убийцу в детстве. Нет, тогда он еще не был ни убийцей, ни животным, не был ни соплей, ни кучей дерьма, как однажды обозвал его Баннерман, он был просто обезумевшим от страха мальчишкой с прищепкой на... на...

— Помогите мне встать,— пробормотал Джонни.

Баннерман помог ему подняться.

— Теперь эстрада,— сказал Джонни.

— Не стоит. Нам лучше вернуться.

Джонни высвободился из его рук и как слепой двинулся, пошатываясь, по направлению к эстраде — она огромной круглой тенью маячила впереди, как склеп. Баннерман догнал Джонни.

— Кто он? Вы знаете кто?

— Под ногтями у жертв не обнаружено кожной ткани, потому что на нем был плащ,— сказал Джонни, с трудом переводя дыха-

ние.— Плащ с капюшоном. Скользкий прорезиненный плащ. Посмотрите донесения. Посмотрите донесения, и вы увидите. В те дни шел дождь или снег. Да они царапали его ногтями. И сопротивлялись. Еще как. Но пальцы у них соскальзывали.

— Кто он, Джонни? Кто?

— Не знаю. Но узнаю.

Он споткнулся о ступеньку лестницы, которая вела на эстраду, потерял равновесие и наверняка упал бы, не подхвати его Баннерман под руку. Они стояли на помосте. Благодаря конической крыше снега здесь почти не было, только слегка припорошило. Баннерман посветил фонариком, а Джонни опустился на четвереньки и медленно пополз вперед. Руки у него сделались багровыми. Они казались Баннерману похожими на сырое мясо.

Внезапно Джонни остановился и замер точно собака, взявшая след.

— Здесь,— пробормотал он.— Он сделал это здесь.

И вдруг нахлынуло: лица, ощущения, фактура вещей. Нарастающее возбуждение, вдвойне острое оттого, что могут увидеть. Девочка извивается, пытается кричать. Он закрывает ей рот рукой в перчатке. Чудовищное возбуждение. *Где вам поймать меня — я человек-невидимка. Ну как, мамочка, эта грязь сойдет для тебя?*

Джонни качался взад-вперед и постанывал.

(Треск разрываемой одежды. Что-то теплое, мокрое. Кровь? Семенная жидкость? Моча?)

Джонни дрожал всем телом. Волосы закрыли глаза. *Его лицо. Сведенное судорогой лицо, в обрамлении капюшона... его (мои) руки соединяются в момент оргазма на шее жертвы и сжимают... сжимают... сжимают...*

Видение стало ослабевать, и сила ушла из рук. Он упал ничком и распростерся на сцене, сотрясаясь от рыданий. Баннерман тронул его за плечо, Джонни вскрикнул и рванулся в сторону с перекошенным от страха лицом. Но мало-помалу напряжение спадало. Он ткнулся головой в низкую балюстраду и закрыл глаза. По телу пробегали судороги, как это бывает у гончих. На пальто и брюки налип снег.

— Я знаю, кто это сделал,— сказал он.

Через пятнадцать минут Джонни сидел в кабинете Баннермана, раздевшись до белья и вплотную придвинувшись к портативному обогревателю. Он был по-прежнему весь какой-то озябший и жалкий, но дрожь прекратилась.

— Может, все-таки выпьете кофе?

Джонни покачал головой.

— Организм не принимает.

— Послушайте,— Баннерман сел на стул,— вы в самом деле что-то узнали?

— Я знаю, кто их убил. Вы все равно рано или поздно поймали бы его. Просто он ближе, чем вы ищете. Вы даже видели его в этом плаще, таком блестящем, наглухо застегнутом. Он по утрам пропускает детей через дорогу. Он поднимает стоп-знак, чтобы дети могли перейти улицу.

Баннерман смотрел на него, как громом пораженный.

— Вы имеете в виду Фрэнка? Фрэнка Додда? Вы с ума сошли!

— Да, это Фрэнк Додд,— подтвердил Джонни.— Он убил их всех.

У Баннермана было такое лицо, будто он не знал, рассмеяться ему или огреть Джонни чем-нибудь.

— Чушь собачья,— произнес он наконец.— Фрэнк Додд — отличный полицейский. И отличный парень. В ноябре будущего года он вполне может стать кандидатом в начальники городской полиции, и он займет этот пост с моего благословения.— На лице Баннермана

появилась улыбка, усталая и презрительная.— Фрэнку двадцать пять лет. По-вашему выходит, он начал заниматься этим скотством в девятнадцать. У него больная мать — гипертония, щитовидка, начальная стадия диабета. Они ведут очень тихий образ жизни. Словом, Джонни, вы попали пальцем в небо. Фрэнк Додд не может быть убийцей. Даю голову на отсечение.

— Между убийствами был перерыв в три года,— сказал Джонни.— Где тогда находился Фрэнк Додд? Он был в городе?

Баннерман посмотрел на него жестким взглядом. Жестким и негодующим.

— Ну вот что, хватит! Вы были недалеки от истины, когда говорили, что не очень-то многое можете. Ваше имя, считайте, уже в газетах, но это еще не значит, что я должен выслушивать, как вы поносите должностное лицо, достойного человека, которого я...

— Человека, которого вы считаете своим сыном,— невозмутимо закончил Джонни.

Баннерман стиснул зубы, кровь отхлынула от его раскрасневшихся на холоде щек. Его словно ударили ниже пояса. Затем он взял себя в руки, лицо его превратилось в маску.

— Убирайтесь отсюда,— сказал он.— Попросите кого-нибудь из ваших дружков-газетчиков отвезти вас домой. По дороге можете устроить пресс-конференцию. Но клянусь богом, господом богом клянусь, если вы упомянете имя Фрэнка Додда, я отыщу вас и переломаю кости. Понятно?

— Ну да, мои дружки-газетчики! — заорал вдруг Джонни.— Еще бы! Вы же видели, как я спешил удовлетворить их любопытство? Как я позировал перед объективами в расчете на выигрышный снимок? Как я по буквам диктовал им свое имя во избежание ошибки?

Баннерман несколько оторопел, но потом его лицо вновь стало жестким.

— Сбавьте-ка тон.

— Сбавить? Черта с два! — продолжал Джонни еще громче и пронзительнее.— Вы, кажется, забыли, кто кому позвонил! Так я вам напомню. Это вы позвонили мне. А то видели бы вы меня здесь!

— Это еще не значит...

Джонни приблизился к Баннерману, нацелив в него, как пистолет, указательный палец; он был гораздо ниже и намного легче Баннермана, однако тот попятился — точно так же, как там, в парке. Щеки у Джонни побагровели. Зубы оскалились.

— Вы правы. То, что вы позвонили мне, ровным счетом ничего не значит,— сказал он.— Просто вы не хотите, чтобы им оказался Додд. Пусть это будет кто-то другой, тогда мы, возможно, почешемся, лишь бы не старина Фрэнк Додд. Еще бы, Фрэнк — перспективный парень, Фрэнк — заботливый сын, Фрэнк смотрит в рот старому доброму шерифу Джорджу Баннерману. Ах, да чем наш Фрэнк не мученик, снятый с креста! Правда, иногда он насилует и душит пожилых женщин и девочек, и, между прочим, Баннерман, среди них могла быть ваша дочь. Неужели вы не понимаете, что среди них могла быть ваша...

Баннерман ударил его. В последний миг он придержал руку, но все равно удар вышел достаточно сильным; Джонни отлетел и, зацепившись за ножку стула, растянулся на полу. Печатка выпускника высшей полицейской школы до крови расцарапала ему щеку.

— Сам напросился,— сказал Баннерман, но это прозвучало не очень убедительно. До него дошло, что первый раз в жизни он поднял руку на человека неполноценного или почти неполноценного.

В голове у Джонни поплыло и зазвенело. Голос казался чужим, как будто за него говорил диктор или актер во второразрядном фильме:

— На вашем месте я стал бы на колени и возблагодарил господа бога за то, что убийца не оставил никаких следов. Иначе при вашем отношении к Додду вы бы закрыли на все глаза. И до конца жизни чувствовали бы свою вину за смерть Мэри Кэт Хендрасен, будучи пособником убийцы.

— Это гнусная ложь,— произнес Баннерман, тщательно выговаривая каждое слово.— Я арестовал бы родного брата, окажись он этим человеком. Поднимайтесь. И простите, что я вас ударил.

Он помог Джонни встать на ноги и осмотрел царапину на щеке.

— Сейчас я возьму аптечку и смажу йодом.

— Бог с ней, с царапиной,— сказал Джонни. Голос его звучал спокойно.— Не надо было выводить вас из себя. Сам виноват. Меня тоже занесло.

— Поверьте, это не может быть Фрэнк. Насчет того, что вы любитель рекламы, я погорячился. Только ваши биоволны, или выходы в астрал, или как они там называются, на этот раз сбили вас с толку.

— А вы проверьте,— сказал Джонни. Он смотрел Баннерману прямо в глаза, не давая ему отвести взгляд.— Проверьте. Докажите, что я неправ.— Он сглотнул слюну.— Сравните время и даты убийств с его дежурствами. Это можно сделать?

— Все графики дежурств за последние четырнадцать — пятнадцать лет находятся в том шкафу,— сказал Баннерман через силу.— Да, это можно сделать.

— Так сделайте.

— Мистер...— Баннерман остановился.— Джонни, если бы вы знали Фрэнка, вы бы посмеялись над своими подозрениями. Честное слово. Не верите мне, спросите у кого угодно...

— Если я неправ, я с радостью признаю свою ошибку.

— Это невозможно,— буркнул Баннерман, однако направился к шкафу, где хранились старые графики, и отпер дверцу.

Прошло два часа. Было около часа ночи. Джонни позвонил отцу и сказал, что переночует где-нибудь в Касл-Роке; метель уже завывала на одной пронзительной ноте, и ехать назад было небезопасно.

— Что нового? — спросил Герберт.— Можешь сказать?

— Пожалуй, это не телефонный разговор.

— Ладно, Джонни. Ты там не слишком переутомляйся.

— Постараюсь.

Но он уже переутомился. Он устал больше, чем уставал, проходя курс физиотерапии под наблюдением Эйлин Мэгоун. Симпатичная женщина, подумал он ни с того ни с сего. Симпатичная и душевная. Такой, во всяком случае, она была, пока я не сказал ей, что у нее дома пожар. После этого она стала отчужденной и настороженной. Да, она была благодарна, но... разве она еще хоть раз прикоснулась ко мне? А в самом деле, прикоснулась? Какое там... И с Баннерманом произойдет то же самое, когда все будет позади. Печально. Он ведь тоже неплохой человек. Просто людям становится не по себе рядом с человеком, которому достаточно потрогать вещь, чтобы все узнать о ее владельце.

— Это еще ничего не доказывает,— послышался голос Баннермана. Он говорил с вызовом, как разобиженный мальчик, и у Джонни возникло сильное желание сграбастать его и тряхнуть так, чтобы зубы лязгнули. Но на это у него не было сил.

Они изучали таблицу, которую Джонни набросал на обратной стороне акта о списании устаревшей аппаратуры для радиоперехвата. Возле стола Баннермана были в беспорядке свалены семь или восемь картонных коробок со старыми карточками, а в ящичке для входящих и исходящих бумаг стояли карточки с гра-

фиками дежурств Фрэнка Додда за все время его службы в полиции. Таблица выглядела следующим образом:

УБИЙСТВА	ФРЭНК ДОДД
Альма Фречет (официантка) 15.00 12.11.70	Дежурство на Главной улице Пост в гавани
Полина Тусейкер 10.00 17.11.71	Свободен от службы
Черил Моуди (школьница) 14.00 16.12.71	Свободен от службы
Кэрол Данбаргер (студентка) ?11.74	Двухнедельный отпуск
Этта Рингголд (учительница) 29(?).10.75	Патрулирование
Мэри Кэт Хендрасен 10.10 17.12.75	Свободен от службы

Время смерти указано предположительно, на основании заключения экспертизы.

— Вы правы, это еще ничего не доказывает,— согласился Джонни, потирая виски.— Но и не снимает с него подозрения.

Баннерман ткнул пальцем в таблицу.

— Когда была убита мисс Рингголд, он нес службу.

— Положим, что так. Если только она действительно была убита двадцать девятого октября. Хотя это могло случиться и двадцать восьмого, и двадцать седьмого. А что, если он даже нес службу? Кому придет в голову подозревать полицейского?

Баннерман пристально изучал таблицу.

— Ну а как обстоит дело с интервалом? — спросил Джонни.— С интервалом в три года?

— В семьдесят третьем — семьдесят четвертом годах Фрэнк находился здесь при исполнении служебных обязанностей,— сказал Баннерман, перебирая карточки.— Вы же видите.

— Как знать, может быть, в ту зиму у него не было вспышки активности. Такое бывает, насколько нам известно.

— Насколько нам известно, нам ничего не известно,— отрезал Баннерман.

— А как насчет семьдесят второго? Конца семьдесят второго — начала семьдесят третьего? В картотеке ничего нет по этому периоду. Он что, был в отпуске?

— Нет,— сказал Баннерман.— Фрэнк и еще один парень по имени Том Харрисон слушали курс «О местном судопроизводстве» на отделении Колорадского университета в Пуэбло. Курс рассчитан на два месяца. Фрэнк с Томом пробыли там с пятнадцатого октября и почти до рождества. Фрэнк чуть было не отказался ехать, боясь оставить мать дома одну. Честно говоря, я думаю, это она убеждала его остаться. Но я уговорил Фрэнка. Он рассчитывает сделать карьеру по нашему ведомству, а при этом совсем неплохо иметь в активе университетский курс. Помнится, когда они вернулись в декабре, Фрэнк выглядел ужасно — перенес вирусное заболевание. Похудел на двадцать фунтов. Он сказал, что никто в тех молочных краях не готовит так, как его мамочка.

Баннерман умолк. Видимо, что-то в этом рассказе смутило его самого.

— Он взял недельный отпуск по болезни на время школьных каникул и только после этого немного отошел,— закончил Баннерман, словно оправдываясь.— На службу вышел не позднее пятнадцатого января. Можете проверить по картотеке.

— Нет необходимости. Так же, как нет необходимости говорить вам, каким будет ваш следующий шаг.

— Вы правы,— сказал Баннерман, опуская глаза.— Я говорил, что вы неплохо соображаете в нашем деле. Вероятно, я и сам не понимал, насколько был прав. Или не хотел понимать.

Он снял телефонную трубку и извлек из нижнего ящика стола толстый справочник в простом синем переплете. Листая справочник, он бросил:

— Здесь есть телефон любого шерифа в любом графстве Соединенных Штатов.

Баннерман нашел нужный номер и набрал его.

Джонни поерзал на стуле.

— Алло,— сказал Баннерман.— Управление шерифа в Пуэбло?.. С вами говорит Джордж Баннерман, шериф графства Касл в западном Мэне... Да, именно так, штат Мэн. Простите, с кем я говорю?.. Так вот, полицейский Тейлор, ситуация следующая. У нас тут произошла серия убийств — изнасилования с удушением, шесть случаев за последние пять лет. Все они имели место в конце осени или в самом начале зимы. Мы...— Он поднял на Джонни страдальческий, беспомощный взгляд, затем снова опустил глаза.— Мы подозреваем человека, который находился в Пуэбло с пятнадцатого октября по... гм... семнадцатое декабря семьдесят второго года, если не ошибаюсь. Я хотел бы знать, числится ли в ваших журналах за этот период нераскрытое убийство — жертва женского пола, любого возраста, изнасилована, причина смерти — удушение. Далее, если такое преступление было совершено и вы взяли пробу спермы, я хотел бы знать ее группу. Что?.. Хорошо. Благодарю... Я буду ждать. До свидания.

Он повесил трубку.

— Сейчас он проверит, кто я такой, затем пройдется по журналу и перезвонит мне. Хотите чашечку... ах да, вы же не пьете.

— Нет,— сказал Джонни.— Я выпью воды.

Он наполнил бумажный стаканчик. Буран выл и барабанил в стекла.

За его спиной раздался виноватый голос Баннермана:

— Ладно, чего там. Вы правы. Я бы не отказался от такого сына. Когда моя жена рожала Катрину, пришлось делать кесарево. Ей больше нельзя иметь детей, врач сказал, что это убьет ее. Тогда ей перевязали трубы, а я сделал вазектомию. Для страховки.

Джонни подошел к окну и долго стоял со стаканчиком в руке, вглядываясь в темноту. Кроме снега, смотреть было не на что, но он не мог обернуться, иначе Баннерман сломался бы окончательно. Не нужно быть экстрасенсом, чтобы почувствовать это.

— Отец Фрэнка работал на железнодорожной ветке Бостон — Мэн. Погиб, когда мальчику было лет пять. Пьяный полез сцеплять вагоны, и его буферами... в лепешку. Фрэнк остался единственным мужчиной в доме. Роско утверждает, что у него в школе была девочка, но миссис Додд быстро это дело поломала.

Ничего удивительного, подумал Джонни. *Женщина, которая могла... прищепкой... собственного сына... такая ни перед чем не остановится. Тоже хорошая психопатка.*

— В шестнадцать лет он пришел ко мне и спросил, не возьмут ли его полицейским на полставки. Сказал, что с детства ни о чем другом не мечтает. Мне он сразу понравился. Я оставил его при себе и платил из своего кармана. Платил, сами понимаете, сколько мог, но он не жаловался. Готов был вкалывать задаром. За месяц до окончания школы подал рапорт с просьбой перевести его на полную ставку, однако в тот момент у нас не было вакансий. Тогда он устроился где-то на временную работу, а по вечерам ездил на лекции для полицейских в Горемский университет. Похоже, что миссис Додд и тут пыталась все поломать — не хотела оставаться дома одна, но на этот раз Фрэнк уперся... не без моей поддержки. Мы взяли

его к себе в июле семьдесят первого года, и с тех пор он у нас... Вот вы мне говорите такое, а я как вспомню, что Катрина была там вчера утром, что она прошла в двух шагах от того человека... для меня это все равно что кровосмешение. Фрэнк бывал у нас в доме, ел с нами за одним столом, раза два мы оставляли на него маленькую Кэти... а вы говорите...

Джонни повернулся. Баннерман снял очки и вытирал глаза.

— Если вам и вправду дано все это видеть, мне жаль вас. Бог создал вас уродцем вроде коровы с двумя головами — показывали такую на ярмарке. Простите. Зря я вас так.

— В Библии сказано, что бог равно любит все свои создания,— отозвался Джонни. Голос у него слегка дрожал.

— Ну-ну,— кивнул Баннерман, потирая переносицу.— Оригинально же он решил продемонстрировать это, вы не находите?

Спустя минут двадцать зазвонил телефон, и Баннерман быстро снял трубку. Сказал два-три слова. Потом долго слушал. И старел у Джонни на глазах. Положив трубку, он молча смотрел на Джонни.

— Двенадцатого ноября семьдесят второго года,— выдавил он наконец.— Студентка. Ее нашли в поле у шоссе. Анна Саймонс. Изнасилована и удушена. Двадцать три года. Группа спермы не установлена. И все же, Джонни, это еще ничего не доказывает.

— Не думаю, что вам действительно нужны дополнительные доказательства,— сказал Джонни.— Поставьте его перед фактами, и он во всем сознается.

— А если нет?

Джонни припомнил свое видение у скамейки. Оно налетело на него с бешеной скоростью, словно смертоносный бумеранг. Ощущение рвущейся ткани. И сладкая, ноющая боль, воскресившая в памяти боль от прищепки. Боль, которая искупала все.

— Заставите его спустить штаны,— сказал Джонни.

Репортеры еще толпились в вестибюле. Едва ли они ожидали развязки или по крайней мере неожиданного поворота в деле. Просто дороги из-за снега стали непроезжими.

— Вы уверены, что приняли наилучшее решение? — Ветер отшвыривал слова Джонни куда-то в сторону. Разболелись ноги.

— Нет,— ответил Баннерман просто.— Но думаю, что вам надо быть при этом. Думаю, Джонни, будет лучше, если он посмотрит вам в глаза. Пошли, Додды живут всего в двух кварталах отсюда.

Они шагнули в снежный буран — две тени в капюшонах. Под курткой у Баннермана был пистолет. Наручники он пристегнул к ремню. Они и квартала не прошли по глубокому снегу, а Джонни уже начал сильно прихрамывать, хотя и не сказал ни слова.

Но Баннерман заметил. Они остановились в дверях касл-рокского трансагентства.

— Что с вами, дружище?

— Ничего,— сказал Джонни. Ну вот, теперь и голова заболела.

— Что значит «ничего»? Глядя на вас, можно подумать, что у вас сломаны обе ноги.

— Когда я вышел из комы, врачам пришлось их прооперировать. Атрофировались мышцы. Начали таять, как выразился доктор Браун. И суставы стали ни к черту. Все, что можно, заменили синтетикой...

— Это как тому типу, которого отремонтировали за шесть миллионов?

Джонни подумал об аккуратной стопке больничных счетов в верхнем ящике бюро у них дома.

— Что-то в этом роде. Когда я долго на ногах, они у меня деревенеют. Вот и все.

— Хотите, вернемся?

Еще бы не хотеть. Вернуться бы домой и начисто забыть об этом кошмаре. И зачем приехал? Расхлебываешь за него все это, и тебя же называют коровой с двумя головами.

— Нет, мне уже лучше,— сказал Джонни.

Они вышли из дверей, ветер подхватил их и попытался метнуть по желобу пустынной улицы. Они с трудом продвигались, в лицо им светили облепленные снегом фонари, гнувшиеся под напором ветра. Они свернули в боковую улочку и миновали пять домов; перед аккуратной двухэтажной коробкой Баннерман остановился. Подобно соседним, она была наглухо закрыта и погружена в темноту.

— Вот этот дом,— сказал Баннерман каким-то бесцветным голосом. Они перебрались через наметенные перед крыльцом сугробы и поднялись по ступенькам.

Генриетта Додд оказалась женщиной необъятных размеров — настоящая гора плоти. Джонни впервые видел человека столь отталкивающей и болезненной внешности. Желтовато-серая кожа. Ящероподобные ручки в сыпи, похожей на экзему. Узкие щелочки глаз, поблескивавших из-под набрякших век. Такой взгляд, с горечью подумал Джонни, бывал у матери, когда она погружалась в свой религиозный транс.

Пока Баннерман барабанил в дверь, Джонни, превозмогая боль, переступал с ноги на ногу и думал о том, что эта ночь никогда не кончится. Она будет тянуться и тянуться и наметет сугробы, которые, рухнув, погребут всех под собой. Минут через пять дверь отворилась.

— Что вам нужно среди ночи, Джордж Баннерман? — подозрительно спросила миссис Додд дребезжащим голосом, похожим на жужжание пчелы или мухи в бутылке,— такой голос бывает у толстух.

— Мне надо поговорить с Фрэнком, Генриетта.

— Утром поговорите,— сказала Генриетта Додд и хотела закрыть дверь у них перед носом.

Баннерман придержал дверь рукой.

— Извините, Генриетта. Дело срочное.

— Будить его? Вот еще!— взвизгнула она, стоя в дверях.— Он спит как убитый! Иногда у меня среди ночи разыгрывается тахикардия, я звоню, звоню в колокольчик, и что же, думаете, он приходит? Как бы не так, спит, и хоть бы хны. Ничего, когда-нибудь он проснется и найдет в постели мой труп. Вот умру от сердечного приступа — кто тогда подаст ему это чертово яйцо в мешочек! А все потому, что вы совсем его загоняли.

Она улыбнулась довольной гаденькой улыбочкой — так улыбаются, поверяя под большим секретом грязную историю,— вот, мол, полюбуйтесь.

— Каждую ночь дежурство, гоняется на машине за всякой пьянью, а у них, может, пистолет под сиденьем. Мотается по забегаловкам да притонам, где всякий сброд, а вам начхать! Знаю я, что там творится, любая шлюха за кружку пива в два счета может наградить моего невинного мальчика какой-нибудь дурной болезнью.

Ее дребезжащий голос отзывался в висках у Джонни пульсирующей болью. Хоть бы она уже замолчала! Умом Джонни понимал: это галлюцинация, результат усталости и напряжения, но ему все больше казалось, что перед ним стоит его мать, вот-вот она переведет взгляд с Баннермана на него и начнет свою волынку о редкостном даре, которым господь наградил Джонни.

— Миссис Додд... Генриетта...— только и успел сказать Баннерман примирительным тоном, но тут она действительно перевела

взгляд на Джонни и уставилась на него своими остренькими и в то же время глуповатыми поросячьими глазками.

— А это кто такой?

— Помощник по особым делам,— не моргнув глазом ответил Баннерман.— Генриетта, я должен разбудить Фрэнка. Всю ответственность беру на себя.

— Ах, *ответственность!* — прогудела она с каким-то жутковатым сарказмом, и лишь теперь до Джонни дошло, что она *боится.* От нее словно исходили удушливые волны страха — вот отчего у него так заломило виски! Неужели Баннерман не чувствует? — *Отвеееет-ственность!* Ах ты, боже мой, какие мы *ва-аа-жные!* Так вот, Джордж Баннерман, я не позволю будить моего мальчика среди ночи. Так что вы и ваш помощник по особым делам можете убираться к своим занюханным бумажонкам!

Она опять попыталась закрыть дверь, но на этот раз Баннерман силой распахнул ее.

— Отойдите, Генриетта, я не шучу.— Чувствовалось, что он уже на пределе и с трудом сдерживает гнев.

— Вы не имеете права!— завопила она.— У нас не полицейское государство! Вас вышвырнут со службы! Предъявите ордер!

— Тише, ордер тут ни при чем, просто я должен поговорить с Фрэнком,— сказал Баннерман и, отстранив ее, прошел в дом.

Джонни как в тумане шагнул следом. Миссис Додд попыталась перехватить его. Он придержал ее за руку — и в тот же миг страшная боль пронзила мозг, заглушив тупую ломоту в висках. *И она почувствовала...* Они смотрели друг на друга лишь мгновение, но казалось, ему не будет конца: немыслимое, абсолютное всепонимание. Они словно срослись на это мгновение. Потом миссис Додд отшатнулась, хватаясь за исполинскую грудь.

— Сердце... сердце...— Миссис Додд судорожно порылась в кармане халата и достала лекарство. Лицо у нее приобрело оттенок сырого теста. Она открыла трубочку, вытряхнула горошинку на ладонь, просыпав остальные на пол, и сунула ее под язык. Джонни смотрел на старуху с немым ужасом. Голова была сейчас как пузырь, который вот-вот лопнет от распирающей его горячей крови.

— *Вы знали?*— прошептал он.

Ее мясистый, обвисший рот беззвучно открывался и закрывался, открывался и закрывался. Точно у выброшенной на берег рыбы.

— Все это время *знали?*

— Дьявол!— завизжала она. — Чудовище... дьявол... ох, сердце... ох, я умираю... умираю... врача... *Джордж Баннерман, только посмейте подняться наверх и разбудить моего мальчика!*

Джонни отпустил ее руку и, машинально вытирая ладонь о пальто, как будто выпачкал ее, стал неуверенно взбираться по лестнице вслед за Баннерманом. Снаружи ветер всхлипывал под карнизами, как заблудившийся ребенок. Дойдя до середины лестницы, Джонни обернулся. Генриетта Додд сидела на плетеном стуле — осевшая гора мяса — и, придерживая руками огромную грудь, хватала ртом воздух. Голова у Джонни по-прежнему раздувалась, и он подумал как во сне: *Кончится тем, что она просто-напросто лопнет. И слава богу.*

Старый, потертый коврик на полу в узеньком коридоре. Обои в разводах. Баннерман колотил в запертую дверь. Здесь наверху было холоднее по меньшей мере градусов на десять.

— Фрэнк! Это я, Джордж Баннерман! Фрэнк, проснись!

Никакого ответа. Баннерман повернул ручку и толкнул дверь плечом. Пальцы соскользнули на рукоять пистолета, но Баннерман не вынул его, хотя это могло стоить шерифу жизни — впрочем, комната Фрэнка Додда оказалась пустой.

Они стояли на пороге, осматриваясь. Это была детская. Обои — тоже в разводах — с танцующими клоунами и деревянными лошад-

ками. Сидевшая на детском стульчике тряпичная кукла таращила на них блестящие пустые глаза. В одном углу — ящик с игрушками. В другом — узкая деревянная кровать. Перекинутый через спинку кровати ремень с кобурой выглядел здесь как-то неуместно.

— Бог ты мой,— тихо сказал Баннерман.— Что все это значит?

— Помогите,— донесся снизу голос миссис Додд.— Помогите же...

— Она знала,— сказал Джонни.— Знала с самого начала, с первой жертвы. Он ей рассказывал. И она его покрывала.

Баннерман медленно вышел из комнаты и отворил соседнюю дверь. Взгляд его выражал растерянность и боль. Комната для гостей тоже была пуста. Он открыл дверь в чулан, но увидел там только плошку с крысиным ядом. Следующая дверь. Здесь, в еще не отделанной спальне, был такой холод, что у Баннермана пошел парок изо рта. Он огляделся. Ступеньки вели еще к одной двери. Туда он и направился. Джонни следовал за ним. Заперто.

— Фрэнк! Ты здесь?— Он подергал ручку.— Фрэнк, открой!

Ответа не было. Баннерман примерился и ударил ногой в стык, чуть пониже дверной ручки. Раздался треск, и в голове у Джонни зазвенело, словно железная тарелка упала на кафельный пол.

— О, господи,— выдохнул Баннерман и осекся.

Джонни все видел поверх его плеча; видел более чем достаточно. Фрэнк Додд сидел на крышке унитаза — голый, если не считать блестящего черного дождевика, накинутого на плечи; капюшон *(капюшон палача,* мелькнуло у Джонни) свисал на водосливной бачок гигантским увядшим черным стручком. Фрэнк Додд умудрился перерезать себе горло, что показалось Джонни невероятным. На краю раковины лежала пачка «уилкинсоновских» лезвий. Одинокое лезвие с запекшимися алыми капельками жутковато поблескивало у ног. Все вокруг забрызгано кровью из вскрытой сонной артерии. Кровь была в складках плаща. И на клеенчатой занавеске, по которой в лодочках плыли утки под зонтиками. И на потолке.

На шее у Фрэнка Додда висела табличка с надписью, сделанной губной помадой: Я ПРИЗНАЮСЬ.

Голова болела невыносимо. Джонни нашарил рукой дверную ручку.

Он понял, шевельнулось в мозгу. *Каким-то образом понял, увидев меня. Понял, что его песенка спета. Пришел домой. И вот конец.*

Перед глазами, разбегаясь зловещей рябью, поплыли черные круги.

Джонни, господь наградил тебя редкостным даром.

(Я ПРИЗНАЮСЬ)

— Джонни!

Откуда-то издалека.

— Джонни...

Расплывается. Все расплывается. Вот и прекрасно. А еще лучше, если бы я тогда не вышел из комы. Всем было бы лучше. Да, повезло, называется.

— Джонни...

Фрэнк Додд поднялся сюда и перерезал себе горло, что называется, от уха до уха, а в это время ветер снаружи завывал так, словно все темные силы вырвались из недр земных. Ничего себе фонтанчик, как сказал отец однажды зимой, лет двенадцать назад, когда лопнули трубы в котельной. Ничего себе фонтанчик. Уж это точно. До самого потолка.

Джонни казалось, что он тогда закричал, но он и сам не был уверен. Возможно, то был внутренний крик. Но как же ему хотелось крикнуть, вложить в этот крик весь ужас, и жалость, и боль, разрывавшие ему сердце.

Но тут Джонни стал падать ничком в черный провал, радуясь этому падению. Он потерял сознание.

«Нью-Йорк таймс», 19 декабря 1975 года:

ЭКСТРАСЕНС ИЗ МЭНА ПРИВОДИТ ШЕРИФА
К ДОМУ ЕГО ПОМОЩНИКА-УБИЙЦЫ
ПОСЛЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

(Специально для «Таймс») Возможно, Джон Смит из Паунала никакой не экстрасенс, но не так-то просто будет убедить в этом шерифа Джорджа Баннермана из графства Касл, штат Мэн. Придя в отчаяние после шестого случая изнасилования и убийства в маленьком городке Касл-Рок на западе штата Мэн, шериф Баннерман позвонил Смиту и попросил помочь расследованию. Имя Смита вызвало широкий общественный резонанс в начале года после того, как он, проведя четыре с половиной года в бессознательном состоянии, вышел из глубокой комы. Еженедельник «Инсайд вью» объявил его шарлатаном, однако шериф Баннерман на вчерашней пресс-конференции был лаконичен: «У нас в Мэне не очень-то верят всяким нью-йоркским газетчикам».

По словам шерифа Баннермана, Смит облазил на четвереньках место в городском парке Касл-Рока, где было совершено шестое по счету убийство. Дело кончилось тем, что он слегка обморозился, но установил личность убийцы — им оказался Франклин Додд, помощник шерифа, прослуживший пять лет в полиции графства Касл.

Ранее в этом году Смиту было видение, будто загорелся дом его лечащей сестры. Так оно и оказалось. Эта история вызвала разноречивые толки в его родном штате. На проведенной вскоре пресс-конференции один из репортеров потребовал, чтобы Смит...

«Ньюсуик», 24 декабря 1975 года, стр. 41:

НОВЫЙ ГУРКОС

Кажется, в нашей стране объявился первый настоящий экстрасенс со времен ясновидящего Питера Гуркоса, выходца из Германии, который мог рассказать подробности частной жизни любого человека, коснувшись его руки, или кольца, или содержимого сумочки.

Джон Смит, застенчивый и скромный молодой человек, живет в Паунале на юге штата Мэн. В этом году он пришел в сознание после четырех с лишним лет глубокой комы — следствие автомобильной катастрофы (см. фото). По мнению невролога Сэмюэла Вейзака, лечащего врача, выздоровление Смита «представляется из ряда вон выходящим».

Смит, слегка обморозивший пальцы, пробыл четыре часа в бессознательном состоянии после неожиданной развязки, которая положила конец делу о целой серии убийств в Касл-Роке. Сейчас Смит поправляется и...

27 декабря 1975 г.

Дорогая Сэйра,
сегодня пришло твое письмо, которому мы с папой очень обрадовались. Я в полном порядке, так что не волнуйся понапрасну, ладно? А вообще я тронут. В прессе сильно преувеличили мое «обморожение». Подумаешь, несколько пятнышек на кончиках трех пальцев левой руки. Я действительно потерял сознание, но это был всего лишь легкий обморок, вызванный, по словам Вейзака, «эмоциональной перегрузкой».

Да-да, он приехал собственной персоной и увез меня в Портлендскую больницу. Стоит, право же, заплатить за место в больнице,

чтобы посмотреть на этого человека в действии. Он выбил у них и кабинет, и ЭЭГ, и оператора. Сэм говорит, что не обнаружил поражения новых участков коры головного мозга или ухудшения прежнего состояния. Он собирался провести ряд исследований, от которых сильно попахивает инквизицией — «Отрекись, еретик, не то мы всадим тебе в мозг электроды!» (Ничего шуточка, а?) Короче, я отклонил великодушное предложение потерзать меня еще немного. Папа рассвирепел, мой отказ напоминает ему отказ матери принимать лекарство от гипертонии. Ну разве ему втолкуешь, что если Вейзак действительно что-то там нашел, то ничего он уже не сделает. Ставлю девять против одного.

Да, статью в «Ньюсуик» я видел. Они взяли фотографию, напечатанную после той пресс-конференции, только всю обкорнали. Представляешь, столкнулась бы с таким типом нос к носу в темной аллее, а? Ха-ха! Го-сс-поди (как любит говорить твоя подружка Анна Страффорд), понаписали на мою голову! Опять пошел поток бандеролей, открыток и писем. Я уже не вскрываю их, если обратный адрес мне незнаком, а просто пишу на конверте: «Вернуть отправителю». В них слишком много сочувствия, слишком много надежд и ненависти, веры и неверия, и все они почему-то напоминают мне маму.

Пойми меня правильно, я не собираюсь сгущать краски, все не так уж мрачно. Просто не хочется быть практикующим экстрасенсом, ездить с лекциями и маячить на телеэкране (один сукин сын из Эн-би-си разузнал каким-то образом наш телефон и предложил мне участвовать в их шоу. А что, гениальная идея? Дон Рикдз смешает кой-кого с грязью, какая-нибудь старлетка продемонстрирует свои ножки, ну а я сделаю несколько предсказаний. А подаст это блюдо компания «Дженерал фудз»). Только на Х.Р.Е.Н.А. мне все это? Мне бы вернуться в Кливс Милс учителем старших классов и жить себе в своей норке. И приберечь свои озарения для футбольных баталий.

Пожалуй, на сегодня хватит. Надеюсь, ты весело провела рождество вместе с Уолтом и Денни, и теперь вы (по крайней мере Уолт, судя по твоему письму) с нетерпением ждете года Великого Двухсотлетия и грядущих выборов. Рад был узнать, что твоего супруга выдвинули в сенат штата, но ты, Сэйра, стучи по дереву — 1976 год не обещает быть триумфальным для слонофилов. Благодарственные письма шлите слонику в Сан-Клементе [1].

От папы привет и спасибо за карточку Денни, который, надо сказать, произвел на него впечатление. Я присоединяюсь. Спасибо за письмо и за излишние волнения (излишние, но очень трогательные). Я держусь молодцом и мечтаю поскорее снова впрячься в работу.

Всего тебе самого хорошего,
Джонни.

29 декабря 1975 г.

Дорогой Джонни,

за шестнадцать лет моего пребывания на административном посту в школе ни одно письмо, пожалуй, не давалось мне с таким трудом и душевной болью. И не только потому, что Вы хороший друг, но и потому, что Вы — чертовски хороший преподаватель. Этим, правда, не подсластишь пилюлю, так стоит ли пытаться?

Вчера вечером состоялось специальное заседание школьного совета (по просьбе двух членов, чьих имен я не стану называть,— они входили в совет еще при Вас, так что Вы, думаю, догадаетесь, о ком речь), и пятью голосами против двух было решено ходатайствовать об аннулировании Вашего контракта. Основание: Вы слишком противоречивая фигура, чтобы быть хорошим преподавателем. Все это так

[1] Слон — эмблема республиканской партии. В Сан-Клементе (Южная Калифорния) находился «западный Белый дом»— резиденция президента Никсона.

гадко, что я сам едва не подал в отставку. Если бы не Морин и дети, скорее всего этим бы и кончилось. Вот ведь свинство. Похуже, чем запрещение романов «Кролик, беги!» и «Над пропастью во ржи». Куда хуже. Хоть нос затыкай.

Я им так и сказал, но с равным успехом я мог говорить с ними на эсперанто или на тарабарском языке. Им достаточно того, что Ваша фотография была в «Ньюсуик» и в «Нью-Йорк таймс», а сама история в Касл-Роке освещалась телевидением на всю страну. Слишком противоречивая фигура! Да, эти пятеро ветхозаветных старцев — из тех, кого длинные волосы учеников занимают гораздо больше, чем их знания. Такие станут докапываться, кто из преподавателей балуется наркотиками, но и пальцем не пошевелят, чтобы достать современное оборудование для кабинетов.

Я написал резкий протест в Большой совет, и не исключено, что, если немного нажать на Ирвинга Файнголда, он тоже подпишет. Однако не хочу кривить душой: переубедить этих пятерых старцев нет ни малейшего шанса.

Мой Вам совет, Джонни, наймите адвоката. Контракт — штука серьезная, и Вы наверняка сможете выжать из них все свое жалованье до последнего цента, независимо от того, переступите Вы порог класса в Кливс Милс или нет. И звоните мне без всякого стеснения.

Поверьте, мне искренне жаль, что все так получилось.

Ваш друг

Дейв Пелсен.

Джонни стоял возле почтового ящика и вертел в руках письмо Дейва. Он не верил своим глазам. Последний день уходящего 1975 года выдался ясный, с морозцем. Из носа у Джонни вырывались струйки пара.

— Ч-черт,— прошептал он.— Ах ты ч-черт!

Еще до конца не осознав, что произошло, он нагнулся за остальной корреспонденцией. Как всегда, почтовый ящик был забит до отказа. По случайности письмо Дейва торчало уголком наружу.

Обнаружилось сердитое извещение — от него требовали зайти наконец на почту за бандеролями (ох уж эти бандероли!). Муж бросил меня в 1969 году, вот его носки, скажите мне, где он, чтобы я могла вытянуть алименты из этого подлеца. Мой ребенок умер от асфиксии в прошлом году, вот его погремушка, напишите мне, пожалуйста, попал ли он в рай. Я не успела его окрестить, так как муж был против, и теперь у меня сердце разрывается. Нескончаемая литания.

Господь наградил тебя редкостным даром, Джонни.

Основание: слишком противоречивая фигура, чтобы быть хорошим преподавателем.

Внезапно им овладела ярость, и он стал лихорадочно выгребать из ящика открытки и письма, роняя их на снег. Как и следовало ожидать, головная боль начала сгущаться у висков, подобно двум черным тучам, которые иногда соединялись, замыкая мучительный обруч. По щекам потекли слезы, застывая на леденящем холоде прозрачными сосульками.

Он наклонился и стал поднимать оброненные конверты; на одном из них черным карандашом было жирно выведено: ДЖОНУ СМИТУ ЭКС ТРАСЕНСУ.

Экс трасенс — это я. Руки у него затряслись, и он все выронил, включая письмо Дейва. Оно спланировало, как опавший лист, и приземлилось среди прочих писем, текстом вверх. Сквозь слезы Джонни разглядел горящий факел — эмблему школы,— а ниже девиз:

УЧИТЬСЯ, ПОЗНАВАТЬ, УЧИТЬ.

— Задницу свою учите, мозгляки хреновы!— вырвалось у Джонни. Он опустился на колени и начал собирать рассыпавшиеся письма, подгребая их к себе варежками. Ныли обмороженные пальцы — напоминание о забрызганном кровью с головы до ног стопроцентном светловолосом американце Фрэнке Додде, въезжающем в вечность на крышке унитаза. Я ПРИЗНАЮСЬ.

Он собрал все письма, и тут до него донесся собственный голос, повторявший снова и снова, как заезженная пластинка: «Доконаете вы меня, доконаете, оставьте меня в покое, вы меня доконаете, неужели не ясно?»

Он взял себя в руки. Нет, так нельзя. Жизнь не стоит на месте. Что бы ни происходило, жизнь никогда не стоит на месте.

Джонни возвращался в дом, теряясь в догадках, чем он станет теперь заниматься. Может, что-нибудь само собой подвернется? Как бы то ни было, он последовал завету матери. Если господь возложил на него некую миссию, то он ее выполнил. И разве так уж важно, что эта миссия превратила его в камикадзе? Главное, он ее выполнил.

Он заплатил сполна.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Смеющийся тигр

Возле бассейна, под ярким июньским солнцем сидел в шезлонге юноша, вытянув длинные загорелые ноги, выдававшие в нем футболиста, и медленно читал по слогам:

— «Вне всяких сомнений, юный Денни Джу... Джунипер... юный Денни Джунипер был мертв, и надо ду... надо думать, не много нашлось бы на свете людей, которые бы сказали, что он не до... да... до...» Фу, черт, не могу.

— «Не много нашлось бы на свете людей, которые бы сказали, что он недостоин смерти»,— закончил Джонни Смит.— Говоря проще, почти любой согласился бы, что Денни получил по заслугам.

Он поймал на себе взгляд Чака, чье лицо, обычно приветливое, выражало сейчас знакомую гамму чувств: удивление, досаду, смущение и некоторую подавленность. Чак вздохнул и снова уткнулся в боевик Макса Брэнда.

— «...Недостоин смерти. Однако я был сильно уяз... уязв...»

— Уязвлен,— помог Джонни.

— «Однако я был сильно уязвлен тем, что он погиб в тот самый момент, когда мог одним подвигом искупить свои злоде... деяния. Разумеется, это сразу отр... атр... отр...»

Чак закрыл книгу и улыбнулся Джонни ослепительной улыбкой.

— Может, хватит на сегодня, а?— Это была его коронная улыбка, которая наверняка опрокидывала навзничь болельщиц со всего Нью-Гэмпшира.— Хотите искупаться? Хотите, по глазам вижу. Вы вон какой худющий — кожа да кости, и то с вас, глядите, пот в три ручья.

Джонни пришлось согласиться, по крайней мере мысленно, что его и вправду тянет искупаться. Начало лета юбилейного 1976 года выдалось необычно знойным и душным. Из-за противоположного крыла большого белого особняка до них доносилось убаюкивающее жужжание машинки, которой вьетнамец Нго Фат, садовник, подравнивал лужайку, прозванную Чаком «периной под открытым небом». Этот звук вызывал желание выпить два стакана холодного лимонада и погрузиться в дрему.

— Пожалуйста, без иронии по поводу моей худобы,— сказал Джонни.— И потом, мы только начали главу.

— Да, но перед этим мы уже две прочитали.

Подлизывается. Джонни вздохнул. В другое время он бы легко справился с Чаком, но не сейчас. Сегодня мальчик отважно преодолел путь к тюрьме Эмити — этой дорогой, сквозь засады, расставленные Джоном Шербурном, пробился кровожадный Красный Ястреб, чтобы прикончить Денни Джунипера.

— Ну ладно, только дочитай страницу,— сказал Джонни.— Ты застрял на слове «отравило». Смелее, Чак, оно не кусается.

— Хороший вы все-таки человек!— Улыбка стала еще лучезарней.— И без вопросов, идет?

— Посмотрим.. может быть, один-два.

Чак нахмурился, но скорее для виду; он понимал, что добился послабления. Он снова открыл роман, на обложке которого был изображен супермен, толкающий плечом дверь салуна, и медленно, запинаясь, до неузнаваемости изменившимся голосом начал:

— «Разумеется, это сразу отр... отравило мне настроение. Однако еще большее испытание ожидало меня у одр... одра бедного Тома Кейн... Кеньона. Его подстрелили, и он удирал на глазах, когда я...»

— Умирал,— спокойно сказал Джонни.— Контекст, Чак. Вчитывайся в контекст.

— Удирал на глазах,— хмыкнул Чак и продолжал: — «...И он умирал на глазах, когда я по... по... когда я появился».

Джонни почувствовал жалость к Чаку, склонившемуся над дешевым изданием романа «Быстрый как молния», над этим чтивом, которое глотается залпом, а между тем вот он, Чак, с трудом, чуть не по складам разбирает непритязательную, совершенно однозначную прозу Макса Брэнда. Отцу Чака, Роджеру Чатсворту, принадлежало все прядильно-ткацкое дело в южном Нью-Гэмпшире, а это было солидное дело. Ему также принадлежал шестнадцатикомнатный дом в Дареме с прислугой из пяти человек, включая Нго Фата, посещавшего раз в неделю занятия в Портсмуте для получения американского гражданства. Чатсворт ездил на подновленном «кадиллаке» модели 1957 года с откидным верхом. Его супруга, обаятельная женщина сорока двух лет, ездила на «мерседесе». У Чака был «корвет». Их семейное состояние исчислялось почти пятью миллионами долларов.

Джонни часто приходило в голову, что господь, вдыхая жизнь в кусок глины, вероятно, представлял себе в конечном счете семнадцатилетнего Чака. Парень был великолепно сложен. При росте шесть футов два дюйма он весил сто девяносто фунтов, и все они ушли в мускулы. Лицо его, гладкое, чистое, не отличалось, быть может, особой красотой, но поражали зеленые глаза; Джонни знал только одного человека с такими же ярко-зелеными глазами — Сэйру Хэзлит. В школе на Чака разве что не молились. Капитан бейсбольной и футбольной команд, староста класса, а с будущей осени — еще и председатель ученического совета. И, что удивительно, все это ничуть не вскружило ему голову. По выражению Герберта Смита, приезжавшего однажды посмотреть, как подвигаются у сына дела на новом поприще, Чак был «стоящий парень». Выше похвалы в лексионе Герберта не существовало. Следовало добавить, что этот стоящий парень когда-нибудь сильно разбогатеет.

А сейчас он обреченно склонился над книжкой, и словно снайпер, сидящий один-одинешенек в засаде, выстреливал слово за словом. Он превращал захватывающий и стремительный рассказ Макса Брэнда о странствиях «быстрого как молния» Джона Шербурна и его стычках с Красным Ястребом, этим разбойником из племени команчей, в нечто столь же романтическое, как реклама полупроводников или радиодеталей.

И все же Чак не был глуп. Он успевал по математике, у него была цепкая память и хорошие руки. Однако он с огромным трудом усваивал печатное слово. Говорить он мог свободно и знал в теории фо-

нетику, а вот на практике... Иногда какая-то фраза выходила у него вполне гладко, без единой ошибки, но просьба пересказать прочитанное ставила его в тупик. У Чатсворта-старшего возникли опасения, что его сын дислексик, но Джонни думал иначе; он еще не встречал ребенка, страдающего дислексией[1], хотя многие родители ухватились за это словечко, думая объяснить или оправдать этим косноязычное чтение своих детей. У Чака, судя по всему, была разновидность более общего заболевания — обычной и весьма распространенной ридинг-фобии[2].

Учителям понадобилось пять лет, чтобы прийти к такому выводу, родители же — да и сам Чак — забеспокоились всерьез лишь сейчас, когда под угрозой оказалась спортивная карьера. И это еще не самое страшное. Зимой Чаку предстояло пройти тестирование, чтобы с осени семьдесят седьмого учиться в колледже. С математикой-то он справится, а вот дальше... Если бы ему прочли вслух все вопросы, тогда бы он, конечно, мог рассчитывать на средний, а то и приличный общий балл. Пятьсот очков, запросто. Но не приведешь же с собой чтеца на экзамены, даже если твой отец большая шишка в деловом мире Нью-Гэмпшира!

— «Я увидел др... другого человека. Он знал, что его ожидает, но держался совершенно нав... навоз... невозмутимо. Он ничего не просил, ни о чем не сожалел. Все страхи и без... беспокойство, одол... одал... одолевавшие его с той поры, как он стол... стал... стакнулся... столкнулся с неизвестностью...»

Прочитав в «Мэн таймс» объявление, что требуется репетитор, Джонни предложил свои услуги, хотя и без особой надежды. Он переехал в Киттери в середине февраля с единственной целью сбежать из Паунала, сбежать от ежедневной корреспонденции — от нее уже ломился почтовый ящик,— от газетчиков, зачастивших в последнее время, от истеричек с затравленным взглядом — они решали «заглянуть к нему на минуточку», раз уж «случайно оказались в этих краях» (у одной из таких случайно оказавшихся в этих краях номер на машине был мэрилендский, у другой, приехавшей на стареньком, выдохшемся «форде»,— аризонский), от рук, которые тянулись, чтобы прикоснуться к нему...

В Киттери он впервые осознал, что безликое имя Джон Смит имеет свои преимущества. На третий день он нанялся поваром в закусочную, призвав на помощь опыт, приобретенный в летних кафе и в лагере бойскаутов на Рейнджлейских озерах, где он подрабатывал один сезон. Владелица закусочной, сухая как палка женщина по имени Руби Пеллетье, прочитала его послужной список и сказала:

— Уж больно ты, пострел, образованный, чтобы мясо крошить.

— Ваша правда,— сказал Джонни. — На бирже труда я весь курс наук прошел.

Руби Пеллетье уперла руки в тощие бока и, запрокинув голову, разразилась лающим смехом.

— А ты управишься, если в два часа ночи заявится целая орава и потребует яичницу с беконом, сосиски, французские тосты и пирожки?

— Пожалуй,— сказал Джонни.

— Пожалуй, ни хренышка ты не понимаешь, о чем тебе толкуют,— сказала Руби,— ну уж ладно, грамотей, валяй. Только принеси мне сначала справку, чтобы у меня не было неприятностей с охраной здоровья. И можешь сразу приступать.

Так он и сделал, и после двух суматошных недель (даже обжег правую руку, когда в запарке плюхнул ковшик в кипящее масло) он укротил работу, а не она его. Прочитав объявление Чатсворта, Джонни написал по указанному адресу. В письме он коротко расска-

[1] Нарушение способности к чтению.

[2] Страх перед чтением.

зал о себе, особо отметив, что прошел курс «Выработка навыков чтения».

В последних числах апреля, когда он проработал в закусочной два месяца, пришло письмо от Роджера Чатсворта с предложением приехать пятого мая для беседы. Джонни договорился об отгуле и прекрасным весенним днем в назначенный час сидел с запотевшим стаканом пепси-колы в кабинете Чатсворта и слушал рассказ Роджера о том, как трудно дается его сыну чтение.

— По-вашему, это дислексия?— спросил Роджер.

— Нет. Я думаю, обычная ридинг-фобия.

Чатсворта слегка передернуло.

— Синдром Джексона?

Джонни был поражен. Еще бы! Девять лет назад Майкл Кэри Джексон, специалист по грамматике и методике чтения из университета Южной Калифорнии, выпустил, можно сказать, нашумевшую книгу «Невосприимчивый читатель». В ней описывался целый букет проблем, возникающих при чтении и получивших впоследствии название «синдрома Джексона». Это была хорошая книга для тех, кто мог продраться сквозь густой замес научной фразеологии. Чатсворт явно продрался, и Джонни сразу оценил волевой характер этого человека, решившего во что бы то ни стало помочь сыну выкарабкаться.

— Вроде того,— согласился Джонни.— Но учтите, я еще не видел вашего сына и не слышал, как он читает.

— Ему нужно сдать хвосты за прошлый год. Американскую литературу, историю и, мало того, гражданское право. Не смог прочесть всю эту писанину и завалил экзамены. У вас есть разрешение преподавать в Нью-Гэмпшире?

— Нет,— сказал Джонни,— но это не проблема.

— Так как бы вы поступили с моим сыном?

Джонни объяснил в общих чертах. Чаку надо как можно больше читать вслух, особенно книги, пробуждающие воображение: фантастику, приключенческие романы для юношества. Учиться отвечать на вопросы о прочитанном. И расслабляться по методу Джексона.

— Прирожденным лидерам зачастую приходится труднее всех,— сказал Джонни.— Они слишком рьяно берутся за дело и перенапрягают мозг. Получается что-то вроде мысленного заикания...

— Так считает Джексон?— перебил Чатсворт.

— Нет, так считаю я,— улыбнулся Джонни.

— Ясно. Продолжайте.

— Если ученик, прочитав текст, не будет ни о чем думать, если не заставлять его тут же пересказывать текст — каналы памяти могут прочиститься сами собой. И тогда он поймет, на чем застопорился...

Глаза у Чатсворта заблестели. Джонни нащупал самую сердцевину его убеждений, а возможно, и философии всех тех, кто самостоятельно пробил себе дорогу в жизни.

— Ничто так не окрыляет, как успех?— спросил Чатсворт.

— Если угодно.

— Сколько вам понадобится времени, чтобы получить разрешение на преподавание?

— Ровно столько, сколько нужно, чтобы завизировать мое заявление и прислать ответ. Вероятно, недели две.

— Значит, вы могли бы приступить с двадцатого?

Джонни растерянно заморгал.

— Вы хотите сказать, что берете меня?

— Если работа вас устраивает, считайте, что я вас взял. Жить можете в домике для гостей, заодно отвадим на лето родственников, не говоря уж о приятелях Чака — и пусть он берется за работу засучив рукава. Я буду платить вам шестьсот долларов в месяц — не бог

весть какая сумма, но если дела у Чака пойдут на лад, вы получите приличное вознаграждение. *Приличное.*— Чатсворт снял очки и потер глаза.— Я люблю своего мальчика, мистер Смит. И ради него готов на все. Помогите нам, если можете.

— Постараюсь.

Надев очки, Чатсворт снова взял в руки письмо Джонни.

— Долго вы, однако, не преподавали. Разонравилось?

Начинается, подумал Джонни.

— Нет,— сказал он,— просто попал в аварию.

Чатсворт перевел взгляд на шею Джонни, где остались шрамы после частичной замены атрофировавшихся сухожилий.

— Автомобильная катастрофа?

— Да.

— Серьезная?

— Да.

— Ну, сейчас вы, кажется, в полном порядке,— заметил Чатсворт. Он убрал письмо Джонни в ящик стола, и на этом вопросы, как ни странно, кончились. Так после пятилетнего перерыва Джонни снова стал учителем, хотя в классе у него был всего один ученик.

— «И ко мне, кос... косвенно виновному в его с... смерти, он протянул свою слабеющую руку и улыбнулся все... всепрощающей улыбкой. Это была тяжелая минута, и я ушел с чувством, что мне никогда не искупать... не искупить то зло, которое я сотворил».

Чак захлопнул книжку.

— Все. Кто последним нырнет, тот последний идиот.

— Еще минутку, Чак.

— Ооооох...— Чак тяжело осел, на его лице было написано: опять эти вопросы. Страдальческая мина сопровождалась добродушной улыбкой, но за этой улыбкой временами угадывался другой Чак: замкнутый, нервный, растерянный. Вконец растерянный. Ведь вокруг был мир, в котором все читали: неграмотный человек в Америке похож на динозавра, забредшего по ошибке в наш век. Чак был слишком умен, чтобы этого не понимать. И он с ужасом ожидал осени и той неизвестности, которую готовил ему новый учебный год.

— Всего несколько вопросов.

— Зачем? Вы же знаете, что я не отвечу.

— Ответишь. На этот раз ты ответишь на все вопросы.

— Я никогда не понимаю, про что читаю, вы в этом давно могли убедиться.— Вид у Чака был мрачный и несчастный.— И вообще мне непонятно, зачем вы у нас остались, разве только из-за харчей.

— Ты ответишь на все вопросы, потому что они не имеют отношения к книге.

Чак поднял на него глаза.

— Не имеют отношения? Чего ж тогда спрашивать? Я думал...

— Ну, доставь мне удовольствие, ладно?

Сердце у Джонни бешено колотилось, чему он, впрочем, не очень-то удивился. Он давно готовился к этой минуте, дожидаясь лишь благоприятного стечения обстоятельств. Сейчас момент был самый подходящий. Не крутилась поблизости миссис Чатсворт, которая своей вечной озабоченностью выбивала Чака из колеи. Не плескались в бассейне дружки-приятели — при них чтение вслух казалось Чаку занятием для отстающего первоклашки. И, что самое важное, не было отца, человека, порадовать которого Чак мечтал больше всего на свете. Он уехал в Бостон на заседание региональной комиссии по охране окружающей среды, где обсуждался вопрос о загрязнении водоемов.

Из книги Эдварда Стэнни «Трудности обучения»:

Пациент Руперт Дж. сидел в кинотеатре, в третьем ряду. Он был ближе других к экрану и единственный заметил, что на полу

загорелась кучка мусора. Руперт Дж. вскочил и закричал: «П-п-п-п-п-п...», а сзади зашикали, чтобы он сел и не мешал.

— Что вы тогда почувствовали?— спросил я Руперта Дж.

— Мне трудно это объяснить,— ответил он.— Меня охватил страх, но еще сильнее было отчаяние. Я чувствовал свою никчемность — будто какой-то недочеловек. Я всегда комплексовал из-за этого заикания, а тут добавилось ощущение полной беспомощности.

— И только?

— Нет, еще зависть, что сейчас кто-то другой заметит пламя и... как вам сказать...

— Отнимет у вас лавры?

— Вот именно. Кроме меня, никто ничего не видел. А я как назло только и мог из себя выдавить, что «п-п-п-п...», точно дурацкая заезженная пластинка. Какой-то недочеловек — лучше не скажешь.

— И как же вы сломали этот барьер?

— Накануне у моей матери был день рождения. Я купил для нее у цветочницы розы. И вот стою, все кругом шикают, а я подумал: сейчас как открою рот да как заору: РОЗЫ! Это слово уже готово было сорваться с моих губ.

— И что же произошло?

— Я открыл рот и что было мочи заорал: ПОЖАР!

Этот случай, о котором Джонни прочитал восемь лет назад в предисловии к книге Стэнни, запал ему в голову. Он всегда считал, что ключевое слово в рассказе Руперта Дж.— беспомощность. Если в данный момент близость с женщиной для тебя важнее всего на свете, риск оказаться не на высоте возрастает раз в десять, а то и в сто. Ну а если для тебя так важно предстоящее чтение...

— Какое, Чак, у тебя второе имя?— спросил он как бы между прочим.

— Мэрфи,— ответил Чак и улыбнулся.— Жуть, правда? Девичья фамилия моей матери. Не вздумайте рассказать Джеку или Элу, не то ваше хилое тело здорово пострадает.

— Не беспокойся. Когда у тебя день рождения?

— Восьмого сентября.

Джонни начал забрасывать его вопросами, не давая времени на раздумья,— впрочем, это были не те вопросы, над которыми нужно долго думать.

— Как зовут твою девушку?

— Бет. Вы же знаете Бет...

— А ее второе имя?

— Альма. Кошмар, да?— хмыкнул Чак.

— Как звать твоего деда по отцу?

— Ричард.

— Кто больше всего понравился тебе в этом году в восточном дивизионе Американской бейсбольной лиги?

— «Янки». Особенно как они переходили на первую базу.

— Кого бы ты хотел видеть президентом?

— Хорошо бы победил Джерри Браун.

— Будешь продавать свой «корвет»?

— Не в этом году. Может, в будущем.

— Мама не против?

— Наоборот. Она говорит, что у нее обрывается сердце — так я гоняю.

— Каким образом Красному Ястребу удалось, обойдя засады, убить Денни Джунипера?

— Шербурн забыл о люке, через который можно было попасть на чердак здания тюрьмы,— ответил Чак не задумываясь, и Джонни вдруг охватило ликование — вроде горячей волны после хорошего

глотка крепкого виски. Сработало. Он вовлек Чака в разговор о розах, и тот ответил жизнерадостным воплем «пожар!».

Чак смотрел на него как громом пораженный.

— Красный Ястреб проник на чердак через слуховое окно. Открыл люк. Застрелил Денни Джунипера. А затем и Тома Кеньона.

— Все правильно, Чак.

— Я вспомнил,— пробормотал тот, глядя на Джонни расширенными глазами, рот его уже растягивался в улыбке.— Ловко вы меня навели....

— Я просто взял тебя за руку и помог обогнуть то, что стояло на твоем пути,— сказал Джонни.— Но препятствие еще не устранено, Чак. Не обольщайся. Кто была девушка, в которую влюбился Шербурн?

— Она...— Глаза его слегка затуманились, и он сокрушенно покачал головой.— Не помню.— С внезапным озлоблением он ударил себя по колену.— Ничего не помню! Какой же я тупица!

— А ты не помнишь, тебе когда-нибудь рассказывали, как познакомились твои родители?

Чак посмотрел на него и едва заметно улыбнулся. На том месте, где он ударил себя, заалело пятно.

— Как не помнить. Мама работала в Чарлстоне, в конторе по прокату, и дала отцу автомобиль со спущенной шиной.— Чак засмеялся.— С тех пор она уверяет, будто вышла за него только потому, что отстающий больше старается.

— Ну а назови мне девушку, которой увлекся Шербурн?

— Дженни Лэнгхорн. Намучился он с ней. Раньше она была с Грэшемом. Рыжая, как моя Бет. Она...— Он осекся и вытаращился на Джонни, словно тот у него на глазах достал кролика из нагрудного кармана.— Опять у вас получилось!

— Нет, Чак. Это у тебя получилось. Вся хитрость в том, чтобы направить человека по ложному пути. Так почему, говоришь, Джон Шербурн намучился с Дженни?

— Так ведь Грэшем-то — большой туз в городе...

— В каком городе?

Чак открыл было рот, но так ничего и не сказал. Вдруг он отвернулся к бассейну. Потом улыбнулся и снова посмотрел на Джонни.

— Эмити. Как в фильме «Челюсти».

— Молодец! И как же ты вспомнил?

Чак хмыкнул.

— Ерунда какая-то. Я начал думать, не выступить ли мне в соревнованиях по плаванию, и вдруг — бац! Вот так хитрость. Потрясно!

— Ну ладно. Пожалуй, на сегодня хватит.— Джонни устал, взмок, но чувствовал себя по-настоящему счастливым.— Вот ты и сделал первый шаг. Ты хоть сам-то понимаешь это? Пойдем поплаваем. Кто последний нырнет, тот последний идиот.

— Джонни?

— Что?

— Этот прием будет всегда срабатывать?

— Да, если ты его освоишь,— сказал Джонни.— Всякий раз, когда ты станешь обходить препятствие, вместо того чтобы лезть напролом, оно будет уменьшаться. И с чтением вслух тоже пойдет на лад, вот увидишь. У меня есть в запасе и другие маленькие хитрости.— Он умолк. То, что он сейчас сказал Чаку, было не столько правдой, сколько смелой попыткой гипнотического внушения.

— Спасибо вам,— сказал Чак. Вымученную, страдальческую улыбку сменило выражение искренней благодарности.— Если вы меня вытащите, я... я просто стану на колени и буду целовать вам но-

ги, только прикажите. Меня иногда жуть берет, мне кажется, я не оправдываю надежд отца...

— А ты не догадываешься, Чак, что этим отчасти и объясняются твои трудности?

— Правда?

— Да. Ты хочешь всех перебегать. Переплавать. У тебя во всем перебор. И дело тут, возможно, не только в психологическом барьере. Некоторые считают, что затрудненное чтение, синдром Джексона и другие аналогичные фобии — все это следствие, так сказать... родимого пятна на коре мозга. Забитых каналов. Неисправного реле. Мерт...— Он прикусил язык.

— Чего? — спросил Чак.

— Мертвой зоны,— выдавил Джонни.— Неважно. Названия не играют роли. Главное — результат. Никакой хитрости, собственно говоря, тут нет — нужно лишь направить мысли по обходному пути. Это значит — обучить активную область мозга выполнять работу, с которой не справляется какой-нибудь маленький участок. Скажем, тебе нужно всякий раз, когда ты напарываешься на сучок, начинать рассуждать вслух. Тем самым импульс мысли перемещается в другую точку мозга. Это умение переключаться.

— А я сумею? Вы думаете, сумею?

— Уверен,— сказал Джонни.

— Ну что ж. Значит, научусь.— Чак нырнул в бассейн и по крутой дуге выплыл на поверхность; он тряхнул своими длинными волосами, и брызги разлетелись веером.— Прыгайте! Вода отличная!

— Сейчас,— сказал Джонни, но в эту минуту он был рад просто стоять на кафельном бортике и, глядя, как Чак мощными гребками приближается к дальнему концу бассейна, наслаждаться одержанной победой. Подобной радости он не испытывал ни когда ему было видение, что у Эйлин Мэгоун загорелись занавески на кухне, ни когда ему открылось имя Фрэнка Додда. Если господь и наградил его даром, то даром учить людей, а вовсе не выяснять подробности, которые его не касаются. Вот его призвание — он понял это еще тогда, в 1970-м, когда учительствовал в Кливс Милс. И, что еще важнее, это понимали дети и раскрывались в ответ, как раскрылся Чак сегодня.

— Так и будете стоять столбом? — донесся голос Чака.

Джонни нырнул в бассейн.

Уоррен Ричардсон вышел из конторы без четверти пять, как всегда. Он направился к стоянке, втиснул свое грузное тело за руль «шевроле», завел мотор. Все как обычно. Необычным было только лицо, появившееся внезапно в зеркале заднего обзора,— небритое смуглое лицо, длинные волосы и неправдоподобно зеленые глаза, такие же зеленые, как у Сэйры Хэзлит или Чака Чатсворта. Подобный страх Уоррену Ричардсону доводилось испытывать разве что в далеком детстве.

— Привет,— сказал Санни Эллиман, перегибаясь через спинку сиденья.

— Кто?..— только и выжал из себя Ричардсон. Сердце у него колотилось, в глазах заплясали темные блики. Он испугался, как бы с ним не случился сердечный приступ.

— Тихо, приятель,— сказал человек, прятавшийся на заднем сиденье.— Тихо. Включите подфарники.

И тут у Ричардсона возникло странное чувство благодарности. Человек, нагнавший на него страх, не будет больше пугать его. Наверное, это очень славный человек, наверное...

— Кто вы? — выдавил он на этот раз.

— Ваш друг,— сказал Санни.

Ричардсон хотел повернуться, но в его дряблую шею клещами

впились пальцы. Боль была непереносимая. У Ричардсона перехватило дыхание, и он судорожно заскулил.

— Не надо оборачиваться, приятель. У вас есть зеркало заднего обзора. Врубились?

— Да,— задыхался Ричардсон.— Да, да, только отпустите!

Пальцы ослабили хватку, и вновь он испытал это странное чувство благодарности. Правда, сейчас он уже не сомневался во враждебных намерениях человека, как не сомневался и в том, что незнакомец находится в его машине не случайно, хотя не представлял себе, зачем и кому это могло понадобиться...

И вдруг он сообразил, кому могло, точнее, могло бы это понадобиться; трудно, конечно, ожидать такого от нормального кандидата, но Грег Стилсон не был нормальным, Грег Стилсон сумасшедший, так что... Уоррен Ричардсон начал тихо всхлипывать.

— Мне надо поговорить с вами, приятель,— сказал Санни. В его голосе сквозило участие и сожаление, однако в глазах поблескивал зеленый огонек насмешки.— Дядюшка хочет сказать вам пару теплых слов.

— Это связано со Стилсоном? С...

И снова клещи впились ему в шею, и Ричардсон взвизгнул от боли.

— Не надо имен.— Страшный человек за его спиной произнес это с тем же участием и сожалением.— Можете делать свои выводы, мистер Ричардсон, но имена оставьте при себе. Мой большой палец упирается сейчас в вашу сонную артерию, а остальные пальцы в шейную вену, так что при желании я могу превратить вас в живой труп.

— Чего вы хотите? — чуть не простонал Ричардсон. Трудно поверить, что все это происходит на стоянке автомашин, среди бела дня, в двух шагах от его конторы по делам о недвижимости, в главном городе штата Нью-Гэмпшир. Ему были видны часы, вделанные в красную кирпичную кладку ратушной башни. Часы показывали без десяти пять. Сейчас Норма поставит в духовку свиные отбивные, обильно сдобренные специями. Шон смотрит по телевизору «Сезам-стрит». А тут за спиной сидит человек, грозящий сделать из него идиота. Это какое-то наваждение, ужасный сон. Сон, от которого мечешься на постели.

— Я-то ничего не хочу,— сказал Санни Эллиман.— Вопрос в том, чего хотите вы.

— Я не понимаю, о чем вы.— Но, к своему ужасу, он, кажется, понимал.

— Эта статейка в «Нью-Гэмпшир джорнэл» по поводу сомнительных операций с недвижимостью,— сказал Санни.— Не слишком ли вы много знаете, мистер Ричардсон? Особенно в отношении... некоторых лиц.

— Но я...

— Вся эта болтовня о городском парке, к примеру говоря. С намеками на сорванный куш, и взятки, и круговую поруку. Вся эта бредятина.— Пальцы снова впились ему в шею, и на этот раз Ричардсон застонал. Но ведь его имя в статье не называлось, он был всего-навсего «информированным источником». Как же они узнали? Как узнал Грег Стилсон?

Незнакомец быстро заговорил ему в самое ухо, щекоча его жарким дыханием:

— Вы понимаете, мистер Ричардсон, что подобной чушью вы можете навлечь неприятности на некоторых лиц. Скажем, на лиц, участвующих в предвыборной кампании. Баллотироваться на высокий пост — это все равно что играть в бридж, сечете? Тут нельзя ошибаться. И не дай бог, швырнут в тебя комок грязи, грязь — штука липкая, особенно в наши дни. Пока ничего серьезного не случилось.

Я рад сообщить вам это, поскольку, случись что-нибудь серьезное, вы бы сейчас не вели со мной дружескую беседу, а пересчитывали остаток зубов.

Несмотря на весь свой страх, несмотря на то, что сердце его бешено колотилось, Ричардсон сказал:

— Этот молодой человек... это лицо... неужели вы в самом деле надеетесь выгородить его? Он же развернулся, как какой-нибудь продавец змеиного жира в провинциальном городке на Юге. Рано или поздно...

Большой палец вонзился ему в ухо и начал проворачиваться. Боль была адская, немыслимая. Ричардсон вскрикнул и ткнулся головой в боковое стекло. Руки его ощупью искали звуковой сигнал.

— Только нажми, сукин сын, и я тебя прикончу,— послышался шепот.

Рука Ричардсона безвольно упала. Незнакомец оставил его ухо в покое.

— Не мешало бы вам, приятель, прочистить уши,— донеслось с заднего сиденья.— Весь палец вымазал. Жуть сколько серы.

Уоррен Ричардсон беззвучно плакал, не в силах совладать с собой. Слезы текли по его одутловатым щекам.

— Прошу вас, не мучайте меня,— проговорил он.— Не мучайте. Прошу вас.

— Могу лишь повторить,— сказал ему Санни.— Вопрос в том, чего хотите вы. Кто что говорит по поводу... некоторых лиц — не ваше дело. Ваше дело — врать да не завираться. Трижды подумайте, прежде чем открывать рот, когда к вам наведывается парень из «Джорнэл». Подумайте, как просто бывает узнать, кто этот «информированный источник». И как хреново, когда твой дом вдруг сгорает дотла. Или когда приходится раскошеливаться на пластическую операцию, потому что жене плеснули в лицо кислотой.

Незнакомец громко сопел, как зверь, продирающийся сквозь заросли.

— Может, теперь вы поймете, как просто перехватить вашего мальчугана, когда он возвращается домой из детского сада.

— Только посмейте! — прохрипел Ричардсон.— Только посмейте, негодяй!

— Я просто говорю, что пора задуматься над тем, чего же вы сами хотите,— заметил Санни.— Выборы... этим живет вся Америка, верно? Тем более в год двухсотлетнего юбилея. Вот пусть каждый и поживет в свое удовольствие. А какое уж тут удовольствие, когда всякие кретины начинают брехать направо и налево. Прыщу на чужой ... завидуют.

Тут незнакомец совсем убрал руку. Задняя дверца открылась. Господи, наконец-то.

— Так что пора задуматься,— повторил Санни Эллиман.— Надеюсь, мы поняли друг друга?

— Да,— прошептал Ричардсон.— Но если вы рассчитываете, что Гре... что некое лицо может победить на выборах с помощью подобной тактики, то сильно ошибаетесь.

— Нет,— сказал Санни.— Это вы ошибаетесь. Не забывайте, что все хотят пожить в свое удовольствие. Так что смотрите, как бы вам не опоздать к общему пирогу.

Ричардсон молчал. Он сидел за рулем, словно изваяние, чувствуя, как пульсирует шейная артерия, и тупо смотрел на ратушные часы, будто все остальное в этой жизни потеряло смысл. Часы показывали без пяти пять. Свиные отбивные наверняка уже в духовке.

Незнакомец кинул напоследок два слова и, не оглядываясь, быстро зашагал прочь; его длинные волосы взлетали над воротом рубашки. Он свернул за угол и скрылся.

Последнее, что он сказал Уоррену Ричардсону, было: «Прочисть уши».

Ричардсона охватила дрожь, и прошло немало времени, прежде чем он смог вести машину. Первым его осознанным ощущением была ярость, сильнейшая ярость. Хотелось тут же подъехать к полицейскому управлению (оно находилось в здании ратуши, как раз под часами) и заявить о случившемся, об угрозах расправиться с его женой и сыном, о физическом насилии и о том человеке, от имени которого все это делалось.

...как хреново, когда приходится раскошеливаться на пластическую операцию... как просто перехватить вашего мальчугана...

Но с какой стати? С какой стати рисковать? Он сказал этому подонку чистейшую правду. Всякий, кто имел в южном Нью-Гэмпшире дело с недвижимостью, отлично знал, что Стилсон пустился в опасную авантюру. Выгоды, которые он сейчас извлекает, рано или поздно обернутся крахом, и он окажется за решеткой — гораздо раньше, чем кажется. Его избирательная кампания — верх сумасшествия. А теперь еще тактика выкручивания рук! В Америке, тем более в Новой Англии, такое не проходит.

Но пусть кто-нибудь другой скажет об этом во всеуслышание. Кто-нибудь другой, кому нечего терять.

Уоррен Ричардсон поехал домой, где его ждали свиные отбивные, и ни словом не обмолвился о случившемся. Кто-нибудь другой наверняка положит этому конец.

Как-то вечером, вскоре после знаменательного успеха Чака, Джонни Смит брился в ванной комнате в домике для гостей. В последние дни, стоя перед зеркалом, он каждый раз испытывал нелепое чувство, будто видит не себя, а своего старшего брата. Лоб прорезали две глубокие морщины. Еще две залегли возле рта. Неожиданно вылезла белая прядка, и вообще волосы вдруг тронула седина. Казалось, все это случилось за одну ночь.

Он выдернул из розетки шнур электробритвы и вышел в кухню, служившую одновременно столовой. Прямо роскошь, подумал Джонни и чуть заметно улыбнулся; похоже, он понемногу приходит в себя. Он включил телевизор, достал из холодильника бутылку «пепси» и сел смотреть новости. Роджер Чатсворт вернется поздно, а завтра утром Джонни не без удовольствия сообщит ему о первом серьезном успехе сына.

Раз в две недели Джонни навещал отца. Новое поприще Джонни пришлось по душе Герберту, который с неподдельным интересом слушал рассказы о Чатсвортах, об их доме в Дареме, этом уютном университетском городке, и о делах Чака. В свою очередь Джонни слушал рассказы отца о том, как он помогает Чарлине Маккензи, живущей в соседнем Нью-Глостере.

— Ее муж был первоклассным врачом, но мало что умел по дому,— рассказывал Герберт. Чарлина с Верой дружили, пока Вера не погрузилась в дебри фундаментализма. Это их разобщило. Муж Чарлины умер от инфаркта в 1973 году.— Дом практически разваливался на глазах,— продолжал Герберт.— Надо же было как-то помочь. Я приезжаю туда в субботу утром и после обеда возвращаюсь обратно. Должен тебе сказать, Джонни, готовит она лучше тебя.

— И выглядит тоже,— подыграл Джонни.

— Ну, конечно, она хорошенькая, но между нами, сам понимаешь, ничего такого. Еще ведь и года не прошло, как мы похоронили маму...

Джонни, однако, подозревал что-то такое между ними и в глубине души был этому рад. Очень уж ему не хотелось думать, что отца ждет одинокая старость.

Уолтер Кронкайт рассказывал телезрителям о новостях политической жизни. Первичные выборы закончились, до партийных съездов оставались считанные недели, по всему видно, что у Джимми Картера дело в шляпе и кандидатом от демократов будет он. Зато Форд не на шутку сцепился с бывшим губернатором Калифорнии Рональдом Рейганом. Репортерам впору подсчитывать делегатов поименно. В одном из своих редких писем Сэйра Хэзлит писала: «Уолт держит пальцы рук (и ног!) скрещенными, чтобы Форд пришел первым. Уолт рассчитывает в этом случае пройти в сенат штата. Он не знает, как в других местах, но в Мэне у Рейгана нет никаких шансов».

Работая поваром в Киттери, Джонни взял за правило ездить раза два в неделю в Дувр, или Портсмут, или другие близлежащие городишки Нью-Гэмпшира. Там перебывали все кандидаты в президенты, так что Джонни представлялась уникальная возможность увидеть их вблизи, без царственного ореола, который позже, быть может, окружит того, кто заберет власть в свои руки. Эти поездки превратились у него в своего рода хобби — на короткий срок, разумеется. Когда предвыборная кампания в Нью-Гэмпшире закончится, кандидаты переберутся во Флориду и даже не бросят прощального взгляда. Кое-кому, естественно, придется похоронить свои политические амбиции где-нибудь на полпути между Портсмутом и Кином. Никогда не интересовавшийся политикой (исключая период Вьетнама), Джонни вдруг всерьез увлекся ею, когда страсти, вызванные касл-рокским делом, понемногу улеглись,— и его дар, а может быть, несчастье, как ни называй, сыграл тут не последнюю роль.

Он пожимал руки Моррису Юдоллу и Генри Джексону. Фред Харрис похлопал его по спине. Рональд Рейган приобнял его профессиональным жестом политика со словами: «Приходите на избирательный участок, ваш голос будет весьма кстати». В ответ Джонни согласно кивнул, полагая, что проще оставить Рейгана в заблуждении, будто на него, Джонни, можно вполне положиться.

Он почти пятнадцать минут беседовал с Сарджем Шрайвером в вестибюле страхолюдного «Ньюингтон-Молла». Шрайвер, только что подстриженный, распространяющий волны парфюмерных запахов и, пожалуй, неуверенности, шел в сопровождении помощника, чьи карманы были набиты воззваниями, и агента секретной службы, ковырявшего украдкой прыщик. Шрайвер чуть не расплылся оттого, что его узнали. Едва они попрощались, к Шрайверу подошел кандидат в какой-то местный орган власти и попросил автограф. Шрайвер благосклонно улыбнулся.

Во время этих контактов Джонни всякий раз открывались различные подробности, но почти ничего существенного. По-видимому, рукопожатия превратились для этих людей в ритуал, при котором живые побуждения оказывались погребенными под толстым слоем прозрачного плексигласа. Джонни удалось повидать практически всех, за исключением президента Форда, но лишь однажды он испытал внезапное, как удар тока, озарение, подобное тем, какие были у него в случае с Эйлин Мэгоун и — при всей их несхожести — с Фрэнком Доддом.

Ранним утром, без четверти семь, Джонни приехал в Манчестер на своем стареньком «плимуте». Он работал всю ночь, с десяти до шести. Он устал, но приглушенный зимний рассвет был слишком хорош, чтобы проспать его. Кроме того, Джонни нравился Манчестер — узкие улочки, обшарпанные кирпичные дома и рассыпанные по берегу, как четки, островерхие здания прядильных фабрик. В то утро он не собирался охотиться за очередным политиком. Он решил просто покружить по улицам, пока еще не высыпали люди и не рассеялось холодное и тихое очарование февраля, а потом вернуться в Киттери и немного соснуть.

Джонни завернул за угол и увидел у ворот обувной фабрики три безликих «седана», хотя стоянка в этом месте была запрещена. Перед воротами стоял Джимми Картер и пожимал руки рабочим, заступавшим на смену. Они шли полусонные, в тяжелых мешковатых пальто, с завтраком в корзинках или бумажных пакетах. Для каждого у Картера находилось свое слово. Его улыбка, не успевшая пока разойтись миллионными тиражами, была безоблачной и неутомимой. Нос покраснел от мороза.

Джонни проехал еще полквартала, припарковался и направился к фабричным воротам; снег скрипел и похрустывал у него под ногами. Агент секретной службы смерил его взглядом и потерял к нему интерес — по крайней мере внешне.

— Я готов голосовать за любого, кто собирается снизить налоги,— говорил мужчина в заношенной лыжной куртке с целым созвездием прожженных кислотой дырок на рукаве.— От этих проклятых налогов житья нет, честное слово.

— Мы займемся этим делом,— сказал Картер.— Когда я окажусь в Белом доме, мы прежде всего пересмотрим налоговую политику.— Спокойная самоуверенность, звучавшая в его голосе, насторожила Джонни.

Глаза Картера, поражавшие своей голубизной, встретились с глазами Джонни.

— Привет! — сказал он.

— Здравствуйте, мистер Картер,— сказал Джонни.— Я не работаю здесь. Просто ехал мимо и увидел вас.

— Ну что же, рад, что вы остановились. Я выдвинул свою кандидатуру в президенты.

— Я знаю.

Картер протянул руку. Джонни пожал ее.

— Надеюсь, что вы...— начал было Картер. И осекся.

Последовала вспышка, внезапный треск, как будто он сунул палец в электрическую розетку. Зрачки у Картера сузились. Они с Джонни смотрели друг на друга, казалось, целую вечность.

Агенту секретной службы все это не понравилось. Он бросился к Картеру, на ходу расстегивая пальто. За их спиной, из какой-то немыслимой дали, донесся долгий и протяжный гудок, возвещавший о начале семичасовой смены.

Джонни выпустил руку Картера, но они продолжали смотреть друг на друга.

— Что это было, черт возьми? — тихо спросил Картер.

— По-моему, дружище, ты куда-то собирался,— подал вдруг голос агент и положил увесистую руку на плечо Джонни.— Или нет?

— Все в порядке,— успокоил его Картер.

— Вы станете президентом,— сказал Джонни.

Рука агента лежала на его плече, но она стала как будто легче, и вновь Джонни что-то почувствовал. Агенту секретной службы

(глаза)

не нравились эти глаза. Они показались ему

(глаза убийцы, глаза маньяка)

холодными и странными... пусть только запустит руку в карман пальто, пусть хотя бы шевельнет ею, и я уложу его прямо на тротуаре. Не успела эта мысль агента пронестись в голове Джонни, как вдруг откуда-то пришли два слова, простые и страшные:

(лорел мэриленд лорел мэриленд лорел мэриленд лорел)

— Да,— сказал Картер.

— Это реальнее, чем многие думают... реальнее, чем вы сами думаете... в общем, вы победите.

Картер молча глядел на него, слегка раздвинув губы в улыбке.

— У вас есть дочь. Она поступит в школу в Вашингтоне. В шко-

лу...— Но это уже было в мертвой зоне.— Школа названа именем освобожденного раба.

— Приятель, а ну-ка двигай отсюда,— сказал агент.

Картер посмотрел на него, и тот замолчал.

— Рад был познакомиться,— сказал Картер.— Вы меня слегка озадачили, и все же я рад.

Джонни вернулся в свое обычное состояние. Все прошло. Он почувствовал, что у него замерзли уши и что не мешает заглянуть кой-куда.

— Всего доброго,— сказал он, смешавшись.

— Спасибо. И вам того же.

Он повернулся к машине, чувствуя на себе взгляд агента, и уехал как в тумане.

Вскоре Картер свернул свою кампанию в Нью-Гэмпшире и двинул во Флориду.

Уолтер Кронкайт перешел от американских политиков к гражданской войне в Ливане. Джонни поднялся, налил себе еще «пепси» и отсалютовал стаканом экрану телевизора. *Твое здоровье, Уолт. Выпьем за три «Р» — распад, разрушение и рок. Куда бы мы без них делись?*

В дверь тихо постучали.

— Войдите,— отозвался Джонни, ожидая увидеть Чака; наверное, позовет его прокатиться в Сомерсуэрт. Но это был не Чак. Это был отец Чака.

— Привет, Джонни,— сказал Чатсворт. Он был в застиранных джинсах и легкой спортивной рубашке навыпуск.— Можно?

— Разумеется. Я думал, вы возвратитесь поздно.

— Видите ли, мне позвонила Шелли.— Так звали его жену. Роджер вошел и закрыл за собой дверь.— К ней прибежал Чак. Расплакался от радости, как малый ребенок. Сказал, что ваша система сработала. И что у него, наверное, все будет в порядке.

Джонни поставил стакан.

— Нам еще предстоит потрудиться,— сказал он.

— Чак встретил меня в аэропорту. Последний раз я видел его таким... уж и не вспомню когда. Лет в десять. Или в одиннадцать. Тогда я подарил ему пистолет калибра 5,6 мм, о котором он мечтал пять лет... Он прямо в аэропорту прочитал мне заметку из газеты. Сдвиг просто невероятный. Я пришел поблагодарить вас.

— Благодарить надо Чака,— сказал Джонни.— Он очень восприимчив. Его успех во многом объясняется самовнушением. Он убедил себя, что это ему под силу, и теперь развивает успех. Точнее, пожалуй, не сформулируешь.

Роджер сел.

— Он говорит, вы учите его мысленно переключаться.

— Что ж, верно,— улыбнулся Джонни.

— Он сумеет пройти тесты?

— Трудно сказать. Жаль, если он все поставит на карту и проиграет. Экзамен — всегда стрессовая ситуация. Если его вдруг заклинит, не исключена психическая травма. Не подумать ли о хороших подготовительных курсах? Вроде Питсфилдских.

— Была у нас такая мысль, но, честно говоря, я считал, что этим мы просто отдалим то, чего все равно не миновать.

— Вот-вот, отсюда его комплексы. Он чувствует, что ситуация критическая: пан или пропал.

— Я никогда не давил на Чака.

— Сознательно нет. Мне это известно. И Чаку тоже. Но, с другой стороны, вы богаты, преуспеваете и колледж в свое время окон-

чили с отличием. Чак, по-моему, чувствует себя так, словно ему вступать в игру сразу же за Хенком Аароном [1].

— Тут уж я, Джонни, ничего не могу поделать.

— Я полагаю, что после года на подготовительных курсах, вдали от дома, он яснее представит свое будущее. А потом он бы поработал на одной из ваших фабрик. Если б это был мой сын и мои фабрики, я бы пошел ему навстречу.

— Почему же он мне сам ничего об этом не говорил?

— Чтобы вы не подумали, будто он перед вами стелется,— сказал Джонни.

— Это его собственные слова?

— Да. Чаку хотелось бы попробовать себя в деле, он считает, это ему пригодится. Чак мечтает пойти по вашим стопам, мистер Чатсворт. Но за вами трудно угнаться. Отсюда его проблемы. У него дрожат руки, как у неопытного охотника при виде дичи.

Вообще-то Джонни немного приврал. Правда, кое-что проскальзывало в их разговорах, но до таких откровений никогда не доходило. Если что и было, то не на словах. Просто Джонни время от времени прикасался к Чаку, и таким образом ему многое приоткрылось. Он видел фотокарточки, которые Чак носил в бумажнике, и понял, как тот относится к отцу. О каких-то вещах Джонни никогда бы не рассказал своему собеседнику, человеку приятному, но достаточно для него далекому: Чак готов был целовать землю, по которой ступал его отец. Держался он уверенно и непринужденно, точь-в-точь как Роджер, но за этим таился страх, что он никогда не нагонит отца. Захиревшую ткацкую фабрику Чатсворт-старший превратил в текстильную империю Новой Англии. Отцовская любовь, казалось Чаку, зиждется на вере, что и он когда-нибудь горы своротит. Станет настоящим спортсменом. Будет учиться в хорошем колледже. Будет *читать*.

— Вы уверены, что все обстоит именно так? — спросил Роджер.

— Вполне. Но я буду очень признателен, если Чак не узнает о нашем разговоре. Я ведь открыл вам его секреты.— *Уж это точно, не сомневайтесь.*

— Хорошо, о подготовительных курсах мы с Чаком и Шелли еще поговорим. А пока возьмите.— Он достал из заднего кармана брюк белый конверт и протянул его Джонни.

— Что это?

— Откройте и увидите.

Джонни открыл. В конверте лежал чек на пятьсот долларов.

— Да вы что! Я не могу...

— Можете и возьмете. Я обещал вам вознаграждение в случае успеха, а свои обещания я выполняю. Перед отъездом вы получите еще один чек.

— Послушайте, мистер Чатсворт, я ведь просто...

— Тсс. Я хочу вам кое-что сказать, Джонни.— Чатсворт наклонился. На его губах играла едва заметная улыбка, и Джонни вдруг понял: он, пожалуй, сумел бы разглядеть, что скрывается за приятной внешностью сидящего перед ним человека, добраться до сути того, кто вызвал к жизни все это — дом, поместье, бассейн, фабрики. И разумеется, ридинг-фобию в своем сыне, каковую, по-видимому, следует классифицировать как истерический невроз.

— Джонни, я по собственному опыту знаю, что девяносто пять процентов людей на земле — это инертная масса. Один процент составляют святые и еще один — непроходимые кретины. Остается три процента — те, кто могут чего-то добиться... и добиваются. Я вхожу в эти три процента и вы тоже. Вы заработали эти деньги. У меня на предприятиях есть люди, которые получают в год одиннадцать

[1] Известный американский бейсболист.

тысяч долларов только за то, что целыми днями почесывают... брюхо. Нет, я не жалуюсь. Я не вчера родился и знаю, как устроен мир. Топливная смесь состоит из одной части высокооктанового бензина и девяти частей всякого дерьма. Вы с этим дерьмом не имеете ничего общего. А посему кладите деньги в бумажник и в следующий раз цените себя дороже.

— Ну что ж,— сказал Джонни.— Не стану врать, я найду им применение.

— Больничные счета?

Джонни пристально посмотрел на Роджера Чатсворта.

— Я все про вас знаю,— сказал Роджер.— Неужели вы думали, что я не наведу справки о человеке, которого нанимаю репетитором к своему сыну?

— Так вы знаете, что я...

— Экстрасенс или что-то в этом роде. Вы помогли распутать дело об убийствах в Мэне. Во всяком случае, если верить газетам. До января у вас был контракт в школе, но когда ваше имя замелькало в газетах, вас отшвырнули, как горячую картофелину, которой обожгли пальцы.

— Вы все знали? И давно?

— Еще до того, как вы к нам перебрались.

— И тем не менее вы наняли меня?

— Я ведь искал репетитора. А у вас, судя по всему, дело должно было клеиться. По-моему, я проявил дальновидность, прибегнув к вашим услугам.

— Мне остается только поблагодарить вас,— сказал Джонни неожиданно охрипшим голосом.

— Повторяю: вы себя недооцениваете.

Пока шел этот разговор, Уолтер Кронкайт покончил с международным положением и перешел к курьезам, которыми иногда завершается выпуск новостей.

— ... у избирателей в третьем округе западного Нью-Гэмпшира...

— Так или иначе, деньги пригодятся,— повторил Джонни.— Я...

— Погодите. Это надо послушать.

Чатсворт подался вперед; он улыбался, явно предвкушая удовольствие. Джонни повернулся к телевизору.

— ...появился независимый кандидат Стилсон,— говорил Кронкайт,— сорокатрехлетний агент по страхованию и продаже недвижимости. Он стал одним из самых эксцентричных кандидатов в избирательной кампании тысяча девятьсот семьдесят шестого года, но республиканцу Гаррисону Фишеру, равно как и его сопернику — демократу Дэвиду Боузу, от этого не легче, поскольку, по данным опроса общественного мнения, Грег Стилсон опережает их с приличным отрывом. С подробностями — Джордж Герман.

— Кто такой Стилсон? — спросил Джонни.

Чатсворт рассмеялся:

— Сейчас увидите. Чумной, как мартовский заяц. Но трезво мыслящие избиратели третьего округа, сдается мне, пошлют его в ноябре в Вашингтон. Разве только он грохнется оземь и забьется в судорогах. Лично я не исключаю такой вариант.

На экране возник смазливый молодой человек в белой сорочке. Он стоял на помосте, задрапированном звездно-полосатой материей, и обращался к небольшой толпе на автомобильной стоянке при супермаркете. Молодой человек вовсю уламывал слушателей, которые, судя по их лицам, смертельно скучали. За кадром послышался голос Джорджа Германа:

— Это Дэвид Боуз, кандидат от демократов — жертвенный агнец, по мнению некоторых. Боуз настроился на трудную борьбу, поскольку

ку третий округ Нью-Гэмпшира никогда не тяготел к демократам, даже во времена громкой победы Эл Би Джея [1] в шестьдесят четвертом году. Боуз ждал соперничества со стороны вот этого человека.

На экране появился мужчина лет шестидесяти пяти. Он держал застольную речь перед солидной публикой. Те, которым предстояло субсидировать его избирательную кампанию, имели вид людей благообразных, склонных к ожирению, страдающих легкими запорами,— не иначе как бизнесмены присвоили себе монопольное право так выглядеть по причине своей принадлежности к ВСП [2].

— Перед вами Гаррисон Фишер,— комментировал Герман.— Избиратели третьего округа посылали его в Вашингтон каждые два года, начиная с шестидесятого. Он заметная фигура в палате представителей, член пяти комиссий и председатель комитета по озеленению и ирригации. Ожидалось, что он свалит юного Дэвида Боуза одной левой. Однако ни Фишер, ни Боуз не приняли в расчет темную карту в колоде. А вот и она!

Кадр сменился.

— О господи! — сказал Джонни.

Чатсворт разразился хохотом и захлопал себя по ляжкам.

— Вы бы пошли за таким?

Ничего от апатии, наблюдавшейся на стоянке при супермаркете. Ничего от благодушия, царившего в Гранитном зале отеля «Хилтон» в Портсмуте. Грег Стилсон стоял на возвышении при въезде в родной Риджуэй. За его спиной высилась статуя — американский солдат с автоматом в руках и в берете, надвинутом на глаза. Перегороженную улицу запрудила беснующаяся толпа, преимущественно молодежь. На Стилсоне были вылинявшие джинсы и армейская рубашка с двумя нагрудными карманами — на одном вышито: ДАЕШЬ МИРНУЮ ПЕРЕДЫШКУ, на другом: ВДАРИМ ПО ЯБЛОЧНОМУ ПИРОГУ! На голове — массивная каска строителя-монтажника, лихо сдвинутая на затылок, на ней — зеленая экологическая эмблема. Под боком у Стилсона стояла тележка из нержавейки. Из динамиков неслась голос Джона Денвера, певшего «Я, слава богу, деревенский парень».

— Зачем ему тележка?— спросил Джонни.

— Увидите,— сказал Роджер, продолжая ухмыляться.

А Герман говорил:

— Темную карту зовут Грегори Аммас Стилсон, сорок три года, бывший коммивояжер при библейском обществе «Американский праведный путь», бывший маляр, а также продавец дождя в Оклахоме, где он вырос.

— Продавец дождя,— повторил Джонни в растерянности.

— О, это один из гвоздей его предвыборной программы,— заметил Роджер.— Если мы его изберем, у нас с дождем не будет никаких проблем.

Джордж Герман продолжал:

— Политическая платформа Стилсона, скажем прямо, отличается... свежестью.

Джон Денвер закончил песню воплем, который толпа радостно подхватила. И тут заговорил Стилсон, голос его гремел, усиленный мощными динамиками. Уж этот человек знал, как овладеть аудиторией. Его голос заставил Джонни поежиться. Было в нем что-то истеричное, властное, берущее за горло, что-то кликушеское. Оратор брызгал слюной.

— Что мы будем делать в Вашингтоне? На кой он нам, Вашингтон? — бушевал Стилсон.— Какая, вы спросите, у нас платформа? Наша платформа — это пять лозунгов, друзья мои, пять боевых лозун-

[1] Бывший президент США Линдон Бейнс Джонсон.

[2] «Великая старая партия» — название республиканской партии, бытующее с 1880 года.

гов! Какие, спрашиваете? А я вам скажу! Первый: ВЫШВЫРНЕМ ВСЕХ БРЕХУНОВ!

Рев одобрения пронесся над толпой. Кто-то пригоршнями бросал в воздух конфетти, кто-то завопил: «Гип-гип, урррааа!» Стилсон подался вперед.

— А хотите знать, друзья мои, зачем я надел каску? Я вам отвечу. Когда вы пошлете меня в Вашингтон, я их всех протараню в этой каске! Я пойду на них вот так!

К изумлению Джонни, Стилсон наклонил по-бычьи голову и принялся раскачивать помост, издавая при этом пронзительный воинственный клич. Роджер Чатсворт просто-таки обмяк в кресле, зайдясь в приступе хохота. Толпа обезумела. Стилсон снова выпрямился во весь рост, снял с головы каску и швырнул ее в толпу. Тотчас же вокруг нее началась свалка.

— Второй лозунг! — вопил Стилсон в микрофон.— Мы вышвырнем из правительства любого, от короля до пешки, кто балуется в постели с разными девочками! У них есть законные жены. Мы не позволим им брать налогоплательщиков за вымя.

— Что он сказал? — спросил Джонни, моргая.

— Это еще цветочки,— ответил Роджер. Он смахнул слезы и вновь зашелся в припадке смеха. Джонни пожалел, что не может разделить его веселья.

— Третий лозунг! — ревел Стилсон.— Мы запустим все эти выхлопные газы в космос! Соберем их в пластиковые пакеты, в кожаные мешки! И запулим их на Марс, на Юпитер, на кольца Сатурна! У нас будет чистый воздух, у нас будет чистая вода, и все это у нас будет ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА!

Толпа обезумела от восторга. Джонни заметил, что многие, как и Роджер Чатсворт, буквально лопаются от смеха.

— Четвертый лозунг! Даешь вволю газа и нефти! Хватит играть в бирюльки с этими арабами, пора взяться за дело! Мы не допустим, чтобы старики в Нью-Гэмпшире превращались в эскимо на палочке, как это было прошлой зимой!

Последние его слова вызвали бурю одобрения. Прошлой зимой в Портсмуте пожилая женщина, у которой отключили газ за неуплату, замерзла насмерть в своей квартире на третьем этаже.

— У нас рука крепкая, друзья мои, и нам это по силам! Или есть здесь такие, кто в этом сомневается?

— Нету-у! — ревела в ответ толпа.

— Тогда последний лозунг,— сказал Стилсон и подошел к тележке. Он откинул крышку, и из-под нее повалили клубы пара.— ГОРЯЧИЕ СОСИСКИ! — Он запустил обе руки в тележку и стал выхватывать оттуда пригоршнями сосиски и швырять их толпе. Сосиски летели во все стороны.— Каждому мужчине, женщине и ребенку в Америке — горячие сосиски! Запомните — когда Грег Стилсон окажется в палате представителей, вы сможете сказать: ГОРЯЧИЕ СОСИСКИ! НАКОНЕЦ КТО-ТО ПОЗАБОТИЛСЯ ОБ ЭТОМ!

Теперь на экране телевизора команда длинноволосых юнцов, напоминавшая хипповую рок-группу, разбирала помост. Еще трое убирали мусор, оставленный толпой. Джордж Герман говорил напоследок:

— Кандидат от демократов Дэвид Боуз назвал Стилсона шутом гороховым, который пытается вставлять палки в колеса демократическим преобразованиям. Гаррисон Фишер выразился резче. Он считает Стилсона циничным ярмарочным торгашом, превращающим свободные выборы в дешевый балаган. В своих публичных выступлениях он именует независимого кандидата Стилсона не иначе как первым и последним членом Американской партии горячих сосисок. Однако факт остается фактом: по данным опроса, проведенного нашей телекомпанией в третьем избирательном округе Нью-Гэмпшира, за Дэвида

Боуза собираются голосовать двадцать процентов избирателей, за Гаррисона Фишера — двадцать шесть, а за пробивающегося в одиночку Грега Стилсона — целых сорок два процента. Конечно, до выборов еще далеко, и все может измениться. Но на сегодняшний день Грег Стилсон сумел завоевать если не умы, то сердца избирателей третьего округа в Нью-Гэмпшире.— Тут Джордж Герман поднял руку — в руке была сосиска. Он откусил добрую половину и закончил:

— Комментировал Джордж Герман, отдел новостей Си-би-эс, Риджуэй, Нью-Гэмпшир.

На экране вновь появился Уолтер Кронкайт.

— Горячие сосиски,— сказал он и хмыкнул.— Вот так обстоят дела...

Джонни встал и выключил телевизор.

— Просто не верится,— сказал он.— Неужели этот тип и вправду баллотируется в палату представителей? Это не розыгрыш?

— Розыгрыш или нет, это как посмотреть,— усмехнулся Роджер,— во всяком случае, он выставил свою кандидатуру. Сам я республиканец до мозга костей, но должен признаться, этот парень мне чем-то по душе. Представляете, он нанял полдюжины бывших головорезов-мотоциклистов для своей охраны. Настоящие железные всадники. Это, конечно, не «ангелы смерти»[1], но подозреваю, что за ними тоже немало грешков. Говорят, Стилсон перевоспитал их.— Шпана на мотоциклах в качестве личной охраны. Час от часу не легче, подумал Джонни. Такая же шпана на мотоциклах обеспечивала безопасность во время бесплатного концерта ансамбля «Роллинг стоунз» в калифорнийском городе Алтамонте. Ничего хорошего из этой затеи не вышло.

— И что же, никому нет дела до... моторизованной шайки бандитов?

— Не совсем так. Пока они ведут себя прилично. За Стилсоном в Риджуэе давно закрепилась репутация человека, умеющего работать с трудными подростками.

Джонни недоверчиво хмыкнул.

— Вы видели его,— сказал Роджер, показывая на экран.— Это клоун. Такое он вытворяет каждый раз. Швыряет каску в толпу — я думаю, он этих касок раскидал добрую сотню,— раздает сосиски. Да, он клоун, ну и что? А может, людям нужна время от времени такая вот комическая разрядка? У нас перебои с нефтью, инфляция выходит из-под контроля, налоги придавили рядового американца как никогда, и ко всему мы, похоже, собираемся сделать президентом арахисового пустозвона из Джорджии[2]. Вот люди и хотят посмеяться разок-другой. А пуще того хотят показать нос политическим заправилам, которые не могут решить ни одну проблему. Стилсон безобиден.

— Ну да, он ведь метит в космос,— заметил Джонни, и оба засмеялись.

— Разве мало у нас полоумных политиков? — сказал Роджер.— В Нью-Гэмпшире это Стилсон, который надеется с помощью сосисок пробить себе дорогу в палату представителей. В Калифорнии это Хайякава. А взять нашего губернатора Мелдрима Томсона. В прошлом году он собирался вооружить нью-гэмпширскую национальную гвардию тактическим ядерным оружием. Вот уж сумасшествие так сумасшествие.

— По-вашему, избиратели третьего округа поступят правильно, послав деревенского шута представлять их в Вашингтоне?

— Вы не понимаете главного,— терпеливо начал объяснять Чатсворт.— Поставьте себя, Джонни, на место избирателей. Население

[1] Прозвище преступных банд, разъезжающих на мотоциклах.

[2] Джорджия — родина Джимми Картера, происходящего из семьи владельцев арахисовых плантаций.

третьего округа — в основном «синие воротнички» и мелкие лавочники. У тех, кто живет в глубинке, и развлечений-то никаких сроду не было. Эти люди смотрят на Дэвида Боуза и видят честолюбивого парня, который рассчитывает собрать голоса на том лишь основании, что у него неплохо подвешен язык и он чем-то отдаленно напоминает Дастина Хоффмана [1]. Для кого-то он, видимо, свой в доску уже потому, что ходит в джинсах.

Теперь возьмем Фишера. Моего кандидата, по крайней мере номинально. Я организовывал сбор средств на его кампанию, как и на кампанию прочих кандидатов-республиканцев в этой части Нью-Гэмпшира. Он так сроднился с Капитолийским холмом, что свято верит, будто купол Капитолия рухнет без его моральной поддержки. У него за всю жизнь не родилось в голове ни одной оригинальной идеи, он никогда не шел против большинства. Его имя ничем не запятнано, он слишком глуп, чтобы проворачивать темные делишки, хотя и в него могут полететь комья грязи в связи с «Корегейтским делом»[2]. Его речи столь же зажигательны, как страницы каталога канализационного оборудования. Не то чтобы простой люд все это понимал, но порой они такие вещи чувствуют. Сама мысль, что Гаррисон Фишер делает хоть что-то для своих избирателей,— чистейший нонсенс.

— Отсюда вывод: изберем сумасшедшего?

Чатсворт снисходительно улыбнулся.

— Иногда эти сумасшедшие очень неплохо показывают себя в деле. Посмотрите на Беллу Абцуг [3]. Под этой кретинской шляпкой скрываются отличные мозги. Но допустим, в Вашингтоне Стилсон станет паясничать так же, как и в Риджуэе. Не надо забывать, что он садится в это кресло на два года. В семьдесят восьмом году его прокатят и посадят на его место того, кто сделает правильные выводы из этого урока.

— Какого урока?

Роджер поднялся.

— Нельзя долго морочить людям головы,— сказал он.— Вот и весь урок. В этом убедился Адам Клейтон Пауэлл [4]. И Агню с Никсоном тоже. Понимаете... нельзя долго морочить людям головы.— Он взглянул на часы.— А не сходить ли нам, Джонни, в большой дом, выпили бы по рюмочке. Я и Шелли должны скоро уехать, но пропустить по одной мы с вами успеем.

Джонни улыбнулся и встал.

— Ну что ж,— сказал он.— Вы загнали меня в угол.

В середине августа Джонни оказался один в поместье Чатсвортов, если не считать Нго Фата, жившего за гаражами. Хозяева заперли большой дом и отбыли на три недели в Монреаль, чтобы отдохнуть и развеяться перед началом учебного года и жарких дней на предприятиях.

Роджер оставил Джонни ключи от «мерседеса» своей жены, и Джонни отправился к отцу в Паунал, чувствуя себя монархом. Отношения отца с Чарлиной Маккензи вошли в решающую стадию, и Герберт уже не утверждал, будто его единственное желание — это чтобы она не погибла под руинами дома, который, того гляди, рухнет. Наоборот, он так откровенно ухаживал за Чарлиной, что Джонни стало немного не по себе. Его хватило на три дня, после

[1] Известный американский киноактер, исполнитель главных ролей в фильмах «Крамер против Крамера», «Маленький большой человек» и других.

[2] Словообразование по аналогии с «Уотергейтским делом». Имеется в виду скандал, связанный с подкупом высокопоставленных американских должностных лиц южнокорейскими властями.

[3] Женщина-конгрессмен, сторонница феминистского движения в США.

[4] Негритянский проповедник и конгрессмен.

чего он вернулся в поместье Чатсвортов, принялся за чтение и письма, и жизнь вошла в тихое русло.

Он дрейфовал в центре бассейна в надувном кресле и, потягивая коктейль, читал «Нью-Йорк таймс бук ревью», когда Нго Фат подошел к барьерчику, снял шлепанцы и спустил ноги в воду.

— Аааааа,— выдохнул он.— Сразу легче.— Он улыбнулся Джонни.— Тихо, правда?

— Очень тихо,— согласился Джонни.— Что слышно насчет гражданства, Нго? Как подвигаются занятия?

— Сильно подвигаются,— сказал Нго.— Мы скоро все едем на прогулку. Очень интересно. Первый раз. Чтобы в субботу не заторчать в городе.

— Торчать,— сказал Джонни, улыбаясь при мысли, как весь класс Нго Фата кейфует от ЛСД или псилоцибина.

— Простите?— Брови у Нго Фата вопросительно поднялись.

— Торчать в городе.

— А, спасибо. Мы будем присутствовать на политическом выступлении в Тримбулле. Мы все думаем, нам повезло, что мы готовимся получить американское гражданство в год выборов. Это очень полезно.

— Да-да, ну еще бы. И кого же вы будете слушать?

— Грега Стилз...— Он остановился и начал еще раз, тщательно выговаривая:— Грега Стилсона. Он независимый кандидат в палату представителей.

— Я слышал о нем,— сказал Джонни.— И что же, вы обсуждали его в классе?

— Да, мы немного говорили об этом человеке. Родился в тридцать третьем году. Были разные профессии. Приехал в Нью-Гэмпшир в шестьдесят четвертом. Он уже столько здесь прожил. Преподаватель сказал, что его никто теперь не считает перекати-лесом.

— Полем,— сказал Джонни.

Нго смотрел на него с непроницаемо вежливой улыбкой.

— Правильно говорить — «перекати-поле».

— А, спасибо.

— Стилсон вам не кажется несколько странным?

— Это в Америке,— сказал Нго.— Во Вьетнаме таких было много. Таких, которые...— Он сидел, болтая в задумчивости своими маленькими, как у женщины, ступнями в голубовато-зеленой воде. Потом снова посмотрел на Джонни.— Я не знаю, как это сказать по-английски. У нас в стране есть игра «Смеющийся тигр». Старая игра, все ее очень любят, как у вас бейсбол. Там ребенок, знаете, одевается в тигра. Накрывается шкурой. Бегает и танцует. А другие дети стараются его поймать. Ребенок, который в шкуре, смеется, но еще он рычит и кусается, такая это игра. По-моему, ваш Стилсон тоже знает эту игру.

Джонни с беспокойством слушал Нго Фата.

Что касается Нго, то он был само спокойствие.

— Вот мы поедем,— улыбнулся он,— и сами все увидим. А потом у нас будет пикник. Я испеку два пирога. Хорошо, наверно, получится.

— Просто здорово.

— Да, очень здорово,— сказал Нго Фат, вставая.— Потом мы в классе обсудим все, что видели в Тримбулле. Может быть, напишем сочинение. Писать сочинение всегда легче, потому что можно посмотреть в словаре точное слово.

— Пожалуй что так. Только почему-то мне никогда не удавалось убедить в этом своих учеников.

Нго снова улыбнулся.

— Как дела у Чака?

— Неплохо.

— Да, он теперь веселый. А раньше притворялся. Он хороший мальчик.— Нго поднялся.— Отдыхайте, Джонни. Я иду поспать.

— Ладно.

Джонни проводил глазами гибкую миниатюрную фигурку Нго в джинсах и вылинявшей рубашке.

Ребенок, который в шкуре, смеется, но еще он рычит и кусается, такая это игра... По-моему, ваш Стилсон тоже знает эту игру.

Опять этот укол беспокойства.

Надувное кресло покачивалось на воде. Солнце ласкало кожу. Джонни снова раскрыл «Бук ревью», но читать расхотелось. Он отложил журнал, подгреб к бортику и вылез. До Тримбулла каких-нибудь тридцать миль. Может, махнуть туда в субботу на «мерседесе» миссис Чатсворт? Посмотреть своими глазами на Грега Стилсона. Насладиться спектаклем. А то и... а то и пожать ему руку.

Ни за что!

Но почему? В конце концов, разве он не начал коллекционировать политиков перед нынешними выборами? Ну, увидит еще одного — есть из-за чего расстраиваться!

Но Джонни уже расстроился, факт. Сердце заколотилось, он даже уронил журнал в бассейн. Чертыхаясь, он полез выуживать его, пока тот не размок.

Почему-то при мысли о Греге Стилсоне вспоминался Фрэнк Додд.

Вот уж совсем нелепица. Какое у него может быть отношение к Стилсону, когда он всего один раз видел его по телевизору? Да никакого.

Держись от него подальше.

Ну а что в конце концов? Может, съезжу, а может, нет. Может быть, поеду в субботу в Бостон. Схожу в киношку.

Но к тому времени, как он вернулся домой и переоделся, странное тяжелое чувство страха уже овладело им. Чем-то это чувство напоминало старинного знакомого — из тех, кого в душе ненавидишь. Решено, в субботу он поедет в Бостон. Так будет лучше.

Много месяцев спустя Джонни снова и снова возвращался к этому дню, 19 августа, и не мог в точности вспомнить, как же он все-таки оказался в Тримбулле. Он поехал в сторону Бостона, рассчитывая посмотреть игру «Ред сокс»[1] в Фенвей-парке, затем, если получится, прокатиться до Кембриджа и пройтись по книжным магазинам. А если хватит денег (из «премиальных» Чатсворта четыреста долларов он послал отцу, который в свою очередь перешлет их в «Ист-Мэн медикэл сентр»— по сравнению с тем, сколько останется выплачивать, это, конечно, капля в море), то еще сходить в кино на музыкальный фильм под названием «На всю катушку». Неплохая программа и подходящий денек для ее осуществления: теплый, безоблачный, мягкий — один из лучших летних дней, какие бывают в Новой Англии.

Он наведался в кухню большого дома, приготовил три больших бутерброда с ветчиной и сыром, сложил их в старомодную плетеную корзинку, найденную в кладовке, и после некоторых колебаний добавил к ним шесть банок пива «туборг». В ту минуту он чувствовал себя отлично, просто превосходно. Ни тени мысли о Греге Стилсоне и его доморощенной охране из железных всадников.

Он поставил корзинку под сиденье и взял курс на юго-восток, к автостраде 1-95. До этой минуты все было ясно. И вдруг что-то странное полезло в голову. Сначала вспомнилась мать на смертном одре. Ее лицо с застывшим оскалом, скрюченная рука на покрывале, голос, звучащий приглушенно, как будто у нее полон рот ваты.

---

[1] Бейсбольная команда.

А что я тебе говорила? Разве я тебе этого не говорила?

Джонни включил погромче радио. Стереодинамики выдавали добротный рок-н-ролл. Он проспал четыре с половиной года, но рок-н-ролл, слава богу, живет и здравствует. Джонни начал подпевать.

Он уготовил тебе миссию. Не беги от нее, Джонни.

Радиоприемник не мог заглушить голоса матери. Даже из могилы.

Не прячься и не заставляй его посылать большую рыбу, чтобы она проглотила тебя.

Но гигантская рыба его проглотила-таки. И называлась эта рыба не левиафан, а кома. Он провел четыре с половиной года в ее черном брюхе, и этого было предостаточно.

Показался дорожный знак со стрелкой — и вот он уже позади. Джонни был так погружен в свои мысли, что проскочил поворот. Эти призраки прошлого — они не хотят отступать, не хотят оставить его в покое. Ладно, придется доехать до следующего поворота и сделать крюк.

Ты не гончар, а гончарная глина, Джонни.

— Ну все, хватит,— пробормотал он. Пора выбросить из головы эту ахинею. Вера Смит, конечно, была фанатичкой — пусть он отзывался о собственной матери нелестно, зато справедливо. Рай в созвездии Ориона, ангелы в летающих тарелках, подземные царства... Ее сумасшествие мало чем отличалось от сумасшествия Грега Стилсона.

Послушай, не связывайся ты, Христа ради, с этим типом.

«И когда вы пошлете Грега Стилсона в палату представителей, вы сможете сказать: ГОРЯЧИЕ СОСИСКИ! НАКОНЕЦ КТО-ТО ПОЗАБОТИЛСЯ ОБ ЭТОМ!»

Он подъезжал к 63-й автостраде. Левый поворот: Конкорд, Берлин, Ридерс Милл, Тримбулл. Джонни повернул, даже не успев сообразить, что делает. Он думал о другом.

Роджер Чатсворт, меньше всего похожий на наивного младенца, потешался над Грегом Стилсоном так, словно тот в этом году заткнул за пояс Джорджа Карлина и Чеви Чейса[1] вместе взятых. *Он клоун, Джонни.*

Если Стилсон клоун и ничего больше, какие тогда могут быть страхи? Милый чудак. Бюллетень, на котором избиратели напишут, обращаясь к другим кандидатам: *Ребята, вы такие ничтожества, что мы решили избрать на два года этого дурачка.* Может, так оно и есть. Безобидный юродивый, только и всего. И ни к чему эти сравнения с Фрэнком Доддом, расчетливым маньяком-убийцей. А вместе с тем... он почему-то... сравнивал.

Шоссе перед ним раздваивалось. Налево — Берлин и Ридерс Милл, направо — Тримбулл и Конкорд. Джонни повернул направо.

Тебя ведь не убудет оттого, что ты пожмешь ему руку?

Пожалуй, нет. Еще один политик в его коллекции. Кто собирает марки, кто монеты, а он, Джонни Смит, коллекционирует рукопожатия, и кроме того —

и, кроме того, сознайся: ты давно искал в колоде темную карту.

Эта мысль так потрясла его, что он чуть было не притормозил у обочины. Он поймал свое отражение в зеркальце и не увидел того умиротворенного, всем и всеми довольного лица, которое представилось ему нынче утром. Такое лицо у него было во время пресс-конференции, а также когда он ползал в снегу на четвереньках посреди касл-рокского городского парка. Кожа побелела, под глазами залегли темные круги, морщины прочертились особенно резко.

Нет. Это неправда.

[1] Популярные комедийные актеры.

Увы, правда. Теперь, когда сокровенное вышло наружу, незачем играть с самим собой в прятки. За первые двадцать три года своей жизни он пожал руку одному-единственному политику; это случилось в 1966 году, когда Эд Маски выступал у них в школе. За последние же семь месяцев он пожал руку доброй дюжине великих мира сего. Разве у него при этом всякий раз не мелькало в голове: *что он за человек? Что-то он мне сейчас поведает?*

Разве не искал он все это время политический аналог Фрэнка Додда?

Да. Именно так.

Но все дело в том, что ни от кого, за исключением Картера, не было настоящей отдачи, да и то, что он узнал о Картере, не особенно его встревожило. Рукопожатие Картера не породило в нем того гнетущего чувства, какое он испытал, увидев Грега Стилсона на экране телевизора. Ему показалось, что игру в смеющегося тигра — под шкурой зверя человек — Стилсон вывернул наизнанку.

Здесь под шкурой человека скрывался зверь.

Как он ехал дальше, Джонни не помнил; во всяком случае, завтракал он не на открытом стадионе в Фенвее, а в тримбуллском парке. Он приехал туда вскоре после полудня и прочел на доске объявлений, что встреча с кандидатом начнется в три часа.

Он отправился в парк, надеясь побыть в одиночестве, но там уже кто-то расстилал на траве одеяла, другие перебрасывались летающей тарелочкой, третьи раскладывали провизию.

В отдалении несколько человек сооружали помост. Двое обтягивали невысокие перила звездно-полосатой материей. Еще один, стоя на стремянке, цеплял за круглый козырек разноцветные бумажные ленты. Остальные устанавливали звуковую аппаратуру, и, как Джонни догадался во время выпуска новостей Си-би-эс, это была не какая-нибудь дешевка за четыреста долларов. Динамики были фирмы «Алтек-Лансинг» и расставлялись с таким расчетом, чтобы звук шел со всех сторон.

Техническая служба (хотя эти парни скорее походили на бродяг, подготавливающих площадку перед концертом группы «Иглз» или «Гейлз») действовала умело и деловито. Все было отработано до автоматизма, и это как-то не вязалось со Стилсоном, изображавшим из себя симпатягу дикаря с Борнео.

— Проверка,— сказал в микрофоны человек на подмостках.— Раз-два-три... раз-два-три...— Один динамик громко зафонил, и проверявший сделал знак, чтобы динамик отнесли подальше.

Толпа состояла в основном из молодежи от пятнадцати до тридцати пяти. Никто не скучал. Малыши ковыляли, сжимая в ручонках шоколадных принцесс и собачек. Женщины болтали и заливались смехом. Мужчины пили пиво из пластиковых стаканов. Несколько собак путалось под ногами, хватая все, что плохо лежит. Солнце благосклонно дарило всех своими лучами.

Так не готовятся к встрече с кандидатом, подумал Джонни. *Скорее так ведут себя перед дружеской пирушкой... или вечеринкой, где можно себе позволить всякие вольности.*

— Проверка... раз-два-три... раз-два-три...

Тут Джонни увидел, что они привязывают огромные динамики к деревьям. Не прибивают, а привязывают. Стилсон — ярый защитник окружающей среды, и кто-то предупредил техническую службу, чтобы, не дай бог, не повредить ни одно деревце. Он понял: все продумано до мельчайших деталей. Здесь ничего не пускают на самотек.

Два желтых школьных автобуса обогнули слева небольшую и уже забитую до отказа стоянку. Двери открылись, и из автобуса, оживленно беседуя друг с другом, начали выходить нарядно одетые мужчины и женщины. Они резко отличались от остальной публики —

мужчины были кто в костюмах, кто в спортивного покроя пиджаках, женщины в шуршащих юбках и блузках либо в элегантных платьях. Они озирались восторженно и изумленно, как дети, и Джонни не сумел сдержать улыбку. Приехал Нго со своим классом.

Джонни направился к автобусу. Нго стоял рядом с высоким мужчиной в диагоналевом костюме и двумя китаянками.

— Привет, Нго,— сказал Джонни.

— Джонни! — просиял Нго.— Вот так встреча! Сегодня великий день в Нью-Гэмпшире, правда?

— Должно быть, так,— ответил Джонни.

Нго представил своих спутников. Мужчина в диагоналевом костюме оказался поляком, женщины — сестрами с Тайваня. Одна из них сообщила Джонни, что мечтает пожать руку кандидату после встречи, и, конфузясь, достала блокнот для автографов, лежавший у нее в сумочке.

— Я так счастлива, что я в Америке,— сказала она.— Но как-то здесь странно, правда, мистер Смит?

Джонни тоже многое находил странным, поэтому он не мог не согласиться.

Два преподавателя, приехавших с классом, начали собирать группу.

— Мы еще увидимся, Джонни,— сказал Нго.— Мне нельзя сейчас заторчать здесь.

— Торчать,— поправил Джонни.

— А, спасибо.

— Надеюсь, Нго, вы получите удовольствие.

— Обязательно получу.— В глазах Нго вспыхнул какой-то огонек.— Я уверен, это будет здорово весело.

Группа, человек сорок, ушла в южную часть парка, чтобы перекусить на траве. Джонни вернулся на свое место и через силу съел бутерброд. Он отдавал одновременно бумагой и канцелярским клеем.

Джонни чувствовал, как напряжение во всем теле нарастает.

К половине третьего парк был набит битком; люди стояли плотно, почти плечом к плечу. Городская полиция, усиленная нарядом полиции штата, перекрыла улицы, ведущие к парку. Это все больше напоминало атмосферу концерта рок-музыки. Из динамиков доносились мелодии в стиле «кантри», быстрые и живые. Пухлые белые облачка скользили в невинно-голубом небе.

Вдруг люди начали привставать на цыпочки и вытягивать шеи. По толпе словно прошла рябь. Джонни тоже привстал: неужели Стилсон приехал раньше срока? Он услышал ровное гуденье мотоциклов, звук разрастался по мере их приближения. Джонни ослепили солнечные блики, отбрасываемые хромированными поверхностями, и вот уже около десятка мотоциклов показалось из-за поворота, где стояли школьные автобусы. Машины среди них не было. Джонни догадался, что это отряд передовой охраны.

Ощущение беспокойства усилилось. Сами мотоциклисты в застиранных, выцветших джинсах и белых рубашках выглядели достаточно скромно, но вот их мотоциклы, в основном «харлеи» и «БСА», были переделаны до неузнаваемости: изогнутые рули, ребристые хромированные накладки, необычные обтекатели.

Мотоциклисты заглушили моторы, слезли с седел и гуськом двинулись к помосту. Один из них обернулся и не спеша обвел взглядом огромное скопление народа; даже с такого расстояния Джонни рассмотрел, что глаза у него блестящие, зеленые, цвета бутылочного стекла. Казалось, он подсчитывает число собравшихся. Он глянул влево, где стояли четверо или пятеро полицейских, прислонившись к цепи, служившей заграждением перед местным стадионщиком, и помахал им рукой. Один из полицейских отвернулся и сплюнул. Это

было похоже на какой-то ритуал, и Джонни почувствовал новый прилив беспокойства. Зеленоглазый пошел вразвалочку к помосту.

Помимо беспокойства, заглушавшего в нем все прочие чувства, Джонни начал испытывать еще и ужас, смешанный с нездоровым возбуждением. Он словно в забытьи перенесся в мир тех сюрреалистических полотен, где паровозы выезжают из каминов, а циферблаты часов свисают, как тряпки, с веток деревьев. Мотоциклисты смахивали на массовку из американского боевика, которая дружно бросила клич: «Ради Джина долой волос длинный» [1]. Из-под чистеньких вытертых джинсов выглядывали тупоносые грубые ботинки с хромированными цепочками. Металл зловеще поблескивал на солнце. Их лица выражали примерно одно и то же: показное добродушие, рассчитанное на публику. Но не скрывалось ли за ним презрение к этим молоденьким ткачихам, к слушателям подготовительных курсов Нью-Гэмпширского университета в Дареме, к фабричным рабочим, встретившим их аплодисментами. У каждого было по два политических значка. На одном — желтая каска строителя-монтажника с зеленой экологической эмблемой спереди. На другом — надпись: СТИЛСОН ПОЙМАЛ ИХ В ДВОЙНОЙ НЕЛСОН [2].

Из правого заднего кармана у каждого торчал обрубок бильярдного кия.

Джонни повернулся к молодому человеку, стоявшему рядом вместе с женой и ребенком.

— Что, эти штуки разрешены? — спросил он.

— Всем до лампочки,— засмеялся тот.— Все равно они скорее для красоты.— И, не переставая аплодировать, выкрикнул: — Ну-ка, Грег, покажи им!

Почетная охрана из мотоциклистов образовала цепь вокруг подмостков и стала как по команде «вольно».

Аплодисменты пошли на убыль, зато разговоры оживились. Толпа получила остренькую закуску перед главным блюдом, и у нее разыгрался аппетит.

Чернорубашечники, подумал Джонни, садясь. *Чернорубашечники, вот кто они такие.*

Ну и что? Может, оно и к лучшему. Американцы всегда недолюбливали фашистов — даже такие твердолобые правые, как Рональд Рейган, и те относились к ним с прохладцей; эта традиция установилась помимо жарких призывов «новых левых» или песен Джоан Баэз. Восемь лет назад фашистская тактика чикагской полиции перечеркнула все надежды Хьюберта Хамфри. В конце концов, думал Джонни, не столь уж важно, как выглядят эти молодцы, достаточно того, что они на службе у человека, баллотирующегося в палату представителей; значит, Стилсон вот-вот свернет себе шею. Да, забавно, не будь это так дико.

А в общем, зря он сюда приехал.

Незадолго до трех воздух разорвало буханье большого барабана, которое ноги ощутили раньше, чем уши. Постепенно присоединились и другие инструменты, и вот уже духовой оркестр грянул марш Сузы [3]. Почему бы в хороший летний день заштатному городку не пустить пыль в глаза по случаю предстоящих выборов?

Люди стали опять приподниматься на цыпочках и вытягивать шеи в ту сторону, откуда доносилась музыка. Вскоре показался оркестр — впереди девочка-тамбурмажор в короткой юбке, высоко вскидывающая ножки в белых шевровых башмаках с помпонами, за

[1] Лозунг хиппи во время президентской кампании 1968 года, когда одним из кандидатов от демократической партии был Юджин Маккарти.

[2] Нелсон (нельсон)— захват в спортивной борьбе.

[3] Джон Филип Суза (1854—1932)— американский композитор, прозванный «королем маршей».

ней две мажоретки, за ними два прыщавых подростка несли с мрачным видом полотнище, которое возвещало, что это ОРКЕСТР ТРИМБУЛЛСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ, а то еще, не дай бог, кто-нибудь не знает. Далее шествовали сами оркестранты, обливающиеся потом в своих ослепительно белоснежных мундирчиках с медными пуговицами.

Толпа расступилась, давая им дорогу, и провожала аплодисментами. За оркестром ехал белый «форд»-фургон, на крыше которого стоял, широко расставив ноги, кандидат собственной персоной — загорелый, улыбающийся во весь рот, в сдвинутой на затылок каске. Он поднес ко рту мощный рупор и проорал, не щадя своей луженой глотки: *САЛЮТ, РЕБЯТА!*

— Салют, Грег! — моментально отозвалась толпа.

Грег, подумал Джонни, начиная паниковать. *Мы с ним запросто.*

Стилсон соскочил на землю с видимой легкостью. Одет он был так же, как тогда в теленовостях: джинсы и рубашка цвета хаки. По пути к помосту он уже обрабатывал толпу — улыбался, кивал, пожимал руки, не забывая и тех, кто тянулся к нему через головы стоявших в первых рядах. Толпу бросало, единым порывом заносило в его сторону, и Джонни почувствовал, что его тоже заносит.

Я не прикоснусь к нему. Ни за что.

Но вдруг толпа перед ним слегка раздалась, и, невольно шагнув в образовавшийся просвет, он очутился в переднем ряду возле мальчика из тримбуллского оркестра; при желании он мог протянуть руку и постучать костяшками пальцев по раструбу тубы.

Стилсон быстро проскочил сквозь ряды оркестрантов, чтобы пожать руки людям с противоположной стороны, и теперь Джонни видел только его мелькающую желтую каску. Он почувствовал облегчение. Вот и хорошо. От греха подальше. Подобно фарисею из известной притчи, он обойдет стороной. И прекрасно. И замечательно. А когда Стилсон поднимется на помост, Джонни соберет свои пожитки и потихоньку ускользнет. Посмотрел и будет.

Мотоциклисты просочились сквозь толпу и стали по обе стороны прохода, не давая толпе поглотить кандидата. Палки по-прежнему были в задних карманах, однако лица их владельцев стали жесткими, настороженными. Джонни не знал, почему они так насторожились,— глядишь, кто-нибудь швырнет в лицо кандидату глазированное пирожное,— но во всяком случае впервые их лица выразили живой интерес.

И тут что-то в самом деле произошло — Джонни так и не понял до конца, что именно. Женская рука потянулась к мелькающей в толпе желтой каске — по-видимому, просто чтобы коснуться ее «на счастье»,— и в ту же секунду один из стилсоновских парней рванулся туда. Послышался вскрик, и женская рука исчезла. Все это случилось в отдалении, разглядеть было трудно из-за оркестра.

Шум стоял неслыханный, и Джонни вновь вспомнил концерты рок-музыки, на которых ему доводилось бывать. То же самое творилось бы с толпой, если бы Пол Маккартни или Элвис Пресли начали пожимать всем руки.

Они выкрикивали, они скандировали его имя: ГРЕГ... ГРЕГ... ГРЕГ....

Молодой человек, стоявший еще недавно со своей семьей бок о бок с Джонни, посадил сынишку к себе на плечи, чтобы тому было лучше видно. Юноша с обожженной щекой размахивал плакатом с надписью: МОЖНО И КОНЦЫ ОТДАТЬ, ЛИШЬ БЫ ГРЕГА УВИДАТЬ! Сказочно красивая девица лет восемнадцати потрясала ломтем арбуза, и розовый сок стекал по ее загорелой руке. Это был массовый психоз. По толпе будто пропустили ток высокого напряжения.

Грег Стилсон снова продрался сквозь оркестр — туда, где стоял Джонни. Он двигался не останавливаясь, но все же успел на ходу похлопать по спине мальчика с тубой.

Позднее Джонни снова и снова прокручивал этот эпизод в голове и пытался уверить себя, что у него не было ни времени, ни возможности нырнуть обратно в толпу, что толпа практически бросила его в объятия Стилсона. Он пытался уверить себя, что Стилсон чуть не насильно схватил его за руку. Все ложь. У него было время, потому что толстуха в идиотских желтых брючках-дудочках кинулась Стилсону на шею и крепко поцеловала, а тот тоже чмокнул ее и засмеялся: «Ну, уж тебя-то, малышка, я надолго запомню». Толстуха визжала от восторга.

Знакомый холодок, предвестник транса, пробежал у Джонни по всему телу. И одно желание: *узнать*, все остальное неважно. Он улыбнулся, но это была не его улыбка. Он протянул руку, Стилсон схватил ее обеими руками и начал трясти.

— Надеюсь, дружище, вы поддержите нас на...

Вдруг Стилсон осекся. Точно так же, как Эйлин Мэгоун. Как доктор Джеймс Браун. Как Роджер Дюссо. Зрачки у него расширились, и в них появился — страх? Нет. В зрачках Стилсона был *ужас*.

Это тянулось бесконечно. Реальное время уступило место другому, застывшему, как камея, а они все смотрели и смотрели друг другу в глаза. Джонни как бы опять шел по коридору с хромированными стенами, только на этот раз с ним был Стилсон, и все у них было... было

(*общим*).

Впервые в жизни такая острота. Навалилось разом, налетело с воем, как громадный черный товарняк, несущийся по узкому тоннелю,— мчащаяся с бешеной скоростью махина с пылающим фонарем, и тот фонарь был *всепониманием*, и Джонни пронзило его светом, как жука булавкой. Бежать было некуда, его прижало к земле этим абсолютным знанием истины и расплющило в тонкий лист бумаги, а над головой все грохотал ночной поезд.

Ему хотелось закричать, но не было ни сил, ни голоса.

Отныне Джонни будет преследовать образ

(*тут стала наползать голубоватая дымка*)

Грега Стилсона, принимающего присягу. Приводит его к присяге старый человек с испуганными, затравленными глазами... полевой мыши, попавшей в когти опытного, изуродованного в сражениях

(*тигр*)

деревенского кота. Одна рука Стилсона лежит на Библии, другая поднята вверх. Это происходит много лет спустя, потому что волос у Стилсона существенно поубавилось. Старик что-то говорит, Стилсон за ним повторяет. Он обещает

(голубая дымка сгущается, заволакивая все вокруг, скрадывая детали одну за другой, благословенная голубая дымка, и лицо Стилсона уходит за голубое... и желтое... желтое, как тигриные полосы)

все осуществить, и «да поможет ему бог». Лицо его торжественно-спокойно, даже сумрачно, но горячая волна радости распирает его изнутри, стучится в виски. Еще бы, ведь человек с испуганными глазами полевой мыши не кто иной, как председатель Верховного суда Соединенных Штатов Америки, и

(*о боже дымка дымка голубая дымка желтые полосы*)

вот уже все постепенно исчезает в голубой дымке — только это никакая не дымка, а что-то осязаемое. Это

(*сокрыто в будущем, в мертвой зоне*)

нечто из будущего. Его? Стилсона? Джонни не знал.

Было ощущение полета — сквозь голубизну — над совершенно опустошенной землей, неясно различимой. И в этот пейзаж врывался бесплотный голос Грега Стилсона — голос не то уцененного Создате-

ля, не то ожившего покойника из комической оперы: *«Я ИХ ВСЕХ ПРОТАРАНЮ В ЭТОЙ КАСКЕ! Я ПОЙДУ НА НИХ ВОТ ТАК!»*

— Тигр,— глухо пробормотал Джонни.— Тигр там, за голубым. За желтым.

Затем картины, образы, слова поглотил нарастающий, убаюкивающий рокот забытья. Джонни почудилось, что он вдыхает сладковатый едкий запах, как от горящих автомобильных покрышек. На какой-то миг внутреннее око, казалось, еще больше открылось; голубое и желтое, все собой заслонившее, начало точно бы застывать... и откуда-то изнутри донесся женский крик, далекий и исступленный: *«Отдай мне его, негодяй!»*.

Сколько же мы так стояли, спрашивал себя впоследствии Джонни. Кажется, секунд пять. Потом Стилсон начал высвобождать руку, вырывать ее, таращась на Джонни, при этом челюсть у него отвисла и лицо побледнело, несмотря на сильный загар, приобретенный за время летней кампании. Джонни видел во рту у кандидата пломбы в коренных зубах.

Взгляд Стилсона выражал нескрываемый ужас.

Ну! хотелось выкрикнуть Джонни. *Ну же! Развались на куски! Сгинь! Рухни! Взорвись! Рассыпься! Сделай миру такое одолжение!*

Двое молодчиков Стилсона, выхватив из карманов обрубки бильярдных киев, рванулись к ним, и Джонни оцепенел: сейчас они ударят его, ударят по голове своими штуковинами, и все поверят, что его голова — это всего лишь восьмой шар, который они с треском вгонят в боковую лузу, вгонят обратно во мрак комы, и на этот раз он уж из нее не выберется, и, значит, никогда и никому не расскажет о том, что увидел, и не сумеет ничего изменить.

Полное ощущение краха — господи, это же был *конец всего!*

Он попытался шагнуть назад. Люди расступались, снова напирали, кричали от испуга — или от возбуждения? К Стилсону понемногу возвращалась уверенность, он осаживал телохранителей, умерял знаками их пыл.

Джонни не видел, что произошло дальше. Он зашатался, голова его бессильно упала, а веки начали смыкаться, как после недельного запоя. Затем убаюкивающий, нарастающий рокот забытья стал накрывать его, и Джонни с готовностью отдался этому забытью. Он потерял сознание.

— Нет,— сказал шеф тримбуллской полиции Бейсс,— вы ни в чем не обвиняетесь. Вы не под арестом. И не обязаны отвечать на вопросы. Но мы были бы очень признательны, если бы вы ответили.

— *Очень* признательны,— эхом отозвался мужчина в строгом костюме. Его звали Эдгар Ланкте. Он служил в бостонском отделении Федерального бюро расследований. Джонни Смит производил на него впечатление тяжелобольного. Над левой бровью у Джонни была припухлость, которая краснела на глазах. Падая, Джонни сильно ударился — то ли о туфлю кого-то из оркестрантов, то ли о тупоносый ботинок мотоциклиста. Мысленно Ланкте склонялся ко второму. Не исключал он также и того, что в момент удара ботинок был на встречном движении.

Смит сидел белый как мел; он принял от Бейсса бумажный стаканчик с водой и трясущимися руками поднес его ко рту. Одно веко подергивалось. Ни дать ни взять законченный убийца, хотя самым смертоносным оружием у него в машине были кусачки. И все же Ланкте отметит это про себя — профессия есть профессия.

— Что я могу вам сказать?— спросил Джонни. Он очнулся на койке в незапертой камере. Голова раскалывалась. Сейчас боль начинала отпускать, оставляя ощущение странной пустоты. Будто из головы все вынули, а пустоту заполнили ватой. В ушах звучала какая-

то высокая нота — не звон, скорее монотонное жужжание. Девять часов вечера. Стилсон со своей свитой давно покинул город. Все сосиски съедены.

— Можете рассказать, что там у вас произошло,— сказал Бейсс.

— Было жарко. Наверное, я перевозбудился и упал в обморок.

— Это связано с какой-нибудь болезнью? — как бы между прочим спросил Ланкте.

Джонни посмотрел ему прямо в глаза.

— Только не надо играть со мной в прятки, мистер Ланкте. Если вы знаете, кто я, так и скажите.

— Знаю,— произнес Ланкте,— говорят, вы экстрасенс.

— Тут и не экстрасенс догадался бы, что агент ФБР играет в прятки,— сказал Джонни.

— Вы житель штата Мэн, Джонни. Там вы родились и выросли. Что житель Мэна делает в Нью-Гэмпшире?

— Преподает.

— Сыну Чатсворта?

— Повторяю: если знаете — зачем спрашиваете? Или вы подозреваете меня в чем-то?

— Богатая семья.— Ланкте закурил.

— Да, богатая.

— Вы что же, Джонни, поклонник Стилсона? — спросил Бейсс. Джонни не любил, когда незнакомые люди сразу обращались к нему по имени. Это действовало ему на нервы.

— А вы? — спросил он.

Бейсс издал губами непристойный звук.

— Лет пять назад у нас в Тримбулле устроили на целый день концерт фолк-рок музыки. Место предоставил Хейк Джеймисон. Отцы города поначалу колебались, но все же пошли на это: должны ведь быть у молодежи какие-то развлечения. Мы думали, на выгоне у Хейка соберется сотни две ребят. А пришло тысяча шестьсот человек, и все курили «травку», пили прямо из горлышка и вытворяли бог знает что. Отцы города не на шутку разозлились и заявили, что впредь они подобного не допустят. Тут наши детишки надули губки и спрашивают: «А что мы плохого сделали? Разве кого-нибудь избили?». Другими словами — валяйте, делайте что угодно, лишь бы без драки. Стилсон, по-моему, из этой же компании. Помнится, он еще...

— Джонни, у вас нет зуба на Стилсона? — перебил его Ланкте.— Между вами ничего не произошло?— Он отечески улыбнулся, как бы приглашая облегчить душу чистосердечным признанием.

— Полтора месяца назад я знать не знал, кто он такой.

— Ясно, но это не ответ на мой вопрос.

Джонни помолчал.

— Стилсон вызывает у меня тревогу,— произнес он наконец.

— Это тоже не ответ.

— Я так не считаю.

— А мы надеялись, что вы захотите нам помочь,— огорчился Ланкте.

Джонни перевел взгляд на Бейсса.

— Скажите, мистер Бейсс, у вас все, кто падает в обморок на встрече с кандидатом, проходят через руки ФБР?

Бейсс замялся:

— Ну... почему. Нет, конечно.

— Перед тем как отключиться, вы пожимали руку Стилсону,— сказал Ланкте.— Вид у вас при этом был болезненный. И Стилсон побелел как полотно. Вы очень везучий молодой человек, Джонни. Его друзья-приятели могли сделать из вашего черепа избирательную урну. Они уже решили, что вы против него что-то задумали.

Джонни смотрел на Ланкте с возрастающим изумлением. Он поглядел на Бейсса, затем снова на агента ФБР.

— *Вы там были,*— сказал он.— Бейсс не вызывал вас по телефону. Вы там были. На встрече.

Ланкте потушил сигарету.

— Да. Был.

— Но почему ФБР интересуется Стилсоном?— вырвалось у Джонни.

— Давайте поговорим о вас, Джонни. Каково ваше...

— Нет уж, давайте поговорим о Стилсоне. Поговорим о его друзьях-приятелях, как вы их называете. Что, закон разрешает им разгуливать с обрубками бильярдных киев?

— Да,— сказал Бейсс. Ланкте предостерегающе посмотрел на него, но Бейсс либо не заметил его взгляда, либо сделал вид.— Кии, бейсбольные биты, клюшки для гольфа. Все это разрешено законом.

— Я слышал, эти друзья-приятели раньше были железными всадниками. Членами моторизованных банд.

— Они действительно входили в клубы, кто в нью-джерсийский, кто в нью-йоркский, тут вы...

— Послушайте, Бейсс,— перебил его Ланкте,— сейчас не время...

— Не вижу ничего страшного в том, что он узнает правду,— сказал Бейсс.— Да, это отребье, гниль, мусор. Кое-кто из них ошивался лет пять назад в Хэмптоне, когда там творились всякие безобразия. Некоторые из них были связаны с мотоклубом «Чертова дюжина», закрытым в семьдесят втором году. Правая рука Стилсона, некий Санни Эллиман, в свое время был президентом «Чертовой дюжины». Его раз пять арестовывали, но так ни разу и не осудили.

— Тут вы ошибаетесь, шеф,— заметил Ланкте, закуривая новую сигарету.— В семьдесят третьем году в штате Вашингтон его вызвали в суд за нарушение правил уличного движения — левый поворот в неположенном месте. Он не стал обжаловать приговор и уплатил двадцать пять долларов штрафа.

Джонни встал и медленно пересек комнату, чтобы налить себе еще воды. Ланкте не отрывал от него глаз.

— Так, значит, вы просто потеряли сознание,— сказал Ланкте.

— Нет,— сказал Джонни, не оборачиваясь.— Я собирался прикончить его из базуки. Но в решающий момент в цепи произошло замыкание.

Ланкте вздохнул.

— Вы можете уйти в любую минуту,— сказал Бейсс.

— Благодарю.

— Но мой вам совет — и мистер Ланкте скажет вам то же самое,— держитесь-ка вы подальше от Стилсона и его сборищ. Если, конечно, хотите остаться целым и невредимым. С теми, кто не нравится Грегу Стилсону, вечно что-то случается...

— Вот как? — сказал Джонни и отпил воды.

— Вы превышаете свои полномочия, Бейсс,— сказал Ланкте, буравя Бейсса глазами.

— Ладно, молчу,— примирительно отозвался тот.

— На таких встречах действительно бывали несчастные случаи,— сказал Ланкте.— В Риджуэе избили молоденькую беременную женщину, да так, что у нее случился выкидыш. Это произошло сразу после выступления Стилсона, отснятого Си-би-эс. Женщина не запомнила лица нападавшего, но у нас есть основания предполагать, что это был кто-то из стилсоновских мотоциклистов. Месяц назад проломили голову четырнадцатилетнему парнишке. У него был пластмассовый водяной пистолетик. Парнишка тоже не мог опознать нападавшего. Водяной пистолет наводит на мысль, что это просто охрана перестаралась.

Какой, однако, невинный оборот речи, подумал Джонни.

— И вы не нашли ни одного свидетеля?

— Ни одного, кто бы пожелал говорить.— Ланкте мрачно улыбнулся и стряхнул пепел.— Ведь он любимец публики.

Джонни подумал о молодом человеке, который посадил к себе на плечи сына, чтобы тому было лучше видно Грега Стилсона. *Всем до лампочки. Все равно они скорее для красоты.*

— Поэтому он завел себе любимца в ФБР.

— Ну что вам ответить? — Ланкте пожал плечами и обезоруживающе улыбнулся.— В общем, не думайте, Джонни, что я на этом что-то имею. Иногда мне становится не по себе. Этот парень прямотаки излучает магнетические волны. Ткни он в меня пальцем с трибуны и скажи, кто я такой, меня бы вздернули на ближайшем фонаре.

Джонни вспомнил сегодняшнюю толпу и юную красавицу, неистово размахивавшую ломтем арбуза.

— Вероятно, вы правы,— сказал он.

— Поэтому, если вам что-нибудь известно...— Ланкте подался вперед. В его обезоруживающей улыбке появилось что-то хищное.— А может, вы его насквозь просветили, а? Может, оттого и брякнулись?

— Может быть,— сказал Джонни с каменным лицом.

— Ну и?..

У Джонни мелькнула безумная мысль выложить все как есть. Но он тут же раздумал.

— Я видел его по телевизору. День у меня сегодня относительно свободный, вот и решил: дай, думаю, прокачусь, посмотрю на него. Полагаю, я не единственный приезжий сегодня.

— Уж это точно,— вскинулся Бейсс.

— И все? — спросил Ланкте.

— Все,— сказал Джонни и, поколебавшись, добавил: — Ну, разве что... я думаю, он победит на выборах.

— Никто и не сомневается,— сказал Ланкте.— Если только мы не раздобудем чего-нибудь компрометирующего. А пока я полностью согласен с Бейссом. Держитесь от Стилсона подальше.

— За меня не беспокойтесь.— Джонни скомкал бумажный стаканчик и выбросил его.— Приятно с вами беседовать, джентльмены, но мне еще ехать в Дарем.

— Вы не собираетесь возвращаться в Мэн, Джонни? — как бы мимоходом спросил Ланкте.

— Не знаю.— Он переводил взгляд с поджарого, лощеного Ланкте, выбивавшего новую сигарету о циферблат часов, на Бейсса, крупного, усталого человека с лицом таксы.— Как по-вашему, он попытается пойти дальше? Если попадет в палату представителей?

— Одному богу известно,— изрек Бейсс, возводя очи горé.

— Такие приходят и уходят,— сказал Ланкте. Глаза его, темно-карие до черноты, безотрывно изучали Джонни.— Они как какой-нибудь редкий радиоактивный элемент, который моментально распадается. У людей вроде Стилсона нет твердой политической платформы, их временные коалиции быстро разваливаются. Видели сегодня толпу? Студенты и ткачихи превозносят до небес одного и того же человека! Это не политика, это мода, что-то вроде повального увлечения хулахупами, или енотовыми шапками, или париками «а-ля битлз». Он получит место в палате представителей и будет снимать пенки до семьдесят восьмого года. На этом все кончится, помяните мое слово.

Но Джонни сомневался.

На следующий день лоб у Джонни расцветился слева всеми цветами радуги. Темно-пурпурный — почти черный — над бровью переходил в красный, а на виске — отвратительное ярко-желтое пятно.

Веко припухло, придав физиономии зверское выражение, точно у какого-нибудь подмигивающего фигляра в пошлом ревю.

Он двадцать раз с головой окунулся в бассейн и, тяжело дыша, откинулся в шезлонге. Чувствовал он себя хуже некуда. Минувшей ночью он спал меньше четырех часов, да и эти четыре часа его одолевали кошмары.

— Привет, Джонни... Как поживаете?

Он обернулся. Это был Нго, в рабочем комбинезоне и рукавицах, на лице — вежливая улыбка. За его спиной стояла красная тележка с саженцами карликовых сосен, их корни были укутаны мешковиной. Вспомнив, как Нго называл сосенки, он сказал:

— Опять, я вижу, сорняки сажаете.

— Да, приходится.— Нго сморщил нос.— Мистер Чатсворт их любит. Я ему говорю: это один смех, а не деревья. Таких деревьев в Новой Англии видано-невиданно. Тогда он делает так...— Тут лицо Нго сморщилось, и он стал похож на карикатурного монстрика из какой-нибудь передачи на сон грядущий.— И отвечает: «Ваше дело сажать».

Джонни рассмеялся. В этом весь Чатсворт. Он непременно должен настоять на своем.

— Ну, как вам понравилась встреча с кандидатом?

— Очень поучительно,— сказал Нго, вежливо улыбаясь. Взгляд его ничего не выражал. Может, он даже и не заметил, как лучезарно светится лоб у Джонни.— Да, очень поучительно, нам всем очень нравится.

— Прекрасно.

— А как вам?

— Не очень,— сказал Джонни и осторожно прикоснулся пальцами к синяку — до сих пор болело.

— Да, плохо, надо было приложить сырое мясо,— сказал Нго со своей неизменной улыбкой.

— И как он вам, Нго? Рут Чен и ее сестре? И всем остальным?

— На обратном пути мы не говорили об этом, так просили преподаватели. Они сказали, чтобы мы обдумали все, что видели. Во вторник мы будем писать в классе, я так думаю. Да, я очень думаю, что мы будем писать классное сочинение.

— И что же вы напишете в своем сочинении?

Нго поднял глаза к голубому летнему небу. Он и небо улыбнулись друг другу. Нго уже начал седеть. Джонни не знал о нем практически ничего; не знал, была ли у него семья — жена, дети; не знал, когда он покинул страну и откуда он — из Сайгона или из сельской местности. Он понятия не имел о политических убеждениях Нго.

— Мы говорили об игре в «Смеющегося тигра»,— сказал Нго.— Помните?

— Да,— сказал Джонни.

— Я расскажу вам про настоящего тигра. Когда я был мальчиком, на нашу деревню стал нападать тигр. Это был le manger d'homme — людоед, он ел мальчиков, и девочек, и старых женщин, потому что была война и мужчин в деревне не осталось. Я говорю не про последнюю войну, а про вторую мировую. Ему понравилось человеческое мясо, этому тигру. Кто мог убить такого страшного зверя? В деревне самому молодому мужчине было шестьдесят лет, и у него была одна рука. А самому старшему мальчику, мне, только исполнилось семь. И вот однажды этого тигра нашли в яме, туда положили приманку — труп женщины. Ужасно, конечно, когда приманка — человек, созданный богом по своему подобию, но еще ужаснее ничего не делать, когда злой тигр уносит маленьких детей. Так я напишу в своем сочинении. А дальше я напишу, что злой тигр был еще живой, когда мы нашли его в яме. У него в боку торчал кол, но он был еще живой. Мы били его до смерти мотыгами и палками. Все — старики,

женщины, дети. Некоторые маленькие были так напуганы, что обмочились. Тигр свалился в яму, и мы били его до смерти мотыгами, потому что мужчины из нашей деревни ушли воевать с японцами. Я подумал, что ваш Стилсон похож на того злого тигра, он тоже любит человеческое мясо. Я думаю, для него надо вырыть яму и чтобы он в нее свалился. А если он останется жив, его надо бить до смерти.

Он стоял, освещенный ярким летним солнцем, и улыбался Джонни своей вежливой улыбкой.

— Вы правда так считаете? — спросил Джонни.

— Конечно,— ответил Нго. Он говорил спокойно, будто речь шла о совершеннейших пустяках.— Я не знаю, что мне скажет преподаватель, когда я отдам ему такое сочинение.— Он пожал плечами.— Может быть, он скажет: «Нго, вы еще не готовы к Американскому Пути». Но я напишу все, что думаю. А что *вы* думаете, Джонни?— Он посмотрел на его синяк и отвел взгляд.

— Я думаю, это опасный человек,— сказал Джонни.— Я... я знаю, что он опасен.

— Знаете? — переспросил Нго.— Да, вы, наверное, знаете. А вашим соотечественникам в Нью-Гэмпшире он кажется смешным клоуном. Для них он то же самое, что для многих сегодня этот черный — Иди Амин Дада. Но не для вас.

— Нет,— сказал Джонни.— И все же предлагать его убить...

— Политически,— улыбнулся Нго.— Я предлагаю убить его только политически.

— А если это невозможно?

Нго улыбнулся, вытянул указательный палец и резко согнул его.

— Паф,— тихо сказал он.— Паф, паф, паф.

— Нет,— сказал Джонни и сам удивился тому, как хрипло прозвучал его голос.— Это не выход. Ни при каких обстоятельствах.

— Разве? По-моему, у вас, американцев, это довольно частый выход.— Нго взялся за ручку красной тележки.— Мне пора сажать сорняки. Счастливо оставаться, Джонни.

Джонни провожал глазами этого маленького человека в защитном комбинезоне и мокасинах, тащившего полную тележку крохотных сосенок. Вот он и скрылся за углом дома.

Нет. Убивать — значит сеять зубы дракона. Я верю, что это так. Я свято верю в это.

Герберт Смит сочетался вторым браком с Чарлиной Маккензи в назначенный день и час — в полдень второго января 1977 года. Церемония происходила в конгрегационалистской церкви на Саутвест Бенд. Отец невесты, почти слепой восьмидесятилетний старик, передал ее жениху. Джонни, стоявший рядом с отцом, без заминки поднес в нужный момент обручальное кольцо. Вот он, радостный миг.

На бракосочетание приехала Сэйра Хэзлит с мужем и сыном, успевшим выйти из младенческого возраста. Сэйра была беременна и вся сияла — само воплощение счастья и осуществленных мечтаний. Джонни почувствовал укол жгучей ревности, его словно застигла врасплох газовая атака. Через несколько секунд все стало на свои места, и, едва церемония закончилась, он подошел к ним и заговорил.

Он впервые видел мужа Сэйры. Это был высокий видный мужчина с едва намеченными усиками и ранней сединой. Он с успехом прошел в сенат штата Мэн и сейчас рассуждал о том, какая ситуация сложилась после выборов и как непросто находить общий язык с губернатором из независимых, а Денни тянул его за штанину и просил пить: пи-и-ить, пап, пии-и-ить!

Сэйра говорила мало, но Джонни чувствовал на себе взгляд ее сияющих глаз; это его сковывало, хотя было по-своему приятно. Но и грустно, пожалуй.

Вино лилось рекой, и Джонни выпил четыре бокала — вдвое больше обычного; возможно, тому причиной была встреча с Сэйрой, которая приехала не одна, а может быть, просто, глядя на сияющую Чарлину, он до конца осознал, что Вера Смит ушла навсегда... Как бы то ни было, направляясь к Гектору Маркстоуну, отцу невесты, минут через пятнадцать после ухода Хэзлитов, он чувствовал приятный шум в голове.

Старик сидел в углу, возле порушенного свадебного пирога, сложив скрюченные артритом руки на набалдашнике трости. Одна дужка его темных очков была обмотана черной изоляционной лентой. Возле него стояли две пустые бутылки из-под пива и еще одна, недопитая. Он всмотрелся в лицо Джонни.

— Ты сын Герберта?

— Да, сэр.

Еще более пристальный взгляд. Затем Гектор Маркстоун сказал:

— Ты плохо выглядишь, мальчик.

— Это, наверно, оттого, что я допоздна работаю.

— Тебе надо попить что-нибудь тонизирующее. Чтобы прийти в норму.

— Вы участвовали в первой мировой войне? — спросил Джонни. К синему саржевому пиджаку старика были приколоты медали, в том числе французский Военный крест.

— А как же,— просветлел Маркстоун.— Служил под командованием Джека Першинга. Американский экспедиционный корпус. Семнадцатый-восемнадцатый год. Прошли огонь и воду. И по грязи топали, и дерьмо лопали. Белло Вуд[1], мой мальчик. Белло Вуд. Для многих сейчас это просто название из учебника истории. А я там был. Я видел, как там умирали. И по грязи топали, и дерьмо лопали, и кости свои разбрасывали по полю.

— Чарлина говорила, что ваш сын... ее брат...

— Бадди? Да, был бы сейчас тебе вроде дядюшки. Любили ли мы своего мальчика? Как не любить. При рождении ему дали имя Джо, но все его звали Бадди. Как получила мать Чарли ту телеграмму, так начала таять на глазах.

— Его убили на войне?

— Убили,— не сразу ответил старик.— Сент-Лу, сорок четвертый год. Не так уж далеко от Белло Вуд — по тамошним, конечно, понятиям. Угодил под нацистскую пулю.

— Я тут пишу статью,— сказал Джонни, еще больше хмелея при мысли о том, как ловко он направил разговор в интересующее его русло.— Надеюсь продать ее в «Атлантик» или «Харперс»...

— Ты писатель? — Стекла зеркальных очков блеснули; Джонни явно пробудил его любопытство.

— Начинающий,— сказал Джонни. Он уже сожалел о своей разговорчивости. *Да, я писатель. Пишу по ночам.*— В общем, статья будет о Гитлере.

— О Гитлере? Что о Гитлере?

— Видите ли... предположим... предположим, что вы сели в машину времени и вернулись в тридцать второй год. В Германию. И предположим, вы встречаете Гитлера. Вы убьете его или оставите в живых?

Темные очки старика приблизились к самому лицу Джонни. С Джонни сразу слетел весь хмель, и куда-то девались и разговорчивость и умные мысли. Все теперь зависело от того, что ему ответит этот старик!

— Ты не шутишь, сынок?

— Нет, не шучу.

[1] Лесистая местность на севере Франции.

Гектор Маркстоун снял одну руку с набалдашника трости, запустил в карман брюк и бесконечно долго там рылся. Наконец он вынул ее. В руке оказался складной нож с костяной рукоятью, отполировавшейся и пожелтевшей за много лет. Тут заработала другая рука, которой старик с величайшей осторожностью, отличающей артритиков, стал раскрывать нож. Лезвие коварно блеснуло в лучах яркого света. Этот нож проделал путь во Францию в 1917 году вместе с мальчишкой, вступившим в армию таких же мальчишек, которым не терпелось дать по рукам грязному бошу, коловшему штыком детей и насиловавшему монахинь, и показать этим французикам, как надо воевать. Тех мальчишек косили из пулеметов, их валила дизентерия и инфлюэнца, они наглотались горчичного газа и фосгена, они выходили из-под огня у Белло Вуд, оборванные и обезумевшие от страха, будто столкнулись нос к носу с самим дьяволом. И все это оказалось напрасным. Оказалось, что все надо начинать сначала.

Где-то играла музыка. Люди смеялись, танцевали. Где-то в отдалении гудела лампа дневного света. Джонни не мог глаз отвести от обнаженного лезвия, загипнотизированный игрой света на отточенном острие.

— Видишь? — тихо спросил Маркстоун.

— Да,— выдохнул Джонни.

— Я бы вонзил нож в этого убийцу, прямо в его черное и лживое сердце,— сказал Маркстоун.— Я воткнул бы нож по самую рукоять... а потом повернул бы, вот так.— Он медленно повернул руку с ножом, сначала по часовой, потом против часовой стрелки, на лице его появилась странная улыбка и стали видны гладкие, как у младенца, десны.— Но прежде,— сказал он,— я бы смазал лезвие крысиным ядом.

— Убил ли бы я Гитлера? — повторил Роджер Чатсворт; изо рта у него шел пар. Они с Джонни прогуливались вдвоем по заснеженному лесу за даремским домом. В лесу тишина. Начало марта, а тишина такая неподвижная, как в январе.

— Да, именно.

— Любопытный вопрос,— сказал Роджер.— Беспредметный, но любопытный. Нет, вряд ли. Я бы скорее вступил в его партию. Попытался бы что-нибудь изменить изнутри. Возможно, удалось бы исключить его или скомпрометировать. Конечно, если знать наперед, во что это выльется.

Джонни вспомнил обрубки бильярдных киев. Вспомнил ярко-зеленые глаза Санни Эллимана.

— Возможно также, что вас бы самого прикончили,— сказал он.— В тридцать третьем году эти парни не только распевали песни в пивнушках.

— Что ж, верно.— Он вопросительно посмотрел на Джонни.— А что бы сделали вы?

— Сам не знаю,— сказал Джонни.

Роджер переменил тему:

— Как ваш отец и его жена провели медовый месяц?

Джонни хмыкнул. Они отправились в Майами-Бич, а там началась забастовка служащих отелей.

— Чарлина сказала, что ей привычнее дома, где она сама стелет постель. А отец говорит, что он чувствует себя пижоном, демонстрируя загар в марте месяце. Но, по-моему, оба остались довольны.

— Они что, продали свои дома?

— Да, в один день. И в общем-то взяли неплохую цену. Если б не эти чертовы больничные счета, мы бы сейчас горя не знали.

— Джонни...

— Да?

— Нет, ничего. Пойдемте обратно. Угощу вас хорошим виски, не возражаете?

— Можно,— сказал Джонни.

Они читали «Джуда Незаметного», и Джонни поразился, как легко дается Чаку эта книга (разве что первые страниц сорок он преодолел с некоторым скрипом). Чак признался, что ночами забегает вперед и уже решил после «Джуда» взять еще какой-нибудь роман Харди. Впервые в жизни он получал от книги наслаждение и купался в нем, как невинный юноша в объятиях опытной женщины.

Сейчас раскрытая книжка лежала у него на коленях обложкой вверх. Они с Джонни снова сидели возле бассейна, но воду в бассейн еще не пустили; оба они сегодня были в пиджаках. По небу скользили тучки, бестолково пытаясь срастись в одно целое, чтобы пролиться дождем. В воздухе пахло чем-то пряным и загадочным; подступала весна. На календаре было 16 апреля.

— Это что, очередной вопрос с подвохом? — спросил Чак.

— Нет.

— А они меня схватят?

— О чем ты? — До Чака никто не задавал этого вопроса.

— Если я убью его. Они меня схватят? И подвесят на фонарном столбе? Чтобы я дрыгал в воздухе ножками.

— Не знаю,— сказал Джонни.— Но скорее всего они тебя схватят.

— И нельзя будет перенестись на машине времени в тот прекрасный мир? В славный семьдесят седьмой год?

— Боюсь, что нет.

— Ну и ладно. Я бы так и так убил его.

— Значит, убил бы?

— Ясное дело.— Чак ухмыльнулся.— Запасся бы цианистым калием, или зашил в воротник рубашки бритвенное лезвие, или еще что-нибудь такое. Чтоб не измывались, когда схватят. Но я бы это сделал. Иначе я бы с ума сходил, что все эти миллионы погибших по его милости будут преследовать меня до самой смерти.

— До самой смерти,— повторил Джонни каким-то больным голосом.

— Вы что, Джонни?

Джонни заставил себя улыбнуться.

— Все в порядке. Просто сердце провалилось куда-то на секунду.

Чак продолжал чтение «Джуда» под почти безоблачным небом.

Май.

И вновь запах сена, и вновь все заполоняют жимолость, пыль и розы. Весна гостит в Новой Англии недолго, одну неповторимую недельку, а там диск-жокеи поставят «золотые пластинки» ансамбля «Бич бойз», рев «хонды» огласит окрестности, и с шумом ввалится разгоряченное лето.

Как-то вечером в конце этой неповторимой недели Джонни сидел дома, всматриваясь в мягкий и глубокий весенний сумрак. Чак отбыл на школьный бал со своей новой подружкой, куда более развитой, чем ее предшественницы. Она *читает,* доверительно сообщил Чак Джонни,— это был разговор людей, знающих, что почем на белом свете.

Нго больше не жил в поместье. В конце марта он получил гражданство, в апреле предложил свои услуги в качестве портье в одном из отелей курортного местечка в Северной Каролине, три недели назад поехал туда на собеседование и сразу же был принят. Перед отъездом он зашел к Джонни.

— Мне кажется, вы зря так беспокоитесь из-за тигров, вы видите их там, где их нет,— сказал он.— У тигра полосы сливаются с зарослями

ми, так что его не разглядеть. Вот беспокойному человеку и начинают повсюду мерещиться тигры.

— Но ведь тигр есть,— возразил Джонни.

— Возможно,— согласился Нго.— Только он где-то прячется. А тем временем вы таете на глазах.

Джонни встал, подошел к холодильнику и, налив себе пепси, вышел со стаканом на веранду. Он сидел, потягивал пепси и думал о том, как повезло людям, что путешествие во времени невозможно. Оранжевый глаз луны зажегся над соснами, кровавая дорожка перечеркнула бассейн. Заквакали, забултыхались первые лягушки. Немного погодя Джонни зашел в дом и плеснул себе в пепси изрядную порцию рома. Потом вернулся на террасу, снова сел со стаканом в руке и стал смотреть, как луна, поднимаясь все выше, из оранжевой постепенно превращается в таинственную, серебряную.

23 июня 1977 года Чак прощался со школой. Джонни, надевший по этому случаю парадный костюм, сидел в душном зале вместе с Роджером и Шелли Чатсворт и смотрел, как ему, сорок третьему по счету, вручали аттестат. Шелли прослезилась.

А потом был банкет на лужайке перед домом Чатсвортов. День выдался жаркий и влажный. Грозовые тучи с багровым брюхом скапливались на западе; они медленно ползли вдоль горизонта и, судя по всему, не собирались приближаться. Чак, раскрасневшийся после трех коктейлей, подошел со своей подружкой Патти Стрэн к Джонни и показал ему подарок родителей по случаю окончания школы — часы «Пульсар» последней модели.

— Вообще-то я просил робота, но старики не потянули,— сказал Чак. Джонни засмеялся. Они еще немного поговорили, и тут Чак рубанул: — Я вам очень благодарен, Джонни. Если б не вы, я бы сегодня не получил аттестат.

— Не преувеличивай, дружище,— сказал Джонни. Его обеспокоили дрожащие нотки в голосе Чака.— Порода есть порода.

— Я ему то же самое все время внушаю,— сказала подружка Чака. Очки до поры скрывали ее холодную изысканную красоту.

— Допустим,— сказал Чак.— Допустим. И все же я знаю, кому обязан своим аттестатом. Огромное вам спасибо.— Он обнял Джонни и слегка притянул к себе.

И вдруг — вспышкой — резкая, яркая картина, заставившая Джонни отпрянуть и схватиться за голову, как будто Чак не обнял его, а ударил. Картина отпечаталась в мозгу, точно с клише.

— Нет,— сказал он.— *Нет выхода.* Не ходите туда, ни ты, ни она.

Чак опасливо попятился. Он почувствовал *что-то.* Что-то холодное, темное, непостижимое. Ему вдруг расхотелось прикасаться к Джонни; в эту минуту у него было одно желание — никогда больше не дотрагиваться до Джонни. Он словно узнал, что чувствуешь, когда тебя живьем заколачивают в гробу.

— Джонни,— сказал он, и голос его дрогнул.— Что... что это?..

Роджер, подходивший к ним с бокалами, в растерянности остановился. Джонни смотрел мимо Чака на далекие грозовые тучи. Глаза у него были отсутствующие и затуманенные.

— Вам туда нельзя. Там нет громоотводов,— сказал он.

— Джонни... — Чак в страхе повернулся к отцу.— По-моему, у него... обморок, что ли.

— Молния,— возвестил Джонни во весь голос. Люди стали оборачиваться. Он простирал к ним руки.— Пожар. Пробита изоляция. Двери заперты. Горящие люди... запах жареной свинины.

— *О чем это он?*— вскрикнула подружка Чака. Разговоры прекра-

тились. Все смотрели на Джонни, застыв с тарелками и бокалами в руках.

— Джон! Джонни! Что случилось? Очнитесь! — Роджер шагнул к нему и щелкнул пальцами перед невидящими глазами Джонни. На западе забурчал гром — словно где-то там великаны ссорятся за картами.— Что случилось?

Голос Джонни звучал отчетливо и громко, его слышали все пятьдесят с лишним человек — бизнесмены, учителя, их жены, выпускники даремской средней школы.

— Сегодня вечером Чак должен сидеть дома, не то он сгорит вместе с остальными. Будет пожар, страшный пожар. Не пускайте его в «Кэти». Ударит молния, и когда приедут пожарники, все уже сгорит дотла. Загорится проводка. У выходов найдут обугленные тела. Опознать их можно будет только по пломбам в зубах. Там... там...

Патти Стрэн закричала и уронила пластиковый стакан — кубики льда рассыпались по траве, сверкая, как огромные алмазы. Еще секунду она стояла, пошатываясь, а затем упала без чувств — в своем воздушном, пастельных тонов, вечернем платье,— и ее мать метнулась на помощь, бросив Джонни на ходу:

— Да что с вами? Что, я вас спрашиваю?

Чак, белый как мел, смотрел на Джонни расширенными зрачками.

Глаза у Джонни начали проясняться. Он озирался, встречая устремленные на него взгляды.

— Простите,— пробормотал он.

Мать Патти стояла на коленях, приподняв голову дочери, и легонько похлопывала ее по щекам. Девушка зашевелилась и застонала.

— Джонни... — прошептал Чак и, не дожидаясь ответа, бросился к своей подружке.

Безмолвие воцарилось на лужайке Чатсвортов. Все смотрели на Джонни. Опять с ним это случилось, и опять все глазеют на него. Как глазели сестры в больнице. И репортеры. Они смахивают на ворон, усевшихся в ряд на проводах. Стоят — в руках бокалы и тарелки с картофельным салатом — и таращатся так, будто у него расстегнуты брюки.

Ему захотелось убежать, забиться в угол. Подступила тошнота.

— Джонни,— Роджер обнял его,— пойдемте в дом. Нельзя вам здесь...

В отдалении снова громыхнуло.

— Что такое «Кэти»?— оборвал Джонни, пытаясь высвободиться из рук Роджера.— Это не частный дом, потому что там таблички с надписью «Выход». Что это? Где?

— Уведите же его отсюда! — закричала мать Патти.— Он опять ее напугает!

— Пошли, Джонни.

— Но...

— Пошли!

Он позволил увести себя. Их шаги по гравиевой дорожке к домику, где жил Джонни, отдавались особенно гулко. Больше ни звука. Они поравнялись с бассейном, и тут до них донесся гул приглушенных голосов.

— «Кэти» — где это? — снова спросил Джонни.

— Странно, что вы не знаете,— сказал Роджер.— Я думал, вы всё знаете. Бедняжка Патти Стрэн хлопнулась из-за вас в обморок.

— Не вижу. Это в мертвой зоне. Что это такое?

— Давайте войдем в дом.

— Да что вы со мной как с больным!

— Вы перенапряглись,— сказал Роджер. Он говорил с ним мягко, успокаивающе, как говорят с душевнобольными. От этого тона у Джонни пробежал холодок по спине, и начала наваливаться головная боль. Он попытался остановить ее напряжением воли. Они поднялись по лестнице в дом.

— Вам лучше? — спросил Роджер.

— «Кэти» — что это?

— Шикарный ресторан в Сомерсуэрте. Неизвестно почему, но вечеринки выпускников в «Кэти» стали традицией. А все-таки примите аспирин.

— Нет. Не пускайте его, Роджер. В ресторан ударит молния. Он сгорит дотла.

— Джонни,— начал Чатсворт медленно и очень ласково,— вы не можете этого знать.

Джонни отпил немного ледяной воды и поставил стакан на место; рука его дрожала.

— Вы говорили, что интересовались моим прошлым. А значит...

— Да, интересовался. Но вы делаете отсюда неправильный вывод. Я знал, что вас считают экстрасенсом или вроде этого, но мне не нужен был экстрасенс. Мне нужен был репетитор. И вы оказались прекрасным репетитором. Лично я полагаю, что нет никакой разницы между хорошими экстрасенсами и плохими, поскольку я не верю в эти штуки. Все очень просто. Я не верю в это.

— Иными словами, я вру.

— Ну почему,— сказал Роджер все тем же ласковым, тихим голосом.— У меня на фабрике в Сассексе есть мастер, который ни за что не прикурит третьим от одной спички, но это еще не значит, что он плохой мастер. У меня есть набожные друзья, и хотя сам я в церковь не хожу, мы продолжаем оставаться друзьями. Я искал репетитора, и мне было безразлично, что́ вы там думаете о своей способности к прозрениям или телепатии. Нет... не совсем так. Мне *стало* безразлично, когда я решил, что это не помешает вашим занятиям с Чаком. Так оно и вышло. Но пожар в «Кэти» сегодня вечером для меня то же самое, что луна из рокфора.

— Ну да, я не вру, просто я свихнулся.— Глупо до смешного. Дюссо и многие из тех, от кого Джонни получал письма, обвиняли его в шарлатанстве. Чатсворт первый приписал ему комплекс Жанны д'Арк.

— Тоже нет,— сказал Роджер.— В свое время вы попали в страшную аварию и со страшным трудом выкарабкались; вы заплатили слишком большую цену за то, чтобы жить. Я не сторонник трепа на такие темы, ну а если кто-нибудь из гостей, не исключая матери Патти, намерен делать далеко идущие выводы, им вежливо объяснят, чтоб они помалкивали о том, чего не понимают.

— «Кэти»,— сказал Джонни.— Откуда тогда мне стало известно это название? Каким образом я узнал, что это не чей-то дом?

— От Чака. Последнюю неделю он часто говорил о вечеринке.

— Только не мне.

Роджер пожал плечами.

— Возможно, вы услышали, как он говорил об этом Шелли или мне. Это отложилось в вашем подсознании, и в какой-то момент...

— Ну конечно,— с горечью сказал Джонни.— Все, чего мы не понимаем, все, что не укладывается в привычную схему, мы помечаем грифом «П», то бишь подсознательное. Идол двадцатого века. Сколько раз это бывало с вами, Роджер, когда что-то шло вразрез с вашим прагматическим взглядом на мир?

В глазах Роджера мелькнул огонек — или Джонни просто показалось?

— Надвигалась гроза, отсюда ассоциация с молнией,— сказал он.— Неужели не ясно? Это ведь так просто...

— Послушайте,— перебил Джонни.— Я объясняю вам как ребенку. В здание ударит молния. Оно сгорит. *Удержите Чака дома.*

О господи, эта мигрень доконает его. Крадется, как тигр. Он потер лоб ладонью.

— Джонни, вас заклинило.

— Удержите его дома,— повторил Джонни.

— Пусть сам решает, я не могу давить на него. В конце концов, он свободный белый человек восемнадцати лет от роду.

В дверь постучали.

— Можно, Джонни?

— Входи,— сказал Джонни, и в комнату вошел Чак.

— Ну как вы?— взволнованно спросил он.

— Нормально,— сказал Джонни.— Голова болит, а так ничего. Чак... пожалуйста, не езди туда сегодня. Прошу тебя как друг. Одного ты мнения с отцом или нет — неважно. Не езди.

— Разумеется, дружище,— бодро сказал Чак и, плюхнувшись на диван, поддел ногой подушечку.— Патти теперь туда на аркане не затянешь. Здорово вы ее напугали.

— Мне очень жаль, что так получилось,— сказал Джонни. Вместе с облегчением пришли слабость и легкий озноб.— Мне очень жаль, но я рад.

— У вас было озарение, да? — Чак перевел взгляд с Джонни на отца, потом снова на Джонни.— Я почувствовал. Ощущение не из приятных.

— Иногда это передается окружающим. Я им не завидую.

— Да уж, не хотел бы пережить такое еще раз,— сказал Чак.— Но послушайте... неужели ресторан и вправду сгорит?

— Да,— сказал Джонни.— Лучше держаться подальше.

— Но ведь... — Чак растерянно посмотрел на отца.— Старшие классы откупили весь ресторан. Школа не против. Лучше так, чем надираться небольшими компаниями где-нибудь на природе. Там будет... — Чак умолк на секунду и испуганно закончил: — Там будет двести пар. Папа, ты...

— Боюсь, он в это не верит,— сказал Джонни.

Роджер с улыбкой поднялся.

— Вот что, давайте съездим в Сомерсуэрт и поговорим с владельцем ресторана,— сказал он.— Банкет у нас явно разладился. Если же после поездки вы оба проголосуете против «Кэти», мы можем принять всех у себя.— Он обратился к Джонни: — При одном условии — вы, дружище, не пьете и помогаете ублажать гостей.

— С удовольствием,— сказал Джонни.— Но зачем все это, если вы не верите?

— Чтобы вас успокоить,— сказал Роджер,— вас и Чака. И чтобы потом, когда ничего не произойдет, я мог напомнить вам свои слова и вдоволь посмеяться.

— Что ж, и на том спасибо.— Сейчас, когда стало полегче, его вдруг затрясло, но головная боль притупилась.

— Однако скажу вам прямо, Джонни,— продолжал Роджер,— по-моему, вы скорее достанете снега в аду, чем добьетесь, чтобы хозяин поверил вам на слово и отменил банкет. Надо думать, эти ежегодные банкеты приносят ему большие деньги.

— Придумаем что-нибудь на месте... — сказал Чак.

— Например?

— Скажем ему, что... в общем, сообразим что-нибудь...

— То есть наврем? Нет, Чак, на это я не согласен. Исключено.

— Ладно,— кивнул тот.

— Тогда нечего рассиживаться,— деловито сказал Роджер.— Уже без четверти пять. Берем «мерседес» и едем в Сомерсуэрт.

Без двадцати шесть они входили в ресторан. Джонни прочитал объявление: «СЕГОДНЯ С 19.00 В РЕСТОРАНЕ БАНКЕТ. ЖДЕМ ВАС

ЗАВТРА». У него упало сердце. Брюс Каррик, хозяин заведения, стоял за стойкой бара.

Нельзя сказать, чтобы Каррик сбивался с ног. Народу в баре было немного: несколько работяг пили пиво и смотрели выпуск новостей, да еще три пары тянули коктейли. Каррик слушал Джонни, и глаза его лезли на лоб. Когда Джонни кончил, Каррик произнес:

— Вас зовут, говорите, Смит?

— Совершенно верно.

— Мистер Смит, давайте подойдем к окну.

Он провел Джонни мимо гардероба к окну в коридоре.

— Посмотрите, мистер Смит, и скажите мне, что вы видите.

Джонни посмотрел, заранее зная, что́ он увидит. Автострада № 9, уходившая на запад, просыхала после недавнего дождика. Небо было абсолютно чистым. Гроза прошла стороной.

— Безоблачно. По крайней мере сейчас. Но...

— Никаких «но»,— сказал Брюс Каррик.— Хотите знать, что я думаю? Хотите всю правду? Я думаю, что вы с приветом. Почему вы выбрали именно меня для своих дурацких шуточек, я не знаю и знать не хочу. Но если у вас, братец, есть минута свободного времени, я обрисую ситуацию. Выпускники выложили мне шестьсот пятьдесят долларов за этот банкет. Они наняли отличную рок-группу. Продукты в морозильнике, хоть сейчас в духовку. Салаты на холоде. За выпивку плата отдельная, ребятам уже по восемнадцать, так что они могут и будут пить вволю... их тоже надо понять: как-никак школу кончаешь раз в жизни. Сегодня я положу в карман две тысячи долларов, будьте уверены. Я нанял двух барменов. Я нанял шесть официанток и метрдотеля. Если я все отменю, я потеряю выручку за целый вечер и, кроме того, придется вернуть шестьсот пятьдесят долларов, которые я уже получил. И еще я недосчитаюсь дневной клиентуры — ведь это объявление висит здесь целую неделю. Ну как, ясна картина?

— У вас есть на крыше громоотводы? — спросил Джонни.

— Я ему обрисовываю ситуацию, а он мне о громоотводах!— Каррик всплеснул руками.— Да, есть у меня громоотводы! Приходил тут один, лет пять назад, из страховой конторы. Все уши прожужжал, что надо принять дополнительные меры безопасности, тогда, мол, застрахуют на бóльшую сумму. Пришлось купить эти треклятые громоотводы! Что, довольны? Ну дела! — Он повернулся к Роджеру с Чаком: — А вы-то куда смотрите? Почему вы позволяете этому кретину разгуливать на свободе? Идите-ка отсюда подобру-поздорову! У меня дело стоит.

— Джонни... — начал было Чак.

— Все,— сказал Роджер.— Пошли. Извините, что отняли у вас время, мистер Каррик, и спасибо вам за ваше радушие и внимание.

— Это вам спасибо,— сказал Каррик.— Во, психи! — И он вернулся за стойку.

Они вышли на улицу. Чак с сомнением посмотрел на безоблачное небо. Джонни понуро побрел к машине, понимая, что проиграл да еще оказался посмешищем. Тупо ломило виски. Засунув руки в задние карманы брюк, Роджер разглядывал плоскую крышу.

— Что ты там увидел, папа? — спросил Чак.

— Нет никаких громоотводов,— задумчиво произнес Роджер.— Нет и в помине.

Они втроем сидели в гостиной большого дома. Чак держал руку на телефоне, глядя на отца в некоторой нерешительности.

— Вряд ли кто захочет менять свои планы в последнюю минуту,— сказал он.

— Все их планы — это вырваться из дому,— сказал Роджер.— С таким же успехом они могут приехать сюда.

Чак пожал плечами и начал обзванивать ребят.

Из тех, кто собирался на банкет в «Кэти», удалось отговорить половину; почему они все же приехали к Чатсвортам, осталось для Джонни загадкой. Наверное, кто-то счел новую идею более заманчивой, поскольку гарантировалась бесплатная выпивка, но главное — слухами земля полнится, а многие родители были здесь днем. Так или иначе, народу собралось немало, и Джонни весь вечер чувствовал себя экспонатом под стеклянным колпаком. Роджер с непроницаемым видом сидел в углу и пил мартини.

Без четверти восемь он пересек бильярдную, которая занимала бóльшую часть первого этажа, наклонился к Джонни и, перекрывая вопли Элтона Джона, закричал:

— Пошли наверх, сыграем партию в крибидж?

Джонни благодарно кивнул.

На кухне Шелли писала письма. Когда они вошли, Шелли подняла глаза и улыбнулась.

— Я уж решила, что вы, как два мазохиста, проторчите там всю ночь. Между прочим, это совсем не обязательно.

— Простите, что все так вышло,— сказал Джонни.— Знаю, со стороны я смахивал на сумасшедшего.

— Есть немного,— сказала Шелли.— Чего греха таить. Хотя приятно видеть ребят здесь. Я довольна.

Где-то громыхнуло. Джонни обернулся к окну. Шелли украдкой улыбнулась. Роджер ушел искать доску для крибиджа.

— Разве это гроза? — заметила она.— Погремит и перестанет.

— Да, конечно,— отозвался Джонни.

Она закончила письмо изящным росчерком, сложила его, запечатала, надписала адрес, наклеила марку.

— Вы правда что-то почувствовали, Джонни?

— Да.

— Наверное, общая слабость,— сказала она.— От неправильного питания. Вон вы какой худой. Может, оттого и галлюцинации, а?

— Нет, не думаю.

Опять заворчал гром где-то в отдалении.

— Я рада, когда Чак дома. Не верю я в астрологию, в хиромантию, в ясновидение и все такое, но... я рада, когда он дома. Один он у нас, малыш... Вы, конечно, сейчас думаете: ничего себе малыш, но я-то его помню в коротких штанишках, на детской карусели в городском парке. Прекрасно помню. И как приятно быть с ним рядом, когда он... прощается с детством.

— Вы так о нем говорите...— начал Джонни и вдруг испугался, чувствуя, как подступает комок к горлу. Похоже, что за последние шесть—восемь месяцев он разучился держать себя в руках.

— Вы столько сделали для Чака. Я имею в виду не только чтение. Вообще.

— Я полюбил его.

— Да,— тихо сказала она.— Я знаю.

Вернулся Роджер с доской для крибиджа и транзистором, настроенным на программу классической музыки с горы Вашингтон.

— У них там Элтон Джон, «Аэросмиты», «Фогхеты» и так далее,— сказал он,— а это — небольшое противоядие. Ну что, Джонни, по доллару за партию?

— Не возражаю.

Роджер сел, потирая руки.

— Смотрите, вернетесь домой без гроша,— сказал он.

Они играли. Время шло. После каждой партии один из них спускался на первый этаж проверить, не танцуют ли на бильярдном столе и не откололся ли кто-нибудь маленькой тесной компанией.

— Буду смотреть в оба, чтобы сегодня здесь никто не забеременел,— сказал Роджер.

Шелли ушла с книжкой в гостиную. Каждый час музыкальная передача прерывалась выпуском новостей, и Джонни начинал прислушиваться. Однако ни слова о «Кэти» в Сомерсуэрте — ни в восемь, ни в девять, ни в десять.

После десятичасовых новостей Роджер спросил:

— Ну что, Джонни, скорректируете свое предсказание?

— Нет.

Синоптики пообещали уменьшение облачности после полуночи.

Пол у них под ногами загудел от мощных звуков бас-гитары из «Саншайн бэнд».

— Здорово разошлись,— заметил Джонни.

— Какое там,— усмехнулся Роджер.— Здорово напились. Спайдер Пармело валяется в углу, а на нем стоит поднос с пивом. Представляю, как у них будет утром трещать голова. Помню, когда у меня был выпускной вечер...

— Передаем специальный выпуск,— объявили по радио.

Джонни, который в этот момент тасовал колоду, рассыпал карты по полу.

— Спокойней. Наверное, какие-нибудь подробности похищения во Флориде...

— Не думаю,— сказал Джонни.

— Как нам только что сообщили,— раздался голос диктора,— в городке Сомерсуэрте, на границе Нью-Гэмпшира, произошел пожар. Этот пожар, самый большой в истории штата, случился в ресторане «Кэти» и унес уже более семидесяти жизней. Огонь вспыхнул в разгар банкета выпускников. Шеф пожарников Милтон Хови сказал репортерам, что вероятность поджога исключается. Скорее всего пожар был вызван ударом молнии.

Роджер Чатсворт побледнел как смерть. Он застыл, прямой и неподвижный, уставясь в одну точку. Его руки бессильно лежали на столе. Снизу доносились разговоры и смех, вперемешку с пением Брюса Спрингстина.

В комнату вошла Шелли. Она посмотрела на мужа, потом на Джонни.

— В чем дело? Что произошло?

— Помолчи,— сказал Роджер.

— ...еще бушует, и, по словам Хови, окончательное число жертв скорее всего станет известно к утру. Сообщают, что более тридцати человек, получивших сильные ожоги,— в основном выпускники даремской средней школы,— были доставлены в близлежащие больницы. Сорок человек сумели выпрыгнуть во двор из маленьких окон в курительной комнате, остальные, по всей видимости, сгрудились у выхода, что привело к трагическим...

— Это он про «Кэти»? — ахнула Шелли Чатсворт.— Это случилось там?

— Да,— сказал Роджер. Он говорил леденяще спокойным голосом.— Да, там.

Внезапно на первом этаже воцарилось молчание. Затем послышался топот ног на лестнице. Дверь на кухню распахнулась, и ворвался Чак, ища глазами мать.

— Мам... Что такое? В чем дело?

— Похоже, что мы обязаны вам жизнью нашего сына,— сказал Роджер все тем же леденяще спокойным голосом. Лицо его по-прежнему покрывала смертельная бледность. Он напоминал ожившую восковую фигуру.

— *Он сгорел?*— Чак отказывался верить. За его спиной толкались на лестнице, приглушенно звучали испуганные голоса.— Вы хотите сказать, что он *сгорел?*

Все молчали. И вдруг откуда-то сзади раздался пронзительный, истерический крик Патти Стрэн:

— Это он, он виноват! Все из-за него! Он мысленно поджег ресторан, как в той книжке «Кэрри»[1]. Негодяй! Убийца!..

Роджер повернулся на крик.

— Заткнись! — прорычал он.

Патти разразилась судорожными рыданиями.

— Сгорел? — повторил Чак. Казалось, он спрашивал самого себя, словно проверяя, верное ли нашел слово.

— Роджер... — пролепетала Шелли.— Родж, милый!

Шепот на лестнице и в зале внизу разрастался, напоминая шуршание листьев. Выключился стереопроигрыватель. Стали слышны отдельные фразы:

— *Майк был там? А Шеннон? Точно? Я уже уходила, но позвонил Чак. Мама была здесь, когда этот тип вырубился. Меня, говорит, будто заживо похоронили, так что поезжай к Чатсвортам. Слушай, а Кейси был там? А Рэй? А Морин Онтелло? Бог мой, и она тоже? А...*

Роджер медленно поднялся и повернулся к присутствующим.

— Я предлагаю,— сказал он,— отобрать наиболее трезвых — тех, кто способен вести машину, и всем отправиться в больницу. Им понадобятся доноры.

Джонни сидел как каменный. Ему казалось, что он никогда больше не сможет пошевелиться. За окном прокатился гром. И следом за ним из какой-то глубины донесся голос умирающей матери:

Исполни свой долг, Джон.

---

[1] Роман Стивена Кинга.

(Окончание следует)

УИЛЬЯМ КАРЛОС УИЛЬЯМС

Перевод с английского НАТАЛЬИ СИДОРИНОЙ

В 1983 году исполнилось 100 лет со дня рождения одного из крупнейших американских поэтов XX века Уильяма Карлоса Уильямса (1883—1963), уже знакомого советскому читателю по ряду публикаций в журналах и антологиях [1].

В данную подборку включены стихи Уильямса разных лет, начиная со сборника «Тому, кто в этом нуждается», 1917, и кончая последним сборником «Картины Брейгеля», опубликованным за год до смерти поэта.

Биография Уильямса, как известно, умещается в несколько строк: врач по образованию, он не оставил медицинской практики в своем родном городке Резерфорде под Нью-Йорком даже после того, как пришла слава. Тем не менее наследие Уильямса-поэта обширно, а путь, который он прошел в искусстве, был непростым. Заплатив дань авангардистским поветриям начала века, Уильямс с ходом лет многое пересмотрел в своей программе «революции слова». Обратившись к изображению реальной американской будничности и настойчиво пытаясь осмыслить исторические истоки национального американского характера, он создал произведения, по праву считающиеся классикой США XX столетия.

«Он жил среди беспорядочных, шумных, отчаянных людей и заставлял их говорить, плакать и петь благодаря своей сопричастности им», — сказал о нем Карл Сэндберг.

Непревзойденный мастер свободного стиха, законный наследник Уитмена, продолживший и обогативший демократические традиции американской литературы, Уильямс оказал сильное воздействие на многих наиболее значительных современных поэтов США.

Рассвет

Исступленные песни птиц бьются
о полую бесконечность неба,
издавая металлический звон —
взбивая краски
на дальней кромке неба, — побеждая
в нарастающем рвении, —
превращая бесконечность в тепло,
ускоряя все изменения,—
неистово разрываясь, когда,
разделяя горизонт, огромное солнце
поднимается — поднялось —
постепенно над очертаньями

[1] См. «ИЛ», 1971, № 8, вступление А. Зверева, переводы В. Британишского. См. также «Современная американская поэзия», М., «Прогресс», 1975. «Поэзия США», М., «Художественная литература», 1982.

предметов, — движется свободно, входит
в открытое пространство — тяжелое,
величественное, освобожденное —
песни стихли.

Деревья Боттичелли

Азбука
деревьев

меркнет
в песне листвы

тонкие очертанья
букв

эти знаки
зимней стужи

озарены
яркой зеленью

после дождя и солнца —
Так простые жесткие

принципы
прямых ветвей

видоизменяются
с появлением

цвета
благоговение

улыбки любви —
. . . . . .

пока наконец обнаженные
предложения

не очнутся будто руки
женщины под легким покрывалом

и тихо но страстно
возвестят

летний прилив
любви —

Летом песня
поется сама собой

заглушая слова —

Бедность

Меня восхищает
независимость бедности, старый
деревянный домик желтеет зарубкой на память
среди новых кирпичных домов.

Или железный балкон
в узоре дубовых листьев.
Эти балконы так подходят
к детским платьям,

воплощая все надежды
и привычки бедности.
Трубы, крыши, заборы
из дерева и металла, в век

отмены всех оград —
им нечего прятать; старик
в свитере и в черной фетровой
шляпе метет тротуар —

свои десять футов этого тротуара
на открытом ветру, который неуклонно
огибает этот угол дома,
разорив весь город.

О, эти

опустошенные, темные дни,
когда природа в своем бесплодии
подобна глупости человека.

Год погружается в ночь,
а сердце еще глубже
в пустынное

продуваемое ветром пространство,
без солнца, звезд и луны,
и только странный свет, как будто мысль,

вспыхивает —
и начинает кружиться, пока наконец
на лютом холоде не разгорится

и не заставит человека понять,
что он ничего не знает,
даже одиночества — перед нами

не призрак — а пустота,
отчаянье — (они
скулят и свистят) среди

вспышек и гула войны;
дома, в которых холод сильнее,
чем можно вообразить,

люди, любимые нами, ушли,
кровати пусты, белье
отсырело, стулья никому не нужны —

спрячь это куда-нибудь
подальше от воспоминаний, пусть это
укоренится и растет подальше

от ревнивых ушей и глаз — само по себе.
Эти залежи когда-нибудь будут раскопаны.
Неужели это поворот по спирали

к сладчайшей музыке? Источник поэзии,—
она смотрит на молчащие часы
и говорит: Часы остановились,

а еще вчера они шли так хорошо?
И слушает плеск озера,
ставшего камнем.

Упрямый мир весны

По мокрому асфальту медленно отступает белое небо,
врастая в черноту опрокинутых
стволов багряных вязов,
безрассудно закинувших спутанную сеть

желаний далеко в потоки дождя.
Теплый коричневый дым стелется низко,
стекая, словно вода, с крыши
над окошком смотрителя моста.

И как всегда
идет битва за сущность поэзии:
— Победят ли философы?
Мельком взглянув в глубину воды,

видишь: сквозь неподвижность
белого цветущего куста
прямо под мостом
проплывает косяк сельди, держа путь

между илом и рябью воды,
так что можно разглядеть в темной глубине
их тела с красными плавниками,
устремленные вверх по течению.

Приближение к городу

Пробираясь сквозь мир,
не устаю искать тайный смысл
улиц: три корзины
засохших цветов в окне

ресторана, над фабрикой
кружатся чайки, грязный
снег — это смирение снега,
он все серебрит,

его топчут —
он падает вновь, застывшие птицы
на проводах, вспорхнули —
пятна крыльев

в небе. Над свинцовой землею
колышутся флаги — снег
в щетине старой

травы, я никогда не устану
от этих случайных картинок,
я оживаю: есть что-то святое
в сути простых вещей.

Быть голодным ~
значит быть великим

Тонкие ростки лука —
первая зелень весны,
предтеча тротуаров в Манхэттене,
его собирают пучками,
он так и растет повсюду,
его моют и жарят на сковородке,
он скользок, а если его как следует приготовить
и положить горячим на ржаной хлеб,
это прекрасная закуска к пиву —
но лучше всего, наверное, то,
что можно найти его всюду.

Танец

(Из цикла «Картины Брейгеля»)

Когда падает снег, снежинки
кружатся вокруг длинной оси,
и она потихоньку заставляет их
танцевать парами,

мысли танцуют друг с другом,
и, взяв тебя за руку,
твой возлюбленный
вступает в танец,

вы неразлучны,
твой каблук отбивает ритм,
если ты вылетишь из круга,
кончится танец.

Задыхаясь, ты найдешь,
быть может, другого партнера,
получше или похуже,
и он закружится в танце

и будет лететь и вертеться,
пока не выпадет из круга
на повороте в другую сторону,
как будто бы есть поворот в другую сторону,

все веселее и беззаботнее
летящие в танце лицом к лицу,
только в объятьях друг друга
они в безопасности,

но только танец всевидящ!
Пусть это будет твой танец,
кто знает,
куда ты летишь?

В леса твоей собственной
природы чужеродная ветвь
вплетается, и голые ветви
имеют свою реальность —

этот порыв бури,
который кружит нас,
играет нами и отбрасывает в сторону
танцующих, танцующих самозабвенно.

■

Критика

АРСЕНИЙ ГУЛЫГА

МИФ И СОВРЕМЕННОСТЬ

О некоторых аспектах литературного процесса

Сегодня литературная критика развивается как бы на стыке ряда смежных областей человеческого знания — теории литературы и искусства, эстетики, психологии, философии и социологии культуры — и в тесном взаимодействии с ними. Значение теории для современного литературного процесса, пожалуй, трудно переоценить. Она дает читателю более глубокое понимание писательского творчества, да и сам писатель все чаще обращается к науке, стараясь найти ответы на волнующие вопросы. Приглашением к творческим размышлениям в этой связи является публикуемая ниже статья. Она посвящена теме, обильно обсуждаемой, но, в общем, мало освещенной — взаимосвязи современного мифотворчества и литературы, помогает понять, чем объясняется, что писатель наших дней нередко прибегает к мифу, пытаясь осмыслить многосложную действительность, его окружающую.

На подступах к проблеме

Все возрастающий ныне интерес к мифу очевиден. Не только у нас, но и «у них», на Западе и на Востоке, повсюду, хотя причины интереса к мифу и обращения к нему различны, иногда прямо противоположны. Можно подумать, что состарившееся человечество если не впадает в младенчество, то силится вспомнить о нем, лелея свои погремушки. Более точным, пожалуй, будет другое сравнение: взрослому, полному сил человеку наскучило пресно-рациональное бытие научно-технической эры, и он ищет отдохновения в фантазии, которая, кстати, нужна ему, и его науке, и его технике, ибо стимулирует творческие силы и в этих областях. Иные ищут в мифологии корни своей национальной культуры.

Так или иначе, но современный читатель (и писатель) все чаще обращается к античности, народному эпосу и сказаниям древности. Термин «миф» мелькает на страницах научных изданий, говорит о современном мифомышлении, о возрождении мифа в литературе и искусстве. На страницах «Литературной газеты» (в 1981 году) и «Литературной России» (в 1982 году) прошли дискуссии, затрагивавшие проблемы мифа. Вышла у нас уникальная энциклопедия «Мифы народов мира». При всех своих упущениях это полезный справочник.

Действительно, откуда еще можно почерпнуть популярные сведения о полинезийских и хеттских божествах, о Цзян Юань, матери древнекитайского героя Хоу-Цзи, об Этане, легендарном правителе шумерского города Киша? Античная мифология представлена глубокими статьями А. Ф. Лосева. Однако, к удивлению, отсутствуют статьи об Илье Муромце, Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче. Среди многочисленных и прекрасно выполненных иллюстраций не нашлось места для картины Васнецова «Богатыри», образы которой сопровождали нас в трудные годы Отечественной войны. Все дореволюционные битвы русский военно-морской флот вел под андреевским флагом. Но кто такой Андрей Первозванный, из энциклопедии «Мифы народов мира» не узнать.

Издание открывает статья «Мифология», где излагается история воззрений на предмет от древних времен до современности и марксистская теория вопроса. Но кардинальный вопрос, в какой мере можно говорить о мифомышлении сегодня — остается в энциклопедии без ответа.

Между тем именно в последние годы эта проблема стала предметом оживленных дебатов на Западе (в энциклопедии рассмотрение западной литературы завершается работами французского структуралиста К. Леви-Строса, относящимися к 60-м годам). В 1971 году в ФРГ появился объемистый том «Террор и игра. Проблемы восприятия мифа», содержащий материалы теоретической конференции, в центре которой стояли дискуссионные доклады философов Г. Блюменберга и О. Марквардa. В 1978 году Блюменберг выпустил книгу «Работа над мифом», Марквард выступил с докладом «Хвала политеизму» — через год он был опубликован в сборнике «Философия и миф». В 1982 году третьим изданием вышла хрестоматия, составленная этнографом К. Кереньи, «Открытие подходов к мифу», где представлены наиболее

важные, по мнению редактора, извлечения из трудов теоретиков мифологии от эпохи Просвещения до наших дней. Наконец, летом 1983 года увидел свет коллективный труд «Миф и современность» [1]. К этим книгам мы будем обращаться по мере необходимости, хотя нас в данном случае интересуют не высказанные точки зрения, а сама проблема; точки зрения — лишь в той мере, в какой они способствуют ее прояснению.

Для того чтобы вопрос о мифе был поставлен конкретно, а ответ прозвучал адекватно, следовало бы отрешиться от трех стереотипов мысли.

Стереотип языковый. По-русски «миф» — это прежде всего вымысел, несоответствие реальности, искажение фактов. К проблеме мифа как формы сознания это словоупотребление отношения не имеет.

Стереотип историко-литературный. Миф — древняя литературная форма, повествование о богах и героях. Эта литературная форма дала название рассматриваемому нами феномену, но не тождественна с ним. Миф как повествование был порожден определенной формой сознания. Как литературная форма миф ушел в прошлое, как форма мысли он продолжает жить и влиять на литературный процесс, проявляясь по-разному в зависимости от конкретных исторических условий.

Стереотип политический. «Миф XX века» — библия фашистов. В те годы, когда Европе угрожала коричневая чума, и в последующие годы широкое распространение получило понимание мифа как современного стадного сознания. В этом плане фашисты возвеличивали миф, а антифашисты развенчивали его. В конце войны появилась книга М. Хоркхаймера и Т. Адорно «Диалектика просвещения» (1944), на долгие годы определившая негативное отношение к мифу как неизбежному отрицательному следствию любой человеческой деятельности. Задача авторов, напуганных фашизмом, состояла в том, чтобы сеять беспокойство.

Негативным отношением к мифу руководствовались и французские структуралисты, внесшие ощутимый вклад в изучение проблемы (анализ логической структуры мифомышления). Француз Р. Барт, исследовавший современные виды манипуляции массовым сознанием, пришедшие на смену тоталитарному фашистскому мифу, заявил категорически: «Наше общество — преимущественная область мифологических значений» [2]. Барт имел в виду современное буржуазное общество, которое нуждается в магических формулах, формирующих сознание и поведение обывателя.

Миф, по Барту,— своего рода метаязык, слова которого помимо прямого своего значения приобретают «сверхзначение», особый мировоззренческий смысл. «Новый «ситроен»— речь идет не просто о новой машине; автомобиль — мифологический объект технической эры, предмет поклонения и образ эпохи, как готический собор в средние века. «Мозг Эйнштейна» — формула, выражающая веру во всемогущество науки. «Вселенная — сейф, к которому человечество ищет шифр. Эйнштейн его почти обнаружил. В этом состоит эйнштейновский миф» [3].

Автор настоящей статьи одно время разделял аналогичную, довольно-таки узкую концепцию мифа только как стадного сознания. Знакомство с классическими работами — зарубежными и отечественными — открыло ему глаза, показало, что существует более содержательное понимание мифа. Поисками этого понимания отмечена и упомянутая западногерманская литература последних лет. В том числе хрестоматия К. Кереньи.

Кереньи начинает ее небольшим отрывком из дневника Гердера, который тот вел во время морского путешествия из Риги во Францию в 1769 году. Представьте себе парусный корабль без современных средств навигации и связи. Успех плавания и жизнь людей зависят не только от опыта и мастерства команды, но и от каприза стихий. На борту возникает особое настроение, неведомое человеку на суше. По-иному взирает он на небо, наблюдает Луну и звезды, следит за движением туч и полетом птиц. И древняя мифология воспринимается как наполненная особым жизненным значением.

Немецкие романтики в разработке теории мифа опирались на Гердера. На рубеже двух столетий — восемнадцатого и девятнадцатого — возникает «Речь о мифологии» Ф. Шлегеля. «Великим преимуществом обладает мифология,— говорил Шлегель,— то, что в иных формах ускользает вечно от сознания, предстает здесь зримо и ощутимо — как чувственное и духовное, как душа во плоти, сквозь которую она мерцает глазу и молвит уху» [4]. Мифологию Шлегель назвал «художественным произведением природы». И поскольку человеку нужны такие художественные произведения, а вспять повернуть историю нельзя, нельзя

---

[1] См.: «Terror und Spiel. Probleme einer Mythenrezeption». München, 1971; Blumenberg H. Arbeit am Mythos. Frankfurt a. M., 1979; «Philosophie und Mythos». Berlin, 1979; «Die Eröffnung des Zugangs zum Mythos». Darmstadt, 1982; «Mythos und Moderne», Frankfurt a. M., 1983.

[2] Barthes R. Mythologies. Цит. по нем. изданию: «Mythen des Alltags». Frankfurt a. M., 1964, S. 124.

[3] Ibid., S. 25.

[4] «Die Eröffnung des Zugangs zum Mythos», S. 10 (Русский перевод «Речи о мифологии» см.: Ф. Шлегель. Эстетика. Философия. Критика, т. I. М., 1983.) Кереньи не включил в хрестоматию один важный документ, относящийся к 1795 году. В свое время он не был опубликован, как, впрочем, не увидел света и дневник Гердера, но оба они прекрасно отражали настроение эпохи. Я имею в виду небольшой (две странички) фрагмент, написанный рукой Гегеля, но впитавший в себя идеи раннего Шеллинга и Гёльдерлина. Условное название фрагмента — «Первая программа системы немецкого идеализма». Содержание — призыв «создать новую мифологию», которая должна стать «мифологией разума» (см.: Г. В. Ф. Гегель. Работы разных лет, т. I. М., 1970, с. 213).

погрузиться в древние мифы, Шлегель призывал к созданию «новой мифологии».

Эта мысль была близка Шеллингу, впервые фундаментально разработавшему теорию мифа. Мифология для Шеллинга — необходимый этап сознания человечества, состояние «слепоты». Хотя слепой не видит солнца, оно греет его, то есть это путь к истине, только путь, а не сама истина, которая дается лишь в христианском откровении, завершающем мифологический процесс, являясь чем-то принципиально новым. (После этого Д. Штраус уже мог без труда отнести и христианство к одному из видов мифологии, Л. Фейербах — охарактеризовать его как состояние отчуждения, а К. Маркс — вскрыть социальные корни этого феномена.)

Согласно Шеллингу, мифология создается совокупным человечеством на определенном этапе его развития. Вот почему в мифах разных народов можно обнаружить общие мотивы, даже если эти народы не соприкасаются друг с другом, так что речи не может быть о заимствованиях. Мифология возникает как индивидуальное сознание народа, когда оно выделяется из всеобщего сознания человечества. Нет народа без мифологии.

Основной принцип шеллингианства — тождество бытия и мышления — помогает увидеть природу мифологии. В мифе реальное и идеальное сливаются воедино, причем реальное преобладает. В анализе мифа, отмечал Шеллинг, надо исходить «не из знания, а из бытия человека» [5]. Само шеллингианство родилось из мифологического отношения к действительности.

Что же такое миф?

У Маркса читаем: «Всякая мифология преодолевает, подчиняет и формирует силы природы в воображении и при помощи воображения; она исчезает, следовательно, вместе с наступлением действительного господства над этими силами природы». Причем «под природой,— подчеркивает Маркс,— понимается все предметное, следовательно, включая и общество» [6]. В XX веке исчезает мифологическое отношение к окружающей природной среде: человек во многом господствует над ее стихиями, из господи она превращается в жертву человека. Но стихия социальных сил, обусловленных существованием буржуазного мира, продолжает господствовать над человеком, зачастую даже в более жестких формах, чем ранее. И над собственной природой человек далеко не властелин, естество свое подчас формирует он лишь в воображении. Отсюда возможности существования мифомышления в наши дни.

Из советских авторов, писавших о мифологии, назову А. Ф. Лосева, в первую очередь его статью «Мифология» в «Философской энциклопедии» и книгу «Знак. Символ. Миф» (М., 1982). По Лосеву, «миф не есть бытие идеальное, но — жизненно ощущаемая и творимая вещественная реальность» [7]. Все условно трактуемое в аллегории, метафоре, символе в мифе становится действительностью в буквальном смысле слова. Когда древний грек называл солнце Гелиосом, то он действительно считал, что по небу в огненной колеснице движется живое божество, и в соответствии с этим представлением строил свое поведение (возносил молитвы, совершал жертвоприношения и т. д.). В своих последних трудах А. Ф. Лосев проводит ту же мысль, что была сформулирована им полвека назад.

Миф — это образ, воспринимаемый как реальность, аффект, ставший поступком. В первобытном сознании восприятие, переживание и волевой импульс слиты воедино (этнологи сравнивают это с состоянием толпы при крике: «Пожар!»). У современного человека подобные психологические акты в достаточной степени дифференцированы, миф — состояние духа, их объединяющее.

Все реалии мифа — не познавательного, а поведенческого плана. В человеческом поступке действительно сливается идеальное и реальное, осуществляется их взаимный переход. Миф — не столько образ сознания, сколько образ действия. Конечно, в мифе откладываются первые крупицы знания, но в целом это не познавательная модель мира. Как форма знания сегодня миф абсолютно архаичен, как повеление к действию он не исчерпал свои возможности.

Каковы еще признаки мифа, кроме отмеченного главного — слияния мысли и действия? Следует отметить бессознательный характер мифомышления. Ницше сравнивал миф с музыкой. Леви-Строс считает, что это нечто среднее между музыкой и связной речью, лежащее за пределами сознательного восприятия. Формулировка Лосева — «отрешенность от смысла». Это не значит, что в мифологеме нет никакого смысла, просто такой смысл невозможно передать немифологическими средствами. Кереньи: «Музыка имеет смысловой аспект лишь постольку, поскольку он передается через целое, аналогичным образом дело обстоит и с мифологией» [8].

Философский интерес к проблеме бессознательного возник уже в начале XVIII века. Долгое время считалось, что это феномен индивидуального мышления. Затем, сравнивая мифы разных народов, ученые пришли к выводу о существовании неких общих для человечества форм бессознательного. Подобные формы Юнг назвал «архетипами» или «коллективным бессознательным». Юнг: «Хотя ребенок рождается, не обладая сознанием, его мозг — не «табула раза»... у него есть своя история. Он раз-

[5] Schelling J. F. W. Sämtliche Werke, Bd. XI, S. 206.

[6] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 12, с. 737.

[7] А. Ф. Лосев. Диалектика мифа. М., 1930, с. 14. Превосходная характеристика древнего мифа принадлежит О. М. Фрейденберг: «Миф был всем—мыслью, вещью, действием, существом, словом, он служил единственной формой мировосприятия» (О. М. Фрейденберг. Миф и литература древности. М., 1978. с. 227). В хрестоматии Кереньи нет русских работ, хотя в нашей стране существует давняя традиция науки о мифе (Хомяков, Афанасьев, Потебня и др.).

[8] «Die Eröffnung des Zugangs zum Mythos», S. 228.

вивался на протяжении миллионов лет и воспроизводит историю, результатом которой является... Подобно тому, как мы обладаем одинаковой телесной структурой — двумя глазами, двумя ушами, одним сердцем и т. д., мы обладаем и внутри определенным сходством, мы все не индивидуальны, мы едины»[9]. Едины в архетипе, различны в мифе. Архетип — скелет мифа, миф — живая плоть архетипа. Архетипы, по Юнгу, выплескиваются из глубин бессознательного, принимая форму мифа.

Еще один характерный признак мифа — синкретизм, нерасчлененность мысли. Мифомышление не проводит строгого различия между объектом и субъектом. Отсюда идентификация себя с другими. Абориген Новой Гвинеи, отправляясь на охоту, не призывает на помощь своих предков, он отождествляет себя с ними. Чтобы быть удачливым в делах любви, мужчина дает себе имя Мараи, тайное имя Луны. В мифе Луна — неотразимый мужчина, и, принимая имя Мараи, любовник уверен, что стал Луной.

По словам Томаса Манна, Наполеон «сожалел, что современный тип мышления не позволяет ему, подобно Александру, выдать себя за сына Юпитера — Амона. Но нет никакого сомнения в том, что в период восточного похода он мифологически отождествлял себя по крайней мере с Александром. А когда позднее он решительно посвятил себя Западу, то заявил: «Я — Карл Великий». Обратите внимание — не «Я похож на него», или «Наши судьбы аналогичны», или даже «Я как он», а именно «Я — это он». Такова формула мифа»[10]. Миф не знает категории времени, жизнь в мифе — вечное повторение.

Рудименты мифомышления проявляются в поведении современного человека, когда он переживает и реализует свою национальную принадлежность, отождествляя себя с другими, такими же, как он. Это вариант мифологического сознания, себя не изживший, общественно необходимый. Мифомышление, трансформировавшись, живет и в историческом сознании, в чувстве сопричастности ушедшим поколениям.

Миф не знает различия между естественным и сверхъестественным. Для него существует одна абсолютная реальность. Об этом пишет немецкий филолог Кассирер: «Колдун, появляющийся в маске бога или демона, не подражает богу или демону, а принимает его природу, превращается в него, сливается с ним. Здесь нет изображения, представительства, нет и представления, ничто не «подразумевается», кроме того, что действительно осуществляется. Когда в ходе развития мифологического мировоззрения такое разделение наступает, появляется специфически религиозное сознание»[11].

Миф равнодушен к противоречию. Отсюда французский социолог Л. Леви-Брюль вывел свою формулу — «дологическое мышление». О. М. Фрейденберг уточнила — «доформально-логическое». В мифе есть своя логика, разрешающая противоположные высказывания. Антитеза мифа — рассудочное понятие (и формальная логика с ее запретом противоречия). Диалектика, включающая противоречие в систему знания, стремящаяся к конкретности, цельности, воспроизводит на высшем этапе некоторые черты мифомышления. Формальная логика — отрицание мифа, диалектика — отрицание отрицания.

Итак, миф характеризуется тремя признаками: 1) слияние реального и идеального; 2) бессознательный уровень мышления; 3) синкретизм восприятия.

Как относится миф к личности?

На первый взгляд, они исключают друг друга. В древнем мире индивид был растворен в общине. В древних мифах личностное начало приглушено. Но почему романтики, боготворившие личность, проявляли живой интерес к мифу? Видимо, есть разные типы мифомышления. Как помимо коллективного бессознательного существует и неосознанный индивидуальный мир.

А. Ф. Лосев утверждает: «Всякая живая личность есть так или иначе миф»[12]. Цель его «Диалектики мифа» — исследовать именно эту сторону дела. Действительно, высшая духовная потенция личности — любовь в ее духовной ипостаси — представляет собой вариант мифологического сознания. «Любовь зла...» Пример из «Диалектики мифа»: девушка влюблена в военного; стоило ему оставить службу, снять форму, как чувству пришел конец — миф исчез. У лермонтовской княжны Мери наоборот: когда она увидела Грушницкого в эполетах, пропал заинтересовавший ее и придуманный ею ореол мученичества: она считала юношу не юнкером, а разжалованным.

Структура личности не раскладывается по полочкам рассудочного мышления. «Су-

[9] Jung C. G. Über Grundlagen der analyt; schen Psychologie. Frankfurt a. M., 1975, S. 169. Юнговские архетипы легко превращаются в художественные образы. (Наиболее характерный пример — фильм Феллини «$8^1/_2$», который, как мне кажется, непонятен без знакомства с процитированной только что статьей Юнга «Архетипы коллективного бессознательного».) Труднее говорить о научном содержании теории Юнга. Исходя из общезначимого, научного факта наличия у человека бессознательных структур мысли, Юнг давал им довольно произвольную интерпретацию. Можно говорить о мифологическом характере всех психоаналитических концепций — не только иррационалиста Юнга, но рационалиста Фрейда. И «психоанализ» Фрейда, и «аналитическая психология» Юнга строят языковые модели поведения человека, описывающие (порой успешно в терапевтическом отношении), но отнюдь не объясняющие загадку подсознания. На это обращает внимание М. Шнайдер, один из авторов сборника «Миф и современность», отмечающий: «Момент триумфа, который могут пережить психоаналитики, если они его не придумывают, наступает тогда, когда они расшифровывают знаки таинственной болезни, переводя их в другой текст. А это мифологическая операция» («Mythos und Moderne», S. 201).

[10] Mann Th. Gesammelte Werke. Bd. 8, Berlin, 1955, S. 517.

[11] «Die Eröffnung des Zugangs zum Mythos», S. 175.

[12] А. Ф. Лосев. Диалектика мифа, с. 90.

щее не делится на разум без остатка» (Гёте). Тем более в человеке. Есть в индивиде иррациональный и в этом смысле мифологический остаток, как унаследованный (архетипы), так и благоприобретенный. Личностью человек становится тогда, когда осознает и реализует в поведении свою принадлежность к социальной группе и свою индивидуальность. Это процесс идентификации себя с социумом и одновременно обнаружение своей неповторимости — в потребностях, способностях, ответственности. Даже на уровне элементарных физических потребностей человек ведет себя иррационально, зачастую просто неразумно. Творческий акт в своей сердцевине, а следовательно, и способности к нему иррациональны; к этому приходят многие последователи психологии творчества.

Есть одна умная книга — Эрик Берн «Игры взрослых» [13]. Название может вызвать возражение: игра всегда находится под контролем сознания, а доктор Берн ведет разговор о неконтролируемых стереотипах мысли и поведения, то есть фактически о мифе. Берн решает терапевтическую задачу, он предлагает читателю внимательно и критически взглянуть на самого себя, определить тип «игры» (мифа), который тот принял и, в случае необходимости, освободить себя от этого. От того, что называем мы игрой, в феноменах, которые описывает автор, есть только то, что подчинены они определенным правилам и зачастую вовлечены в них несколько человек со строгим распределением ролей.

«Алкоголик» — в наиболее сложном варианте «игра» для пятерых. Мистер Вайс, главный участник — не обязательно пьяница, он может быть и «сухим алкоголиком», предающимся иному пороку или просто подверженным какой-либо слабости, вызывая при этом недовольство «попрекающего», в роли которого выступает обычно партнер по браку. Третий участник «игры» — «спасатель», человек, видящий свое призвание в том, чтобы направить несчастного на путь истины. Четвертый участник — «пособник», из жалости, тайком от других потакающий пороку мистера Вайса. И, наконец, бесчувственный «посредник», выполняющий свои профессиональные обязанности даже в неурочное время.

Весь этот комплекс отношений (иногда более простой по составу участников) основан на неспособности контролировать свое поведение. Участники «игры» следуют стихийно возникшим стереотипам, живут на уровне пошлого житейского мифа.

Доктор Берн описывает 36 вариантов подобных ситуаций. Вот еще два простеньких примера. «Все из-за тебя!»: миссис Вайс твердо убеждена, что во всех неудачах ее жизни виноват только один человек — муж. «Пусть победит сильнейший!»: миссис Вайс (даже вступив в брак) нуждается в соперничестве мужчин, причем ее избранником нередко может оказаться не «победитель», а некто третий.

«Игры» могут быть общественно полезными. Например, «Отпуск по профессии»: американский почтальон на отдыхе в Токио начинает помогать японскому коллеге разносить письма; врач во время туристической поездки по Гаити работает в тамошней клинике. Оба, вернувшись домой, довольны, полны впечатлений, как будто принимали участие в охоте на львов.

«Я им покажу!». Существуют два варианта этого стереотипа. В деструктивном варианте мистер Вайс из кожи вон лезет, чтобы выбиться в люди и нанести вред своим недоброжелателям. В конструктивном варианте он продвигается вверх по социальной лестнице, чтобы вызвать у них, не оценивших его по достоинству, зависть и чувство раскаяния. «Они еще вспомнят обо мне!» — наиболее благородный вариант этой «игры»: Вайс демонстрирует, на что он способен, стремясь оправдать оказанное доверие.

Доктор Берн говорит о социальном и личном значении подобных «игр». По его мнению, «воспитывать детей — значит внушать им, в какие игры они должны играть» [14].

На этом мы расстанемся с доктором Берном. Его прогнозы и советы в данном контексте нас не касаются. Сделаем лишь два вывода. Первый — бессознательные структуры мысли могут носить сугубо личный характер. Второй — бессознательное поведение бывает вредным или полезным.

От мифа к мудрости

Вернувшись к общим проблемам мифа, мы отметим, что он представляет собой чисто формальную структуру, содержание которой зависит от многих обстоятельств. Миф может быть высоким, гуманистическим, а может — низменным, враждебным человеку. Г. Блюменберг сводит содержание мифа к двум полярным категориям — «террор» и «поэзия». В первом случае миф представляет собой «пассивность демонической скованности», во втором — это «необузданность антропоморфного освоения мира и теоморфного возвышения человека» [15].

Антитеза справедлива, только не следует забывать о метафорическом ее звучании. Низкий миф может обходиться без физического террора, подавляя личность духовно. Таковы социальные мифы, описанные Р. Бартом. А высокий миф, строго говоря, не обязательно является поэзией: в основе поэзии как вида искусства лежит принцип «игры». (Здесь термин «игра» также условен, но все же более уместен, чем в рассуждениях Берна. Это не просто зависимость от правил, но присущая игре двойственность ситуации, когда реальное и условное сосуществуют.) Играющий всегда пребывает в двух планах. Миф все свои реалии трактует буквально.

С развитием культуры миф сублимируется, возводится во все более высокую степень. Шеллинг («Философия мифологии») и Гегель («Философия религии») проследили эволюцию представлений о божестве. Эти представления принимают все более антропоморфный и антропофильный характер,

[13] Автор — американский психиатр, тираж немецкого перевода его книги в 1982 году достиг 200 тысяч, цифры для ФРГ внушительной.

[14] Berne E. Spiele der Erwachsenen. Reinbek, 1982, S. 233.

[15] «Terror und Spiel», S. 13.

проникаются моральным содержанием. Таков образ Прометея, богоборца, обреченного на вечные муки за помощь людям, таков образ бога, который стал человеком и разделил его самую тяжелую судьбу, добровольно избрав мучительную казнь.

Каковы культуроформирующие возможности «новой мифологии»? В социальном плане они ничтожны. К. Маркс иронизировал над «бандой незрелых студентов и преумнейших докторов», которые стремились заменить материалистическую базу социализма «современной мифологией с ее богинями справедливости, свободы, равенства и братства» [16].

XX век дал образец социального мифа, который обернулся трагедией для немецкого народа. На смену мифу фашистскому на Западе пришли другие, мирные «мифотеррористические» формы, но и они служат целям манипуляции массовым сознанием.

А традиционная мифология? Исчерпала ли она свои возможности? Думается, что пока еще не исчерпала. Веками воспитанное гармоническое отношение к природе, к семье, к труду, к родине обогащает мировоззрение, построенное на научных данных. Тяга к лучшим народным традициям — повсеместное явление мировой культуры сегодня. Существует она не только у нас, но и на Западе.

Из германоязычных писателей здесь особенно характерен П. Хандке, тетралогия которого «Медленное возвращение домой» заканчивается величественным гимном традиционным основам жизни. Удивительно перекликается с тетралогией Хандке роман швейцарца Сильвио Блаттера «Растущая тоска по дому». Герой романа, литератор, возвращается из-за границы в родной кантон, чтобы писать его историю. Описания событий столетней давности перемежаются детективной историей: из тюрьмы бежит уголовник. У последнего тоже вдруг просыпается «тоска по дому», и он намерен начать жизнь сначала. Замысел, правда, рухнул, но в день его краха, когда тяжелораненого парня грузят в полицейскую машину, на свет появляется новый человек, и уж он-то будет прочно держаться за родное гнездо! Действие романа разбито на семь дней, как семь дней творения в Библии. Автор предполагает знание библейского мифа.

Миф — форма мысли, свойственная человеку, как свойственны ему другие ее формы. Погруженность мифа в бытие делает его незаменимой формой. Разрушение мифа ведет не к победе , рациональности, а к утверждению другого мифа. Когда на смену высокому мифу приходит низкий — беда: цивилизация идет вперед, но культура распадается. Об этом — повесть Ч. Айтматова «Белый пароход». Гибнет мальчик, носитель мифопоэтического сознания, побеждает потребительский, «террористический» миф. Это в той жизни, что на страницах повести. Идеально (в душе отзывчивого читателя) торжествует высокий, традиционный миф.

Если миф вездесущ, если «стриптиз мифа», как выразился О. Марквард, обречен на неудачу (под снятой одеждой всегда обнаружится новая, то есть демифологизация невозможна), то, может быть, самое правильное для человека заняться «критикой мифа», выбрать наиболее человечный и на этом успокоиться? Марквард озаглавил свою работу «Хвала политеизму», его тезис: опасен мономифологизм, полезен полимифологизм. Опасна, по его мнению, замена многовариантных историй одной единственно возможной. Марквард говорит о «втором конце полимифологизма»: первый был связан с победой монотеистических религий, второй — с распадом политического плюрализма. Вопреки известным фактам Марквард выводит из политеизма принцип разделения властей («на земле, как на Олимпе!»), а также принцип индивидуализма. (На самом же деле деспотизм восточных государств и Древнего Рима уживался с политеизмом, а сознание индивидуальной ответственности и личной судьбы принесло христианство.)

Программа Марквард — «просвещенный политеизм», плюрализм в науке и философии. Последняя также должна порвать сотрудничество с мономифологизмом. «Это особенно важно для понимания философии как правомыслящего моно-логоса, ориентированного на единственность разума и запрета всего иного... Мне кажется, хорошо бы вернуть терпимое отношение к правомыслию, которое Марк Твен рекомендовал по отношению к правописанию, когда говорил: я жалею того, у кого не хватает фантазии писать слово то так, то этак. Печальна участь философии, если она не позволяет думать о вещах то так, то этак; думать одним одно, другим — другое. В этом смысле единоличная мысль подозрительна, да здравствует мудрость многих» [17].

Справедливые возражения Марквард последовали в сборнике «Миф и современность». Я. Таубес: «За фасадом наигранной беллетристики в статье Марквард скрываются серьезные вещи, нуждающиеся в решении. Возникнув на гребне расхожего увлечения язычеством, его тезисы идут, однако, дальше внешнего возвеличивания мифа и политеизма. Они затрагивают область этической ориентации и теоретико-познавательных скрижалей. Не случайно его программная работа называется «Прощание с принципиальным» [18]. Марквард не стремится к романтической реконструкции мифа, его не занимает потенциал мифа в эстетике, его «хвала политеизму» возносится в период кризиса истории и ее философии» [19].

Позицию Марквард Таубес сравнивает с тем, что было изложено в книге «Диалектика просвещения» М. Хоркхаймера и Т. Адорно. Напуганные фашизмом, авторы всюду видели опасность тоталитаризма. Так и у Марквард — никаких перспектив, кроме возврата вспять, к древней мифологии; «просвещение» всего лишь фильтр, чтобы отсечь вредные модификации мифа.

[16] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 34, с. 234.

[17] «Philosophie und Mythos», S. 57.

[18] См.: Marquard O. Abschied vom Prinzipiellen. Stuttgart, 1981.

[19] «Mythos und Moderne», S. 459.

Критикуя Маркварда за антиисторизм, Таубес выступает от имени религиозной философии. Он прав, настаивая на прогрессивном характере монотеизма по сравнению с язычеством, монотеизм дал новые этические нормы, неизвестные древнему миру. От «философии мифологии» Таубес предлагает, как в свое время Шеллинг, перейти к «философии откровения».

Для религиозной философии это закономерно — откровение сменяет миф. А что может в качестве альтернативы мифа предложить научная философия? Если сравнить миф с другими формами мысли, возникнет следующая «лестница» (не простая, а винтовая, где каждая ступень шаг вверх и в... сторону):

1. Миф — бессознательный уровень мысли, где реальное сливается с идеальным.

2. Художественный образ — слияние реального и идеального приобретает условный характер, возникает двойственность ситуации, когда нечто есть и его нет (принцип «игры»).

3. Рассудочные формы — чувственный образ представляет собой в этом случае идеальный, сиюминутный слепок реальности, на основе которого конструируется абстрактное понятие как фиксация одной из ее сторон. Здесь достигается наибольшее удаление от мифа.

4. Разум — диалектическое понятие воссоздает из абстракций логическую конкретность на идеальном уровне.

5. Относительно высшей формы мысли единый термин не найден. Шеллинг говорил «дух», Гегель пользовался термином «идея», обозначая им совпадение понятия и объективности. Литературная и философская традиция донесла до нас слово «мудрость». Мудрость — это самокритика разума, постоянное движение вперед, преобразование человеком самого себя.

Человеку по определению («гомо сапиенс») свойственна мудрость. Философия есть любовь к мудрости. А высокая литература сродни философии. Именно в мудрости осуществляется единство теории и практики, синтез всех духовных потенций, всех форм мысли, совпадение истины, добра и красоты. Мудрость не отвергает миф, она ценит его в той мере, в какой он причастен поэзии и нравственности.

Существенная оговорка: высокий миф — высокая литература. И миф не сам по себе, а взятый в составе мудрости, в сотрудничестве с другими формами мысли — таковы условия включения мифомышления в современную культуру.

Писатель и «работа над мифом»

Для современного писателя возможна не столько жизнь в мифе, сколько «работа над мифом», использование его в своих художественных целях. Томас Манн в романе «Иосиф и его братья» обрабатывает библейский сюжет, играет с мифом, облекая в древние одежды современные проблемы, и разве что машинистка, печатавшая текст, могла принять за реальность фантазию автора, чем его позабавила [20]. Случай характерный.

Но вот спорная вещь. «Осень патриарха» Габриэля Гарсиа Маркеса — создатель романа, кто он такой? «Эрудит, изучавший классическую мифологию и новейшую литературу о структуре мифологического сознания, или мифопоэт, живущий в космическую эпоху?»

Вал. Зорин, автор предисловия к русскому изданию романа, откуда заимствован процитированный вопрос, не исключая полностью первого варианта ответа, склоняется все же ко второму. «Всеми своими корнями социальная фантастика Маркеса связана с народной эстетикой». Герой романа, диктатор одной из латиноамериканских стран, наделен чертами мифологического персонажа — петуха, выступающего в креольском фольклоре (как мы увидим далее, не только в нем) в качестве олицетворения мужской силы, власти, подавляющего превосходства. Его гарем — как курятник, он пользуется своими наложницами наскоком, не снимая генеральской формы, будто петух топчет своих кур; как бойцовый петух забивает он насмерть своих соперников. Весь вопрос в том, насколько сам автор убежден в магической силе диктатора-петуха. Его герой может одним окриком усмирить взбунтовавшуюся казарму, он в состоянии творить чудеса, но у власти его поставила вполне земная сила — чужеземные морские пехотинцы, а долги он вынужден покрыть продажей моря, вывезенного куда-то в Аризону. Я не берусь судить, где кончается миф в «Осени патриарха», а где начинается политический памфлет. Это дело специалиста, знатока латиноамериканской литературы, каковым я не являюсь.

Трансформация мифа в литературе неизбежна. Входя в литературное произведение, традиционный миф зачастую теряет первоначальный смысл, он может становиться проекцией авторского замысла, полностью противоположного своим первоистокам.

Основное содержание книги Блюменберга «Работа над мифом» составляет рассмотрение судьбы мифологического образа Прометея в западной литературе. Прометей — герой Эсхила, Гёте, Маркса. Фридрих Ницше, Андре Жид, Франц Кафка дегероизируют прометеевский миф.

Кафка говорит о четырех вариантах судьбы Прометея. Наряду с традиционной — вечными муками прикованного к скале героя,— существует другая версия: Прометей, спасаясь от клюва орла, вдавливал себя в скалу и полностью слился с ней. Согласно третьей версии, с ходом времени, по прошествии

[20] «Ну вот, теперь хоть знаешь, как все это было насамом деле»,—сказала она. Это была трогательная фраза — ведь на самом деле ничего этого не было. Точность и конкретность деталей являются здесь лишь обманчивой иллюзией, игрой, созданной искусством, видимостью: здесь пущены в ход все средства языка, психологизации, драматизации действия и даже приемы исторического комментирования, чтобы добиться впечатления реальности и достоверности происходящего, но, несмотря на вполне серьезный подход к героям и их страстям, подоплекой всего этого кажущегося правдоподобия является юмор» (Т. Манн. Иосиф и его братья. М., 1968, т. 2, с. 900). Юмор всегда создает дистанцию по отношению к предмету, а миф, как мы убедились, снимает ее.

ствии тысячелетий его измена богам была забыта; забыли все, в том числе он сам. Четвертая версия — все устали, боги, орел, и рана закрылась от усталости. Остались необъяснимые скалы...

Блюменберг видит в версиях Кафки «формальную пародию» предания; миф перевернут: мертвая природа одолела историю. Открыто пародийна и другая «мифологическая» притча Кафки — «Посейдон». Морской бог ныне не разъезжает среди вод с трезубцем в руках, это «бог» вполне современный: крупный чиновник, заваленный бумажной работой.

Мифологические мотивы используются Кафкой в целях критического осмысления окружающей его действительности. Можно найти еще два-три древних мифологических мотива у Кафки, но в целом его творчество (три романа — «Америка», «Замок», «Процесс» в первую очередь) дают «остраненный» взгляд на мир как на нечто чужое, противостоящее человеку. (А в мифе человек сливается с миром!) Вот почему я не вижу оснований для утверждения, что в творчестве Кафки «оживает миф» [21].

Если бы дело ограничилось Кафкой, может быть, не стоило бы вступать в спор. Но дается более широкое обобщение: «Целостность древних мифо-эпических представлений, проявлявшаяся двояко: в единстве героя с окружающей его национально-исторической средой и в его единстве с повторяющимися, сверхисторическими ситуациями,— эта целостность в новых литературах расчленяется на эпическую и мифологическую: в русской литературе преобладает тяга к эпической цельности, в западных — к мифологической. Так складывалось положение дел в мировой литературе второй половины XIX — первой половины XX века [22].

Обобщение мне представляется неправомерным. «Будденброки», «Жан-Кристоф», «Прощай, оружие», можно назвать много крупных произведений западной литературы указанного периода, в которых герой показан в единстве «с окружающей его национально-исторической средой». Что касается русской литературы, то она тяготеет к монотеистическому мифу, может быть, даже более, чем литературы Запада, ориентированные скорее на античный политеизм. Я не могу себе представить, чтобы два советских критика, подобно современным шеллингианцам, исключали христианство из корпуса мифологии. И как-то неловко напоминать им о существовании романа «Братья Карамазовы», где не только «Легенда о великом инквизиторе», но весь текст дышит атмосферой христианского мифа. А последний роман Толстого? Разве это не «работа над мифом», из которого заимствовано и название книги, и идея нравственного воскресения человека? Неудобно напоминать о романе «Мастер и Маргарита».

О чем, может быть, уместно напомнить, так это о романе Вс. Иванова «Ужгинский Кремль» (М., 1981). Опубликованный посмертно, он не привлек внимания критики. В романе соотнесена древность и современность. В стародавние времена в городе Подзоле (он же Ужга) был построен Кремль, краше московского. «...Я встретил против Кремля на лугу, называемом Ямским, девушку. Я заметил, что руки у нее тоньше камыша, и грудь как спелые яблоки. Там дрались со мной кольчужные мастера. И когда я победил их, они предложили мне золото — и я отказался. Я по-прежнему шел с поднятым оружием. И они предложили мне книгу «Рудники драгоценных камней», и я опустил оружие, так как я не только воин, но и путешественник...». Это из раздела, названного автором «Лучшие отрывки по истории ужгинского Кремля». Язык древней легенды.

Языком древних летописей повествует автор о строительстве Кремля. А о бурных событиях современности говорит нервно, сбивчиво, чуть ли не косноязычно. После революции ужгинский Кремль становится местом борьбы идеологий. Церковная община намеревается выпустить новое издание Библии. Ибо «в начале бе слово». Но община разлагается, миф распадается, побеждают Мануфактуры — фабрика, противостоящая занятому церковниками Кремлю.

В романе воссоздана обстановка провинциального города двадцатых годов. И вдруг... дракон. «Дракон шел, пощипывая траву, он ступал неслышно, как верблюд по песку. Шерсть на нем была серая, казавшаяся дымчатой, так чтобы сливаться с туманом, головы его имели хитрое и веселое выражение...».

А в опубликованных посмертно материалах к роману «У» Вс. Иванова возникает другой мифологический персонаж — знакомый нам Петух, некое олицетворение демонической силы, заставляющей граждан бежать за ним по улицам столицы. (Дело происходит в Москве в 30-е годы.) Причем не ясно, преследуют они его или покорно следуют, как дети за гаммельнским крысоловом. Петух приводит толпу на Поклонную гору, откуда Наполеон взирал на город перед тем, как его занять. «Петух стоит бодрый, веселый, выпрямившийся, задрав голову. Одно крыло он заложил за спину, другое за серый борт сюртука, в разрезе коего виден край белого жилета. Его гребень передвинут, кренится набок и принял явственные очертания черной треуголки». Вс. Иванов «работает» над наполеоновским мифом, и до него старательно развенчиваемым русскими классиками.

Мировой литературный процесс един, многообразен. Национальные и классовые особенности, накладывающие неизгладимый отпечаток на творчество писателя, не исключают общих закономерностей, объединяющих все литературы в одно целое. К ним принадлежит и «работа над мифом», обращение к мифологии прошлого, критическое осмысление современных мифов.

От мифа уйти нельзя, да и незачем к этому стремиться. Миф может стать опасным, если наполнен враждебным человеку содержанием и бесконтрольно господствует над сознанием. Миф выигрывает, подчиняясь мудрости, сливаясь с ней, он приближает мудрость к жизни, к действию — во имя человека, для его блага.

[21-22] М. Эпштейн, Е. Юкина. Мир и человек. «Новый мир», 1981, № 4, с. 241, 252.

Заметки писателя

РОБЕР АНДРЕ

ДЕЛЬФЫ, ИЛИ КРИТИКА СЕГОДНЯ

На коллоквиуме МАЛК

Международная ассоциация литературных критиков (МАЛК) была создана на ее первом конгрессе в Парме (1969) и получила официальное признание ЮНЕСКО как одна из неправительственных международных организаций в области культуры.

Ассоциация, как записано в ее уставе, «вдохновляется идеями и традициями гуманизма, ее целью является укрепление связей между литературными критиками, совместное изучение проблем, связанных с задачами критики».

На конгрессах, коллоквиумах, симпозиумах, регулярно проводимых МАЛК, представители разных стран встречаются для свободного обмена мнениями по актуальным вопросам критики.

«Роль литературной критики в развитии художественного творчества» — такова тема очередного коллоквиума МАЛК, состоявшегося в Дельфах (Греция). Советскую делегацию, участвовавшую в этой встрече, возглавлял известный критик, главный редактор журнала «Литературная учеба» Ал. Михайлов, вице-президент МАЛК.

О работе коллоквиума нашим читателям рассказывает на этот раз президент МАЛК, французский писатель Робер Андре.

Вот мы снова на греческой земле. Несколько лет назад, в октябре 1977 года, мы провели в Афинах седьмой коллоквиум Международной ассоциации литературных критиков (МАЛК). Вы помните, наверное, его тему: «Классическая традиция и современный мир». Когда ЮНЕСКО предложила МАЛК обсудить не менее важный вопрос — «Роль литературной критики в развитии художественного творчества»,— в моей памяти тотчас возник незабываемый афинский октябрь. Я подумал о встрече в Дельфах, древнем городе у подножия горы Парнас.

Впервые я был здесь лет тринадцать назад, правда, всего несколько дней. По-моему, тени греческих богов не покинули свою землю. И пейзаж Эллады, благородный и величественный, как нельзя более располагает к размышлениям о природе творчества, о творческом воображении, источник которого — внутренняя сосредоточенность, вдохновение. О роли последнего немало спорят, ее то принижают, то возводят во главу угла. Но пейзаж Дельф вдохновенен — и вдохновляет, за это я могу поручиться. Недаром Дельфы были священным городом, именно здесь находилось святилище Аполлона, носителя ясной мудрости, светозарного Феба, победителя темных сил хаоса. Как не вспомнить тут известную мысль Томаса Манна: искусство — это преодоление хаоса материи, облагораживание ее, подчинение определенной форме...

И еще — дельфийский оракул, Пифия, прорицавшая со своего треножника,— место, где он некогда располагался, показывают до сих пор. Под ним клубился дурманящий дым галлюциногенных трав, воскурявшихся жрецами в подземном помещении храма.

Итак, Дельфы — поистине средоточие символов, способных вдохновить нас на решение нашей задачи. Но в каком ключе ее решать? Помните ли вы античную теорию поэтического дара? Поэт — человек, способный прийти в состояние экстаза, дабы воспринять, подобно Пифии, некое откровение. Нам же, критикам, разумеется, нужна аполлоническая ясность рассудка, чтобы изучить возможности сотрудничества критики и различных видов искусства. Это не значит, конечно, что критике чуждо художественное начало — ведь не зря ее уподобили особому роду искусства, отказавшись от идеи противопоставления критики и собственно творчества. Но можем ли мы, критики, способствовать вдохновению и что должны для этого делать?

Эта преамбула — мое собственное детище, но строки, которые вы прочтете ниже, почерпнуты из выступлений участников встречи в Дельфах. Так что отныне я, если угодно,— секретарь Суда критической литературы. Это суд особый: к счастью, он не выносит приговоров, а скорее раздает похвалы ораторам за достоинства их размышлений.

Итак, критика в прошлом и критика в настоящем; ее воспитательная роль в выработке духовных ценностей; критика и средства массовой информации.

Сошлись мы на том, что в прошлом критика, ее влияние на художественное творчество были сильнее. Сегодня ее жизни угрожают существующие средства информации и коммерциализация издательской продукции в капиталистических странах. Отсюда цель наша — искать способы борьбы с этими тенденциями.

Критика и история — с этой темы начал работу наш коллоквиум. ИВАН ЦВЕТКОВ (Болгария) подчеркнул роль критических кружков в формировании болгарских литературных школ, в том, что он назвал выработкой моделей литературного развития. Действительно, постоянно переоценивая прошлое, критика способствует сохранению исторической преемственности, обеспечивает понимание истории литературы как живой памяти, источника вдохновения для художников наших дней.

Подобный «историзм» близок и КОНСТАНТИНУ ДИМАРАСУ (Греция). Задача критики, по его словам,— выявление следов прошлого в современном мире, связей между так называемым «новым» и произведениями предшествующих эпох. Это поможет молодым поколениям избежать тупиков, сознательно выбирая собственные художественные «модели».

Понятие «модели» анализировал и РОБЕР АНДРЕ (Франция). Для установления определенной ценности необходима ориентация на определенную шкалу. Иначе все сведется к высказыванию субъективных предпочтений (что отметил еще Кант в «Критике способности суждения», 1790). Как же складывается эта шкала? Писатель многим обязан умершим, выбор его чтения не совсем случаен. Критика отбирает для его поколения произведения предыдущих, он ориентирован прежде всего на то, что критика сочла достойным оставить потомкам. Таким образом критика формирует и воспитывает, тем самым оказывая влияние на творчество будущего. Довольно долго этим занимались не критики-профессионалы (ибо таковые появились сравнительно недавно), а «критические умы». Они сами были писателями и сами судили о себе.

Критика — как бы вторая жизнь, вторая ступень литературы, когда эта последняя задается вопросом о своих целях, о средствах их достижения.

ЖЕРМЕН МАМАЛАКИ (Греция) считает, что художественное творчество есть одновременно и акт критический, ибо критика предполагает воссоздание действительности. Художник осуществляет критику наблюдаемой им среды, общества, а то и мира в целом. Как? Отбирая необходимые, на его взгляд, элементы действительности. Так, творчество Бальзака — могучая критика общества его эпохи. Впрочем, мысль эта достаточно широко известна: лучшие критики — сами писатели, творцы.

ДЖОН Л. БРАУН (США) развивал сходные мысли, сопоставляя позиции Генри Джеймса и Эзры Паунда. Первый был утонченным теоретиком художественной прозы. Второй заботился прежде всего о практическом воздействии, стремясь сформировать вкус современников. И преуспел в этом (полагает оратор), изменив литературные ориентиры целого поколения американцев.

МАРСЕЛЬ ЛОБЕ (Бельгия) подчеркнул самостоятельную ценность критики как особого вида творчества. Напомнив, что первым великим триумфом критической мысли является диалог Платона «Федр», он призвал критику поддерживать **постоянный диалог** между автором и читателем, между художником и поклонником искусства. Такова цель критики, считает Лобе, и подобный диалог может стать заметным фактом в истории литературы. «История Пор-Рояля» Сент-Бёва, например, оказалась весомее, чем труды многих янсенистов [1]. Изучая прошлое, мы обнаруживаем непрестанное взаимопроникновение искусства и критики, ее плодотворность. И это нас обнадеживает.

Но так же ли обстоит дело в наши дни? И каковы конкретные задачи критика сегодня? Некоторые из выступающих попытались уточнить их.

Одно из эссе Эзры Паунда называется «Как читать?». Выступление АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА (СССР) можно было бы озаглавить «Как научить читать?», в частности — как научить читать поэзию.

Первостепенная задача критики — по мнению Ал. Михайлова — воспитание вкуса у читателей. Ибо в конечном итоге вкусы публики оказывают на писателя гораздо большее воздействие, нежели суждения его собратьев по перу. И они же определяют спрос на книги.

Оратор вспомнил свои школьные годы, впечатления от уроков литературы. Учебники усиленно пропагандируют классику, но — увы! — практически внушают учащимся лишь робость перед ней. Где уж тут «собственное мнение»... Зато по отношению к своим современникам молодой ум свободнее: нет ореола «священности». Следует поэтому «окунуть» детей в атмосферу творческой лаборатории, посвящать их в тайны творчества. Пусть некоторые — вослед Полю Валери — и считают их непознаваемыми...

Главное для критика — не дать себя запугать! Критик не одинок. С ним слава его предшественников—И. Винкельмана [2], Э. По и многих других. «Тайны поэзии» — таково «посягающее на многое» название эссе Ал. Михайлова — плод многолетних размышлений автора именно над этой проблемой. Какими средствами удается автору нас «задеть» в плане эстетическом и эмоциональном? С этой точки зрения Михайлов разбирает ряд стихотворений и поэтических циклов. А «ошеломительное оча-

[1] Янсенизм — религиозно-философское течение во французском и нидерландском католицизме.

«История Пор-Рояля» (1840—1859) — шеститомный труд французского критика и эссеиста Сент-Бёва (1804—1869), дающий широкую картину духовной жизни Франции XVII века, в частности показывающий влияние янсенизма на писателей-классиков той эпохи — Расина, Буало, Паскаля. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Винкельман Иоганн Иоахим (1717—1768) — немецкий историк античного искусства, автор «Истории искусства древности», один из основоположников искусствоведения.

рование» поэзии (опять Валери)?! Критик призван и обязан донести его до неопытного читателя.

Итак, эстетическое воспитание надо начинать с детства. Этому вопросу Ал. Михайлов посвящает другую свою книгу — «Азбуку стиха». Что есть поэзия? А что совсем нет? Азбука ее — метафора, рифма, ритм и интонация. Автор пытается раскрыть все это в простой, доступной форме.

Педагогические аспекты критики волнуют и МАРИЮ АЛЗИРУ СЕЙШО (Португалия). Но на уровне теории. Литературная критика, отмечает она, пробуждает вкус к чтению и письму. Предлагая композиционные парадигмы, «декодируя» текст произведения, она позволяет читателю приобщиться к его «секретам». Проникновение в тайну, в таинство и должно породить в читателе желание творить самому. Отбор и анализ — вот решающие приемы развития чтения-письма, иными словами — продуктивного понимания текста. Критик — тот же читатель, но записывающий свое прочтение текста; обычный же читатель находится как бы между этими двумя текстами. Станет ли он писать? Как правило, нет. Но необходимо помочь ему преодолеть привычку пассивного поглощения литературы, внушить читателю стремление к личному самоосуществлению. В этом — важнейшая задача критика. Подражание, игра, увлечение — сколько еще существует потенциальных путей к творчеству, к обучению творчеству! Короче — критик передает искру, из которой способно возгореться пламя.

Изменять восприятие произведений как у детей, так и у взрослых — вот миссия критики. От восприятия бессознательного (иррационального) к рациональному — так трактует это превращение ЯН ШТЕВЧЕК (Чехословакия). В этом и состоит цель интерпретационной критики. В качестве примера он приводит сюрреалистическую поэзию. На первый взгляд, она герметична, критик вместе с читателем должен расшифровать ее. Известные потери при этом неизбежны. Но Штевчек считает, что подобная операция — залог превращения произведения в «факт общественный». Тут мы впервые сталкиваемся с вопросом о социальном воздействии искусства и о «читабельности» литературы.

Такого рода интерпретационная критика таит в себе определенную опасность. Семиотическая терминология подчас буквально «затопляет» анализируемое произведение, критика из средства превращается в самоцель. К тому же читателю часто хочется, чтобы в стихотворении осталось нечто «недосказанное», «неразгаданное». Он чувствует: чрезмерное освещение содержания способно разрушить поэтический эффект. Необходимо соблюдать меру. И уж совершенно очевидно, что адресатом такой критики должен быть читатель уже просвещенный и «посвященный», обладающий запасом знаний... Но как быть с задачей сделать доступнее литературу, которая сама по себе герметична? Здесь-то и возникает проблема массовой культуры.

Включаясь в дискуссию, ДЖОРДЖЕ ИВАШКУ (Румыния) подчеркнул, что литературная жизнь в наши дни крайне осложнилась. Язык критики становится все более и более емким, вбирая в себя обширную терминологию разнообразных наук о человеке. Глубокие изменения произошли и в читательской среде: расширились «горизонты ожидания» читающей публики. Это явление связано, видимо, с информационным взрывом. Сегодня надо суметь совладать с двумя мощными силами: неслабеющим потоком информации и ростом числа читателей. Анализ современного положения культуры позволяет констатировать наличие двух кругов обращения книги. Первый можно было бы назвать «интеллигентским», второй — «народным». Бурное развитие средств аудиовизуальной информации (радио, кино, телевидение), их все более тесное переплетение с литературой определяет серьезные перемены в самом процессе понимания художественного произведения. И критик — ничего не поделаешь! — обязан с этим считаться.

Итоги размышлений ИСИРО САЙТО (Япония) несколько обескураживают: «В последние двадцать лет литература исчезает с умственного горизонта японцев. Людьми завладевает телевидение. В некоторых семьях телевизор не выключают с семи утра до полуночи...» Люди почти совсем перестали читать романы. Некий крупный писатель на приеме в одной токийской книжной лавке был неприятно удивлен тем обстоятельством, что там с почтением встречали неведомых девиц, а его просто не замечали! Выяснилось, что эти барышни — авторы комиксов для девочек...

У молодежи, особенно учащейся, почти не остается досуга для чтения: конкурсные экзамены в университетах столь трудны, что все читается, как правило, с прицелом исключительно на предстоящий экзамен.

Да, упадок гуманистической культуры в стране, пожалуй, был подан Сайто слишком уж мрачно. Неужто японских писателей читают только за рубежом?!

Впрочем, кризисные явления, как отмечает Сайто, компенсируются жизнестойкостью хайку — народного поэтического жанра, отмеченного краткостью и емкостью. Создатели хайку — не профессиональные поэты, это рабочие, торговцы, служащие... Даже иногда министры. Они объединены в кружок, насчитывающий несколько сот членов, выпускают ежемесячный журнал.

Сочиняются хайку коллективно. Руководит занятиями Мастер, он и выбирает наиболее удавшиеся вещи. Никому, впрочем, не возбраняется критиковать чужие стихотворения. Это, конечно же, подстегивает соревнование. Сайто полагает, что сосуществование творчества и критики в замкнутом кружке побуждает каждого к самовыражению. И, естественно, развивает эстетическое чувство. Однако замкнутость и отгороженность этой группы подгоняет творчество подчас под некий средний уровень — под вкус большинства. В этом, на взгляд докладчика, и состоит основной порок коллективного творчества.

ХЕНРИК КАЙШ (ГДР) обратился в этой связи к своему личному опыту — критике пьесы, написанной и сыгранной заводскими рабочими. Энтузиазма было — хоть отбавляй, но пьеса, увы, оставляла желать

лучшего. Тем не менее оказалось, что объяснить авторам, почему это именно так — задача и тягостная, и трудная. Вероятно, зачастую банальны и хайку. Творческий процесс все-таки требует одиночества.

Как преломляются затронутые в дискуссии общие проблемы в развивающихся странах? На этот вопрос отвечает доклад ПОЛИКАРПА УАЙЕ НДЗЬЕ (Камерун). Критика, например,— явление, исторически неведомое традиционному обществу. Незакрепленность устных форм литературы препятствует глубокому их исследованию. Африка как бы безоружна перед дисциплиной анализа. В этом она безмерно отстала. Неорганизованность или просто отсутствие образовательных структур более чем очевидны. Если Африка хочет получить компетентное суждение о своей художественной и литературной продукции, ей необходимо создать корпус собственных сведущих критиков. Почти поголовная неграмотность населения, оторванность писателя от корней — наследие колониальной эпохи, вынудившей африканцев выражаться на чужом языке,— все это усугубляет положение. Кроме того, в жизнь развивающегося общества вторгаются средства массового воздействия — здесь они гораздо опаснее, чем на Западе, ибо они покушаются на устную традицию там, где письменная находится еще в зачаточном состоянии. Транзистор, потоки комиксов — культура ли это? И публика, и творческая личность, таким образом, предоставлены самим себе. В подобной ситуации именно от критика в немалой степени зависит, каким окажется творчество будущего.

Африканская критика пока еще лишь начинает складываться. Что касается Старого света, то тут она, как известно, имеет долгую историю. Однако именно это порой мешает ей стать на уровень своего времени. О подобных недостатках современной критики говорит ПЬЕР ГАМАРРА (Франция). Критика (с прискорбием констатирует Гамарра), во всяком случае во Франции, не обращает внимания на произведения, предназначенные юным читателям. А между тем тиражи этих книг превосходят тиражи изданий для взрослых. Значит ли это, что критика здесь не нужна? Безусловно, не значит. Именно критика и знатоки литературы для юношества обновили ее после второй мировой войны. Именно их углубленная и достойная похвалы работа помогла этой литературе выбраться из заезженной колеи на широкий путь, преодолеть патернализм, покровительственный тон в отношении к ребенку, избавиться от сюсюканья и слащавости.

Но существуют еще комиксы, детективы, научная фантастика... Тут наша критика, как правило, просто молчит. И тем самым все же играет роль отборочной инстанции. Это ее право, конечно. Но надо обозревать литературный процесс в целом, во всей его полноте. Разумеется, нельзя отрицать, что названные выше жанры грешат непротивлением стандартизации, превращению своей продукции в товар... Подобной литературе ничего не стоит соскользнуть с уровня произведения искусства на «уровень» предмета потребления — отсюда ее дурная репутация. Не тут ли как раз и необходим беспристрастный суд критика?

И, наконец, есть на Западе еще один род литературы, о котором критика словно бы и вообще не подозревает: произведения, адресованные определенной части женской публики, любовные и так называемые «чувствительные» романы. Критика, естественно, знает об их существовании, но предпочитает не замечать. А стоило бы обратить на эти книги внимание, учитывая хотя бы их огромные тиражи и популярность. И тогда можно сделать любопытные открытия: читательницы, вскормленные на такой литературе (а точнее — антилитературе, по сути!), отличаются нежеланием читать что-либо иное. Они сформированы и деформированы приторными сиропами, от которых библиотекари не в силах их оторвать.

Ничто, относящееся к литературе, не должно ускользать от внимания критики. Комиксы, «дамское» чтение, романы «черной» серии — все это следует включить в сферу ее интересов. В общем плане, по крайней мере.

Было бы нелепо говорить сегодня лишь о европейских классиках, пренебрегая вкладом латиноамериканских, азиатских или арабских литератур. Столь же нелепо закрывать глаза на то, какие сокровища фантазии, тонкости чувств, человечности несет в себе литература для юношества в ряде стран.

Критика обязана позаботиться о том, чтобы воспитывать самую широкую публику, воздействовать на нее. Сегодня телевидение, радио, некоторые формы журналистики приучают нас к дискуссиям, дебатам, к более быстрой и проницательной критической оценке. Мы подходим, таким образом, к вопросу о роли масс-медиа, средств массового воздействия. Нельзя же в самом деле в обсуждении подобного рода вопросов просто отмести, как нечто несущественное, электронную технику информации! На нее возлагали большие надежды, считали ее создание одной из важнейших революций XX века. Однако судя по выступлениям некоторых критиков здесь, в Дельфах, можно подумать, что эти надежды были обмануты.

Позиция Марселя Лобе — откровенно консервативная — пожалуй, исключение. Он считает, что отношения между отправителем (критиком) и адресатом (читателем, слушателем) сегодня совершенно аналогичны существовавшим в Гуттенберговой галактике, а средства массового воздействия лишь популяризируют определенные данные. Большинство же участников встречи возлагает именно на масс-медиа ответственность за сегодняшний культурный кризис, переживаемый Западом. Аудиовизуальная авантюра рассматривается ими как крах. Во всяком случае, в культурном плане. Книга остается незаменимой.

Основная вина — и беда — средств массовой информации состоит в их подчинении власти денег и меркантильным интересам.

Робер Андре в своем выступлении подчеркивает, что художник и критик оказываются сегодня в парадоксальной ситуации. Долгое

время писатель обращался к весьма узкому и хорошо знакомому кругу. Попросту говоря, он работал для определенного класса своего общества. Поле критики, так сказать, «покрывало» сферу его деятельности.

В наши дни число потенциальных читателей, любителей искусства бесконечно возросло. Но эта публика аморфна. Художественное произведение рискует затеряться в этом океане — независимо от собственных достоинств и оценок критики. Сфера воздействия критики также расширилась, но часто ли прислушиваются к ее голосу? Такова расплата за непомерное значение, которое западное общество потребления придает рыночной ценности книги. Этому немало способствуют и масс-медиа. Никогда еще художник не обладал столькими средствами (в том числе — и масс-медиа), чтобы добиться признания, однако средства эти — увы! — совершенно не в его власти. И чаще всего даже оборачиваются против него — в том случае, если его произведения не гарантируют немедленной прибыли. Тут уж ему ни за что не добиться широкого распространения. Отношения между художником и публикой, как видим, извращаются.

Парагвайский писатель Аугусто Роа Бастос в одном из номеров «Курьера ЮНЕСКО» с горечью признает: «В судьбе книги теперь играет роль не качество текста, а перипетии рекламы и сбыта во всех возможных комбинациях. Более того, психологический нажим средств информации не только не развивает интеллектуального интереса публики к чтению, но, напротив, грубо диктует ей выбор».

Каков же выход? Ответ отнюдь не прост. Ведь речь идет об общественном явлении. А общественные явления развиваются по объективным законам — их нам не дано контролировать. И уж во всяком случае эти законы не имеют обратной силы. Что можем сделать мы, критики? Прежде всего — добиваться в наших странах проведения культурной политики, которая бы не потворствовала до такой степени рекламным империям. Наоборот — она должна воспитывать вкус у публики и поднимать культурный уровень, сильно понизившийся, вопреки развитию образования. Именно здесь должны сыграть свою роль ЮНЕСКО и другие неправительственные организации.

Эта политика должна опираться на этику общения — в широком смысле слова. Ибо послание писателя и художника обречено — хотят они этого или нет — пройти через средства передачи, столь же сложные, сколь и коварные. Такую этику надо создать. Известные слова Эзопа о языке можно отнести и к средствам массовой информации: все зависит от их употребления. Посредник — всего лишь промежуточное звено. Если мы хоть в какой-то степени уничтожим изоляцию, на которую художник обречен на Западе современными принципами распространения, мы уже одним этим сделаем много для развития творчества и шире — исконного стремления человека к поискам прекрасного.

Отвлечемся теперь от изложения выступлений. В ходе дискуссий (к сожалению, не было возможности их полностью записать) мы пришли к соглашению по нескольким основным вопросам. Во-первых, критика постоянно влияет на творчество — a priori — созданием моделей, на которые предстоит опираться художнику, a posteriori — своим откликом на его творения, передачей его послания грядущим поколениям. Критик — хранитель культурного наследия, но он, если так можно выразиться, еще и «инициатор» будущего. В настоящем же он остается необходимым посредником между художником и публикой, которую призван воспитывать.

Эти отношения переживают в нашу эпоху своего рода кризис. Мы проанализировали различные его аспекты и даже предложили некоторые меры противодействия. Наши дебаты вылились в принятие — единогласное — «Заключительной рекомендации». Отдельные ее параграфы совпадают с целями и принципами деятельности, сформулированными в перспективном плане ЮНЕСКО под рубрикой «Культура и будущее», а также с решениями Всемирного конгресса книги, проходившего в Лондоне (июнь 1982).

В чем же суть «Заключительной рекомендации»? Она констатирует, во-первых, роковую роль западных средств массовой информации в развитии художественного творчества, критики. Книжный рынок наводняется посредственными произведениями, так называемыми «бестселлерами», культурный уровень падает. Усугубляется культурная отсталость многих стран, в том числе — «третьего мира».

В чем же наши конкретные задачи? Прежде всего — в усилении воспитательной работы, в ускорении перевода лучших произведений мировой литературы.

Этика общения, о которой уже говорилось выше, должна обеспечить первостепенное значение качества. Критикам и искусствоведам следует открыть полный доступ ко всем средствам массовой информации. Эстетическое воспитание, порой недостаточное или вовсе отсутствующее, надо улучшить, обеспечивая подготовку детей и подростков к восприятию произведений искусства, что подразумевает и борьбу против тенденции сокращения часов, отводимых на литературу в школе.

И, наконец, мы должны поддерживать художественное творчество, усилив помощь уже существующим культурным организациям. Если мы добьемся хотя бы частичного успеха — а ЮНЕСКО здесь обеспечена всесторонняя помощь со стороны МАЛК,— литературная критика вновь обретет авторитет у художников и будет способствовать обогащению художественного наследия человечества. Как в прошлом. Ведь прежде всего именно оно, художественное наследие, как писал Андре Мальро, позволяет человеку возвыситься над своим конечным уделом...

Что ж, секретарь Суда откладывает теперь перо, дабы поблагодарить всех своих собратьев и друзей, позволивших ему написать эту статью. И ставит свою подпись — Робер Андре.

Перевод с французского МАРИИ ЗОНИНОЙ

АГНЕССА КУН

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Несколько слов об авторе

Вдруг подумалось: быть может, автора этих воспоминаний и не надо представлять нашей читательской аудитории — уже много-много лет как выходят на русском языке книги венгерских писателей, где значится имя Агнессы Кун; она дважды награждена Золотым орденом труда за работу по популяризации в СССР литературы своей страны. Ее имя стоит едва ли не на сотне книг (поначалу она выступила под псевдонимом Анны Красновой) в качестве редактора поэтических переводов, составителя сборников, автора комментариев и, разумеется, переводчика — венгерских народных сказок, прозы Шандора Петефи, Жигмунда Морица, Гезы Гардони...

Вот и теперь: на столе новая книга. Агнесса Кун — ее составитель и редактор переводов. На сей раз избранная лирика ее мужа, большого венгерского поэта, прозаика, переводчика. Книга Антала Гидаша; его уже нет среди нас. «Утро весеннее, тополь седой...» Как много говорят эти берущие за душу строки, вынесенные на обложку, тому, кто в той или иной мере прикоснулся к судьбе поэта. Кто знал его жизнелюбие, веру в бесконечное обновление жизни, кто знал его стихи последних лет,— в них все чаще ощущение радости бытия, мысли о самых насущных делах рода людского переплетались с печалью по поводу уходящих лет, с философскими раздумьями, вызванными пониманием конечности существования отдельного человека... Но верх брало жизнелюбие:

Нет, не смерти я боюсь —
Просто жизнь люблю.

(Из стихотворения «Грусть». Перевод И. Горской)

Их обоих — Агнессу Кун и Антала Гидаша — не зря называли в Венгрии полномочными послами венгерской литературы в Советском Союзе. И мы знаем, как в этом труде, этом — можно смело сказать — деле их жизни один счастливо дополнял другого. Истинное знание венгерской литературы, точность выбора произведений — здесь первую скрипку играл Антал Гидаш — сочетались с высоким уровнем перевода: ведь у Агнессы Кун рука об руку с родным языком шел язык русский, рядом с любовью к родной поэзии шла любовь к поэзии русской. (Дочь выдающегося венгерского революционера Бела Куна, после падения Советской венгерской республики она долгие годы жила в Москве, где окончила и школу, и университет.) Не потому ли и удавалось ей редактировать переводы с венгерского, сделанные такими поэтами, как Б. Пастернак, Л. Мартынов, Н. Заболоцкий, Н. Тихонов, С. Маршак, К. Чуковский, Д. Самойлов, Б. Слуцкий и еще многими,— они с доверием относились к своему «строгому редактору».

Эти замечательные художники слова принимали участие в работе над собранием сочинений Шандора Петефи, сборниками произведений Михая Вёрёшмарти, Яноша Араня, «Трагедии человека» Имре Мадача, стихами Эндре Ади, Атиллы Йожефа, Миклоша Радноти и Дюлы Ийеша, Иштвана Шимона и, разумеется, Антала Гидаша. Следует назвать в этом ряду и превосходную «Антологию венгерской поэзии», составленную и подготовленную к печати Агнессой Кун.

В один из визитов с Анталом Гидашем в «Иностранную литературу» (а мы хотели их видеть всякий раз, когда они приезжали в Москву) Агнесса вспоминала, как всегда стремились друзья в Советском Союзе помочь им, чтобы венгерская литература обрела вторую родину в нашей стране. А. Фадеев, А. Сурков, Б. Полевой не могли не видеть их увлеченность работой, понимали желание не отрываться от родных корней. Именно об этом говорил и Антал Гидаш в одном из стихотворений:

На Фурмановской улице однажды по весне,
когда тоска по родине уже дошла во мне
до потолка, я распахнул окно —

и вдруг, как будто голуби, клевать тоски
зерно,
как ласточки, стрижи и журавли,
они влетели в комнату —
стихи моей земли.

И с русскими поэтами я познакомил их
и — с помощью Агнессы — запел венгерский
стих
в чеканке новой ритмики, идя от уст к устам,
и те стихи венгерские не улетели осенью,
как птицы перелетные,
а все остались там.

(«К истории венгерской поэзии за рубежом». Перевод Л. Мартынова)

Сейчас Агнесса Кун, как, впрочем, и всегда, полна творческих планов, много работает («Только бы сил хватило...»). В том числе — над книгой воспоминаний: материал у нее богатейший. В этом, как нам кажется, сможет убедиться читатель по тем проникновенно написанным главам, которые мы предлагаем его вниманию [1].

И. ЗОРИНА

Несколько слов о Николае Чуковском

Лежат письма. Грудой лежат и уже разобранные по конвертам. Это письма друзей. Иные конверты еще пополняются, но многие уже нет. И все равно, стоит только случайно или не случайно коснуться этих листков бумаги, заполненных родными почерками, и от них сразу повеет теплом. Таким необходимым. В этих письмах, в этих уже не пополняющихся конвертах ты сама еще вместе с теми, с кем уже не встретишься больше, приехав в Москву.

Николай Корнеевич Чуковский! Его да и многих из его семьи мы знаем, если можно так выразиться, и по горизонтали и по вертикали тоже. Начиная от деда — Корнея Ивановича и кончая внуком Митькой, который, когда ему исполнилось десять лет, развесил по всей столовой флажки, а на самом большом написал красными чернилами: «УРРА! Десять лет!» Ему было десять лет, и кругом все еще были живы.

А нынче уже нет и Корнея Ивановича, одного из самых интересных и умных людей, с кем мне приходилось встречаться. Нет и Николая Корнеевича. Он тоже был умный — в папу своего, он тоже обладал драгоценной исторической памятью, которой так печально лишены многие люди, и тогда у них нет корней, нет устойчивости, они, как былинки, гнутся долу от малейшего дуновения. Внук Митька, слава богу, есть. Теперь он уже Дмитрий Николаевич Чуковский, режиссер Всесоюзного телевидения.

Так оно и идет. Таков порядок жизни, говорят. Но для нас совершенно невыносимо, что в Переделкине, знакомом нам с Гидашем, можно сказать, с того дня, как его начали строить, почти нет никого из прежних хозяев дач, нет замечательных русских писателей, которые были нашими друзьями. Однако с той поры, как на переделкинских улицах между стройными соснами не стало видно высокой фигуры Корнея Ивановича Чуковского — Переделкино для нас и вовсе опустело...

Не стало больше человека, к которому стремились люди от мала до велика, потому что он был очень интересен, активно участвовал в жизни нескольких поколений русских писателей, которые пережил две революции, шел дальше, дальше, дошел до самых наших дней; и я смело могу сказать: он-то и соответствовал словам Маяковского — до старости рос без старости. И все нес в себе, в своей памяти и многое из этого передал своему сыну — Николаю.

Николай Корнеевич, я бы сказала, был изощренно культурным человеком, в гораздо большей степени оставался по своим манерам петербуржцем, нежели его отец. Николай Чуковский очень рано ушел из жизни, но очень рано и вошел в литературную жизнь Петрограда. Застал еще «Цех поэтов», был знаком, в частности, с Ахматовой; дружил в ранние годы с Пастернаком, состоял с ним в длительной переписке. Был близок к Мандельштаму, также в свои ранние годы, и одно из стихотворений Мандельштама «За гремучую доблесть грядущих веков» именно он, Николай Корнеевич, прочитал мне во время вечерних прогулок, когда мы с ним и с Гидашем шли по искрящемуся хрусткому переделкинскому снегу: «...Мне на плечи кидается век-волкодав, но не волк я по крови своей...» Так оно

[1] Главы, посвященные Н. Чуковскому и Л. Мартынову, опубликованы на венгерском языке в журнале «Soviet Irodalom» («Советская литература»).

и сохранилось, это стихотворение, в моей памяти, как бы окрашенное интонацией Николая Корнеевича Чуковского.

Нашу дружбу можно мерить и пройденными вместе километрами (только быстроногий Гидаш страдал: «Ползете, как гусеницы») и метрами стихов, которыми мы — было время — объяснялись друг с другом.

Да, в литературу и во взрослую жизнь Николай Чуковский вошел очень рано, ведь и с Мариной, которая была ему женой и матерью его детей, да и по сей день ее усилиями, ее трудами поддерживается род Чуковских,— с Мариной они поженились, кажется, тоже лет девятнадцати. В литературу же он вошел еще раньше. Но ум, отзывчивость позволили ему сразу воспринять послереволюционную литературу, приобщиться к ней. Я имею в виду и поэзию и прозу двадцатых, тридцатых, сороковых, пятидесятых и даже шестидесятых годов. Он всегда умел относиться к литературе избирательно и в каждом десятилетии находил что-то нужное для себя. В прозу и сам вошел активно. Написал ряд интересных рассказов, повестей и приобретший широкую популярность роман «Балтийское небо» — сгусток его собственного опыта в Великую Отечественную войну.

Николай Корнеевич никогда не был снобом, для этого он был слишком полон гражданских, революционных чувств и убеждений, и слишком был он связан корнями с великой русской культурой, чтобы вот так, ни за что ни про что пускаться вдогонку за преходящими модными пустяками. А так как он не был снобом, то и не отвергал ничего во имя снобистского догматизма, эдакого лжеаристократизма. Он, конечно, отлично разбирался в том, «что такое хорошо и что такое плохо», при этом ему была сродни мечта Маяковского, чтоб было побольше поэтов хороших и разных. Помню, с каким радостным волнением принял он новую поэтическую волну.

Кого же он любил из современников? Конечно, Пастернака, Маяковского, Ахматову, к моему величайшему негодованию, весьма холодно относился к Цветаевой, любил, обожал поэзию Заболоцкого, к концу жизни влюбился в стихи Леонида Мартынова. Из украинских поэтов всего милее ему был Первомайский, а из современных иностранных, пожалуй, Тувим, которого он отлично перевел.

«Крупное», то самое слово, что он применил в одном из писем к творчеству Гидаша, было его любимым, когда он говорил об искусстве вообще. Он понимал, что только «крупное» может быть истинным в искусстве, все прочее проходное.

В очерке о Мартынове Гидаш писал, что основу нашей с ним дружбы заложил не кто иной, как Шандор Петефи. Так же оно было и с Николаем Корнеевичем, могу добавить я.

Худой, молодой, но уже лысеющий, в рыжевато-коричневом костюме пришел он к нам впервые в начале 1947 года на улицу Фурманова в дом 3/5, квартиру 5, где мы прожили столько лет в беспокойном, но все-таки чудесном, созданном нами и нашими друзьями поэтическом микроклимате.

Николай Корнеевич очень быстро вошел в этот микроклимат, иначе говоря — мы начали работать над переводами стихов для первого однотомника Петефи.

Каким-то десятым чувством поняла я сразу, какие стихи подойдут ему для перевода — наиболее традиционные, юношески любовные и те, что построены на традициях венгерской народной песни, такие стихи, в которых непременно должно быть соблюдено классическое изящество формы.

В Петефи Николай Корнеевич влюбился мгновенно, любил его преданно и верно, вкладывая в эту любовь весь свой взрывчатый нрав. Пока мы не закончили работу над четырехтомным собранием сочинений Петефи, любую другую он считал чуть ли не изменой Петефи, да и вообще: «Разве можно сравнивать?..»

Когда после первого однотомника Петефи мы трудились над «Антологией венгерской поэзии», а надо сказать, что роль Чуковского здесь была особенно велика (ведь большинство открывающих «Антологию» стихов, начиная с XV века, с Петера Борнемиссы до Чоконаи, Бержени, перевел он, и перевел виртуозно, замечательно — у него ведь было не только чутье, но и точное знание стилей поэзии разных эпох, а для перевода стихов тех давних времен это необходимо), так вот, тогда мы уже подходили к концу «Антологии», но все никак ее сдать не могли. Николай Корнеевич, если я просила его перевести еще одно стихотворение какого-нибудь современного поэта, приходил в бешенство и ругал меня: «Да кончайте же, наконец, Агнесса, с этой «Антологией». Скорее возьмемся за собрание сочинений Петефи. Вот это будет крупно по-настоящему».

А как восхищали его гражданские, революционные стихи Петефи: «В мире нет больше такого революционного поэта!» А как он умел восхищаться чужими переводами! Но как же он сердился и раздражался, когда я просила внести какие-нибудь исправления. «Я вам не Мартынов,— кричал он, выходя из себя.— Я не умею все давать вам в пяти вариантах. Это мой предел! И не буду, не буду ничего исправлять!»

Иногда дело доходило до такого крика и скандала, что в дверях появлялся Гидаш, который работал в соседней комнате, и по праву старшего наводил порядок и мир. Николай Корнеевич остывал, укладывал стихи в папку, уносил их домой и превосходно исправлял все, что надо... И сам бывал доволен: «Да, стало лучше». Ну, а я скромно молчала. Так шла работа над стихами Пете-

фи, над стихами для «Антологии», так было с Аранем и даже с Радноти и Йожефом. Но как он ужасно скандалил, когда мы переводили Вёрёшмарти, даже вспомнить страшно. Особенно когда дело дошло до пьесы «Кровавая свадьба». Тут уже и Гидашу не удалось навести порядка. Мы чуть было не поссорились. Но только чуть было... потому что наша дружба продолжалась до конца его жизни.

В одном письме он сообщал нам в марте 1964 года: «Все затянулось, потому что мы с Мариной летали на десять дней в Армению. Меня пригласили туда на писательский пленум, я взял Марину и полетел. Там было прелестно. Сколько великолепных мест на божьем свете, и грустно, что через два месяца мне уже шестьдесят и скоро придется сказать: прости-прощай!»

А мы ведь не придали никакого значения этим словам.

Сейчас ему исполнилось бы семьдесят пять лет. И он с той поры мог бы еще многое написать, быть может самое главное в жизни, что не дописал. Мы-то ведь с Гидашем твердо знаем, что не дописал, потому что уж очень хорошо знали его самого.

О Леониде Мартынове

Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть моей тоски.
Сергей Есенин

Никак не могу прикоснуться к папке с мартыновскими письмами. Духу не хватает. Так-то ведь, вдали от Москвы, частенько кажется: Мартыновы живы, вернее сказать — жив он. Нина, его жена, умерла, как и Гидаш. Это стало для меня непререкаемым фактом с первого же дня. А почему — не знаю. Таково мое внутреннее ощущение, и, быть может, возникло оно потому, что Нину и Гидаша унесла одна и та же болезнь. Та самая, название которой в наш век страшно даже произнести.

Хотелось бы мне написать о Леониде Николаевиче, о Ниночке. Хотелось бы дать почитать всем его письма к нам, тем более что большинство из них написано стихами. Хотелось бы показать и письма Ниночки. Ведь все равно, что она, что он — они едины. Талантом поэта был наделен, конечно, он, а самой поэзией была она. Последними ее предсмертными словами были: «Самое главное — поэзия».

Умна была Ниночка не меньше Леонида Николаевича, хоть он и говорил: «Ниночка наивница». На самом деле она видела все на семь саженей вглубь, а уж людей понимала и чувствовала, будто радар сидел у нее в сердце. Правда, не читала Вернадских, Фридманов и уйму тех сугубо научных и научно-популярных книг, которые с жадностью и неимоверной быстротой поглощал сам Мартынов. Но сугубо научные по-настоящему и он, естественно, не мог понимать до конца. Они нужны были ему скорее для расширения поэтической фантазии, поэтических горизонтов. Схватывая общую концепцию этих книг, он думал лучше понять современность, для того чтобы и он и его поэзия не отставали от этого все быстрее куда-то несущегося века.

Многие называли его стихи-размышления философскими. Ах, как сердился он, когда его именовали интеллектуальным поэтом, философским поэтом, чуть ли не ученым. Он был и хотел быть просто поэтом. А поэт, ежели он настоящий большой поэт, невольно и даже неизбежно соединяет в себе мысли, образы, музыку, воображение и, если хотите, философские размышления, а также очень глубокие, зоркие представления о жизни — нередко провидческие.

Мартынов и Ниночка (не дай бог случайно назвать ее Ниной, это мгновенно приводило его в ярость: «Слышите, как вы назвали ее?») были, конечно, единым существом. Корнем, надежно прикреплявшим его к земле, была она, истинно русская женщина из провинции — ведь таких не сдвинешь с их устоев. Они всю жизнь остаются самими собой, со «спокойною важностью лиц, с красивою силой в движеньях». Недаром, обращаясь к ней, Мартынов писал: «Не отвечай, лишь кивни величаво» (стихотворение «Любовь»). Да, с величавой простотой! Так вот, корнем его была она — и потому вольно ж ему было, захватывая огромную амплитуду, радугой гулять в поднебесье, вольно было по-хорошему, по-умному спускаться в глубь истории своей страны, бродить по современности с большим пониманием и с «беспощадным оптимизмом», как говорил его лучший друг Антал Гидаш, которого, правда, как и меня подчас, раздражало чрезмерное постоянство его «беспощадного оптимизма», нежелание замечать теневые стороны жизни, хотя бы и старость и смерть. (А ведь от них никуда не денешься, как не удалось это и ему.) Вольно было Мартынову взмывать высоко к будущему, давая полный простор фантазии,— ничто ему не грозило: корень держал.

А вот когда корень стал хиреть, слабеть, вот когда корня не стало — он весь глубоко скрылся под землей,— то в страшных муках отцвел и сам Мартынов. Написал еще о Ниночке дивные, истинно мартыновские стихи:

Это я, может быть, превращусь в горстку
пепла,
Которая развеется по ветру,
Но чтоб он не попал тебе прямо в глаза,
и от слез, хоть на миг, ты не слепла,
Может быть, даже я, даже я не умру,
не умру,
А останусь на белом свете пусть даже
тенью,

Потому что надеяться может даже и
тень —
На неувядающее соприкосновенье
Со сладчайшим дыханьем твоим
в светлый день!
И не знаю, какой тебе нужен крест —
из камня или металла,
Но твердо знаю только одно:
Я тебя видел, как ты прилетала
Из Нескучного сада
Тогда
В окно!

(*«Это я, может быть, превращусь в горстку пепла...»*)

Сколько тут раскованности, даже больше чем обычно, будто просто сказалось, не написалось, а главное, сколько глубокой убежденности в том, что она, Нина, птицей залетела к нему. Залетела или нет — неважно! Главное, что он в это верил!

В какие только чудеса не верили мы с ним! Он даже в черную магию — была такая пора — и вместе в разные приметы. Ниночка обязательно должна была шептать ему какие-то колдовские слова перед тем, как он уходил куда-нибудь. И только один Гидаш, видно страшившийся всего иррационального, бунтовал против нас, сердился и все это, как он шутя говорил, с «принципиальных позиций воинствующего материализма». Пуще всего доставалось, разумеется, мне.

Но как же я обрадовалась, когда он восхитился прелестью «Лунного внука»,— по-моему, одного из самых проникновенных стихотворений, связанных с войной:

Этой старой деревни фактически нет —
Она была сожжена во время войны дотла,
И расплавились даже церковные
колокола.

Далее Мартынов рассказывает о том, как ее выстроили вновь:

...И девушки изб
Либо пляшут над тихой рекой, либо
плетут венок.
А старик
Обязательно смотрит на лунный диск
Через театральный бинокль.
— Что ты видишь? Дай посмотреть
и мне! —
Но старик не выпускает бинокль из рук,
Потому что там, на Луне,
Живет внук.
Пусть говорят, что старик нездоров,
не вполне он в своем уме,
Но ведь внук не убит, и не сгинул
в плену,
И не стал перемещенным лицом,—
Он был отважным бойцом на войне,
А после войны улетел на Луну,
И дело с концом.
Он в командировке, секретной пока, этот
внук старика.
Он работает там, на Луне,
и усовершенствует лунный свет,
Чтоб исправней сияла Луна и плыла,
и плыла...

В этом весь настоящий Мартынов! Ученый, философ? Нет! Великий фантазер, мечтатель от всей души, добрый человек!

...Нам светло и нам тепло,
Будто не произошло
Вовсе ничего дурного,
И с тобой мы живы снова
Крепко-крепко обнялись
И, обнявшись, понеслись
Ввысь!

(*«К Истру[1] мы с тобой идем...»*)

[1] Древнегреческое название Дуная.

И этому он верил почти, иначе сразу умер бы, не выдержал, когда жены не стало.

Нас было четверо. Первой ушла Ниночка, вторым Гидаш, третьим Мартынов, и осталась я одна. Не так уж уютно стало на свете. Утрачен и ритм жизни: 10-е, 20-е, 30-е числа. Это были Мартыновские дни.

Двадцать с лишним лет подряд сидели мы с Гидашем в нашей будапештской квартире и ждали их звонка: «Целую вас!» — говорила Ниночка, глубоким альтом подтверждая всю значительность своих слов. Потом брал трубку Леонид Николаевич и с ходу начинал делиться с Гидашем своим «беспощадным оптимизмом». Он-то ведь знал, что Гидаш революционный, но по своему складу трагический поэт, веселый человек, однако переменчивый по натуре, бурно-взрывчатый. И Мартынов уговаривал его, что надо работать, всегда работать. Гидаш обещал. Вроде бы не очень твердо, но, как выяснялось, это было лукавство. Он тоже, оказывается, всегда работал, и следы его трудов я нахожу везде.

Читая и переводя глубоко печальные стихи Гидаша последних лет, когда зрение все немилосерднее покидало его, Мартынов каждые десять дней хотел непременно передать ему хоть частицу своей бодрой работоспособности.

Впрочем, и в былые годы, стоило только пожаловаться на усталость, как он произносил всегда одно и то же: «Ничего, на том свете отдохнем!»

Разумеется, о Мартыновых, дружба с которыми длилась тридцать три года, я могла бы написать целые тома. У нас была общая жизнь, даже тогда, когда мы переселились в Венгрию.

О Мартынове-поэте я тоже могла бы немало сказать. Как ни странно, но он гораздо ближе подпускал меня к своему стихотворному хозяйству, нежели Гидаш, хранивший свои стихи, как глубокую тайну.

Мы приходили к ним, обедали или ужинали, и некоторое время спустя я забиралась в другую комнату — она служила и кабинетом, и спальней, и библиотекой,— самовольно выгребала из письменного стола первую попавшуюся груду стихов и начинала читать, раскладывая на три части: эти очень нравятся, эти меньше, а третьи и вовсе нет. Сначала бурная обида за те, которые совсем не пришлись по душе, постепенно наступало примирение: «Нинюша, видишь, сколько Агнесса выбрала. Значит, понравились». И у Нины камень с души. После споров о том, кто будет читать вслух Гидашу понравившиеся стихи, как правило, я принималась за чтение. Мартынов сидел довольный, сосредоточенный: вот, мол, как нравятся его стихи Анатолию Францевичу, да и этой вредной Агнессе тоже. Он сам, разумеется, прочел бы их куда лучше, но разве с ней поспоришь! И тут завязывается обычная буйная перепалка: кто

лучше читает его стихи — он сам или я. Той порой я была уверена, что я. А теперь скажу честно — последние десять лет он читал их куда лучше меня, в чем я и не преминула признаться ему. Леонид Николаевич остался премного доволен: «Ну конечно же я был прав, как всегда!» Последнее было не просто слова, а твердая убежденность. И относилась она ко всему на свете. «Он прав, как всегда!»

Перепалка кончалась. Воцарялся мир, чтобы очень скоро вспыхнуть новой ссорой-спором. Мы, как мальчишки, дрались с ним на кулачки, но задирался почти всегда он. Ниночка с Гидашем добродушно улыбались: дескать, опять началось, что с ними поделаешь!

Ниночка обычно была на моей стороне, хотя бы и потому, что Леонид Николаевич дерзил, деспотично утверждал свое превосходство и всячески пытался доказать мое невежество. «Ну, а Моравскую вы читали?» — ехидно спрашивал он, вытаскивая из недр памяти имя почти забытой поэтессы. «Представьте себе, читала»,— с не меньшим ехидством отвечала я. «Ну, а о Соллогубе и понятия, конечно, не имеете?» Я принималась читать на память соллогубовские стихи и, чтоб еще подлить масла в огонь, заявляла, что начало века знаю не хуже его и недаром Корней Иванович Чуковский во время одной из прогулок произнес шутливо: «Так как из нашего поколения нас осталось только двое...» — желая этим подчеркнуть, что я очень подробно знаю литературу и литературную жизнь начала века, о которой мы вели с ним бесконечные беседы. Эти слова, бывало, уже вовсе бесили Мартынова. (Надо сказать, что Корнея Ивановича он необычайно почитал, как «лучшего русского критика XX века.)

И тут уже шла в ход глумливая «сударыня». «А Есенина, сударыня, небось презираете?» — «Есенина?» — мгновенно заводилась и я: полчаса подряд читала любимые стихи моего отрочества, читала Есенина. Победа была за мной, но последнее слово все равно оставалось за ним. «А «Ключи Марии» так и не прочла. Вот!» И Мартынов торжествующе скрывался за дверью.

Иной раз Гидашу все это надоедало, тем более что у них отношения были совсем другие — я бы сказала, взаимоуважительные. Никто ни с кем не задирался, оба охотно и любезно уступали друг другу. В этом сказывалась нежность поэта к поэту. Так вот, Гидаш, которому хотелось поговорить на серьезные темы, спокойно и решительно вставал со своего места в углу комнаты у окна и приглашал Леонида Николаевича перейти в другую комнату покурить.

Наступал блаженный миг — мы с Ниночкой оставались вдвоем и всласть могли наговориться обо всем, о чем женщинам всегда требуется поговорить друг с другом.

Частенько забегала Галина Алексеевна, доктор, друг и ангел-хранитель их семьи. Милая, славная, тоже из русских женщин, которые знают, что такое самозабвенная любовь. Она вынесла на своих нешироких плечах всю тяжелую болезнь Ниночки, столь любимой ею, после ее смерти — болезнь Леонида Мартынова, вливая ему не только лекарства в вену, но и бодрость и жизненную силу. Горестно и страшно перенесла его кончину и теперь занимается его литературным наследством. Все взяла на себя! Низкий ей за это поклон!

Как и литератору Виктору Уткову, старейшему, вернейшему другу Мартыновых, который до последней минуты мужественно стоял с ними рядом, помогал даже сверх своих сил и с их уходом тоже осиротел.

Какая была гроза, как громыхал гром. Змеились молнии. Воистину разверзлись хляби небесные.

Хоронили Леонида Мартынова.

Даже природа взбунтовалась, не желала, чтобы он лежал под землей, хотела, чтобы он и дальше на земле воздавал ей хвалу. Неудивительно! В наше время редко кому удавалось сохранить такую живую связь с природой. Может быть, и мартыновский «беспощадный оптимизм» объясняется этим постоянным ощущением вечности природы, а стало быть, и себя, «царя природы», принимающего «посольство соловьев». Правда, к природе Мартынов настойчиво причислял и высотные дома, и краны, и прочие «дары» цивилизации. «Они же вписываются, ну как вы этого не понимаете!»

Малюсенький зал Центрального Дома литераторов. Посередине гроб. (Ах, каким маленьким стал в гробу высокий Леонид Мартынов.) И только голова казалась крупнее, чем была. Живой цвет лица, живые, так до самого конца не поседевшие волосы. Как хорошо, что существует в России этот обычай — открытый гроб. Еще раз напоследок видишь близкого человека. Еще раз можешь поцеловать его на прощанье, с тайной надеждой, что он это почувствует.

Васильки и ромашки принесла ему я — естественные, живые цветы. Их он любил больше всего, как и живую разговорную речь в своих стихах, которые, правда, взмывали иногда до одических высот.

Я приехала на панихиду прямо из больницы вместе со Светланой Коткиной. Мы молча сели с ней в углу. К нам подошел кто-то в полотняной гимнастерке с палкой в руке и сказал: «Как же это он умер? Я же вместе с ним в больнице лежал. Такой был здоровый мужик».— «Он не был здоров, он был болен»,— сказала я. «А вы что, знали его?» — «Немножко»,— ответила я.

Зачем мне было говорить совершенно чужому человеку, что познакомились мы с Мартыновыми давно, в очень трудное и для них и для нас время и сохранили любовь и дружбу, когда и им

и нам уже лучше жилось на свете. А ведь это так редко случается.

«Первый был поэт!» — промолвил человек с палкой и отошел.

Первый, второй, третий... Поэтов не ставят по номерам, им не надо рассчитываться слева направо, их не меряют ни пудами, ни верстами. Их носят в душе, не на руках, как писал сам Мартынов. В этом и есть истинная «словесная сила». О такой он мечтал. И мечта его осуществилась частично. О, как она осуществится еще в будущем!

А ежели говорить о номерах, то первым поэтом России был, есть и остается Пушкин — и прежде всего потому, что он первый создал ту русскую поэзию, которая жива поныне и пока еще никем не превзойдена. А остальные поэты, великие и прекрасные, идут уже по вольному выбору. Поэты, с которыми я прожила всю свою жизнь, чьими словами изъяснялась, пока не умела своими, у которых находила радость и утешение в разные и в тяжелые годы жизни, этими поэтами, кроме Пушкина, были Блок, Тютчев, позднее Цветаева. И не надо спорить со мной, ведь это не оценка и не суд — а личная душевная и духовная настроенность. Кто-нибудь другой назовет Баратынского, Ахматову, Пастернака, а третий — Лермонтова, Некрасова, Маяковского... и все они, да и еще немало других,— замечательные поэты, притом все разные. И хвала небесам, что столько великих поэтов в той стране, которую, если говорить применительно к поэзии, можно назвать страной Пушкина.

Мартынов — наш современник, и не надо о нем судить и рядить, уж лучше читать, любить и воздать после смерти все то, что не было додано при жизни. Он ведь не умел «устраивать свои дела». Он, в юности футурист, современнейший поэт до конца своей жизни, совсем не умел создавать вокруг себя ни шума, ни рекламы. Он ничего не просил, ни к кому не пристраивался, умел только одно — творить поэзию. А во всем прочем при всем своем уме и образованности был полный несмышленыш.

Я всегда говорила: «Гидаш, тебе от трех до пяти». Дети в эту пору еще наивны, смелы — не ведают опасности, а поэтому, столкнувшись с жизнью, мгновенно чувствуют трагедию, которая, правда, столь же мгновенно от малейшего проявления добра или солнечного луча сменяется жизнерадостностью. «А вам,— говорила я Леониду Николаевичу,— от двенадцати до пятнадцати». Он был вечный подросток, задиристый, очень любопытный ко всему окружающему в мире, втайне нежный и заботливый, легко ранимый и от этого дерзкий.

Последние тридцать лет оба жили главным образом в мире и для мира своей поэзии и читали, читали, читали. Гидаш, правда, шире раскрывал свои объятья людям, Леонид Николаевич, как и свойственно его подростковому возрасту, был более замкнут и опаслив. Чистые были оба — строго и целомудренно охраняли свою чистоту и непримиримость ко всему дурному.

К счастью, и мы, жены, поддерживали их в этом и считали свою жизнь служеньем, хотя и не формулировали это так. Хочешь не хочешь, а служи и считай, что на твою долю пришлось шесть человек детей и потому с ними столько мороки и счастья.

Кроме того, есть еще и судьба, а поэтам редко достается легкая. И дело не только в видимых всем обстоятельствах, а во внутренней судьбе, особой восприимчивости, особой сверхчувствительности.

Я считаю Мартынова человеком счастливой судьбы. Ему достался могучий поэтический дар, и не получил он к нему в придачу неприличной для поэта «знаменитости» (хотелось ему, конечно, иногда даже очень, но судьба уберегла его и от этого). Получил Мартынов от нее в дар любовь исключительной женщины, которую он не только любил, но и преклонялся перед нею, любовь и заинтересованность многих читателей и нескольких, но уж очень верных друзей. На моей памяти Бориса Слуцкого, Николая и Марину Чуковских, Валерия Дементьева, Леонарда Лавлинского, Владимира Сякина... Были, наверное, еще, но я уже позабыла.

Помню его. Помню ее. Помню нас всех четверых.

О Борисе Полевом

После того как Гидаш написал свои воспоминания о Фадееве, Полевой напечатал их в «Юности» и горячо отнесся к этой публикации, он — очень скромный и очень гордый человек — не раз говорил Гидашу смущенно: «Вот и обо мне написал бы по какому-нибудь поводу, глядишь, и на самого себя гляну другими глазами».

Но, видимо, не просто было написать о нем. Бывало, только заглядится на него Гидаш, заслушается его рассказами, всегда непременно о других людях, как Полевой уже ускакал на другой край света, и не угонишься за ним. Он всегда мчался впереди событий. Одним словом, для написания портрета, пусть даже литературного, он не подходил, разве что для бегущих друг за другом кинокадров. И Гидаш, хоть и не раз говорил: «Хочу написать о Борисе», однако ж остался в долгу перед ним.

Да зачем говорить о том, кому и чему остался должен писатель, который мог бы сказать следом за Маяковским: «Я в долгу перед бродвейской лампионией, перед вами, багдадские небе-

са...» — одним словом, в долгу перед всем и всеми, «о ком не успел написать». Впрочем, Гидаш в долгу только перед друзьями. Обо всем, что было главным, написал, потому что, как и у всякого истинного художника, у него тоже весь необъятный внешний мир мог стать «объятным» только потому, что сгустком искусства прошел через мир внутренний.

Попытаюсь-ка я хоть чуточку возместить долг Гидаша. Правда, не от меня ждал этого Борис Николаевич Полевой. Да и не потому я пишу, а потому, что венгерская газета принесла странную, страшную весть: «Умер Борис Полевой». И что же мне оставалось на Синей горе в Венгрии, где никто его лично не знал и поэтому не с кем было поделиться своим глубоким горем? Осталась бумага, по которой забегало, забегало перо, не поспевая за мыслями, чувствами, говорившими о том, что не выдержал неподвижности, как уже все последние годы с трудом выдерживал навязанную болезнью малоподвижность, так как в него генетически была заложена «охота к перемене мест».

Он сроду был скитальческой натурой, упрямой в своем стремлении увидеть что-нибудь новое, принять участие в каких-нибудь делах дотоле незнакомой страны, о которой с журналистской быстротой составлял себе представление, правда дополнив его безудержной фантазией, невзирая на документальность многого из того, что он написал. Это-то ненасытное воображение, думается мне, и рождало в нем постоянную тягу к новизне. Так и казалось, что даже за письменным столом он параллельно плел свои мечты о следующей поездке в знакомую или незнакомую страну и, может быть, даже привязывал себя к стулу, чтобы тотчас не сорваться с места, не сесть в самолет и не улететь куда-нибудь в Сибирь или в Анголу...

И он, Полевой, ни за что не ужежит под тяжким надгробным камнем. Этого представить себе нельзя. Скорее всего он уже на пути от Марса к Венере и, быстроногий, обогнав своих друзей, раньше его покинувших земную жизнь, в качестве разведчика планет и звезд выясняет, где им поначалу лучше всего устроиться, чтобы потом лететь дальше в другую Галактику. Там ведь он еще не побывал! А увидеть надо! Но так как он прилетал повсюду полный благожелательности к людям и к краям, куда стремился, то и в космосе не изменит своей натуре. Приготовив водочки, закуски («Ох, как трудно это без Юленьки!» А ей-то каково было, всю жизнь дрожавшей за него и обязанной это скрывать?), он поджидает своих фронтовых товарищей, друзей-писателей — Фадеева, Гидаша, Тихонова и, увы, многих, многих еще. Им и там найдется о чем потолковать!

Нафантазировалась всласть и по-глупому развеселилась с горя. Если б было так на самом деле и можно было бы полететь вслед за ними — тогда все было бы «о'кей!», как восклицал Борис Николаевич. Особенно убедительно звучало это в тех случаях, когда ему хотелось утешить кого-нибудь.

Милый, славный, добрый! Эти черты и помогли ему, должно быть, создать в литературе идеал отважного, мужественного человека. А многим ли удалось в наши дни создание идеала? Образ Мересьева непременно останется в русской литературе, потому что он являет собой воплощение самоотверженности, самопожертвования, которые не могут осуществиться без отваги. «Отваги красоты», как писал Александр Блок. В данном случае красоты поведения настоящего человека.

Хотелось Полевому, чтобы всем было хорошо вокруг, и не только вокруг, но и вообще повсюду в мире, а поэтому многое представлялось ему в гораздо более светлых тонах, чем было на самом деле. А может быть, особенно в последние годы, и не представлялось, а только мечталось. В соответствии с этим и писал.

Недаром старался он всегда шуткой перебить любой невеселый разговор. Когда же сам мрачнел иногда, то немедленно искал выход в действии, в движении: «Поеду куда-нибудь!»

«Старик, держи хвост пистолетом!» — говорил он обычно Гидашу, когда тому становилось по какой-либо причине невмоготу. И в глазах у Полевого появлялись лукавые искорки, на губах смущенная улыбка, как бы вопрошающая: «Ну как? Развесил уши? Повеселел все-таки? Теперь все о'кей!»

И начинался разговор. Особенно помнятся те, которые велись за обычным обеденным столом, стоявшим в простенке между окнами, когда обо всем, что ни подавалось за ним, хозяин сообщал: «Это Юленька засолила, это Юленькин маринад, да и огурцы ее засола. Вот ведь какая, а еще и в школе преподает!» Последним он особенно гордился, и вновь продолжалась веселая шутливая беседа, правда всегда будто нашпигованная серьезнейшими вопросами.

Хорошо было у них, с ними, ласково, по-родственному!

Когда мы уже не жили в Москве и только приезжали из Венгрии, не было случая, чтобы поздно вечером, провожая нас и обязательно до самого дома, Борис Николаевич не сказал: «Анатолий, у тебя, наверное, нет денег».—«Есть, Борис»,—решительно отвечал Гидаш. «А то возьми у меня. Я дам тебе,— и добавлял для вящей убедительности: — У нас же много». Хотя все заканчивалось непререкаемым: «Не нужно, есть у нас деньги», но все-таки было приятно, еще уютнее становилось в Москве.

Помню, это было давно, Полевой руководил Иностранной комиссией Союза писателей, и так она ему надоела, осточертела, не хотелось ему улаживать постоянно возникавшие дела, конфликты... Да и вообще, это было не по нему.

Однажды мы вышли вместе с ним из Союза писателей — той порой еще жили в Москве,— и он отправился нас провожать. Как всегда, шел легкой сколь-

зящей походкой, и зимой тоже в летнем пальто, без шапки, но молчал. Молчал, молчал — редко с ним случалось такое — и вдруг заговорил: «Брошу все к черту, полечу на Северный полюс!» Мы с Гидашем восприняли это как шутку. Но он упорствовал — полечу, да и все тут! И верно, вскоре улетел и вернулся радостный, довольный, помолодевший. Вырвался! Новых людей повидал, ступал по новым для него местам своей родной земли и даже родных льдин. «А как же вы думаете, и льдины родные, раз на них живут наши героические люди!»

Сам он ведь тоже был героем — доказал это в войну и, думаю, много раз после войны. Только что не говорил об этом, не «ходил в героях», как бы маскировался под самого себя первозданного: парнишку из города Тверь. Да, пожалуй, и маскироваться было не к чему: от того парнишки в нем многое осталось.

«Борис!» — окая называл его Гидаш и очень любил за верность дружбы, за доброту, за юмор, за стремление всегда подбодрить человека, а позднее сильно переживал, видя ту глубокую печаль, которой Полевой весь пропитался за последние годы: он уже несколько лет в тайниках души ощущал, что дело идет к концу. Ослабел, похудел, но не хотел сдаваться, хотел жить и действовать, как всегда, и быть таким же другом, как всегда. Никогда не забуду: в один из наших приездов в Москву они с Юленькой навестили Гидаша в глазной клинике после операции. Хотя внешне Борис Николаевич больше, чем Гидаш, походил на больного, все-таки он шутил, словно ни в чем не бывало, ободрял, как всегда, и главным его стремлением было развеселить Гидаша. И ему удалось! Потом я пошла провожать Полевых, и мы втроем стояли на замусоренном дворе клиники под ярким, жарким солнцем, и Полевой развивал разные мысли о том, как помочь Гидашу душевно, а меня серьезно и строго учил, что надо вести себя в жизни более дипломатично и не всегда резать правду-матку в глаза. Учил, да не научил. А солнце светило и все еще казалось бескрайним, бесконечным.

А я сама любила Бориса Николаевича еще и за редкое теперь качество: за наличие у него исторической памяти. Он помнил героев Октября, он помнил героев первой пятилетки, он не только помнил, но и писал все время о героях Отечественной войны, он очень многое помнил, хотя и жил всегда нынешним днем. А как же иначе: «Я ведь журналист!» — повторял он неустанно. Он и к нам относился по-особенному. Он был последним из тех наших друзей, кто любил Гидаша за то, что он революционер, интернационалист, а поэтому человек и поэт, полный исторического оптимизма. Теперь уже Гидаша будут любить за другое: за то, что он настоящий поэт, которому выпавшие на его долю испытания, а также отсутствие эгоцентризма и карьеризма (Не правда ль последнее слово странно звучит в применении к поэту? Но, увы, таких немало) позволили запечатлеть героичность, трагизм, а подчас и гротескные черты нашей эпохи, причем сперва все пропустив через свою душу, благо она у него была.

Полевой чувствовал это, знал, но упорно придерживался того отношения, которое сложилось у него к Гидашу еще в юности.

В 1949 году Борис Николаевич работал в «Огоньке», редактором которого был Алексей Сурков. Однажды в феврале Полевой попросил Гидаша зайти в редакцию. Дело, мол, срочное. Гидаш вернулся оттуда слегка навеселе, озабоченный и очень возбужденный. Полевой сказал, что близится 30-я годовщина Венгерской пролетарской революции: «И ты, именно ты должен написать об этом стихи или цикл стихов, как хочешь». Ну и распили бутылочку.

Это был 1949 год. И вряд ли правивший в Венгрии Ракоши да и его подручные обрадовались бы его стихам, написанным к юбилею, думал Гидаш, да еще в таком популярном журнале. Полевой знал это не хуже, чем он, и все равно: «Ты, именно ты!»

Вот он, один из многих случаев, доказывающих драгоценную историческую память Полевого.

Я всегда для него была в первую очередь дочерью Бела Куна, и акцент ставился не на дочери, а на отце. Поэтому и помогал он мне в трудные годы, поэтому вместе с Фадеевым и Сурковым защищал от всяких ничтожеств, которые, к сожалению, не переводятся никогда, только в разные времена у них разные возможности. Хотя Полевой и молчал — так как иначе должен был бы говорить о себе, а этого он смерть как не любил,— но я-то знаю, что он сам вел счет годам своей жизни от тех лет революции, от тех революционеров...

Словом, если задуматься, то всегда можно понять, почему сроднились люди.

Как радовались мы, когда Полевые приезжали к нам в Венгрию, верно, я нередко досадовала: ну что такое, опять умчались куда-то! И здесь все ездили, путешествовали, все им было интересно, все хотели посмотреть. Оба! Ведь и Юля объездила с ним весь свет.

А какая была радость, когда мы двадцать лет подряд приезжали в Москву, и в первый же день звонили по телефону им, и в трубке слышались радостные восклицания Юли: «Боря, Боря, иди сюда! Скорей, скорей! Знаешь, кто приехал? Гидаши!» И подходил Борис Николаевич и тоже радостно, но более сдержанно, по-мужски говорил: «Рад, рад! Приветствую вас!» И тут же уславливались, когда приехать к ним: сегодня, завтра, словом, побыстрей!

Когда же я прилетала одна — они встречали на аэродроме. Юля с нескрываемой радостью, а Борис Николаевич, смущенно протягивая цветы, задавал первый вопрос: «Ну как там старик?» — «Никакой он не старик,— агрессивно отвергала я это слово применительно к Гидашу.— Гидаш ничего, пишет, целует

вас». И мы ехали вместе с аэродрома, и я все повторяла: «Ну будто не уезжала никуда, будто не уезжала!» А Полевой, сидевший рядом с шофером, довольный, оборачивался ко мне: «Ну конечно же не уезжала! Ну конечно же домой приехала. А как же иначе!»

Так хотелось ему, чтобы весь мир всем людям был родным домом. А уж тем более мне тот город, в котором я выросла, с которым разделила все печали и радости, в котором обрела любовь на всю жизнь и друзей на всю жизнь.

Только их все меньше и меньше. Пустеет для меня моя Москва! Скажу честно, иногда потому и ехать туда трудно. Нет и того, с кем вместе жили там, с кем вместе ездили потом туда, где на вокзале нас встречали и провожали по тридцать человек. Да нет и тех, кто нас так ждал и с кем мы так ждали встречи. Ушли постепенно, взяв с собой все, что накопили за жизнь: знания, опыт, понимание жизни, талант. К сожалению, никому ведь не удавалось полностью воплотить в своих произведениях то, что хотелось. От этого и муки истинных художников. А кроме того, ведь все созданное ими — общее достояние, потому-то их смерть такой великий урон для всех. Впрочем, что о ней говорить, раз она неминуема и, как говорят «умные люди», естественна.

Одни ушли еще до нашего отъезда в Венгрию. Фадеев... Вслед за ним ушел Николай Алексеевич Заболоцкий. А вскоре после нашего отъезда — Борис Леонидович Пастернак, затем Николай Чуковский и Корней Иванович Чуковский, Маршак, а уж дальше, но, по счастью, не так скоро — Мария Константиновна Тихонова, сам Николай Тихонов, Ниночка и Леонид Мартыновы (совсем для меня невыносимо), а теперь Борис Полевой, Галя Наровчатова, Сергей Наровчатов — наш ифлийский Сережка, и сколько их еще... по кусочкам унося нас самих. А из меня и вовсе вынув душу, потому что ведь и Гидаша нет уже со мной. Ощущение такое, будто сама смерть произвела испытание нейтронной бомбы — квартира есть, мебель стоит, рукописи лежат, а его, Гидаша, нет.

Все чаще охватывает чувство: «Одна, одна на всем свете!» Это, конечно, несправедливо, ведь у меня есть и родные, и чудесные добрые друзья, теперь уже есть и здесь, в Венгрии, но мне надо, чтобы были и те, с кем вся жизнь прошла, и чтобы друзей было много. Вместо путешествий по городам и весям я предпочитаю ездить и ходить от одних друзей к другим.

Ну вот, начала во здравие, а кончила за упокой! Борис Николаевич не одобрил бы. Но ведь веселье, почти эйфория, возникшие при мысли о том, что он вместе с друзьями путешествует от звезды к звезде, только затем и возникли, чтобы хоть ненадолго подавить глубокое горе, которое принесли странные, непонятные слова, напечатанные в венгерской газете: «Умер Борис Полевой».

И когда дошли до сознания, то первая мысль была о Юле, о детях, о том, что и у них вся жизнь перевернулась.

Но вернемся к живому Полевому. Это состояние было гораздо более под стать ему.

А как вернешься?

Не знаю даже, что было весь год с тех пор, как он заболел, как мы не виделись. Точно не знаю даже, чем он болел, с такой силой обступило его множество хворей. Сколько ни звонила, трубку не поднимали, сколько ни передавала приветов через друзей, сколько ни просила, чтоб они позвонили мне,— все тщетно.

Уж так оно было заведено в этой семье, в первую голову у самого Бориса Полевого: радостью делиться, а горе таить. Веселье же раздавать кругом. Многим. Всем.

◆

МОТОР ЗАПАДНОГЕРМАНСКОГО КИНО

В июне 1983 года в ФРГ прошли мероприятия, посвященные первой годовщине со дня смерти режиссера Райнера Вернера Фассбиндера. На сцене франкфуртской «Дас альте опер» состоялось представление «Рынок съедает душу», исполнялись стихи и песни Фассбиндера. На экраны ФРГ выпущен кинофильм «Больвизер», рассказ о жизни немецкой провинции начала века, созданный на основе его одноименного телевизионного сериала. Продолжаются съемки художественной картины, посвященной жизни режиссера.

В «Письме Райнеру Вернеру Фассбиндеру», опубликованном в июньском номере журнала «Штерн» за 1983 год, его ближайший сподвижник, актер и художник Курт Рааб писал:

«Дорогой Райнер! Твое место осиротело. За тот год, который прошел со дня твоей смерти, никому не удалось занять его. Не происходит ничего, что уже не происходило бы прежде. Полемика, брань, возбуждение вокруг твоего имени продолжаются. Тебе посвящаются бесчисленные ретроспективы. Твои фильмы дошли до австралийского континента. Но как изменилась наша страна после твоей смерти! Она медленно возвращается в эти проклятые 50-е годы. И не только в области политики, но и в сфере нашей деятельности. В передачах телевидения сильный сдвиг вправо. От них исходит невероятная скука. Ах, как мне хочется, чтобы повторилось то, что ты устроил с нашим телевидением в 1980 году, когда показал «Берлин, Александерплац».

Да, Райнер Вернер Фассбиндер был «ферментом» современной западногерманской культуры. Почти каждый фильм, созданный им, становился объектом страстной и непримиримой полемики. Как только его не называли: «западногерманским мессией и шарлатаном», «баварским хулиганом и тонкой душой», «левым фашистом и порнографом», «пуристом и маньеристом», «барометром коммерции», «эксплуататором», «эгоцентриком», «Лох-Несс западногерманского фельетона» и одновременно самым талантливым и оргинальным режиссером Западной Европы! Каждый спешил высказать свое суждение о нем.

Несколько причин побуждали журналистов обращаться к личности Фассбиндера. Во-первых, его необыкновенная, фантастическая продуктивность. За 15 лет своей творческой деятельности он поставил 42 фильма, 18 театральных спектаклей, написал 10 пьес, 2 радиопьесы и снялся более чем в тридцати картинах! Возбуждал интерес и тот факт, что героями фильмов Фассбиндера нередко становились асоциальные элементы, «люди дна»: проститутки, гангстеры, сутенеры, гомосексуалисты.

В Западной Германии отсутствует индустрия кино в общепринятом значении этого слова. Нет больших киностудий и централизованной системы проката. Кинематограф этой страны представляет собой совокупность множества независимых фирм, которым приходится преодолевать массу финансовых и экономических трудностей. «Клан Фассбиндера», клан его сподвижников, представлял собой оптимальную модель творческого коллектива, который работал при сравнительно низких экономических затратах. Опыт Фассбиндера чрезвычайно помог другим режиссерам ФРГ. Вот что пишет об этом критик Вольфрам Шютте:

«Фассбиндер мечтал создать эффективную систему производства фильмов, сформировать высококвалифицированные кадры. Ему была присуща способность открывать все новые и новые таланты. Он не только использовал старых актеров, которых чурались другие режиссеры, но и стал истинным — и чуть ли не первым — профессионалом нашего кино. То, что в ФРГ снова появилась высокопрофессиональная кинематографическая инфраструктура — этим мы обязаны многим, но в первую очередь Фассбиндеру».

За год, прошедший со дня смерти Фассбиндера, поток литературы о нем не только не иссяк, но и увеличился. Вышло в свет 8 (!) монографий. Причем в большинстве из них предпринимаются попытки при-

уменьшить общественную значимость и социально-критическую направленность творчества режиссера и сделать из него анархиствующего эстета, подчинившего неуемную творческую деятельность выражению своей глубоко эгоцентрической позиции. Весьма характерным выражением этой тенденции можно считать книгу Вольфганга Лиммера «Райнер Вернер Фассбиндер, кинорежиссер», появившуюся в 1982 году под эгидой журнала «Шпигель».

«Как никакой другой режиссер в ФРГ, использовал Фассбиндер борьбу вокруг собственного эго, своих страхов и надежд как строительный материал для своих произведений,— пишет Лиммер.— Лишь на первый взгляд конфликты, изображенные в его фильмах, можно идентифицировать с классовыми противоречиями. Социальные различия между власть имущими, с одной стороны, и подавляемыми—с другой, интересуют его только как исходная ситуация для борьбы чувств. Потому что Фассбиндер является кем угодно, но только не социально-критически мыслящим режиссером».

Правда, Лиммер не может отрицать хотя бы того очевидного факта, что уже в самом начале своей творческой карьеры Фассбиндер активно обращался к воплощению общественно-политических тенденций. Но, как утверждает Лиммер,

«это произошло потому, что Фассбиндер не хотел противопоставлять себя духу времени, и его творчество отражает моду на политический фильм в духе картезианского диспут-ритуала Годара».

А между тем новаторское значение творчества Фассбиндера для всего западногерманского кино состояло в том, что с первых шагов в искусстве — а было ему тогда чуть больше 20 лет— он пытался решать на экране социальные проблемы и показать ту опасность, которую несет в себе бездуховность западногерманского общества. В фильме «Катцельмахер» (1969) он раскрыл эту проблему на примере конфликта, возникающего между группой молодых западногерманских мещан и иностранным рабочим из Греции Иоргасом. В фильме «Почему взбесился господин Р?» (1969) он сделал объектом своего исследования убийство трех человек, совершенное добропорядочным и законопослушнейшим господином Р.

С еще большей художественной достоверностью эта тема была раскрыта в картинах «Человек с тележкой» (1971) и «Страх съедает душу» (1973). В этих лентах впервые воплотилась в реальность идея Фассбиндера о перенесении в кинематограф некоторых принципов, лежащих в основе искусства «народной драмы». Особый период увлечения «народной драмой» приходится на тот отрезок времени с 1971 по 1975 год, когда одну за другой Фассбиндер создает ленты «Человек с тележкой», «8 часов не день», «Страх съедает душу», «Матушка Кюстерс отправляется на небо», явившиеся наиболее зрелым выражением реалистического подхода Фассбиндера к проблемам западногерманской действительности. Именно в это время Фассбиндер, довольно редко занимавшийся теоретизированием, опубликовал статью «О некоторых принципах народного театра», высказав свое мнение о возможностях развития этого жанра в современном театре и кинематографе. Герои названных выше картин — простые люди, из тех, кто составляет большую часть населения ФРГ: фабричные рабочие, лавочник, уборщица, иностранный рабочий, пенсионерка. Важнейшие особенности этих лент: внимательное и заинтересованное отношение к нуждам простых людей, критическое изображение процессов, происходящих в жизни общества, попытка через социальные обстоятельства понять и объяснить чувства людей. Словом, как раз все те качества, которые позволяют увидеть в Фассбиндере художника большого социально-критического масштаба, а не того исступленного эгоцентрика, каким он видится таким исследователям, как Лиммер. Однако не будем, уподобляясь ему, впадать в грех односторонности. Выделяя социально-критическую направленность творчества режиссера, мы не можем отрицать, что и тот Фассбиндер, о котором пишет Лиммер, тоже существовал, хотя и не определял творческий потенциал этого художника. Поскольку Фассбиндер работал с судорожной поспешностью, боясь, что его сердце не позволит ему закончить начатую картину, многие произведения несут на себе отпечаток его минутных настроений, надежд, переживаний. Моменты художественных прозрений соединяются в его творчестве с образцами явного оскудения мысли, произведения для интеллектуалов — с монументальными эпическими полотнами, традиционные жанры — с «брехтовскими» хрониками, анархические обличения — с верой в честь и достоинство человека. Мир его картин настолько прихотлив и многообразен, что порой кажется, будто его создавали несколько разных художников, с разными нравственными идеалами и художественными ценностями. И тем не менее кризис творчества, который пережил Фассбиндер в середине 70-х годов, обусловливается отнюдь не его концентрацией на собственных переживаниях или привычкой видеть мир под углом зрения фрейдистской психологии. У этого кризиса были иные причины.

Фассбиндер принадлежал к «поколению без идеалов», к той плеяде молодых художников, чье детство и юность прошли в удушающей атмосфере аденауэровской Германии 50-х годов. Будучи критиком буржуазного общества, он фактически не верил в возможность что-то изменить. Подъем молодежного движения протеста, активным участником которого был и сам Фассбиндер, вселил надежды на изменение общественной ситуации, всего нравственного климата страны. Тем горше было разочарование. Особенно рельефно оно проявилось в фильмах «Матушка Кюстерс отправляется на небо» (1975) и «Напиток сатаны» (1976), исполненных горькой иронии по поводу иллюзий своего поколения стать реформаторами буржуазной действительности. В 1974 году он принял на себя руководство франкфуртским «Театер ам турм». Он поставил на его сцене три спектакля: «Жерминаль», инсценировка одноименного романа Золя, «Фрёкен Юлия» А. Стриндберга, «Дядя Ваня» А. П. Чехова. Постоянные финансовые трудности и конфликты с творческим кол-

лективом побуждают его отказаться от этой должности. Он возвращается в кино и решает экранизировать роман Герхарда Цверенца «Земля так же необитаема, как луна». Он представляет проект в комиссию по финансированию фильмов, та отвергает его. Фассбиндер решает уехать в Америку, куда его неоднократно заманивали голливудские продюсеры... и остается.

В интервью газете «Абендцайтунг», опубликованном уже после смерти Фассбиндера, он говорил:

«Мои связи с родиной оказались гораздо крепче, чем я думал. Я хочу и должен продолжать разрабатывать ее историю. Я осознаю это с каждым днем все больше и больше. Раньше я пытался объяснить все связи между людьми чисто психологически. Сейчас стремлюсь понять и общественные отношения. Система — это то, что связывает людей и делает их такими, какими они являются. То, что я делаю сейчас, многим может показаться не слишком удобным, а многое и просто неприемлемым. Своими фильмами я хочу сказать моим согражданам :«Остановитесь, пока не поздно для нас всех!»

Это высказывание режиссера позволяет отчетливо представить мировоззренческую концепцию, лежащую в основе фильмов «Третье поколение» (1978), «Замужество Марии Браун» (1978), «Берлин, Александерплац» (1980), «Лола» (1981), «Отчаяние Вероники Фосс» (1982), лучших работ режиссера последнего периода его творческой деятельности.

Сам Фассбиндер откровенно признавался, что решающее влияние на его формирование оказала творческая практика «нового кино» ФРГ и, в частности, три ленты: «Поруганная честь Катарины Блюм» (1975, Ф. Шлёндорфф), «Второе пробуждение Кристы Клагес» (1976, М. фон Тротта), «Германия осенью» (1978, коллективная работа режиссеров «нового кино» ФРГ).

«Успех этих фильмов у зрителей побудил меня поставить в центр моих работ конкретные политические вопросы. Различный художественный потенциал этих лент наглядно показал, что у политической темы есть шанс привлечь публику. Одним словом, эти картины явились для меня убедительным аргументом сделать фильм, который обращался бы к актуальным политическим вопросам».

Это высказывание не замедлило найти себе подтверждение в конкретной кинематографической практике режиссера.

Одной из самых волнующих и актуальных тем западногерманского искусства середины 70-х годов стала проблема терроризма. Дебаты о нем, захватившие общество, не могли не проникнуть и в кинематограф. Поскольку существовал запрет на освещение событий, связанных с терроризмом, многие художники предпочитали решать эту тему в иносказательной форме. Весьма интересный подход к ней обнаружил режиссер Фолькер Шлёндорфф, осуществивший в 1977 году экранизацию знаменитого романа Гюнтера Грасса «Жестяной барабан».

До сих пор в кругу германистов идут жаркие споры о том, как следует толковать образ главного героя карлика Оскара Матцерата. Одни считают его кретином, другие — мудрецом, третьи — персонифицированным воплощением «инфантилизма» нацизма, четвертые — бунтарем и революционером. Фолькер Шлёндорфф предложил совершенно неожиданную трактовку этого хрестоматийного героя послевоенной западногерманской литературы:

«Я рассматриваю Оскара как пророка эпохи, наступившей в нашей истории после 1968 года. Упорный протест сочетается в нем с полным отказом видеть реальные перспективы изменения действительности. Нет, Оскар не террорист, но и люди группы Баадер-Майнхоф не родились террористами. Однако они кончили тем, что стали инфант-террибл Германии. Инфантилизм Оскара той же природы, что у Андреаса Баадера. Оскар бьет стекла, когда хочет выразить свой протест против мира, а Андреас Баадер начал с поджогов универмагов, чтобы выразить свой протест против общества потребления».

Мы позволили себе привести это пространное высказывание Шлёндорффа на страницах журнала «Фильм куотерли», потому что во многом оно смыкается с позицией Фассбиндера, как она заявлена в ленте «Третье поколение».

В этой картине Фассбиндер попытался обнажить социально-политические истоки этого уродливого явления общественной жизни ФРГ середины 70-х годов и представить их в форме броских и запоминающихся образов.

У режиссера неоднократно спрашивали, почему для проблемы, приобретшей размеры национальной катастрофы, он избрал форму комедии, яркой, блистательной, бурлескной. Он ответил, что ему не хотелось создавать вокруг террористов ореол мученичества, национального героизма, и потому в фильме превалирует элемент сатирического осмеяния. Суетливые, невротизированные, с лицами, раскрашенными как для веселого карнавала, отпрыски буржуазных семейств играют в классовую борьбу с той же легкостью и безответственностью, с какой резвятся расшалившиеся дети. В этом фильме Фассбиндер вынес суровый приговор тем представителям своего поколения, которые превратили игру с оружием в развлечение своей жизни. В интервью газете «Франкфуртер рундшау» он говорил:

«Я полагаю, что поколение террористов не имеет ни цели, ни утопий, ничего другого, по крайней мере, сомнений, которые есть у других людей. Поколение террористов бросает бомбы вовсе не для того, чтобы утвердить нечто новое на месте разрушенного. Они просто швыряют бомбы. Но главная проблема фильма не в этом, а в том, что эти люди позволяют представителям власти и капитала использовать себя в самых неблаговидных целях. Вот главная тема, во имя которой я сделал фильм».

Саркастический гротеск «Третьего поколения» положил начало целой серии картин, которые, по замыслу Фассбиндера, должны были стать кинематографическим аналогом бальзаковской человеческой ко-

медии. Фассбиндеру удалось воплотить лишь самую малую часть задуманного, но и она поражает. Особенно глубокий след в истории современного западногерманского кино оставила так называемая «аденауэровская трилогия», в которую вошли три фильма — «Замужество Марии Браун», «Лола», «Отчаяние Вероники Фосс», исследующие механизмы, лежавшие в основе политической и экономической жизни ФРГ 50-х годов.

Вольфрам Шютте, лучше других понимавший новаторское значение творчества Фассбиндера, в своей прощальной статье «Сердце», опубликованной в газете «Франкфуртер рундшау», писал:

«Начиная с фильма «Человек с тележкой», Фассбиндеру удалось поставить несколько картин, соответствующих эпическому стилю Бальзака и Золя... Мария Браун, принимающая активное участие в формировании эпохи экономического чуда. Лола, подавляющая свои чувства и свою любовь во имя карьеры предпринимательницы и ставящая деньги выше истинной жизни и своих представлений о счастье. Эти два образа являются высшим достижением искусства Фассбиндера».

В фильме «Замужество Марии Браун» Фассбиндер обратился к самым первым годам существования Федеративной Республики Германии, отразив основные черты ее развития в судьбе героини. В начале ее судьба ничем не отличалась от судеб тысяч обездоленных войной солдатских жен. Однако в отличие от многих своих соотечественниц Мария Браун знала, что она хочет не только выжить, но и победить, взять реванш за все эти прожитые годы, за свою поруганную молодость, прошедшую под вой разрывающихся бомб, среди лишений военного времени, разрухи и нищеты. В сердце Марии Браун живет яростная потребность в богатстве и счастье, и она добивается его, но страшной ценой — потерей души. С поразительным мастерством показывает Фассбиндер процесс неумолимой нравственной деградации своей героини, смешение романтизма и прагматизма, прекраснодушных иллюзий и отвратительных поступков, которые составляют стихию ее характера. Она только брала, ничего не давая взамен. В своем движении наверх Мария Браун по сути дела повторила путь своей страны к «экономическому чуду». Фассбиндер недвусмысленно обозначает источники этого «чуда» возрождения Германии: приспособленчество, сделки с совестью, преступления. И если в этой картине ему удалось выйти к широким социальным обобщениям, то прежде всего потому, что его интересует не сама Мария Браун с ее ничтожными страстями, но Мария Браун как типический характер аденауэровской эпохи.

«Мария Браун,— писал корреспондент французской газеты «Монд»,— не просто символизирует Германию. Совершенно очевидно, что в глазах Фассбиндера она — сама Германия».

Тема «Замужества Марии Браун» была продолжена и в фильме «Лола». Структура «Лолы» проще и прямолинейнее полифоничного строения «Замужества...». В небольшой городок приезжает государственный чиновник фон Бом, который должен навести порядок в запущенных делах строительства. В городе действует шайка пройдох во главе со строительным подрядчиком Шукертом. В их прямых интересах привлечь фон Бома на свою сторону. Им также интересуется звезда местного ночного клуба по имени Лола. Прикинувшись кроткой и невинной особой, она обольщает фон Бома. Но вскоре ему приходится испить горькую чашу прозрения: он узнает, что его возвышенная возлюбленная является самой наглой проституткой местного борделя. Однако сила его чувств так глубока, что он не может противиться своей страсти и, заключив брак с Лолой, становится равноправным членом компании пройдох, превративших государственную казну в свой собственный карман.

Тема картины точно иллюстрирует основное направление социальной жизни послевоенной Западной Германии.

Таким образом, Фассбиндер придает истории, рассказанной в фильме, обобщающий смысл, подчеркивая ее социально-критическое содержание.

Этот же прием был использован им и в фильме «Замужество Марии Браун», где он дал целую галерею портретов политических деятелей ФРГ, исключив из нее Вилли Брандта.

Фассбиндер не щадит никого: в его аденауэровской трилогии нет настоящих людей. Казалось бы, таким героем должен был стать Энслин, маленький чиновник городского управления, который произносит пылкие речи против коррупции и вдохновляет фон Бома на борьбу с ней. Но, отведав кусочек пирога, он сам превратился в одержимого сторонника коррупции.

Фильм открывается и завершается фотографией Конрада Аденауэра. Погруженный в глубокое раздумье, отец «экономического чуда» сидит в покойном кресле и смотрит на эту ярмарку тщеславия. О чем он думает? О том, как беззастенчиво использовалось его имя для прикрытия грязных махинаций, как мелки и ничтожны были люди, руками которых он осуществлял возрождение страны?

Завершил аденауэровскую трилогию фильм «Отчаяние Вероники Фосс», в котором Фассбиндер воспроизвел последние дни жизни знаменитой немецкой актрисы Сибиллы Шмиц. Когда режиссеру было 9 лет, всю Германию облетело известие о ее самоубийстве. Однако расследование показало, что самоубийство было на деле убийством, которое совершила лечащий врач актрисы с целью овладеть ее богатством. В послужном списке этого врача значилась и служба в одном из гитлеровских концлагерей. Это не помешало ей иметь частную практику и применять для уничтожения людей те же методы, которыми она пользовалась в лагере.

Составной частью огромного полотна, посвященного истории Германии, должен был стать и фильм «Лили Марлен» (1980), рассказывающий биографию певицы Лалы Андерсон. Второразрядная артистка кабаре, она за одну ночь стала знаменитой, благодаря исполнению сентиментальной песенки «Лили Марлен», запечатлевший тоску сол-

дата о родном доме, о любимой девушке, о спокойной мирной жизни. Лала Андерсон не просто стала знаменитой, но превратилась в массового идола эпохи гитлеризма. Когда позднее ее просили высказать свое отношение к эпохе, которая вознесла ее к самым верхам фашистского государства, она беззаботно отвечала: «Я не имела никакого отношения к режиму, я только пела песенку, одну-единственную песенку». Фассбиндер хотел на примере ее судьбы поставить проблему ответственности художника за свое творчество. Однако он сам оказался в плену механизмов современной массовой культуры, и его фильм стал одним из характерных для нее продуктов.

Фильм «Лили Марлен» стал, пожалуй, самым крупным идеологическим просчетом Фассбиндера за всю его напряженную жизнь в искусстве. Однако эта неудача не может перечеркнуть его творчества. Да, Райнер Вернер Фассбиндер был сложным и противоречивым художником. Его творческое развитие протекало рывками, конвульсивно, моменты несомненных художественных прозрений сменялись периодами упадка. В чем он был постоянен — так это в своем негативном отношении к буржуазной действительности. Порой его протест против буржуазной морали принимал самые парадоксальные формы, выражаясь в стремлении швырнуть в лицо респектабельного буржуа уьесистый комок грязи, поднятый на самом дне буржуазного общества. Желание издеваться и эпатировать нередко становилось самодовлеющим. И когда в его руки попал роман французского писателя Жене «Керель», он, не раздумывая ни минуты, экранизировал его. Когда фильм вышел на экраны, 36-летнего режиссера уже не было в живых. Едва ли мы можем рассматривать это «произведение» как итог его творчества. Хочется верить, что это была пауза перед новой, ответственной работой. Как известно, Фассбиндер собирался снимать фильм о Розе Люксембург. Теперь эту работу за него будет делать Маргарета фон Тротта.

В интервью «Литературной газете» гость XIII Московского кинофестиваля, известный итальянский писатель, сценарист и кинокритик Альберто Моравиа дал интересный и обстоятельный анализ состояния дел в современном западном кинематографе. Причем в качестве позитивного примера он неоднократно обращался к опыту современного западногерманского кино, завершив свои размышления о нем словами: «Я сегодня считаю кино ФРГ одним из лучших». Альберто Моравиа не одинок в своем мнении. Можно было бы привести высказывания десятков критиков и киноведов из разных стран мира, которые сходятся в своих единодушно высоких оценках творчества западногерманских режиссеров, принадлежащих движению «новое кино» ФРГ. 20 лет назад началось это движение, и сегодня на его счету числится немало острых социально-критических лент. Имена создателей этих фильмов хорошо известны и в нашей стране. Это — Александр Клюге, Вернер Герцог, Фолькер Шлёндорфф, Маргарета фон Тротта. Но, пожалуй, самой примечательной и яркой фигурой в этой плеяде мастеров кино ФРГ был Райнер Вернер Фассбиндер.

Поэт, писатель и кинорежиссер Герберт Ахтернбуш назвал Фассбиндера «мотором» кино ФРГ. Уже целый год молчит этот мотор. Хотя машина западногерманского кинопроизводства продолжает работать, в ее движении нет того стремительного напора, который мы всегда ощущали при жизни Фассбиндера. И очень трудно писать об этом художнике в прошедшем времени, зная, что никогда больше не появится фильм, помеченный печатью его уникального таланта.

Г. КРАСНОВА

◆

Публицистика

Писатели мира отвечают на обращение Михаила Шолохова

РАДЖЕНДРА АВАСТХИ (Индия)

Вице-президент индийской гильдии писателей

Дорогой господин Шолохов,

Я прочитал Ваш призыв к миру во всем мире. Я полностью разделяю Вашу тревогу за судьбу мира, Вашу мысль о насущной необходимости избавить человечество от страха перед угрозой ядерной войны. Все писатели мира, которым дороги эти идеи, должны солидаризироваться с Вашим благородным воззванием. Лично я вместе с моими коллегами и друзьями — индийскими писателями — присоединяюсь к Вам, я счастлив, что именно Вы подняли свой голос в этот тревожный час. Долг каждого из писателей — заявить о своей поддержке Вашего обращения.

ХОСЕ ЛУИС БАЛЬКАРСЕЛЬ (Гватемала)

Уважаемый Михаил Шолохов!

Я отвечаю на Ваше письмо в момент, когда совершилась интервенция в Гренаду, когда подавлена революция в этой стране. Жизнь народа Сальвадора, пытающегося проложить себе дорогу к счастью, также находится под угрозой уничтожения. Много раз предпринимались крупные вторжения в Никарагуа, в последнее время эти попытки не прекращаются. Народная армия, милиция и весь народ Никарагуа противостоят им, разбивают войска наемников или вынуждают их вернуться обратно в Гондурас и Коста-Рику, откуда их засылают. Теперь Соединенные Штаты обращаются к услугам своих собственных войск, тех самых, что вторглись в Гренаду, совершая при этом массовые убийства. Войск, перед которыми не дрогнули рабочие и технический персонал Кубы, решительно все как один выполнявшие указания своего вождя и главнокомандующего Фиделя Кастро.

Армия, имеющая покровителей, наставников и инструкторов в лице Соединенных Штатов, брошена против сальвадорского народа. В арсеналах ее с каждым днем становится все больше оружия, а на совести—все больше смертей. Сосредоточены силы для совершения враждебных акций против Никарагуа и Сальвадора, Гондурас превращен в американскую военную базу. Американская интервенция стала реальностью. Ведь уже и Коста-Рика превратилась в небольшую военную базу, а Панама, захваченная территория Панамского канала, где много лет назад были размещены американские базы, по-прежнему используется в качестве отправного пункта для отрядов смерти, действующих во всех уголках нашей Америки. Таково положение в регионе. Оно ухудшается еще и тем, что народу Гватемалы, моему народу и моей родине, грозит опасность, что вслед за находящимися в стране американскими советниками пожалуют американские войска, которые будут уже действовать в открытую, поскольку сама гватемальская армия, несмотря на всю помощь, оказываемую ей правительством США, не способна остановить развитие революционного процесса в Гватемале, процесса, характеризующегося большой мощью и участием в нем всех революционных сил страны.

Агрессия империализма развертывается по всему земному шару, в том числе на Ближнем Востоке. Ужасны разрушения и истребление мирного населения израильскими войсками в Сабре и Шатиле. Американская армия и флот продолжают свои агрессивные действия в этом районе.

Ваш призыв объединить усилия, внести вклад в достижение мира — прекрасен и своевременен. Империализм, проводящий безрассудную политику, не только проявляет свою враждебность идеям мира, но и все больше прибегает к насилию. Размещение американских ракет в Европе и возрастающая возможность их использования способны привести мир к всеобщей необратимой катастрофе. Рейган, похоже, не в своем уме, однако создается впечатление, что вся правящая верхушка думает так же, как и он. Неужели нас всех ожидает гибель? Необходимо предпринять какие-то шаги, которые изменили бы положение, вооружили человечество надеждой.

Ведь поистине каждый день приносит новые доказательства того, что Рейгана не интересует, не тревожит мнение мировой общественности. Один только факт, что известие о единодушном осуждении Организацией Объединенных Наций вторжения в Гренаду не произвело на него ни малейшего впечатления, лишний раз доказывает его бесстыдство. И все же мы должны быть по-прежнему упорны в своем стремлении к миру.

Очень важно было бы провести встречу представителей творческой интеллигенции всего мира, чтобы помочь людям лучше осознать, насколько опасный момент переживает человечество. Не менее важно призвать к участию в борьбе за мир народ Соединенных Штатов.

У себя в Латинской Америке мы уже трижды проводили подобные встречи. Первый раз это была «Встреча интеллигенции в целях защиты суверенитета народов Америки», проведенная Домом Америк в Гаване, встреча, в которой участвовали представители интеллигенции всех стран Латиноской Америки, Карибского бассейна и Испании. В Мексике проводился «Диалог Америк», в котором приняли участие представители интеллигенции Латинской Америки, стран Карибского бассейна и Соединенных Штатов. В Никарагуа на конференции по проблемам Центральной Америки присутствовали представители Латинской Америки, стран Карибского бассейна, США и Канады. Во время всех этих встреч было достаточно полно освещено трагическое положение наших народов, живущих под угрозой нападения или уже ставших жертвой агрессии. Мы высказали свое возмущение происходящим, выражали готовность продолжать борьбу за предотвращение войны всеми доступными нам средствами и способами. Именно за мир борются наши народы, за мир, который даст им возможность претворить в жизнь их мечты и стремления, добиться положенных прав, начиная с права на хлеб, на одежду и крышу над головой.

Если бы удалось сплотить в этой борьбе интеллигенцию всего мира: писателей, художников, инженеров и техников, ученых, работающих в области гуманитарных и естественных наук, быть может, это помогло бы предотвратить роковое развитие событий.

Цинизм американских политиков достигает своего апогея. Подавив революцию в Гренаде, они не стесняются демонстрировать американской общественности образцы советского и кубинского оружия, которым якобы были забиты арсеналы в Гренаде. Нельзя бесконечно терпеть их неуважительное, пренебрежительное отношение к мнению мировой общественности. Нужно положить этому конец, усиливая разъяснительную работу в тех областях, где она не проводится или проводится недостаточно.

Мое письмо получилось несколько длинным, вы понимаете почему. Я полностью согласен с вашим призывом. Мы к нему присоединяемся. Давайте предпримем безотлагательно совместные усилия для того, чтобы силы разума одержали верх над безумием, пытающимся разжечь в мире пожар ядерной войны.

Ноябрь 1983 г.

ФИЛЛИП БОНОСКИ (США)

Дорогой товарищ Шолохов!

Я прослушал Ваше проникновенное письмо, обращенное к писателям мира, которое было в конце сентября зачитано в Ташкенте на заседании конференции писателей Азии и Африки.

Оно меня глубоко тронуло.

Уже не первый раз писателей мира зовут на защиту человечества. Хотя я был тогда еще юным, тем не менее я помню, каков был ответ писателей мира, и в том числе американских писателей, на призыв защитить демократическое правительство Испании в 1936 году. Помню я и многочисленные антифашистские митинги, которые сыграли огромную роль, мобилизуя мировое общественное мнение на сопротивление угрозе гитлеровского фашизма.

Испанские писатели, не задумываясь, осудили испанский фашизм.

Немецкие писатели доказали свою любовь к родине, осудив германский фашизм.

Были и японские интеллигенты, которые также выступали против японского милитаризма.

Сегодня все возрастающее число американских писателей выступает против безрассудного опасного военного курса нынешней рейгановской администрации, так же как ранее они протестовали против грязной войны во Вьетнаме, которую вело прави-

тельство Джонсона. Ныне просвещенное американское общественное мнение потрясено вторжением Рейгана в маленькую Гренаду, страну, которая никому не угрожала, и резко выступает против очевидных для всех планов Рейгана вторгнуться в Никарагуа и сокрушить патриотов Сальвадора, Гватемалы, а также и Ливана.

Все это представляет прямую угрозу миру во всем мире. Нельзя находиться по обе стороны баррикад. Либо вы выступаете за спасение человечества, либо против. Либо вы за всеобщее уничтожение, либо против. Либо вы гуманист, либо антигуманист. В этой борьбе мы, писатели, на стороне гуманизма, спасения человечества, на стороне будущего.

АЛЕКС ЛА ГУМА (ЮАР)

Обращение знаменитого советского писателя Михаила Шолохова к писателям мира с призывом помочь сохранить мир на нашей планете продолжает традицию, сложившуюся на протяжении истории. Подлинные мастера слова всегда выступали в защиту достоинства и непреходящих ценностей гуманизма и дружбы, которые являются неотъемлемыми качествами человечества.

Слишком часто слышали мы утверждения фальсификаторов, будто человек по природе своей жесток или жадеи. Они забывают, что как монета, так и поведанная писателем история имеют две стороны. Человек может быть жестоким, он может быть и благородным. И наша, писателей, обязанность — вызывать благородство, поощрять добрые начала, свойственные людям. Иначе говоря, наш долг — поддерживать дух дружбы и сотрудничества, способные обеспечить долгую жизнь на нашей планете.

Одна из задач писателей — с помощью своего таланта воздействовать на сознание читателя, а это значит — стремиться научить его лучшему постижению жизни и путей ее сохранения.

Писатели стран Азии и Африки, заслушав на Ташкентской конференции обращение Михаила Шолохова, горячо отозвались на него. Сегодня ответственность писателей за судьбу мира как никогда велика, заявили они. Народы мира достойны лучшей участи, чем погибнуть в угрожающей миру ядерной катастрофе.

Мы твердо верим, что писатели, собравшиеся в Ташкенте, сделали это заявление от всего сердца, ибо их сердца отданы этой великой цели — сохранить мир между народами, прекратить гонку вооружений, стереть с лица земли нависшую над ней тень мрачного чудовища, воплощающего первобытное зло.

Присоединяясь к Михаилу Шолохову, мы вновь призываем своих коллег, до которых еще не дошел его голос: гасите повсюду пламя раздора и ненависти, выступайте за мир и добрососедство.

МУХАММЕД МАХДИ АЛЬ-ДЖАВАХИРИ (Ирак)

От всего сердца, всей душой я поддерживаю товарища Шолохова, целиком и полностью присоединяюсь к его словам. Те мысли, которыми искренне поделился великий писатель, находятся в сердцах всех нас, участников конференции афро-азиатских писателей, приехавших из разных уголков мира.

Мне хотелось бы остановиться на некоторых положениях письма Шолохова.

Действительно, сейчас речь идет не о творчестве, а о судьбах человечества, о его мирной жизни.

Сохранение мира для людей является задачей каждого настоящего писателя: мы должны знать, что наши дети смогут жить в мире, над ними будет чистое небо... Я полностью согласен с Шолоховым в том, что все темные силы не смогут затмить свет, правду и мир на земле.

На земле нет плохих народов — все народы добры по своей сути, в том числе и народы империалистических стран. Американский народ — это одно; Рейган — совсем другое.

Я прекрасно сознаю, что писатель своим пером не в состоянии противостоять ядерному безумию. Слово его должно стать неотъемлемой частью волеизъявления своего народа: настоящий, подлинный литератор является выразителем этой воли.

Лучшие писатели современности выступают за мир. Обращаясь к истокам нашей культуры, я должен заметить, что классическая арабская поэзия всегда несла в себе все тот же призыв к миру. За много сотен лет до Толстого великий арабский поэт аль-Мутанабби своими стихами осуждал любые войны. Истинный творец не может не быть глашатаем идей мира.

ЭММА СМИТ (Англия)

Писатели — коммуникаторы, «связисты» по самому своему призванию. Это значит, что мы тренируем и используем наше зрение, слух и воображение во имя читателей и посредством слов пытаемся передать им то, что увидели, услышали, поняли, вообразили. Несомненно, каждый из нас хотел бы при этом полагать, что он рассуждает с позиций совести и высокой морали.

Между тем писатели стоят ровно перед таким же выбором между хорошим и плохим, как и все прочие люди. И как для всех, выбор этот сегодня троякого свойства: смириться с приготовлениями к ядерной войне, которые ведут ее поджигатели, отказаться смириться или хранить молчание.

Подобно прочим, мы можем при желании закрыть глаза, заткнуть уши, отвернуться и сделать вид, что не отдаем себе отчета в том, что изумительный дарованный нам природой мир, в котором мы живем, дом огромной разноликой человеческой семьи, мир, который мы, писатели, пытаемся отображать и истолковывать, находится сейчас под угрозой чудовищного по своей жестокости полного уничтожения.

Мы можем сделать вид, что не понимаем, насколько страшна ситуация, но зрение, слух, воображение писателя не дают в это поверить. Так каким же должен быть наш выбор?

Михаил Шолохов на страницах «Иностранной литературы» подает нам пример, прервав молчание страстным обвинением ядерной войны. Я считаю для себя большой честью возможность присоединить свой голос к его вдохновенному и вдохновляющему обращению.

Мне кажется, что писатели, независимо от национальности и политических убеждений, должны мужественно и решительно сейчас, безотлагательно, высказаться и осудить это самое зловещее из всех возможных преступлений Человека против Человека.

Мы — писатели. Мы говорим от лица миллионов людей. Наш долг — высказаться громко, ясно и недвусмысленно. Иначе как может каждый из нас смотреть в глаза ребенку и не чувствовать стыда?

Ядерная война непростительно жестока. Сама мысль о готовности обратить ядерное оружие против человеческих жизней приводит в содрогание, разлагает душу. Поддерживая его применение, мы попрали бы все человеческие ценности.

Если бы последовала ядерная война, покушающаяся на саму идею жизни на земле, она завершила бы разрушение, уже начатое.

Будем же всегда помнить: под угрозой уничтожения даже нечто большее, чем жизнь на планете. Чтобы у нас было ради чего жить, чтобы жизнь можно было сделать прекрасной и гуманной, прежде всего должен одержать верх д у х Ч е л о в е к а. Именно в этом смысл той победы, в которую мы, писатели, должны внести свой вклад ради наших детей — детей всего мира — и ради их будущего.

ФАИЗ АХМАД ФАИЗ (Пакистан)

Прославленный советский писатель Михаил Шолохов, страстный призыв которого я впервые услышал во время Ташкентской конференции писателей Азии и Африки, обращается ко всем мастерам литературы по вопросу, имеющему жизненно важное значение для человечества сегодня: мир на планете.

Ни один здравомыслящий человек не может не понимать, что безумие продолжающейся гонки вооружений и подбрасыванье поленьев в ядерный костер, как пишет Шолохов, не только не гарантирует ничью безопасность, а, напротив, грозит испепелить все живое на земле.

И тем не менее очевидно, что опасность происходящего еще не осознана в полной мере теми, кому она непосредственно угрожает: каждому мужчине, каждой женщине, каждому ребенку, которые живут и дышат. Значит, именно здесь необходимо писательское слово, ибо кто может пробудить сознание человечества, отточить понимание того, что именно правящие круги США и есть инициаторы этой гонки вооружений, поджигатели ядерного костра,— кто может сделать это более убедительно и действенно, чем люди, владеющие Словом, самым могучим средством убеждения и воспитания. Шолохов призывает писателей земли всем вместе привести в действие эту могучую силу и противопоставить ее смертельной угрозе, чинимой врагами мира.

Призыв Шолохова особенно своевременно прозвучал на встрече писателей Азии и Африки.

Во-первых, потому, что в развивающихся странах еще немало людей, полагающих, будто война и опасность ядерного уничтожения не касается их непосредственно, будто это проблема взаимоотношений СССР и США, может быть, европейская проблема, но Азии и Африке до нее прямого дела нет. Необходимо рассеять это заблуждение, ибо если планета станет жертвой ядерной катастрофы, то пламя пожара не пощадит ни одного, даже наиотдаленнейшего ее уголка.

Во-вторых, далеко не все свободны от ощущения, сознательно укрепляемого торговцами смертью, что губительная сила неодолима и бесполезно пытаться противодействовать ей. Необходимо бороться и с этими настроениями бессилия.

Нет сомнения в том, что над миром нависла чудовищная угроза, но предотвратить ее можно и нужно. Михаил Шолохов совершенно прав, страстно утверждая, что писательское слово может оказать здесь огромное воздействие.

ТО ХОАЙ (Вьетнам)

Дорогой товарищ Шолохов! Ваши проникновенные слова взволновали меня до глубины души. Мне близка и понятна давняя неизменная традиция русской литературы — приверженность к миру и ощущение своей сопричастности к судьбам человечества. Вот уже больше столетия звучит над миром гневный, осуждающий войну и насилие голос выдающихся русских писателей, писателей Страны Советов. Вспомним имена Льва Толстого, Максима Горького, Владимира Маяковского.

Вьетнамский народ, более двадцати лет сражавшийся с захватчиками, прекрасно знает варварское звериное обличье войны. Вот почему мы полностью поддерживаем призыв Михаила Шолохова. Нам довелось биться с французскими колонизаторами, с японскими милитаристами и империалистами США. На плечи всех, даже малых детей, легли все тяготы и лишения войны.

Еще лет десять назад во многих районах Вьетнама школьникам приходилось заниматься в подземных укрытиях—целыми классами, вместе с учительницами. Но, случалось, и там их настигала смерть. Над землей то и дело прокатывался рев реактивных машин, бомбы, сброшенные со стратегических бомбардировщиков Б-52, накрывали огромные площади. Но врагу не удалось осилить жизнестойкость и мужество народа; они не смогли, как ни грозились, ввергнуть нашу страну в «каменный век». Может быть, труднее всех приходилось именно детям, но они с поразительной отвагой и упорством учились, трудились, помогая взрослым, а многие еще и дрались в ополчении и партизанских отрядах.

Дорогой товарищ Шолохов! Движение против ядерной войны, охватившее сегодня все континенты и страны, развернулось с такой небывалой силой, потому что в основе его лежит воля миллионов людей, вставших на защиту самой жизни. И движение это, я думаю, неодолимо. Голос моих соотечественников сливается с голосами рабочих, студентов, женщин, устраивающих демонстрации протеста и пикетирующих американские военные базы в Бельгии, ФРГ, Голландии, Англии. Они требуют отмены решения, принятого заправилами НАТО, о размещении в их странах американских крылатых ракет и «Першингов-2». Они отстаивают самое исконное и святое право человека на жизнь.

Я читал, что в одной из земель Федеративной Республики Германии американское командование начало учения, целью которых была отработка массовых захоронений трупов,— одного из предусматриваемых стратегами Пентагона «аспектов» ядерной войны. Но местное население решительно выступило против этой позорной и бесчеловечной акции, вышло на улицы, блокировало дороги. Янки вынуждены были отказаться от своих планов.

Вот из таких конкретных действий, сливающихся в единый поток, из усилий всех простых людей от мала до велика, в том числе и усилий писателей, вооруженных, как вы говорите, «лишь одним, но могущественнейшим в мире средством — истиной», рождается та самая сила, которая, я уверен, сумеет защитить жизнь на земле и нашу человеческую цивилизацию. Сегодня главное — объединить все наши действия и усилия, сплотиться, создать неодолимую угрозу на пути поджигателей войны.

Нет, Европа не должна стать огромной пусковой площадкой для американских ракет, нацеленных на Советский Союз и другие социалистические страны. Здравый смысл, стремление к миру, воля к жизни должны восторжествовать над бредовыми человеконенавистническими планами империалистов.

Вот уже десять лет как отгремела война на нашей земле. Но какой дорогой ценой была завоевана победа! Еще и сегодня обжигают болью незаживающие шрамы, оставленные войной, сердца тысяч и тысяч моих соотечественников. И доныне на полях, деревенских улицах и лесных дорогах моей земли зияют раны воронок и чернеют следы пепелищ. И поэтому мы, вьетнамцы, всегда готовы стать плечом к плечу рядом с борцами против ядерной войны. Мы хотим, чтобы на всей планете расцветали цветы и улыбки, чтобы труд и интеллект человека устремлены были на созидание, а не служили разрушению и смерти.

Я, как и мои собратья по перу, писатели и поэты Вьетнама, горячо поддерживаю, дорогой товарищ Шолохов, Ваше обращение. Верю, что оно сослужит добрую службу делу мира и справедливости.

НАТАЛЬЯ ПОПОВА

ПОРТУГАЛЬСКАЯ СКАЗКА

Представьте себе, что вы сидите в кафе на улице, под открытым небом, над вами развевается вывешенное на просушку белье, а вокруг кипит по-южному шумный Лиссабон. Снуют прохожие, зазывно кричат торговцы лотерейных билетов и разносчики фруктов, цыганка в черном обтрепанном платье расстелила на тротуаре белоснежную скатерть, прошитую кружевами, и во весь голос расхваливает свой товар, иммигранты из Африки уговаривают женщин купить яркие пластмассовые бусы и браслеты, робким голосом просит милостыню нищий, позвякивает проходящий мимо трамвай, с воем проносятся санитарные и полицейские машины, рядом, за соседним столом, громко поют традиционную песню в честь новорожденной, перед которой стоит торт с одной-единственной (чтобы не выдавать женских секретов) свечой, а Жозе Сарамаго рассказывает...

Еще в Москве, собираясь ехать в Португалию, я хотела непременно встретиться с этим писателем.

Когда предстоит знакомство с новой и совсем неизвестной страной, то испытываешь некоторую растерянность. С чего начать ее изучение? С исторического прошлого или хроники текущих событий? Чтения произведений ее классиков или наших современников? Все нужно в одинаковой степени.

А что, если начать с народных сказок? Какой еще вид творчества способен полнее отразить дух народа, грани его характера и вековые чаяния, чем творчество, автором которого выступает сам народ? Можно вспомнить и Глеба Успенского, который писал: «Народные сказки, легенды, былины, народные сказания созданы народом самостоятельно, собственным творчеством, без участия Пушкина, Гомера, Шекспира... Напротив, начало поэтического, музыкального, технического творчества исходило из народных масс, масс темных, и вырастало из этого корня. Бетховен, Пушкин, Глинка, Шекспир — получили силу именно в народном самобытном творчестве».

И вот, открыв изданный на русском языке том сказок и легенд Португалии, я попала в мир одновременно знакомый и поновому изумляющий. В какой стране вы не найдете сказки о простаке, который обводит всех вокруг пальца и женится на принцессе? Или сказки о несчастной падчерице, обижаемой злой мачехой? Или сказки, утверждающей, что верные друзья человеку нужнее злата и серебра? И в какой приморской стране не придумали своей сказки о том, отчего в море вода соленая? Однако я нашла здесь и не встречавшуюся мне ранее версию сотворения мира, многочисленные легенды о боге и дьяволе (к которым, судя по иронической и озорной интонации, португальцы извечно относились без особого страха и почтения), о появлении на свете тетушки Нищеты, о том, как родилось Правосудие, и другие неповторимые сюжеты и мотивы.

Каково же было мое удивление, когда, начав затем читать роман нашего современника — известного португальского писателя Жозе Сарамаго «Поднявшиеся с земли», повествующего о трех поколениях беднейшей крестьянской семьи, я на первых же страницах стала узнавать тонко вплетенные в ткань книги хорошо запомнившиеся мне сказки и легенды, только в передаче героев они приобрели жизненную достоверность: «...вот, помню, был такой случай — это истинная правда, сеньор, об этом много было толков,— один человек, не помню уже, как его звали, жил себе с женой в Монте-до-Курралда-Легуа, неподалеку от Педра-Гранде, и каждый вторник, ночью, выходил из дому, но он, правда, знал о своей особенности и предупредил жену: никогда, мол, не отпирай дверь, если меня нет дома, не отпирай ни за что, что б ты ни услышала, а слышала она такие крики и вопли, что у

добрых христиан кровь стыла в жилах и никто не мог уснуть, но женщины, как известно, страсть любопытны, и вот однажды она набралась храбрости, захотела все увидать своими глазами — взяла да и открыла дверь. Господи Иисусе! Что же она увидала! Прямо перед ней стоял огромный хряк, а верней сказать, племенной кабан... ну, он и бросился на нее, как лев, хотел ее сожрать, хорошо, она успела захлопнуть и запереть дверь, однако кабан этот все же ухитрился выдрать ей зубами клок юбки.... Вообразите себе, как перепугалась бедная женщина, когда на рассвете муж вернулся домой, а в зубах у него — этот самый обрывок материи... Да, это история... А вот расскажу вам еще...»

Удивляться тут, собственно, нечему — ведь Сарамаго пишет о людях, среди которых и родились все эти были и небыли. Передаваемые из уст в уста, они дошли и до наших дней, обогащая творчество современных художников слова.

Легенду о людях-оборотнях, в которой нетрудно усмотреть глубокий философский смысл, вспоминаешь и при чтении сцены, где речь идет о безымянной жертве и ее палачах: «Тело унесли. Жоан-Грязь и Жоан-Мразь собирают инструмент — дубинки и плеть,— потирают косточки пальцев, осматривают каблуки и носки сапог — не осталось ли на них пятнышка крови или обрывка ткани, которые, попадись они на глаза проницательному Шерлоку Холмсу, доказали бы состав преступления, но опасности нет. Шерлок Холмс мертв и лежит в могиле...»

Так о чем же эта книга? О том, какой долгий и мучительный путь должен был проделать безземельный и неграмотный португальский крестьянин, чтобы осознать себя человеком и освободиться от «сдельщины страданий». «И не говорите мне, что до ада далеко»,— замечает автор, и в этих словах слышится намек на сказку о простом солдате, который не побоялся спуститься в ад.

С чем же сравнить роман Жозе Сарамаго, в котором он столь естественно и искусно сочетает всевозможные стилевые приемы и контрастные по тональности краски — от народного лубка и задушевной лиричности до безжалостно острого памфлета? Со свободным течением полноводной реки? Или с вечерним разговором, что ведется у очага? Но эти сравнения давно стали привычными, и вместо того чтобы заниматься литературоведческими рассуждениями, послушаем лучше самого Жозе Сарамаго. Словно и не замечая уличной сутолоки и многоголосья, шестидесятилетний писатель спокойно и неторопливо рассказывает:

— Я вырос в деревне, там прошло мое детство, там получил я первые представления о мире. Воспитанием моим занимались мать и бабушка. Мужчины в нашей семье были пастухами и редко бывали дома. Еще в детстве я вдоволь наслушался разных фантастических историй, которые рассказывали в нашей деревне. В такие выдумки охотно верят, потому что раз люди говорят, значит, так и было на самом деле. Раз говорят, что ведьмы и оборотни существуют, значит, они существуют.

(И тут на память может прийти бунинская «Деревня», где один крестьянин божится, что недавно под сельцом катилось в сумерки тележное колесо — ведьма. И на вопрос барина, не стыдно ли ему верить такой чепухе, отвечает: «А мне что же стыдиться? Люди ложь, и я тож».)

— Бедность и нищета заставляют человека фантазировать и мечтать. Чтобы скрасить безотрадную жизнь. Знаете ли вы хоть одну сказку, которая родилась в среде богачей?

(Мне можно и не отвечать на этот вопрос, на него уже ответили герои Сарамаго: «И вот по причине того, что жизнь наша скудная и трудная, мы сами сочиняем истории о кладах или рассказываем те, что сочинили до нас: видно, и в старину велика была в них нужда...»)

— Есть люди, которые полагают, что психология крестьянина проста и даже примитивна. Ничего подобного. Это глубокое заблуждение. Духовный мир деревенского жителя чрезвычайно сложен и богат. Ведь крестьяне встают до рассвета и очень поздно ложатся спать. Подумайте, какой длинный у них день и чего только они не насмотрятся в течение этого дня. Не любуясь на манер горожан окружающей природой, они живут в нераздельной слитности с ней и в то же время в зависимости от ее капризов и сами пытаются найти объяснение всему, что видят и слышат. И попробуйте правду отличить здесь от вымысла. Рассказывая правду, они не могут обойтись без выдумки, а выдумывая — говорят правду. А сколько в деревне традиций! На мой взгляд, в жизни горожан есть что-то грустное и даже ущербное: всем им чего-то недостает и главное — связи с природой и той богатой культурой и традициями, которые передаются в деревне от отца сыну, а затем внуку и правнуку.

— И все-таки бывают, вероятно, обстоятельства, когда разница между психологией крестьянина и горожанина полностью стирается. Например, когда люди борются за общее дело. Читая роман «Поднявшиеся с земли» и книги вашего соотечественника Урбано Тавареша Родригеша, убеждаешься, что и ваши крестьяне, и его герои-антифашисты (в основном горожане) в салазаровских тюрьмах под пытками вели себя одинаково мужественно и героически.

— Я вижу, вам хочется защитить от меня горожан, но я сам уже давно горожанин. И, конечно, не буду спорить, что мужество и достоинство — общечеловеческие качества, которые могут быть в равной степени присущи и крестьянину, и горожанину. Возможно, я покажусь вам чересчур большим оптимистом, но я верю, что в основе своей человек лучше, чем мы привыкли считать. По-моему, человек неизменно ведет себя мужественно и достойно, если люди ждут от него именно этого. Какие бы темные силы ни дремали в его душе и какой бы отталкивающий облик ни принимал он порой — помните легенду об оборотне? — может наступить момент, когда даже самый трусливый и низкий человек способен проявить мужество и героизм.

— Многие западные писатели жалуются на отсутствие контактов с читателями. Существует ли, на ваш взгляд, контакт между писателем и читателем в Португалии?

— Думаю, что в любой стране это зависит от самого писателя. Есть писатели, которые стремятся к контактам с людьми, и они их имеют. А есть писатели, которые их сторонятся. Они полагают, что главное — это писать книги, а доходят ли они до читательского сердца — их не волнует.

Низкий и хрипловатый голос Сарамаго время от времени заглушается уличным шумом, и я беспокоюсь, сумею ли потом расшифровать полученную запись.

— Сумеете,— заверяет меня, улыбаясь, писатель, и продолжает неторопливо отвечать на вопросы.

— Многие ли крестьяне прочитали роман «Поднявшиеся с земли»?

— К сожалению, не многие жители Алентежо (провинция, где происходит действие романа.— Н. П.) прочитали мою книгу. Помните, один из моих героев дарит невесте букварь и сам учит ее читать? Кстати, вы обратили внимание, как меняется, как растет у меня женщина на протяжении романа?

— Да, я помню, что жена непутевого сапожника Мао-Темпо долгие годы безропотно следовала за ним в его скитаниях, пока наконец не взбунтовалась. А их дочь Грасинда — наша современница—упрекает мужа за чрезмерную осторожность и настойчиво уговаривает принять участие в забастовке.

— Раскрепощение женщины — очень важный для Португалии процесс. Но вернемся к вашему вопросу. Сразу после революции многое делалось для борьбы с неграмотностью, но тридцать с лишним процентов крестьян до сих пор не умеют читать. Поэтому я так долго выбирал стиль и структуру для этой книги — мне хотелось, чтобы ее было легко пересказать. За те месяцы, что я прожил в Алентежо, где переводил французский труд по социологии, я собрал множество материалов, записал множество устных историй, но четыре года не мог взяться за перо. Я не знал, как писать. Мне никак не удавалось найти нужные краски и наиболее естественную форму, чтобы воплотить то, что я задумал. Но потом на меня вдруг буквально нахлынуло все, что я столь упорно искал, я работал не отрываясь, и книга была написана за пять месяцев. Иногда я зачитывал отдельные страницы неграмотным крестьянам и с тревогой ждал, что они скажут. И они говорили, что узнают свои голоса.

— Вам, должно быть, хорошо известна сегодняшняя ситуация в деревне?

— Произошло так, что наши крестьяне — по сути это были даже не крестьяне, а сельскохозяйственные рабочие, ведь у них никогда не было своей земли, им даже желуди было запрещено собирать в хозяйских владениях,— так вот незадолго до революции они начали сами занимать земли латифундистов. И политическая и общественная ситуация были таковы, что перевес оказался на стороне крестьян. Латифундисты, не без сопротивления, уступили свои земли и затаились в ожидании лучших для себя времен. Аграрная реформа официально закрепила эти территории за крестьянами, и в деревнях были созданы сельскохозяйственные кооперативы. Однако крупным помещикам—при попустительстве правительства — удалось снова захватить часть земель. Но, я думаю, несмотря на некоторые отступления, историю вспять повернуть невозможно и отнять у народа всю землю латифундисты уже не смогут.

— Вопрос, касающийся вашего творчества: сочиняете ли вы стихи?

— Почти как и все писатели в Португалии. Правда, я уже давно не пишу стихов. Одним из моих последних поэтических опытов была ода стулу, с которого перед смертью свалился Салазар. Да и в жанре прозы я написал не так уж много, и между книгами были очень большие перерывы. Писательство — не единственное мое занятие. Я перепробовал множество профессий, был слесарем, чертежником, журналистом, а после того как правительство поправело и меня несколько лет назад уволили из газеты, пришлось зарабатывать на жизнь переводами с французского.

— В вашем новом романе «Записки о монастыре», который уже готовится к печати в нашем издательстве «Радуга», вы используете иную стилистику, чем в романе «Поднявшиеся с земли»?

— Я не люблю повторяться из книги в книгу. Каждый раз я ставлю перед собой более трудную задачу и обращаюсь к более сложной тематике, чем прежде. Я не пишу романы сначала о графе Монте-Кристо, затем о его невесте, затем о его сыне, затем о внуке и так далее. Каждый раз я стараюсь превзойти самого себя.

— По вашему мнению, сегодняшняя португальская литература в достаточной степени отражает португальскую действительность в послереволюционный период?

— В настоящий момент да. Но каждый писатель делает это по-своему. Я, например, когда речь идет о творчестве, не стремлюсь делать моментальные снимки с повседневности и описывать поверхностный слой событий.. Не стараюсь любой ценой завоевать аплодисменты. Я пишу так, как подсказывает мне совесть, мой внутренний голос, который диктует о чем и каким образом я должен писать. Но о чем бы ни были мои книги — о бедняках Алентежо, о монастыре восемнадцатого века, который выступает у меня символом фашистской Португалии, замкнутой и отгороженной от всего мира, или о никогда не существовавшем поэте Рикардо Рейсе (это был один из трех псевдонимов Фернандо Пессоа [1], и я пишу сейчас о нем роман) — во всех моих книгах незримо присутствует революция. И я не собираюсь ставить точку. Мне есть что сказать...

Два дня спустя на торжественном обеде в честь присуждения Жозе Сарамаго премии португальского ПЕН-клуба за роман «Записки о монастыре» мне довелось услышать произнесенную им отнюдь не торжественную речь, которая прозвучала как шутливая новелла о собственной жизни. В далеком детстве Жозе Сарамаго учился в де-

[1] Фернандо Пессоа (1888—1935) — крупнейший португальский поэт XX века. Писал стихи не только от своего имени, но и от имени еще трех придуманных им поэтов, каждого из которых наделил индивидуальными внешними чертами и своеобразной поэтикой.

ревенской школе и числился среди самых неуспевающих учеников. Но ему нестерпимо хотелось стать первым учеником, которому предоставлялось почетное право открывать дверь входящему в класс учителю. И какой долгий и трудный путь пришлось пройти этому писателю-коммунисту, чтобы он почувствовал себя, наконец, учеником, достойным отворить дверь перед учителем.

■

Несколько лет назад, изнуряюще знойным летним днем, какие нечасто случаются в Москве, у нас с мужем в гостях был португальский писатель Урбано Тавареш Родригеш, находившийся в то время в Советском Союзе. Он рассказывал нам о послереволюционной Португалии, о сбывшихся и несбывшихся надеждах. Говоря о реакционных силах, которые всячески препятствуют демократическому развитию страны, и об условиях, в которых работают португальские коммунисты, Урбано Тавареш Родригеш вскользь упомянул, что уже после революции его чуть не повесили прямо посреди улицы.

— Как же это было?

Однажды ночью писатель возвращался с митинга и встретил группу фашистов, которые преградили ему путь. Кто-то из них узнал его: «Смотрите! Это коммунист!» Его вытащили из машины и принялись избивать. А потом решили повесить и накинули веревку на шею.

В этот солнечный и беззаботный день рассказ Урбано Тавареша Родригеша звучал особенно зловеще и нереально — тем более что сам он весело улыбался.

— Как же вы можете говорить об этом смеясь?

— Но ведь это было давно и...

Раздался звонок в дверь — пришли наши друзья, и рассказ писателя остался неоконченным.

И снова за окнами изнуряющая, но уже лиссабонская жара, и в знойной неподвижности застыл воздух, однако в квартире Урбано Тавареша Родригеша и его жены — писательницы и художницы Марии-Жудит де Карвальо — царит прохлада.

Вчера здесь до поздней ночи засиделись друзья Урбано и Марии-Жудит — уже знакомые мне по встречам в Москве Фернандо Намора и Жоан де Мело и другие писатели. Прозаик и драматург Орландо да Кошта, щеголеватый весельчак с лихо закрученными седыми усами, целый вечер неутомимо подтрунивал над своими собратьями по перу. Молодой прозаик Антонио Лобо Антунеш, одетый в спортивную куртку и кеды и скромно просидевший все время в углу,— автор уже пяти романов, каждый из которых выдержал от шести до девяти изданий. По профессии он врач-психиатр, и его книги, отличающиеся глубоким психологизмом, горячо рекомендовали и Фернандо Намора, и Урбано Тавареш Родригеш. Сияющая красотой и жизнерадостностью молодая писательница Ванда Рамуш сразу перешла со мной на «ты» и с откровенностью давней подруги рассказывала о себе и расспрашивала меня.

О многом говорили в тот вечер и в том числе — о нелегком положении писателя в Португалии: лишь считанные художники слова могут позволить себе жить на гонорары, большинство вынуждено где-нибудь работать, чтобы сводить концы с концами.

Писатели, еще не бывавшие в Советском Союзе, интересовались, в каких условиях живут и работают у нас люди, как проводят отпуска, много ли читают, кто из португальских и других зарубежных авторов у нас наиболее известен, какие процессы протекают в советской литературе, которую очень мало знают в Португалии.

Уже посещавшие нашу страну Фернандо Намора и Жоан де Мело говорили о том, что им удалось увидеть во время своих поездок, справлялись о московских новостях. Жоан де Мело рассказал, какое потрясающее впечатление произвел на него Ленинград — его так взволновала строгая красота и поэзия этого города, что накануне отъезда он за одну ночь сочинил поэму в его честь.

Через два дня этот многочасовой разговор будет продолжен в Ассоциации португальских писателей, куда помимо литераторов, собравшихся в доме Урбано Тавареша Родригеша, придут уже известные у нас спокойно улыбчивый Жозе Кардозо Пиреш, подтянутый и четкий Марио Вентура, мечтающий побывать в наших Прибалтийских республиках Мануэл да Фонсека, а также писатели, произведения которых еще не переводились в нашей стране: яркая, эксцентричная и смело-независимая во взглядах Наталиа Коррейя, пишущая и прозу, и пьесы, и статьи по социальным проблемам, любящий Блока и сам внешне похожий на Блока поэт В. Граса Моура и другие. Все писатели выражали искреннюю заинтересованность в творческих контактах с советской писательской организацией, с нашими издательствами и журналами. У меня был с собой только что вышедший у нас новый сборник современного португальского рассказа, включающий рассказы многих присутствующих авторов, и они долго и с удовольствием его листали стараясь разобрать свои имена на русском языке.

Но это будет позже, а сегодня, после вчерашнего шумного вечера, в квартире Урбано Тавареша Родригеша и Марии-Жудит кажется особенно тихо. Безмолвно смотрят со стен полотна (подарки друзей-художников и портреты близких, написанные Марией-Жудит) — единственное, что украшает этот аскетически скромный дом.

В этот час послеполуденной сиесты Урбано и Мария-Жудит показывают мне недавние фотографии дочки и двух внучек, а потом предлагают посмотреть коллекцию уникальных альбомов по искусству и среди них — поражающие суровой лаконичностью и сдержанной гневной страстностью графические рисунки Алваро Куньяла, сделанные им в тюрьме и тайно переправленные на волю.

Наконец я решаюсь напомнить Урбано о незабытом мною разговоре и прошу дорассказать ту, неоконченную историю.

— А,— улыбается писатель,— тогда, после революции, по Лиссабону разгуливало множество вооруженных банд, и не всегда было понятно, чего они хотели. И вот, когда мне уже накинули петлю на шею, на площади появилась другая, тоже вооруженная

группа, в которую, как потом выяснилось, входили люди самой разной ориентации. Они-то и спасли меня.

Сегодня воскресенье, вечером Урбано Тавареш Родригеш едет на митинг в защиту Народной революции в Никарагуа, а сейчас у писателя есть несколько свободных часов, и я прошу рассказать о том, где он родился, где учился, как складывалась у него жизнь. Как он стал антифашистом и коммунистом.

— Родился я в Лиссабоне. Но мое детство и отрочество прошли в Алентежо, где у моих родителей было небольшое имение. Наш дом сохранился и по сей день, но стоит совершенно заброшенным. Алентежо славится у нас своей, я бы сказал, трагической красотой да еще крайней бедностью живущих там крестьян.

Я вслушиваюсь в тихий и ровный голос писателя и зримо представляю себе этот край, столь ярко, колоритно и любовно воссозданный в книгах и Жозе Сарамаго, и Урбано Тавареша Родригеша.

— Я и мой младший брат Мигел ходили в школу вместе с детьми местных бедняков. В то время я, конечно, еще ничего не знал о социализме и даже представить себе не мог, что когда-нибудь стану коммунистом. Но я видел, в какой нищете жили эти бедняки, и понимал, что это несправедливо. В тридцатые и сороковые годы, на которые пришлось мое детство, Португалия переживала острый экономический кризис и страшную безработицу. Я своими глазами видел, как умирали от голода люди. Нам с братом очень хотелось им помочь. Но как? Мы стали носить им хлеб и колбасу. Изменить что-либо нам было не под силу, но мы испытывали горячую потребность хоть что-то сделать для этих бедняков. Я думаю, уже в ту пору в моей душе начало зреть чувство неосознанного, но все же протеста против существующего порядка вещей.

Позже, когда Урбано поступил в Лиссабонский университет, эти зерна бунтарства проросли и дали всходы. Его двоюродный брат тоже учился в университете и собирался стать врачом. Он был коммунистом и тайком давал Урбано читать «Капитал» Маркса и некоторые работы Ленина. Маркс и Ленин были тогда в Португалии запрещены, и их книги потихоньку передавали из рук в руки.

— Став антифашистом, я сблизился и с коммунистами. Вообще за свою жизнь я встречал много честных, благородных, достойных и мужественных людей, но коммунисты неизменно выделялись своим мужеством и благородством. Долгое время я бок о бок боролся вместе с коммунистами против фашизма и в конце концов понял, что должен быть среди них...

Много ли раз меня подвергали тюремному заключению? Всего трижды. Впервые меня арестовали только за то, что я присутствовал на подпольном собрании — это было объединенное собрание всех партий, участвовавших в сопротивлении фашистскому режиму, и мы выработали программу демократических преобразований нашей республики. Вскоре меня снова арестовали. На этот раз — за участие в революционной организации, Комитете патриотических действий, куда входили коммунисты, социалисты, левые христиане и другие антифашисты. Меня посадили в тюрьму «Ажуда», где продержали много месяцев в камере-одиночке. Читать и писать мне было запрещено, и все, что мне оставалось,— это лежать пластом на кровати, кроватью это ложе можно назвать, конечно, только условно, и повторять про себя стихи Франсуа Вийона, Камоэнса и решать в уме арифметические задачи. Когда мне разрешили пользоваться карандашом и писать письма близким, я начал сочинять стихи, которые при очередном обыске обязательно отбирали. Потом меня перевели в общую камеру, где содержалось несколько заключенных: режиссеры кино, инженеры, рабочие — все они были коммунистами. В этой камере я просидел еще два месяца.

В третий раз я попал в тюрьму в 1968 году, и это было тяжелее всего. Меня допрашивали семнадцать суток подряд, днем и ночью, без перерыва. Мне не давали спать, а это мучительней, чем когда тебя бьют. Я хорошо знаю, что такое побои, но пытка бессонницей... Есть я не мог, лекарств мне не давали... Хотели добиться, чтобы я выдал своих товарищей, но я ничего не сказал. Даже когда я бывал на свободе, ко мне в любой момент могла нагрянуть полиция: одиннадцать раз она приезжала ко мне на рассвете и переворачивала все вверх дном. Я никогда не знал, чем закончатся эти обыски, арестуют меня или нет. Стоило услышать звонок в дверь, я сразу же прятал записную книжку. Если полиция обнаруживала адреса и телефоны, арестованного подвергали изощренным пыткам, требуя объяснений по поводу каждого имени.

— В каком возрасте вы начали писать?

— Очень рано, но опубликовался впервые, когда мне было уже 25—26 лет. Одним из самых первых опытов был роман «Потерянные часы», который я не собирался публиковать, но Мигел очень советовал мне его издать. Он считал, что я сумел передать в нем черты нашего поколения, наши поиски смысла жизни и своего собственного пути. (В конце концов я все же опубликовал его.) Но я думаю, это была не совсем зрелая книга, хотя какие-то юношеские искания она, наверное, и отразила.

После первого же ареста меня выгнали из университета, где я вел занятия со студентами, и лишили права преподавать. Только после революции появилась возможность снова вернуться в университет. Много лет я зарабатывал на жизнь журналистикой, писал литературно-критические статьи, рецензии на театральные спектакли. Выступал с репортажами, которые довольно часто запрещала цензура. При фашизме газетные и журнальные публикации подвергались предварительной цензуре, а книги — сразу после выхода в свет. Три или четыре мои книги были также запрещены и в их числе сборник новелл «Суррогат счастья», вышедший в 1965 году. За что? За то, что в новелле под этим названием я показал Португалию нищей и утратившей достоинство страной, а это не понравилось властям. Кроме того, мне мстили и за антифашистскую деятельность. Существовало много способов убить книгу. Например, мои книги было запрещено рекламировать, выставлять их в витринах книжных магазинов и рецензировать.

— Каким образом ваш опыт участника Сопротивления отразился в ваших произведениях?

— Чаще всего не прямо, а косвенно.

— Среди ваших новелл, переведенных на русский язык, есть две, посвященные узникам салазаровских застенков,— «Гвозди» и «Даже если так будет...». Можно считать их в какой-то степени автобиографическими?

— «Гвозди» я написал после того, как сам трижды отсидел в тюрьмах, а вторую новеллу — на основе рассказов моих товарищей о том, что им пришлось испытать.

— Я знаю, что вы общаетесь и со студентами, которым преподаете французскую литературу, и с рабочими, и с крестьянами сельскохозяйственных кооперативов. Доводилось ли вам слышать, что после чтения ваших книг в их взглядах что-то менялось?

— Да, особенно от молодых. Но это относится не только к моим книгам, то же самое можно сказать о книгах Жозе Кардозо Пиреша, Аугусто Абелайры и других писателей. Я думаю, совместными усилиями нам удалось что-то сдвинуть, что-то изменить в сознании португальцев.

— Судя по вашим произведениям, вас всегда интересовала молодежь. И вы часто пишете о молодых бунтарях, восстающих против закоснелых взглядов, против своего класса и буржуазного общества. Мне очень нравится ваша Тереза из новеллы «Усадьба роз».

— Я сам ее очень люблю. Такой тип молодой женщины-интеллигентки был распространен у нас в 50—60-е годы. Но Тереза — образ вымышленный, а не списанный с конкретной модели. Мне хотелось показать женщину из буржуазной среды, которая тянется к народу, инстинктивно понимая его правоту. Глубоко страдая из-за того, что народ видит в ней чужую, сторонится ее, она и в этом признает его правым. И как вы помните, она погибает от пули, направленной против взбунтовавшихся крестьян, которых пытается защитить. Эта новелла тоже была запрещена, но Академия наук присудила ей премию, и цензуре пришлось пойти на попятный. А новелла «Камнем в болото» — она также известна у вас — о сыновьях, восстающих против отцов, которые были верными прислужниками Салазара. Даже в такой среде были дети, которые стыдились родителей-фашистов. Это не зрелый, но все же бунт против родителей и своего класса.

Атмосфера в годы фашизма была настолько угнетающей, что протест зарождался в душах самых разных людей. И проявлялся он тоже по-разному. Даже в форме самоубийства. В годы правления Салазара в Португалии было очень много самоубийств — и не только среди интеллигенции, но и среди крестьян, которые кончали с собой из-за голода, из-за долгов, из-за нищеты. Это не были самоубийства по политическим причинам, но в конечном счете они несли в себе протест против фашистского режима.

— А какая судьба у рассказа «Черный карнавал»?

— Я написал его в 1970 году, незадолго до смерти Салазара. Запрету его не подвергли, но было запрещено упоминать его в критических статьях. Разгул насилия, учиненного молодыми фашистами (естественно, в то время я не мог их так называть, но было понятно, о ком идет речь), символизировал атмосферу жестокости, в которую вовлекли Португалию салазаровский режим и колониальная война.

— Я вспомнила сейчас вашу ироническую новеллу «Дядя Бог». Показанное в ней неуемное детское буйство и озорство носит аллегорический характер или отражает и ваши собственные воспоминания детства?

— Эту новеллу я тоже написал незадолго до смерти Салазара, и так получилось, что мне удалось предсказать в ней развитие событий. Я думаю, читателям было нетрудно догадаться, что дядя Бог, с тупой безжалостностью карающий осиротевших племянников за малейшую провинность,— это, конечно, Салазар. В тетушке, его сестре, приезжающей на похороны брата,— и ясно, что она не уступит ему в жестокости,— можно было легко различить Марселя Каэтано, который занял пост Салазара во время его болезни. А дети, не знающие, как употребить свою свободу,— это португальский народ сразу после революции. Да, еще о моих личных воспоминаниях. Прямо автобиографического здесь ничего нет. И атмосфера у нас в доме была совсем иная, и мои родители не имели ничего общего с дядей Богом и его сестрой. Это были люди довольно демократических взглядов. Да и мы с братом не походили на бесчинствующих подростков, которым выпал один день свободы, и все же какие-то призраки нашего детства, какие-то едва уловимые ассоциации и нюансы, безусловно, ожили в этой новелле.

— Вероятно, поэтому вы обрисовали этих двух братьев с таким душевным теплом. Несмотря на все, что они вытворяют, чтобы досадить взрослым, в них очень много притягательности и обаяния.

Мы говорим с вами о произведениях, которые были написаны до или в преддверии революции и выражали страстное стремление освободиться от фашистского режима. Какие чувства у демократически настроенных португальцев вызывает сегодняшняя ситуация в стране?

— Люди, приезжавшие в Португалию вскоре после революции, говорили, что для них это все равно что глоток свежего воздуха,— такое упоение свободой, такой крутой поворот к новой жизни, такой расцвет мысли, демократии и всех видов искусства! Сейчас же многие португальцы испытывают глубокое разочарование и подавленность. И не веря больше в какие-либо перемены к лучшему, совсем уходят от борьбы. Изменилась атмосфера и в университете. После революции были облегчены условия для поступления в университет детям рабочих и крестьян, поэтому и климат стал более демократичным. Теперь здесь снова учатся главным образом дети имущих родителей — ведь за учебу надо платить. Однако бывают случаи, когда на первом курсе студенты проявляют полное равнодушие к политике или придерживаются крайне правых взглядов, а за годы, проведенные в университете, заметно левеют. И это, конечно, радует.

В целом же многие завоевания, которых удалось добиться благодаря революции, сводятся на нет. Растет безработица, и, как следствие, растет количество демонстраций

и забастовок. У нашего правительства много неразрешенных проблем — трудно руководить страной, проводя политику, направленную против интересов трудящихся. Я уж не говорю о полном подчинении и зависимости от США — что может быть хуже этого? В свое время ЦРУ приложило все усилия, чтобы задушить апрельскую революцию 1974 года. Ведь в мире все взаимосвязано, и милитаристская политика Рейгана, навязанная им атмосфера «холодной войны», оголтелый антикоммунизм правящих кругов США не могут благоприятствовать развитию демократии в Португалии. Поэтому мы, коммунисты, всеми силами боремся за национальную независимость нашей страны, за мир и всеобщее разоружение. И мы верим в лучшее будущее нашей Португалии...

Активная деятельность в компартии, преподавание в университете, почти ежедневные лекции, семинары, чтение курсовых и дипломных работ (я видела Урбано Тавареша Родригеша среди студентов, и было нетрудно заметить, что его связывает с ними сердечная дружба) — и при этом многолетнее интенсивное занятие творчеством. Как же удается все это сочетать?

— Раньше я писал по ночам и жертвовал отпусками. Теперь пишу меньше. Тюрьмы, постоянное нервное напряжение — все это, конечно, сказалось на здоровье, и я уже почти не работаю ночами, а занимаюсь этим по воскресеньям и во время двухнедельного отпуска, который провожу обычно на юге, в Алгарви. Наш друг уступает нам каждый год на месяц свой дом: две недели там проводит наша дочь с детьми, а остальные две недели — мы с женой.

— Есть ли у вас произведения, которые вам особенно дороги?

— Да, это новеллы «Суррогат счастья» и «Черный карнавал». И еще роман, который я написал уже после революции,— вон тот, что стоит с краю на полке, с красными знаменами во всю обложку. Он называется «Изопью эту чашу до дна». И самый любимый у меня сейчас — последний сборник новелл «Неподвижное бегство». Он только что вышел. Наверное, как и все писатели, я стараюсь не повторяться и в каждой новой книге ищу новые для меня средства выражения. «Неподвижное бегство» — это эксперимент, реальное переплетается здесь с ирреальным, мечта и сон перевоплощаются в действительность и наоборот. Если хотите, я расскажу о новелле, которая написана в Грузии. Она называется «Эхо». События происходят не в Грузии, но именно дни, проведенные в этой республике, навеяли мне воспоминания о детстве и юности. Однако и приметы Грузии здесь можно узнать: грузинскую природу, атмосферу юга, напоенный ароматами воздух. Нечто вроде поэмы в прозе. Есть в этом сборнике новеллы и о конкретных событиях. Например, о празднике «Аванте!» — как и «Юманите», газета нашей компартии ежегодно устраивает свой праздник. Структура у всех новелл разная, одни целиком придуманы, у других корни уходят глубоко в реальность.

Сейчас я готовлю новый сборник и только что закончил рассказ о крестьянах своего родного края Алентежо. Мне кажется, я могу сказать о себе, что хорошо знаю эту провинцию, нравы и обычаи местных жителей, их песни, их сказки, их фольклор. Я чувствую неповторимую поэзию этих мест, и пейзажи, и сам дух Алентежо присутствуют во многих моих книгах. А в этой новелле я рассказываю о сегодняшней деревне и о крестьянах, у которых снова отнимают землю, обрекая их на нищету.

За то время, что мы беседуем с писателем, день начал постепенно угасать, знойная жара сменилась вечерней свежестью, и сквозь затворенное (чтобы приглушить уличный шум) окно слышны порывы ветра, долетающего с океана.

— Урбано,— задаю я последний вопрос,— вы много раз бывали в нашей стране — какие чувства вызывают у вас эти поездки?

— Когда я нахожусь среди русских, среди советских людей, я не чувствую себя чужим. Мне кажется, между португальским и вашим народом много общего — та же открытость, та же искренность. Я очень высоко ценю подлинное миролюбие вашей страны. И меня восхищает массовая тяга к культуре и любовь к чтению, которые сразу бросаются в глаза, как только попадаешь в Советский Союз, и которых нет сейчас на Западе. И, конечно, ваш романтизм. Если я еду в метро, иду по улице или с кем-то разговариваю, я всматриваюсь в лица моих собеседников и прохожих и узнаю некоторые черты, описанные Достоевским, Чеховым, Тургеневым и еще раньше Пушкиным. Я узнаю славянскую душу. И в то же время ваша страна — это страна реалистического подхода к решению стоящих перед обществом проблем, неутомимой работоспособности, инициативы. И все эти разные качества, унаследованные от прошлого и порожденные сегодняшним днем, каким-то чудом уживаются в характере вашего народа. В любой стране я в первую очередь приглядываюсь к молодым, и хотя я, может быть, встречал не так уж много молодых советских людей, я понял, что они преисполнены огромного интереса к тому, что происходит в мире.

Знаете, меня часто спрашивают у вас, не зовут ли меня Товарищем, потому что фамилия Тавареш похожа по звучанию на русское слово «товарищ». И мне бывает очень приятно, когда мне задают этот вопрос...

■

Веселым вихрем ворвалась в мою португальскую жизнь Орланда Амарилис, словно сказочная фея, щедро одарив меня своим гостеприимством. Жена видного писателя (президента Ассоциации португальских писателей Мануэла Феррейры), директор большой школы, редактор журнала по проблемам воспитания, автор ряда сборников рассказов, мать взрослого сына, нежная и заботливая бабушка — эта смуглая и ярко одетая женщина, родившаяся на островах Зеленого Мыса, передвигается только бегом или пританцовывая.

— Вы любите танцевать? — спросила она меня, как только мы встретились и сели в машину.

Лукаво взглянув на меня, она ловко обогнала идущий впереди неповоротливый грузовик.

— В моем возрасте, наверное, стыдно признаваться в подобных слабостях, но я обожаю танцевать. Каждую пятницу мы с му-

жем ходим в ночной ресторанчик, чтобы потанцевать.

Уже через минуту после знакомства с Орландой Амарилис мне казалось, что я знаю ее давным-давно.

— Ой, я лет тридцать не говорила по-французски! Боюсь, вы меня просто не поймете! — воскликнула она вначале, но того запаса французских слов, которым располагала каждая из нас, вполне хватило для того, чтобы сразу найти общий язык.

Орланда рассказывала о детстве и юных годах, проведенных в Африке, о положении местного населения в бывших португальских колониях, об антиколониальной войне.

Как директор школы она очень озабочена проблемой воспитания молодого поколения («ведь дети сейчас совсем не те, что были раньше, и старые педагогические приемы уже не годятся»).

— И сколько еще не прочитано книг, сколько я еще не успела написать! Вот даже покрывало для дивана пять лет вяжу и никак не могу закончить — все времени не хватает.

И, конечно же, следуют бесконечные вопросы: какими правами пользуются женщины в Советском Союзе? кто занимается воспитанием маленьких детей? помогают ли мужья женам? много ли ранних браков? а разводов?

— Много? И в Португалии много, только в вашей стране эту проблему, наверное, серьезно изучают, а у нас нет... Да, расскажите мне еще о московской зиме, как одеваются зимой люди, как спасаются от холода. Мне хочется узнать о вашей жизни как можно больше.

День пролетел чересчур быстро, и тех часов, что мы провели с Орландой Амарилис вместе, оказалось недостаточно, чтобы получить ответы на все вопросы, которые нам хотелось задать друг другу.

Вечером — я в гостях у Ванды Рамуш и ее мужа Антонио и с радостью за молодых хозяев осматриваю небольшую двухкомнатную квартиру с простой и старой мебелью, где каждому предмету и самому скромному сувениру, привезенному из ближайшей деревни или дальнего путешествия, столь удачно и любовно найдено свое место, что даже подаренная кем-то наша рублевая деревянная ложка обрела вид неповторимого в своей оригинальности произведения искусства.

Напрасно Ванда уверяет меня, что она всего час провела сегодня на кухне. Мне не трудно представить, сколько времени требуется, чтобы приготовить тушеное мясо, нарезанное тонкими ломтиками и свернутое трубочками, и любимую португальцами бакалау (соленую и сушеную треску размачивают в воде или молоке и обжаривают), да еще напечь такую гору ароматных и сочных пирожков и разных других сладостей.

— Я тоже люблю готовить, но меня допускают на кухню, только когда нужно помыть посуду. Это единственное, что доверяет мне Ванда,—сетует Антонио.

Как всегда бывает за столом, разговор идет вперемешку обо всем сразу. Я расспрашиваю Ванду о ее книгах, одна из которых, повествующая об Африке, недавно получила почетную литературную премию; мы обмениваемся рецептами вкусных и быстро приготовляемых блюд; Антонио рассказывает о последнем судебном процессе, где он выступал адвокатом.

Раздается телефонный звонок — это извиняется за опоздание к ужину Орландо да Кошта, товарищ Ванды по партии (оба они коммунисты) и по общественной работе в правлении писательской Ассоциации.

— Ох уж эти писатели! — шутливо вздыхает Антонио.— Каждый день видятся и никак не наговорятся. И о чем, вы думаете, они говорят? О литературе. О чем еще могут говорить писатели, как не о литературе? Разве они знают, что такое настоящая жизнь? Вот мы, адвокаты...

А за распахнутым окном мерцает черное лиссабонское небо.

■

Я долго колебалась, прежде чем позвонить Марио Невешу, бывшему послу Португалии в СССР. Ведь знакомство было таким недолгим — я заказала ему статью для журнала, он точно к назначенному сроку написал ее, а затем упорно отказывался от гонорара. Вскоре Марио Невеш уехал на родину, и от него начали приходить письма, в которых он писал, что помимо работы в Министерстве иностранных дел продолжает заниматься изучением русско-португальских связей и ему удалось разыскать новые сведения о португалке (будущей графине Строгановой), сыгравшей роковую роль в истории пушкинской дуэли.

Через некоторое время я получила горькое письмо с вырезанным из газеты некрологом — Марио Невеш сообщал о безвременной и трагической смерти сына. После этого наша переписка оборвалась — Марио Невеш замкнулся в своей боли.

Но когда я решилась наконец набрать номер его телефона, то услышала: «Вы сейчас свободны? Тогда через двадцать минут я буду у вас и мы поедем ко мне домой». Через двадцать минут Марио Невеш был в холле гостиницы. Немного похудевший, слегка поседевший, но все такой же изысканно элегантный. И в глазах по-прежнему горит ясный и живой свет. Только когда мы спускались к машине и Марио Невеш садился за руль, я увидела, с каким трудом он передвигает отказывающиеся повиноваться ноги и каких усилий стоит ему каждое движение.

И вот, тяжело опираясь на палку, он ведет меня в свой кабинет, который похож на кабинеты всех пишущих людей: книги на стеллажах, книги на полу, повсюду кипы журналов и газет, стол тоже завален книгами, рукописями и письмами, ожидающими ответа. У каждой книги здесь своя история. Марио Невеш показывает мне старинные издания португальских классиков и новейшие произведения современных авторов, полку с книгами любимых русских писателей — и рассказывает, рассказывает.

Потом Невеш и его жена оставляют меня одну, чтобы накрыть стол к чаю, и я беру в руки лежащую на журнальном столике книгу, которая еще пахнет типографской краской. Называется она «Огненная война», в подзаголовке значится — «Документальная повесть о гражданской войне в Испании». Автор — американец Питер Уайден. Види-

мо, это он прислал книгу Невешу. Да, действительно здесь есть его автограф.

Начинаю ее листать, встречаю имя Марио Невеша и уже не могу оторваться. Из главы о кровавой резне, учиненной франкистами в «красном» Бадахосе, я узнаю о том, кто был первым и единственным журналистом, который с невероятными трудностями и риском для жизни на следующий же день после страшной ночи пробрался в заваленный трупами и залитый кровью город, проник в ставку главнокомандующего южной армии полковника Хуана де Яго и добился от него официального подтверждения об убийстве нескольких тысяч невинных людей.

Сразу же после этого агентство «Рейтер», а вслед за ним и другие печатные агентства дали сообщения о чудовищной расправе, ссылаясь на информацию безымянного португальского журналиста. Этим безымянным португальским журналистом был Марио Невеш (сам он из скромности вряд ли рассказал бы мне об этом). В то время Невеш работал в лиссабонской газете «Диарио де Лишбоа» и, вопреки официальной позиции правительства Салазара — преданного друга Франко, стремился любой ценой давать правдивую информацию о том, что происходило в Испании.

Питер Уайден считает нужным напомнить правду о Бадахосе, потому что в последнее время в западных странах пытаются предать забвению эту трагедию и уверить человечество в том, что ее вообще не было.

За чаем я спрашиваю Невеша, удалось ли ему написать задуманную статью о Пушкине.

— Да, и один журнал напечатал ее года три назад.

Я хочу посмотреть эту публикацию, и Невеш уходит в кабинет за журналом, который я увезу в Москву. Кто знает, а вдруг исследование португальца, который так горячо любит русскую культуру, что не пощадил свою соотечественницу от сурового приговора, откроет что-то и нашим пушкинистам?

— Хочу написать еще восемь статей и три книги,— говорит Марио Невеш,—но не знаю, успею ли: ведь мне уже семьдесят один год и здоровье стало сдавать. Сейчас пишу мемуары, причем начал не с детства, как делают обычно, а с конца — с тех лет, что я провел в вашей стране. Если бы вы знали, как дороги мне эти воспоминания! Я был первым послом Португалии в СССР и старался сделать все, чтобы наши страны лучше узнали друг друга. Мне кажется, португальцы по своему характеру похожи на русских.

— То же самое мне говорил Урбано Тавареш Родригеш.

— Да? Значит, я прав. И все было радостно — даже организационные хлопоты, верно? — спрашивает Невеш у жены, которая с нежной и ласковой улыбкой слушает мужа.— Помнишь, как мы выбирали здание для посольства? Городские власти предоставили нам в этом полную свободу. А как я любил гулять по Москве! Я заглядывал во все книжные магазины и не пропускал ни одной букинистической лавки. Вон, посмотрите! — показывает вдруг Невеш через окно на человека, идущего по улице.— Это мой личный врач, который живет в соседнем доме. Много лет мы были с ним неразлучными друзьями, но после моего возвращения из вашей страны он перестал со мной здороваться.

Как вы думаете, с чего я начал свои мемуары? С того, как мы с женой впервые прилетели в Москву. Это было в октябре. Как только самолет приземлился, пассажиры бросились к окнам, и я услышал, что все кричат: «Снег! Снег!» Тогда я еще не знал этого слова, но выглянул в окно и понял, что это такое. Вы знаете, что «невеш» по-португальски — это снег? И то, что Москва встретила нас первым снегом, я воспринял как добрый знак. Ведь правда, в этом было что-то символическое?..

■

Намора за рулем. Целый день. Писатель, его жена Зита и их давний друг поэтесса Мария Виторино пригласили меня посмотреть университетский город Коимбру. Но рядом с Коимброй деревня Кондейша (мне она показалась маленьким городком), где Намора родился и где одна из улиц носит его имя (как и в Лиссабоне) — как же туда не заехать? И по дороге туда и обратно сколько еще городов и деревень открыли мне мои гостеприимные хозяева.

Возле каждой лавочки, где торгуют местной керамикой, и ее образцы, выставленные у дороги под ярко-синим небом, зазывают проезжающих мимо автомобилистов, Намора непременно останавливает машину, и они с женой и Марией Виторино после долгого и темпераментного обсуждения выбирают сувениры для всех, кого им хочется порадовать.

Владельцы лавок хорошо знают Намору, этого «живого классика», как его называют в Португалии, здороваются с ним за руку и обмениваются последними новостями. И не только владельцы лавок. Когда за превышение скорости нашу машину останавливает полицейский, этот дорожный инцидент также заканчивается рукопожатием. Как только писатель называет свое имя, хмурое лицо полицейского освещается широкой улыбкой: он читал его книги. А хозяин кафе в родной деревне Фернандо Наморы отказывается взять с него деньги за обед.

Интересно, помнит ли сам Намора свои давние стихи, которые я разыскала уже потом, в Москве:

Мои стихи стоят в витрине деревенской лавки,
В компании крупы, наливок и настоек.
Приходят осень и дожди — и раскисает площадь;
приходят лето и жара — и сохнет кукуруза...
Минуют троица и пасха с огненной шутихой...
Минует жизнь, которую старался увековечить я стихами. Лишь один корреспондент из «Секуло» однажды про них статейку тиснул. Может быть, он и прочел их... Земляки ж мои охотней толкуют о моем таланте и частенько в трактире собираются на сход, чтобы решить, куда мой памятник поставить. Он-де должен стоять на зависть всем окрестным селам...

(*«Портреты детства»*, перевод *С. Гончаренко*)

Выехали мы свежим утром, в Коимбру попали в полдень, когда камни и стены домов раскалились от палящего солнца. Но в

старинном Коимбрском университете кипела жизнь, и студенты, как и все студенты во время экзаменационной сессии, выглядели деловитыми и озабоченными.

Сколько древних монастырей осмотрели мы в этот день — белоснежных, молчаливых, пустынных, возвышающихся светлыми громадами над окружающим пейзажем. Потирая лицо ладонями, словно пытаясь снять головную боль и глубоко запрятанную усталость, Намора торопливо обегал эти нерасполагающие к спешке строения. А Зита и Мария Виторино с необычайным терпением рассказывали мне историю каждого осматриваемого нами памятника и родословные захороненных под сводами храмов королей и их отпрысков.

Особенно запомнился монастырь в Алкобасе — при входе в него посетителей встречает плакат, на котором изображен ребенок, прижимающий палец к губам: «Все разговоры оставьте за дверью. Здесь святое место». Одновременно с нами с громким смехом и шумом вошла группа школьников, которых привела на экскурсию учительница. Увидев плакат и прочитав начертанные на нем слова, школьники мгновенно стихли и с благочестивым видом медленно двинулись вслед за важно шагавшей впереди учительницей. И как было не умилиться такому послушанию! Но уже через несколько минут холодные залы средневекового монастыря ожили от веселой кутерьмы: дети, которые были здесь всех цветов кожи, забыв о благоразумии, носились по бесконечным коридорам, прятались друг от друга за неохватными колоннами, взбирались на огромные столы трапезной и играли на них в салочки и чехарду. И растерянная предводительница была не в силах унять свое расшалившееся войско.

— Мы приготовили для вас сюрприз,— говорит Намора.— Сейчас вы увидите Назаре. Вот оно, море!

— Но этот морской городок славится не только роскошными пляжами. В Назаре чаще, чем в других местах в Португалии, бывают штормы, а потому и много вдов, которые не дождались своих мужей-рыбаков,— поясняет Зита.

Здесь, в Назаре, гуляя по набережной, вы непременно встретите старых рыбачек в черных тюрбанах и многочисленных, надетых одна поверх другой, черных юбках, а на голове у них корзины со свежей рыбой. Вы увидите и стариков, неподвижно и задумчиво сидящих на берегу океана и вглядывающихся в даль.

— Они сидят так, наверное, целые дни?

— Целую жизнь,— говорит Зита.

На наших глазах желтый шар солнца гасит свое сияние, наливается багровым цветом и тонет в океане, на прощанье вспыхнув ярко-зеленой точкой. И в бескрайнем небе остается парить лишь дымчато-серое облачко, напоминающее по форме чайку, расправившую в полете крылья.

Мы садимся в машину, но собаки, разлегшиеся посреди мостовой, ни за что не желают уступать дорогу вторгшемуся в их царство автомобилю, а женщины, чинящие на пороге дома сети, спокойно и без любопытства смотрят нам вслед — совсем иная жизнь, чем в шумном и говорливом Лиссабоне.

Чуть позже, словно сказочный мираж, перед нами вырастает Обидош — город, расположенный вокруг древней крепости. Узкие, взбирающиеся вверх улочки, сохранившиеся с незапамятных времен вывески, и повсюду цветы, цветы, целые гирлянды и живые стены цветов.

Во время пути разговор в машине заходит о писателях-врачах — ведь сам Намора закончил медицинский факультет Коимбрского университета и более двадцати лет сочетал медицинскую практику с литературным творчеством.

— Я знаю, что у вас были свои писатели-врачи,— говорит Намора.— Но и в Португалии это не редкость. Мигел Торга (у вас его переводили) был врачом, Антонио Лобо Антунеш, с которым вас познакомил Урбано, тоже врач. Он несколько лет проработал в психиатрической больнице для бедняков, и можете себе представить, какой богатый практический и жизненный опыт приобрел он там как врач и как писатель. В Португалии даже существует помимо международной своя Ассоциация писателей-врачей.

— А как встретили медики ваш давний роман «Человек в маске», в котором вы показали духовную и профессиональную деградацию врача, работающего только ради денег?

— Оскорбились и подали на меня в суд. Но, как видите, я еще на свободе. Если же говорить всерьез, то процесс обездушивания медицины привел к тому, что в обществе, где деньги — это все, самая милосердная и гуманная профессия превращается в доходное ремесло.

Я спрашиваю, над чем писатель работал в последнее время.

— У меня вышел роман «Печальная река», который я написал в непривычной для меня манере. Вы знаете, обычно я пишу спокойным, нейтральным стилем, а здесь захотелось поэкспериментировать. Надеюсь, вас это не испугает,— смеется Намора.— Кроме того, я подготовил к печати свой дневник. Он так и будет называться «Дневник писателя». Это размышления о жизни, о любви, о смерти. В одной из газет я веду колонку, где делюсь мыслями по поводу разных актуальных проблем, а иногда это просто наблюдения из повседневной жизни. Эти статьи я тоже включил в мой «Дневник». Может быть, такая книга покажется читателям интересной. Я, например, с огромным интересом читал дневники Чезаре Павезе и Симоны де Бовуар. Как раз в эти дни я читаю записные книжки Сартра, и многое в нем — как в личности, так и в писателе — становится мне понятнее.

Несколько раз я бывал в вашей стране, но только сейчас взялся за воспоминания об этих поездках. Обычно до и во время путешествий я не задаюсь целью писать об увиденном и не делаю никаких заметок. Но годы идут, впечатления не стираются, и вдруг возникает потребность перенести их на бумагу. Так было у меня с очерком об Америке — фрагменты из него опубликованы в моем оранжевом сборнике (я называю его так по цвету обложки), который года два назад вышел на русском языке. Так получилось и с книгой о Советском

Союзе. Хочется заново пережить свои путешествия по вашей стране.

Рассказывая, Намора горячо жестикулирует и забывает о руле.

— Эй, Намора! — кричат ему хором обе женщины, предупреждая об опасности.

Поэтому следующий вопрос я задаю не писателю, а его жене:

— Советуется ли с вами муж в процессе работы над очередной книгой?

— Никогда,— отвечает Зита.— В лучшем случае он показывает мне готовую рукопись, а чаще всего я читаю его книги уже после выхода из печати.

Фернандо Намора с безучастным видом молчит.

Из его американского очерка я узнала, что он отказывается давать интервью, если к нему приходят с магнитофоном. Почему?

— Потому что магнитофон — это посредник. Когда двое беседуют, третий — лишний. Вчера у меня была одна француженка, которая готовит обо мне диссертацию. Она приехала с огромным списком вопросов и хотела записать мои ответы на магнитофон. Но я сказал, что отвечу на любые вопросы, но свою машину пусть спрячет подальше.

В тот долгий день разговор шел, конечно, не только о литературе, а обо всем, о чем говорят люди, которых сближает дорога: о проносящихся за окнами прекрасных пейзажах, столь разнообразных в Португалии (здесь и океан, и горы, и леса, и долины), о жизни в больших и малых городах, о житейских заботах и неурядицах, о бессоннице, которой страдает Намора, о детях (у Марии Виторино их четверо, и все уже выросли и разлетелись по свету), о грустном предощущении старости и о многом другом.

— Смотрите, смотрите! — показывают мои спутники.— Вон типичный поселок наших «нуворишей».

И я вижу аккуратные домики, сверкающие новизной и гордо выставляющие напоказ свое благополучие.

— Может быть, вы слышали,— говорит Намора,— что миллион португальцев, а всего нас девять миллионов, живет только во Франции, еще триста тысяч в ФРГ и еще сколько-то в других странах. Португальцы бегут туда от нужды и безработицы. Если повезет, лет за десять — пятнадцать им удается накопить денег, и тогда они возвращаются к семьям, приобретают землю и строят вот такие дома. Но если бы вы знали, в какой нищете живут они эти годы, во всем себе отказывая и откладывая каждый сэкономленный грош. Другим не везет, но они все равно остаются на чужбине и ведут там самое жалкое существование — им стыдно возвращаться на родину, не добившись успеха.

Сколько еще нужно изменить в нашей маленькой Португалии, чтобы ее не стремились покидать. Конечно, у нас есть люди, которые твердо знают, что за это необходимо бороться. Но, видите ли, многим португальцам во все времена была свойственна некоторая беспечность, какая-то детская вера в чудо, надежда на то, что все, как в сказке, переменится к лучшему. Однако мы живем не в сказке, и надеяться надо не на чудо, а на себя...

Стемнело. Перед нами развилка, от которой в разные стороны расходятся дороги: и налево, и направо, и прямо. На одной из стрелок значится — Лиссабон. И Намора едет в этом направлении.

— Нет-нет, сеньор! — дружно кричат Зита и Мария Виторино.

Сверяясь с картой, они в течение всего пути наперебой руководили Наморой, когда и где ему нужно поворачивать.

— Но ведь стрелка показывает прямо!— говорит озадаченный писатель.

— Ну и что же! А мы поедем совсем другой дорогой и доберемся гораздо быстрей.

Чуть помедлив, Намора сворачивает в в сторону, противоположную от Лиссабона.

И хотя это может показаться невероятным, но через некоторое время мы действительно въехали в ночной и притихший Лиссабон.

◆

ЖОРЖ СИМЕНОН

Я ДИКТУЮ

Монтаж по книгам

Перевод с французского Э. ШРАЙБЕР

Из книги «Рука в руке»

25 сентября 1976

Вчера вечером я засыпал, и перед глазами у меня стояли картины Таити, таитяне, таитянки. Не нынешнего Таити, которого я не знаю. Таити, каким я его увидел почти сорок лет назад, до того, как там устроили аэропорт, что привело к нашествию туристов, к появлению там французской атомной бомбы и господ военных.

В мое время, как говорят старики, чтобы доплыть из Бордо через Панамский канал до Таити, требовалось пять недель. Еще четыре недели плавания отделяли Таити от Австралии.

Однако на остров регулярно доставлялись почта и кипа газет, чаще всего трех- или четырехнедельной давности.

Маорийцы, мужчины и женщины, очень красивы.

В Папеэте была всего одна дорога, которая опоясывала остров; мостов в ту пору на ней не было, и в период дождей приходилось переезжать через ручьи на машине. Вдоль дороги примерно через каждые десять километров стояли деревни.

Домов из долговечных материалов было мало. Куда больше было хижин из травы, чем домов, верней, домиков, поскольку они были маленькими, из бетона.

Налоги, назначенные французским губернатором, взимались не деньгами, потому что денег у таитян не было и ценности их они не знали. Жителей обязывали проводить по нескольку дней на дорожных работах, и таким образом было построено это кольцевое шоссе.

В Папеэте был большой магазин, где продавалось все, в том числе входившие в моду в Европе пляжные юбочки, которые привозили из Гамбурга.

Основным средством передвижения служил велосипед. Несмотря на большие расстояния, очень немногие таитяне имели повозки. И на дороге повозки встречались нечасто.

В деревнях, образовавших вокруг острова что-то вроде четок, не было лавок. На тележках, запряженных лошадью, от дома к дому ездили торговцы и продавали или обменивали товары. Все они были китайцами, издавна обосновавшимися на Таити, и почти вся торговля в Папеэте, за исключением торговли рыбой и моллюсками, принадлежала им. Да и самим Папеэте тоже заправляли китайцы.

Между китайцами и таитянами начала возникать враждебность, и однажды губернатор, учитывая это, решил открыть на рынке лавку и доверить ее таитянам, которые хоть как-то умели считать. Он же снабдил их товарами.

Через месяц губернатор решил полюбопытствовать, как в лавке идут дела.

Войдя туда, он пришел в восторг. Полки были пусты. Губернатор обратился к человеку, которого назначил управляющим. Тот тоже торжествовал.

— Видите, губернатор, все разошлось.

Уходя, губернатор поинтересовался, как обстоит дело с отчетностью. И услышал краткий ответ:

— С какой?

Мало того что не было никакой бухгалтерии: оказалось, что все товары были просто розданы.

У таитян не было ни малейшего представления о деньгах.

Но судя по тому, что я читаю, сейчас все изменилось. Туристы, и в особенности солдаты, приохотили к деньгам местных жителей, и это очень жаль: раньше, по

[1] Окончание. Начало см. в № 1,1984.

крайней мере, один остров ускользал от общества потребления. Несколько тысяч человек относились к деньгам не только безразлично, но даже с презрением.

9 октября 1976

Каждая профессия оставляет свой след. В криминалистике и в судебной медицине профессию человека определяют по мозолям, по деформации отдельных органов.

Если это понадобится проделать со мной, нужно будет обследовать не мозг, а отбитые подушечки пальцев и сутулую спину, которую я так долго гнул над машинкой.

При всем при том это не дает мне права на звание рабочего, которым я был бы очень горд.

14 октября 1976

Когда я был ребенком, город Льеж, где я родился и прожил до девятнадцати с половиной лет, был, можно сказать, разделен на три части.

Первая — район бульваров д'Авруа и Пьерко, где были только большие частные особняки из тесаного камня. Об их обитателях почти ничего не было известно: они жили за плотно закрытыми дверьми.

Много позже я узнал, кто жил в этих особняках. Хозяева, управляющие и крупные акционеры заводов, окружавших город.

Но их и рабочих, работавших на их заводах, разделяли районы вроде того, где родился и провел детство я, где проживали те, кого американцы называют «белыми воротничками», то есть мелкие служащие, всегда тщательно одетые и стремившиеся жить как «достойные люди». Там же жили и немногочисленные пенсионеры: в ту пору пенсия полагалась только чиновникам и железнодорожным служащим.

Третью зону я знал плохо, потому что мать не разрешала мне туда ходить, и открывать ее для себя мне довелось гораздо позже.

Подъезжая днем или ночью на поезде к Льежу, пассажир видел только высокие трубы, извергающие пламя, и печи для выплавки цинка, меди и бог ведает чего еще; голые до пояса рабы — такие же льежцы, как и мы,— швыряли лопатами уголь в жерла этих печей, к сорока или сорока пяти годам профессия превращала их в инвалидов.

Стоит ли говорить о моей симпатии к этим рабам и о том, что я мечтал о революции, желательно мировой, чтобы отнять у стариков с бульваров д'Авруа и Пьерко их права распоряжаться жизнью и смертью чуть ли не всего народа.

Конечно, с того времени под давлением народа кое-что изменилось к лучшему. Повсюду уже «третья зона» не так резко отделена от других, но я вовсе не хочу сказать, что перейти из нее в другие стало легче.

Теперь весь мир дрожит перед народом. На биржах паника. Курс валют падает. Никто не знает, что делать со своими деньгами, если они еще есть.

Я давно предвидел, что настанет день, когда политическая экономия встанет во главе всех наук. Помню, лет в семнадцать я писал: «Грядущий Христос будет не богом, а экономистом».

К сожалению, крупные собственники и буржуазия живучи. Если христианство и другие религии сдают позиции, то остается религия куда менее податливая — религия денег.

Доказательством тому служат речи правителей большинства стран, а зачастую, увы, и голоса избирателей.

И все-таки революция неизбежно совершается; можете называть ее, если угодно, эволюцией, но я отношусь недоверчиво к слову «эволюция»: оно только искажает и затуманивает реальность.

Я не политик, не экономист. И в глубине души горячо желаю, чтобы Льеж (называю Льеж, потому что это мой родной город, хотя мог бы назвать любой другой) не состоял больше из трех городов, чтобы эволюция не оказалась чисто внешней и не привела на место давних всемогущих хозяев сталелитейных заводов, обитавших на бульваре Пьерко, предпринимателей, которые с благословения правительства стремятся заменить чистые и скромные домики замааского квартала зданиями из бетона.

Мир кипит. И я счастлив этим. Обед без кипятка не сваришь.

От всего сердца надеюсь, что обед получится хороший и настанет день, когда не будет ни земного рая для власть имущих, ни ада для рабов.

В тот же день

Ежедневно, чтобы не сказать ежечасно, случаются драмы. Статистики на этот счет не существует, но я уверен, что большинство происходящих драм — семейные.

Я много занимался криминологией. Являюсь членом Международного общества криминологов, которое высылает мне свои ежемесячные бюллетени.

Конечно, случаются драмы вроде убийства с целью ограбления, начиная с тех, когда из-за двадцати франков нападают на шофера такси, до убийства, в результате которого завладевают драгоценностями на несколько миллионов.

Но такие преступления не дают нам никакой информации о поведении среднего человека или просто человека. В природе тоже существуют агрессивные хищники, теперь, правда, не настолько агрессивные, как мы думаем или как нас стараются уверить.

Подлинные человеческие драмы происходят чаще всего в рамках семьи, хотя ее пытаются нам представить как некий идеал, на котором все стоит.

Правда, эти драмы не всегда завершает кровавый исход, когда погибает один или несколько человек. Существуют драмы, которые я назвал бы глухими, драмами без огласки.

Но от этого они не легче и не менее жестоки, доказательством чему служит список адвокатов в телефонном справочнике. Если бы они занимались только защитой преступников, он был бы куда короче. А чем занимаются остальные? Сотни, тысячи адвокатов, имеющих собственные дома, чьи фамилии, однако, почти никогда не

упоминаются в газетах? Это своего рода аристократия. Они и вправду прекрасно воспитанны, благомыслящи, строго одеты; их призывают, когда нужно урегулировать семейную драму.

Употребив термин «семейная драма», я несколько преувеличил. Эти же адвокаты занимаются тяжбами между крупнейшими промышленными или торговыми компаниями, как национальными, так и транснациональными.

Но если чуть поскрести фасад такой тяжбы, то окажется, что на самом деле она является прежде всего семейной тяжбой.

Все связано. Когда умирает владелец какой-нибудь крупной компании, в тяжбу о наследстве вступают сыновья, внуки, двоюродные братья и сестры, зачастую вплоть до четвертого или пятого колена. Все они в той или иной степени оказываются противниками, но слишком хорошо воспитанными или слишком трусливыми, чтобы воспользоваться револьвером.

И вместо того чтобы направить на противника револьвер, нанимается знаменитый адвокат. На этом уровне родственные связи учитываются уже не в частной жизни, а только в административных советах.

Пусть-ка любой адвокат, как говорится, по коммерческим делам, заявит мне, что он никогда не вмешивался в жестокую борьбу между прямыми и непрямыми наследниками какого-нибудь крупного промышленника или землевладельца.

В давние времена, когда семья еще считалась божественным установлением, пятилетний младенец получал иногда отцовскую королевскую корону. Королевы, которых ничуть не клеймили позором, приказывали умерщвлять своих детей, чтобы поскорей воцариться самим.

Почему же сейчас должно быть по-другому?

Иной раз должно было пройти два или три века, а то и больше, чтобы раскрылись преступления в царствующих семействах.

Может быть, понадобится столько же времени, чтобы обнаружились махинации, мерзости, бесчеловечность того слоя, который называют сейчас крупной буржуазией, слоя, столь же наднационального, как в эпоху королей, когда достаточно было двоюродного родства или женитьбы десятилетнего мальчика, чтобы захватить чужую страну.

19 октября 1976

Мне вспомнился мой самый сенсационный репортаж. Не знаю, рассказывал ли я уже о нем. Если да, тем хуже для меня.

В воскресенье утром мне позвонил мой главный редактор и сообщил, что в Брюсселе проездом находится маршал Фош [1], который направляется через Льеж на восток. Редактор велел мне отправиться в Брюссель и взять у маршала интервью. В ту пору я ничего не понимал в международной политике, и маршал Фош представлялся мне этакой бронзовой статуей, а не человеком во плоти. Я поинтересовался у главного редактора:

— А какие вопросы мне ему задать?

К моему великому изумлению, он ответил:

— Спросите-ка его, не в Польшу ли он едет.

Я не представлял себе ни значения этого вопроса, ни тем более последствий ответа.

Шел дождь, и в Брюссель я помчался в старом макинтоше. Вместе с другими журналистами я заждался на перроне прибытия поезда маршала. Коллеги кинулись к дверям, но офицеры оттолкнули их. Я же, выждав, когда поезд тронулся и начал набирать скорость, вскочил в личный вагон маршала. Впрочем, не совсем в вагон: я прыгнул на ступеньку, но держался вполне устойчиво. Один из офицеров маршальской свиты заметил меня в окно. Мы уже отъехали от вокзала, и поезд мчался полным ходом.

Сжалившись надо мной, офицер открыл дверь, и вот я оказался в коридоре; стою, молчу, ибо не знаю, что сказать.

Офицер приказал:

— Стой здесь.

Я стою — в макинтоше и в мокрой шляпе. В вагоне шушукаются. Выглянул маршал.

Не знаю, может, он тоже сжалился надо мной. Во всяком случае, через несколько минут появился адъютант и объявил:

— Маршал уделит вам две минуты.

Едва я оказался перед маршалом, он оглядел меня с головы до ног. Лицо его было бесстрастно, как на всех фотографиях и даже на конной статуе. Он осведомился:

— Что вам нужно?

Шагах в трех-четырех стоял адъютант, готовый выхватить пистолет, если я вдруг окажусь, как тогда говорили, опасным нигилистом.

Я выдавил из себя вопрос, подсказанный главным редактором:

— Господин маршал, вы едете в Варшаву?

Поколебавшись секунду, Фош односложно ответил:

— Да.

Таково было мое первое интервью с одним из великих мира сего. Вернувшись в Льеж, я не чувствовал гордости. Столько акробатики ради одного слова! И я удивился восторгу нашего издателя г-на Демарто. Еще больше я поразился, когда он воскликнул:

— Это же сенсация!

Срочно отпечатали экстренный выпуск. А на следующий день газеты всего мира наперебой повторяли ответ маршала.

Дело заключается в том, что надо было узнать (хотя я-то представления об этом не имел), поддержит ли Франция Польшу в любом возникшем конфликте. Имелся в виду пресловутый Варшавский пакт, наличие которого и подтвердилось; кстати по причине этого пакта де Голль, бывший в ту пору лишь капитаном или майором, много лет прожил в Варшаве.

Оттуда и пошел лозунг: «Умрем за Данциг!»

Это сказалось и в событиях 1939 года.

Нынешние молодые журналисты куда со-

[1] Фош Фердинанд (1851—1929) — маршал Франции. В 1918 году верховный главнокомандующий войсками Антанты.

образительней по части вопросов. Я же тогда всего лишь совершил акробатический номер, вскочив на ступеньку вагона, когда поезд набирал ход, и, вероятно, выглядел достаточно безобидно и наивно, чтобы маршал, ответственный в ту пору за европейскую политику, бросил мне «да», которое изменило облик Европы.

7 ноября 1976

Сегодня утром я думал о вопросе, который мне часто задают журналисты-газетчики, корреспонденты радио, телевидения. Вот он:

— У вас есть хобби?

Я неизменно отвечаю:

— Человек.

Разумеется, я имею в виду познание человека. И, вероятно, именно поэтому я в течение десятков лет столько колесил по свету, жил среди совершенно разных людей.

Боюсь, что я уже затрагивал эту тему. Но поскольку это для меня своего рода потребность, если не навязчивая идея, рискну повториться.

Иногда мне бывало необходимо разузнать о каком-то человеке все до мельчайших подробностей: о его детстве, юности, зрелых годах, старости.

Я хотел знать, какое влияние оказали на него учитель, мать, отец, первые приятели, первые друзья, первые влюбленности. Пытался понять, почему к пятидесяти годам он стал именно таким — то ли бесцветным, то ли, напротив, знаменитым и самоуспокоенным.

Важным показателем для меня служил неудачный брак, объяснявший чаще всего приниженность одного или обоих супругов.

Еще немного, и я мог бы по этим данным составить статистику: в сущности, я примерно это и делал в своих двухстах с небольшим романах.

Когда я говорю слово «человек», то не для того, чтобы делить человечество на категории, а, напротив, чтобы выявить общее, то есть открыть сильные и слабые стороны каждого из нас.

Жизнь научила меня важной и внешне примитивной истине: «Человек остается человеком, что бы он ни мнил о себе и кем бы ни стал».

И сегодня я безотчетно продолжаю наблюдать своих современников. Я встречаю их на улицах, в бистро, куда захожу передохнуть после долгой прогулки или выпить стаканчик вина. Я не беседую с ними о политике, о философии — подавно.

Особенно меня интересуют, можно даже сказать притягивают, глаза. Одежда, машина, даже манера говорить не дают глубинного впечатления, конечно же, человека они не раскроют.

Напротив, по глазам человека, даже если он не знает, вернее, когда он не знает, что за ним наблюдают, видно, что он такой же, как все, со всеми человеческими слабостями, которые кажутся мне все более и более трогательными.

Наверное, если углубиться в историю, окажется, что именно из-за своей слабости человек почувствовал необходимость творить героев. Героев, с которыми он мог бы отождествить себя и поверить, что он тоже способен стать одним из них.

Но о чем говорят глаза мужчин и женщин, которых мы встречаем на улицах, в конторах, на фабриках?

Чаще всего о покорности, а то и разочаровании. Психиатрические клиники забиты пациентами, а психоаналитики сейчас самые занятые люди: безработных среди них я не знаю.

Возможно, дело тут в больших городах, дешевых многоквартирных домах, в работе на конвейере, в тревоге за завтрашний день.

Тревогу и покорность я повидал в большинстве стран Африки и Южной Америки, да еще в Китае.

Эта та врожденная тревога, причина которой — колдуны, диктаторы, все и всяческие религии.

Отменно начищенные туфли, сшитые в Лондоне костюмы, драгоценности, купленные на Вандомской площади, никого успокоить не могут.

Обмануть на время — вот самое большее, что они могут.

15 ноября 1976

Сегодня утром, около одиннадцати, когда я диктовал письма, позвонили из Парижа и спросили, можно ли будет несколько позже взять по телефону интервью о Жане Габене. Тереза встревожилась и, естественно, поинтересовалась:

— Надеюсь, с ним ничего не случилось?

Журналист, некогда интервьюировавший меня и сегодня вынырнувший опять, человек вполне «радиофоничный» и «телегеничный», ответил, что нет, что все в порядке.

Я ждал минут десять. Он снова позвонил, и я в свой черед спросил:

— У Жана все в порядке?

И снова было отвечено, что все прекрасно. Я дал короткое интервью по телефону. Мне сказали, что повод — фестиваль фильмов с участием Жана Габена.

В три часа, как обычно, я включил радио и услышал, что, если не ошибаюсь, около пяти утра Жан Габен скончался.

Журналист совершил не просто профессиональный проступок. Я такие вещи называю мошенничеством. Смерть Габена, которого я знал более сорока лет и считал своим большим другом, потрясла меня. Я считал его одним из столпов французского кинематографа; их не так много, а точней, всего три, и все трое были моими ближайшими друзьями: Жан, снявшийся более чем в десяти фильмах по моим романам, Мишель Симон, умерший в прошлом году, и великий Ремю.

Не знаю, сможет ли кто-нибудь их заменить. Не думаю. Все трое были актерами от бога; перед камерой или на сцене они полностью перевоплощались в своих героев.

Я познакомился с Габеном задолго до войны, когда он играл первых любовников и снимался у Жана Ренуара, тоже моего давнего друга. Ренуар всегда поражался, как естественно Габен проводит любую сцену во время съемки.

Однажды, отсняв особо драматический эпизод, Ренуар несмело спросил:

— О чем ты думал, пока снимался эпизод?

Габен искренне, без всякой рисовки ответил:

— О большом бифштексе, который я проглочу, когда закончим сцену.

Он был один из тех, кого я зову актерами милостью божьей. Они не играют по каким-то там правилам. В каждом фильме или пьесе они настолько влезают внутрь своего героя, что им не составляет большого труда играть естественно и убедительно.

Я не собираюсь диктовать надгробную речь. Мы с Жаном ровесники, разница между нами в полгода. Однажды мы заспорили с ним по этому поводу и готовы были даже выложить на стол свои паспорта.

Ты был младше. У тебя была любимая жена и двое детей, которые играли с моими в Канне и в Жуан-ле-Пене.

Ты ушел, и мир опустел для них, но не только для них — для всех твоих друзей.

Ты был и останешься, благодаря телевидению и кино, великим добряком. Но ты был человеком в полном смысле слова, ты никогда не шел на обман, не соглашался на компромисс.

Мы любили тебя.

21 ноября 1976

Сегодня, как вчера и много дней подряд, я был погружен в семейные проблемы. Перед обедом я на минутку прилег отдохнуть. И поймал себя на мысли, что думаю о «Вопроснике Марселя Пруста».

Я всегда восхищался Марселем Прустом и был одним из первых его читателей. Потому-то я и задумался, для чего он составил этот вопросник: чтобы подшутить или чтобы исследовать блестящее общество титулованных особ, где ему так нравилось бывать.

Текст этот содержит почти классические вопросы, которые можно задавать и ученику, и любой важной особе:

— Ваш любимый цветок?
— Ваш любимый запах?
— Ваш любимый цвет?
— Ваш любимый герой?

И так две страницы. Я, как и все, ответил на них, но меньше чем за пять минут, причем не задумываясь, говорю ли я правду или лгу. В общем, это смахивает на игру для претенциозных девиц.

Кажется, я забыл любимую черту характера? Это не заслуживает того, чтобы остаться в памяти.

Если Пруст рассчитывал с помощью своего вопросника сразу раскрыть психологию человека, то это ему не удалось.

И, однако, натолкнул меня на вопрос, который сам не задавал: «Ваш любимый недостаток?»

Я хотел бы ответить на этот вопрос, немножко его изменив:

— Что вы ненавидите больше всего в мире?

Много ответов теснится у меня в голове:

— Во-первых, нравственную непорядочность.

И тут же возникает еще один:

— Снисходительность к себе.

Много ответов приходило мне на ум, пока я отдыхал, лежа на диване. Все они тянулись к слову, куда более выразительному. Это не суетность, не гордыня, хотя они занимают достойное место в моем перечне. Я пытался вспомнить это слово. Я знал его. Но память была бессильна, и, промучившись четверть часа, я так и не смог его найти.

Нет, это не самодовольство. У этих недостатков все-таки есть более или менее уважительные оправдания. У потерянного слова — нет. Может быть, я все-таки отыщу его.

Впрочем, особого значения это не имеет; я полагаю, что вопросник мало что прибавляет к величию и славе Пруста.

P. S. Секунду назад я был готов заменить недостающее мне слово понятием «трусость». Но у трусости тоже иногда бывают оправдания. Предпочту пока «слабоволие».

5 декабря 1976

Почему я, с тех пор как проснулся, думаю о своем друге Феллини? Вероятно, потому, что вчера в Италии состоялась премьера его нового фильма «Казанова».

Я думал и сейчас еще думаю о нем потому, что мало найдется на свете людей, с которыми у меня было бы столько общего. Феллини не появился на премьере своего фильма. Вопреки тому, что можно предположить, этот крупный, сильный человек, похожий на атланта, очень застенчив. Лишь немногие догадываются об этом. Он слывет высокомерным и самоуверенным.

Я никогда не видел, как он работает в созданных им декорациях с исполнителями, которых терпеливо выискивает, не желая связываться со звездами.

Но я-то знаю, что он вовсе не самоуверен, не считает себя выше других; он неспокойный, неуравновешенный, вечно недовольный собой человек, не способный в то же время использовать те кинематографические приемы, которые гарантируют безусловный успех.

Успеха он добивается благодаря тому, что кое-кто назвал бы вдохновением, а я скорей определил бы как одержимость.

Поэтому отношение у меня к нему братское. Наверно, многие удивляются моему признанию в том, что я человек робкий, старающийся никому, даже незнакомым людям, не причинять огорчений.

У меня тоже есть свои мании, в частности, я тоже всегда неспокоен в противоположность тому, как частенько изображает меня пресса.

По правде сказать, я, как и Феллини, человек без кожи.

Уже больше двадцати лет как я знаю его и его чудесную жену Джульетту Мазину. Встречаемся мы редко: мы ведь работаем каждый в своем углу. Мы довольствуемся перепиской, но могли бы обойтись и без нее, столько между нами сходства и общности, которую трудно даже определить.

Я думаю, Федерико Феллини настолько опередил свое время, что по-настоящему значение и пафос его творчества поймут только через много лет. Он, безусловно, самый великий режиссер нашей эпохи, и разгадка здесь не в технике, не в личных амбициях, а во внутренней самобытности и страстности художника.

Я написал более двухсот романов, и если,

решительно уйдя на покой, с таким упорством продолжаю диктовать, дело здесь тоже в потребности. Потребности в чем? Может быть, в потребности избавиться от призраков; то же делает и Феллини, который много моложе меня.

Не верю, чтобы в талантливом произведении с тщательно обдуманным планом, с индивидуально обрисованными характерными персонажами они не представляли бы плоть от плоти автора, пусть даже он сам и не сознает этого.

Сегодня я много думал об этом. Не сомневаюсь, что «Казанова» будет еще одним шедевром Феллини. Но кто из зрителей отдает себе отчет, какую цену он заплатит за это?

Избавление от навязчивой идеи, возможно, принесет потом облегчение. Но сама эта операция, с которой медлить никак нельзя, — чрезвычайно тяжкое испытание.

Конечно, сравнивать себя с таким великим творцом, как Феллини, — это чересчур. Но всей жизнью, которая была посвящена постепенному избавлению от унаследованных страхов, я получил право судить о нем и восхищаться им, поскольку чувствую, что его судьба схожа с моей.

Я не писал и не написал ни одного великого произведения. Он создал величайшие фильмы нашего поколения. Но в своей маленькой сфере я занимаю место, позволяющее мне понять его до конца.

Кто-то сказал: «Стиль — это человек».

Это могло бы объяснить мое безразличие, если не отталкивание от прекрасно выделанного, блестящего и безупречно элегантного стиля.

Я вовсе не за шероховатый и неотделанный стиль. Мне трудно читать Селина, которым я восхищался, именно из-за того, что он переходит грань, обращаясь к антистилю.

Новый стиль не создается употреблением чуть ли не в каждой фразе слов вроде «дерьмо», «задница» и др.

Наверное, по причине возраста я почти не употребляю подобных выражений — разве что когда они решительно необходимы.

Жида преисполняло сознание, что он творит для вечности, с таким тщанием он отделывал свой синтаксис. Ни одно письмо, даже интимное, не выходило из его кабинета, не пройдя стадию черновика, копии писем он тщательно сохранял.

Не знаю, почему я, испытывающий отвращение ко всему специфически «литературному», заговорил сегодня о литературе. Возможно, из-за Буало.

Идет дождь!

8 февраля 1977

Если я не ошибаюсь, а память у меня становится все слабей, Буало изрек: «Когда вы хотите сказать, что идет дождь, пишите: идет дождь».

Вот как сегодня, а вчера по-весеннему светило солнце. И мне все время вспоминается это изречение Буало.

В начале своей карьеры я писал рассказы для «Матен»; Колетт, ставшая потом моим другом, была там редактором и систематически отвергала мои первые рассказы, приговаривая:

— Слишком много литературы, дорогой Сим. Не надо стремиться к литературности.

И сейчас и тогда мне это казалось парадоксальным, потому что уж если у кого во французской литературе и был изысканный стиль, так это у Колетт.

Со времени появления моих первых романов кое-кто из критиков, особенно бельгийцы, не знаю почему, обвиняли меня не только в отсутствии стиля, но и в неправильном французском языке. Вполне возможно. Я жил в Париже. Они — в Брюсселе.

В ту пору меня больше всего поддержал Андре Жид: он считал мой стиль не только правильным, но даже образцовым.

Мы много раз встречались с ним. Вопросы стиля — единственное, чего я не решался с ним обсуждать: тогда мне пришлось бы говорить о его книгах и сказать, что, за исключением «Дневника», я не мог ни одну из них дочитать до конца. Именно из-за стиля — слишком правильного и слишком элегантного.

То же с Анатолем Франсом, против которого я бунтовал с шестнадцати лет. Ни одного его романа я тоже не смог дочитать.

Из книги «Зачем зарекаться?»

22 июня 1977

Не знаю, остался ли сейчас хоть один певец, или певица, или некто, причастный к кинематографу, пусть даже самый незначительный, кто не написал бы мемуаров. Я уже не говорю о полицейских, хулиганах и даже убийцах.

Политики не составляют исключения. Киссинджер, в течение многих лет бывший правой рукой Никсона, если не обеими сразу, а теперь получивший отставку, строчит без остановки, отхватывая гонорары, которые нам кажутся сказочными; за соответствующее вознаграждение он всегда готов поведать с телевизионного экрана маленькие тайны Белого дома. Будь он токарем или официантом в кафе, его воспоминания не принесли бы ему ни гроша, хотя воспоминания токаря или официанта, весьма возможно, оказались бы куда интереснее и уж, во всяком случае, человечнее.

11 июля 1977

Во время прогулки мне пришла на ум фраза, которую уже лет двадцать повторяли чуть ли не во всех газетах:

— Роман умирает. Роман мертв.

Да, так оно и есть. Если заняться статистикой литературной продукции, окажется, что в списке книг, пользующихся успехом, романов мало: их вытеснили биографии.

Меня так и подмывает заявить, что Марсель Пруст был нашим последним великим романистом, хотя идет он скорее от герцога Сен-Симона, чем от Стендаля, Флобера, Золя и стольких других.

У романа, в котором писатель создает героев таких же достоверных, как в жизни, а может быть, и еще достовернее, нет больше ни сторонников, ни читателей. По-

добно тому, как сейчас в моде бифштексы с кровью, люди хотят читать о персонажах в натуральном виде.

Откуда все это? Вероятно — подчеркиваю, вероятно, — от кино, радио, телевидения, даже от комиксов.

Некоторые из биографий — подлинные; написаны они самим автором, обозначенным на обложке, будь то автогонщик, красавчик певец или одна из бесчисленных звездочек мюзик-холла.

Людям хочется натуральности, жизненности.

И они верят биографиям, хотя большая часть их написана мужчинами или женщинами, которых на профессиональном жаргоне называют «неграми».

Если журналиста, который всю жизнь только и делал, что строчил репортажи, посылают в Бангкок или в Танзанию, можно быть стопроцентно уверенным, что он возвратится с книгой. С книгой, объявят нам, правдивой, жизненной, и, как правило, в нее будет включено несколько фотографий, долженствующих удостоверить ее правдивость.

А что происходит в кино? Стоит где-нибудь в мире произойти какой-нибудь катастрофе, как тут же объявляются киноделтели, чтобы снять о ней фильм, неважно, плохой или хороший, но зато, насколько это возможно, воспроизводящий ее в самых мельчайших подробностях.

Роман умирает? Роман мертв?

На мой взгляд, это скорей коммерческая проблема. Ясно, что картина под названием «Уотергейт» или рассказывающая об интимной жизни экс-президента Никсона, скорей вызовет массовый интерес, чем фильм с дурацким названием «Зеленые глаза» или, скажем, «На пляже».

Книгу, озаглавленную «На пляже», покупать не станут, но добавьте одно-два слова, и сразу появятся шансы, что она выбьется в бестселлеры:

«На пляже в Сен-Тропезе».

«Тайны Сен-Тропеза».

«Закулисная жизнь Сен-Тропеза» [1].

Подобные книги как раз и заказывают издатели: сообщают в общих чертах, что они хотели бы получить, а потом тщательно просматривают, что им принесли.

Нам теперь недостает только «Воспоминаний приговоренного к смерти», разумеется, с гильотиной на обложке.

Книга обязана стать бестселлером, и бестселлера не получится, если не раздразнить любопытство публики.

Нет, умирает не роман. У нас просто-напросто начинает ощущаться нехватка настоящих романистов. Несколько еще осталось, но в кабинетах издателей их встречают куда менее радушно, чем бывшего каторжника или бывшую содержательницу публичного дома.

Каковы последствия? А таковы, что эти немногие оставшиеся романисты проституируют и послушно пишут то, что им заказывают.

Всего лишь горсточка романистов живет за счет своего пера. Но им еще приходится соглашаться на унизительные турне по книжным магазинам Франции, Швейцарии и Бельгии.

Я видел, как это происходит в Лозанне. Точнее, не видел. Но я регулярно получаю открытки, в которых сообщается, что такого-то числа в таком-то часу такой-то автор (это может быть даже священник или знаменитый писатель) в таком-то книжном магазине подписывает свои книги.

Этот рекламный фокус еще более усовершенствован. Та же открытка уведомляет, что, если вы не желаете утруждать себя и лично являться в магазин, за такую-то сумму вам вышлют книгу с автографом.

В гибель романа я не верю. Роман возродится, как только появятся молодые люди, испытывающие непреодолимое желание писать, даже если они знают, что на долгие годы обрекут себя на голодное существование и будут приняты во Французскую Академию только на склоне лет, когда утратят иллюзии и заставят себя смириться с унизительными правилами литературной машины.

Но тогда они уже будут писать не романы, а то, что им закажут.

Из книги «Точка с запятой»

7 августа 1977

Известий я больше почти не слушаю. Разве что раза два в день включаю «Радио Швейцарии», которое кратко, без комментариев передает новости со всего света.

Слушать и смотреть передачи других радио- и телестанций мне просто пришлось отказаться: порой одолевали приступы ярости или скуки.

В демократических странах, казалось бы, можно было рассчитывать на невыглаженные передачи. Тем не менее в одной стране уже целый год на всех волнах передают сплошь выступления политиков и урезанные последние известия и объясняют это тем, что, дескать, весной должны состояться выборы. Но ведь предвыборные плакаты имеют право оскорблять ваш взгляд только в течение нескольких дней перед вскрытием урн.

Можно утверждать, что во Франции избирательная кампания началась сразу же после смерти де Голля. Кандидаты на высокие посты уже давно стали готовиться к выборам. И если они находятся по соответствующую сторону барьера, то чуть ли не ежедневно разглагольствуют по телевидению или участвуют в дискуссиях, причем их противников я скорей назвал бы сообщниками: кажется, будто они фехтуют рапирами с предохранительными наконечниками.

При этом зарубежные события, даже если они не имеют никакого касательства ни к политике, ни к социальным, ни к энергетическим, ни к финансовым проблемам, подаются так, словно Париж всегда оказывается в выигрыше.

Наполовину обесценился франк — победа. Упал курс доллара — еще одна победа Франции, и последствия ее будут самыми благодетельными. Пока в Испании правил Франко, он защищал религию и цивилизацию. Теперь, когда Франко нет, о

[1] Фешенебельный курорт во Франции на берегу Средиземного моря.

демократии в Испании отзываются весьма сдержанно.

И так во всем. Длинные волосы — признак бунтарей-смутьянов, стремящихся разрушить общество. Короткие — законопослушных добрых граждан, и я только не понимаю, как они оказываются во французских тюрьмах.

Фальсифицируют даже валютный и биржевой курсы.

Политики делают свое дело. Вроде бы так и должно быть. Но пусть бы они лучше помалкивали — ради собственного блага, пока против них не поднялась волна скуки, равнодушия, а то и озлобления.

Примерно так же обстоит и с газетами, и чтобы не превратиться в идиота, которого пичкают чушью, я перестал их читать.

Я брюзжу, потому что у меня отняли игрушку. Было время, когда я в день прочитывал по четыре-пять газет из разных стран, не считая международных еженедельников.

Я был наивен. Но в конце концов все понял.

Тот же день

Войны никто не хочет. Все — пацифисты. Насилие отвергают, яростно с ним борются, но ни одно наше промышленное государство не отказывается и впредь не откажется поставлять усовершенствованное оружие и скоростные самолеты развивающимся странам, чтобы те перевооружали свои армии. Об Африке говорят так, словно там все дело в межплеменных раздорах. Ближний Восток волнует лишь нефтью и тем, что Западу и Америке необходимо получать ее по дешевой цене.

Организуются конференции самых богатых стран мира (этот термин употребляется официально!). Иной раз намекают на необходимость собирать пожертвования для развивающихся стран, как при окончании церковной службы.

Разве что при этом у вас вряд ли стали бы просить пушки, танки, самолеты или тем более ракеты.

Получить неограниченный кредит на секретнейшее оружие бедной стране куда проще, чем безработному выпросить в долг двадцать франков. Обо всем этом нам, разумеется, сообщают в самых целомудренных выражениях. Разве наши страны не являются благодетельницами всего мира, разве они не вытаскивают из нищеты нуждающиеся страны?

Кто знает, не сумеет ли г-н Дассо, член французского парламента и авиапромышленник по роду деятельности, с помощью правительства, члены которого служат ему в качестве коммивояжеров, заполонить весь мир своими смертоубийственными механизмами?

Должно быть, у него есть противоатомное убежище, а может быть, даже несколько, и все они, очевидно, столь же надежны и комфортабельны, как убежища глав государств.

Из книги «Цена человека»

13 декабря 1977

С час назад меня спросили,— скорее из дружеских чувств, чем из любопытства,— как на меня подействовало преуспеяние после бедного детства и трудных лет, когда я не каждый день ел досыта и мой рацион нередко состоял из хлеба и куска камамбера, который я старался растянуть подольше.

Этот вопрос часто задают, и мне иногда хочется ответить, не слишком погрешив против истины:

— Никак.

Потому что, в сущности, никакого преуспеяния не было. Конечно, мне было приятно, что мало-помалу и даже довольно скоро стало сбываться то, о чем я мечтал в тринадцать или семнадцать лет, и что для этого мне не надо идти на компромиссы, мелко подличать, кого-то обижать.

Особенно меня радовал растущий успех моих книг в самых разных странах: для меня это служило доказательством, что я не ошибся, изображая человека так, как я его изображал.

Ведь если бы мои герои не были бы человечными, вряд ли бы они заинтересовали японцев, сначала северо-, а потом и южноамериканцев, скандинавов, итальянцев, вообще европейцев, в том числе исландцев и русских.

Сейчас о своем скудном детстве и трудных годах я думаю со все большей ностальгией.

Из книги «Свободы, которые нам остаются»

13 декабря 1978

Когда-то давно издавались скверно отпечатанные брошюрки, относившиеся скорей к области невинного жульничества, чем к литературе:

«Как выиграть в рулетку».

«Как выиграть в Национальной лотерее».

«Как выиграть в...»

Теперь выбор увеличился: кроме пари на трех первых лошадей в скачках появились и другие способы вытянуть у нас деньги — спортивный тотализатор, лото и т. д.

Но мне представляется, что такой же успех имел бы выпуск и таких новинок:

«Как стать главой государства».

«Как стать министром или вице-министром».

«Как стать политическим деятелем».

И, пожалуй, самой доступной из всех:

«Как стать академиком».

Для этого не требуется никаких специальных знаний, никакого особого таланта, а только исключительно гибкий позвоночник.

Для первых — путь лежит через высшие учебные заведения: Политехническую школу, Высшую Нормальную школу, Школу политических наук, Национальную административную школу или — что гораздо надежней — через Финансовую инспекцию.

Прежде всего там вас научат держаться уверенно и слегка высокомерно. Предпочтение, разумеется, отдается тем, у кого перед фамилией стоит частица «де», или тому, кто женился на дочери, скажем владельца металлургического завода, влиятельного банкира, крупного промышленника. Ну а тот, кто заключил подобный

брак, да еще имеет, кроме частицы «де», титул, безразлично — настоящий или фальшивый, просто-таки обречен сделать карьеру.

Перечисляя воображаемые брошюры, я забыл одну, которая, вероятно, приобрела бы наибольший успех:

«Как стать мультимиллионером».

Это относительно просто, хотя первейшее потребное для этого качество на улице не валяется. Если кандидату в академики необходима только гибкая спина, то здесь нужно иметь исключительно растяжимую совесть. И никогда не оглядываться назад. Никогда не извиняться, если толкнешь или даже затопчешь человека.

Наконец, не надо бояться долгой или короткой отсидки в тюрьме, потому что рано или поздно это произойдет. Но там вам создадут особый режим, и вы сможете получать черную икру, паштеты из гусиной печенки и шампанское из лучших ресторанов.

И еще неплохо бы с первого взгляда отличать людей, которых можно купить, от тех, кого, бог весть почему, не купишь и не подкупишь. Хотя в сферах, куда вы перейдете, вряд ли предоставится возможность пожать руку человеку из категории непродажных. Вы станете одним из избранных, которым все дозволено, и, как бы паря над миром, будете со всех своих высот безразлично взирать на человечков, кишащих внизу.

Конечно, надо быть готовым к тому, что может разразиться скандал. Хотя если в нем замешаны высокопоставленные особы, у вас есть шанс выпутаться. Ну а если несмотря ни на что вас все же схватят за руку, несколько месяцев и даже несколько лет тюрьмы пролетят быстро!

Из книги «День и ночь»

30 апреля 1979

Долгие годы я стыдился своего стиля, казавшегося мне искусственным, стыдился «атмосферы», которая оттесняла на задний план персонажей романа.

Меня часто корили дождем, который идет во всех моих книгах, хотя, если критики действительно их читали, им должно было бы броситься в глаза, что солнца в моих романах не меньше, чем дождя.

Но вернемся к стилю: я хочу ответить на некоторые замечания. Помню, как в пору первых романов о Мегрэ какой-то неведомый критик сказал: «У Сименона много достоинств. Жаль только, что пишет он, как свинья».

Меня это ничуть не обидело: я не презираю ни свиней, ни других животных. Но даже если бы меня обескуражили его слова, то успокоило бы высказывание Андре Жида, сделанное несколько позже: Жид нашел, что мой стиль наилучшим образом приспособлен для романа.

Но я не остановился на этом. Я помнил совет, который дала мне Колетт, когда я, совсем еще зеленый, принес ей в газету «Матен» свои рассказы:

— Слишком литературно, мой маленький Сим. Пишите просто.

Однако вовсе не из-за совета Колетт, которому, кстати, противоречит ее творчество, а благодаря инстинкту я за многие годы упростил свой стиль до того, что мои романы, очищенные от ненужных слов и описаний, превышающих пять строчек, худели на глазах, теряя до сорока из двухсот машинописных страниц.

Магнитофон позволил мне еще больше упростить стиль, почти вплотную приблизив его к разговорному языку.

20 мая 1979

В те времена, когда я жил на Поркероле и у себя в кабинете, расположенном в башенке на втором этаже, печатал каждый день по главе романа, неподалеку, укрывшись от всего света, писал свои книги пожилой худощавый человек с горящими глазами и седой бородкой. Никто его не знал. Никто к нему не приезжал. Ни одна газета не упомянула, что он там живет. И я тоже не подозревал, что живу почти по соседству (расстояние между нами по прямой было не больше пяти километров) с одним из величайших романистов века.

Репортеры из разных стран часто задавали мне вопрос, какие писатели сыграли наибольшую роль в моем литературном формировании. Я всегда отвечал:

— Гоголь, Достоевский и Чехов, все трое русские и все трое из прошлого века; из тех же, кто ближе к нам, американец Фолкнер и мой сосед или почти сосед с полуострова Жьен. Я имею в виду Конрада.

Сколько в точности лет Конрад провел на Жьене? Много позже я сумел получить весьма приблизительные ответы, поскольку Конрад ревниво сохранял инкогнито и облик его изгладился из памяти жьенцев.

Но именно на Жьене он написал книгу, отличающуюся от всех его произведений: действие ее происходит в наполеоновскую эпоху.

В Монтрее в Калифорнии на фасаде одной гостиницы висит мраморная доска, возвещающая, что Роберт Льюис Стивенсон останавливался здесь перед тем, как отплыть на тихоокеанские острова, где он и кончил свои дни.

Есть ли доска, и существует ли еще тот постоялый двор, где Джозеф Конрад прожил несколько лет, написал по крайней мере один из своих романов и где он умер?

Мне ничего не известно на этот счет.

22 сентября 1979

Весь день с утра я ликую. Французское радио сообщило, что «кузен Бокасса» наконец-то не император. Ливия объявила его нежелательной персоной, Швейцария, обыкновенно принимающая изгнанников,— тоже, а Франция даже не разрешила ему воспользоваться ни одним из ее аэропортов, и только после переговоров с командиром экипажа, заявившим, что у них кончается горючее, позволила ненадолго приземлиться на военном аэродроме, над которым пролетал самолет экс-императора.

И вот «каравелла», поднесенная Францией в дар Бокассе (кстати, Франция по-

дарила ему также корону, трон и устроила чуть ли не наполеоновские коронационные торжества), после посадки была, словно обыкновенный захваченный террористами самолет, окружена солдатами и полицейскими, которые никому не позволили выйти из нее.

В этом году пало не то пять, не то шесть диктаторов. Разве это не радостно?

Разумеется, не для всех. Не для тех, кто посадил их на эти посты, например, не для ЦРУ, которое ставит у власти и поддерживает самых жестоких южноамериканских диктаторов.

Всякий раз при падении очередного диктатора я радуюсь, так как каждое такое событие дает Человеку крохотную надежду.

Но в мире еще остались диктаторы. И свергнуть их дело долгое, как это было с Пол Потом, который стяжал ненависть всей своей страны за геноцид, приведший к гибели половины населения. Тем не менее он сохраняет право представлять Кампучию в ООН.

19 октября 1979

Я решил завершить двадцать первый том серии, названной мной «Я диктую». Более шести лет назад, начиная эту серию, я надеялся открыть себя самого. Удалось ли мне это? Начинаю сомневаться.

Знаю только, что даже если буду упорствовать и продолжать диктовать, дальше все равно не смогу пойти.

Этот двадцать первый том, который выйдет в свет примерно через два года, потому что в типографии ждут очереди предыдущие тома, будет последним в серии.

Но это вовсе не значит, что я оставлю магнитофон. В течение двух, а то и шести месяцев он мне еще понадобится, чтобы диктовать другие тексты, о которых я знаю, или вернее предчувствую только, что они будут самыми разными. Еще совсем юным я ощутил потребность в самовыражении. Я много писал, много диктовал. Не представляю, как бы я мог жить молча.

◆

Антирубрика

ГИ ДЕ МОПАССАН

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ

Публикация и перевод ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВА

Литературное наследие Мопассана далеко не все переведено на русский язык. В 1881—1887 гг. он помещал в газетах «Голуа», «Фигаро», «Жиль Блас» и «Эко де Пари» многочисленные очерки и статьи, чаще всего под псевдонимом Мофриньез.

Многие из них были затем переработаны писателем в новеллы и под другими названиями вошли в его сборники или были использованы в романах.

Но для некоторых очерков никаких параллелей в дальнейшем творчестве Мопассана не обнаружено — их сюжеты вполне самостоятельны.

Свадебное путешествие

Действующие лица

Мадам Ривуаль, 50 лет.
Мадам Бевелен, 60 лет.

Гостиная. На столике — открытая книга Жюльетты Ламбер «Песня новобрачных».

Мадам Ривуаль. Эта книга произвела на меня странное впечатление. Я как будто прочла поэму о самой себе, поэму, героиней которой я была тридцать лет назад... Видите, дорогая, какие у меня красные веки? Я целых два часа не осушала глаз, оплакивая прошлое, столь недолгое, мимолетное...

Мадам Бевелен. Зачем жалеть о навсегда ушедшем?

Мадам Ривуаль. О, мне грустно при воспоминании лишь об одном — о моем свадебном путешествии. Вот почему эта книга, «Песня новобрачных», так взволновала меня.

Осуществилась только одна мечта моей жизни. Подумайте: вы уезжаете вдвоем; кто бы ни был ваш спутник — вы все время и везде вместе, проникнутые чудесной, незабываемой нежностью. Это — единственный, в самом деле поэтический час нашей жизни, единственная иллюзия счастья, столь полная, что очнуться от нее можно лишь несколько месяцев спустя, единственное опьянение, настолько вами овладевающее, что все исчезает, все, кроме Него. Вы скажете: порой это не настоящая любовь... Ну что ж? Ведь вам это неизвестно; думая, что любите, вы любите самое любовь. Эта любовь — Он. В нем — все ваши сбывшиеся мечты, все осуществившиеся надежды. Вы ждали Его; это тот, кому вы сможете подарить свою преданность, тот, для кого вы предназначены судьбой, ваш друг, ваш повелитель, ваш господин, словом, он для вас все.

Каждая женщина мечтает о любви, мечтает, чтобы тот, кого она обожает (и кто, как она верит, обожает ее), принадлежал ей, только одной ей, был всегда вдвоем с нею. В течение первого месяца эта мечта сбывается. Подобный месяц бывает только раз в жизни, другого такого нет.

Я совершила это классическое путешествие влюбленных, воспетое Жюльеттой Ламбер; и нынче утром мое сердце забилось, затрепетало, запело, обнаружив в этой книге рассказ о дорогих мне до сих пор местах, где я была действительно счастлива. Тридцать лет спустя я вновь услышала те слова, что он мне когда-то говорил, и мне показалось, что прошлое воскресло... Я слышала его голос, видела его глаза.

О, сколько страданий он причинил мне с того времени! Но сколько радости доставило мне свадебное путешествие! Я помню его, словно это было вчера.

Вместо того чтобы уехать в тот же вечер, как это делают все, и разбазарить по отелям первые крупицы счастья, испортить, сталкиваясь со слугами в белых фартуках и с железнодорожными кондукторами, зарождающуюся интимность, которая укрывает любовь, как пушок — персик, мы остались наедине, закрылись, обнявшись, в уединенном дачном домике.

Лишь потом, когда моя нежность, сначала боязливая, робкая, нерешительная, осмелела от его поцелуев; когда искорка, оброненная в мое сердце, разгорелась в пламя, охватившее меня всю,— лишь тогда он увез меня в поездку по стране Мечты. О, как эта поездка мне запомнилась!

Сначала мы несколько дней колесили по дорогам в дилижансе. Время от времени я видела в распахивавшуюся дверцу кусочек пейзажа; но куда лучше я помню шелковистые усы, поминутно касавшиеся моего лица.

Мы приехали в какой-то город, не сохранившийся в моей памяти, потом сели на пароход, шедший, кажется, в Неаполь.

Мы стояли рядом на качавшейся под нашими ногами палубе. Моя рука лежала на его плече. Лишь тогда я начала замечать все, что было вокруг.

Мимо нас бежал берег Прованса — ведь перед этим мы проехали весь Прованс. Под необъятным небом расстилалось неподвижное, спокойное море, словно застывшее, впитав жар солнечных лучей. Колеса хлопали плицами по воде и нарушали ее тихий сон. За нами тянулся длинный пенистый след; эта широкая белая полоса, где взбаламученная вода бурлила, как шампанское, отмечала до самого горизонта путь, пройденный нашим судном.

Вдруг у самого носа, всего в нескольких саженях от нас, большущая рыба (или это был дельфин) выскочила из воды, затем вновь нырнула головой вперед. Я испугалась, вскрикнула и прижалась к груди Рене; потом сама засмеялась своему испугу и стала с нетерпением ожидать, не появится ли дельфин снова. И через несколько секунд он опять выпрыгнул, словно большая заводная игрушка. Затем нырнул, вновь вынырнул; за ним — другой, третий. Вскоре целая шестерка дельфинов плясала вокруг нас, эскортируя своего огромного брата — деревянную рыбу с железными плавниками. Они проходили с левого борта, возвращались к правому и все время то вместе, то поочередно, играя и преследуя друг друга, резкими скачками выпрыгивали из воды, описывали кривую в воздухе, а затем ныряли гуськом.

Я в восторге хлопала в ладоши при каждом появлении этих больших и гибких пловцов. О, эти дельфины! Я сохранила неизгладимое воспоминание о них. Почему? Не знаю, не знаю. Но они до сих пор предстают перед моим взором, живут в моей памяти, в моем сердце.

Вдруг они исчезли. Я увидела их еще раз, очень далеко, в открытом море, потом их не стало видно, и мне на секунду сделалось жаль, что они уплыли.

Наступил вечер, тихий, теплый, весь пронизанный счастьем и светом. И воздух и вода были недвижны. Этот покой моря и неба так гармонировал с безмятежностью моей души! Огромное солнце медленно садилось где-то вдали. Там была Африка, отсюда невидимая, раскаленный материк, чей жар, как мне казалось, я уже ощущала. Когда светило исчезло, ласковое и свежее дуновение, которое, однако, не было даже дыханием бриза, коснулось моего лица.

Это был самый чудесный вечер в моей жизни.

Нам не хотелось возвращаться в каюту, где плохо пахло, как всегда на пароходах. Мы улеглись прямо на палубе, завернувшись в плащи, но не спали. О, как сладко нам грезилось!

Монотонный шум колес баюкал меня, и я смотрела на сиявшие над головой мириады звезд, так ярко блиставших на чистом южном небе.

К утру я все-таки задремала. Меня разбудили шум и голоса: матросы, напевая, убирали палубу. Нам пришлось встать.

Я вдыхала всей грудью солоноватый туман, он проникал во все мои поры. Взглянула на горизонт. Прямо по носу, вдали, виднелось что-то серое. Его очертания были еще неясны в свете рождающейся зари. Казалось, на море лежала гряда облаков странной формы — зубчатых, с рваными краями и острыми вершинами.

Затем очертания сделались более четкими, и на посветлевшем небе вырисовался причудливый профиль горной цепи. Это была Корсика в легкой туманной дымке.

Капитан, невысокий сухощавый старик, весь выдубленный и просоленный ветром, вышел на палубу и голосом, охрипшим от тридцатилетнего командования, сорванным от крика в бурные ночи, спросил меня:

— Ну как, чуете эту негодницу?

Да, я чувствовала какой-то сильный, необычный запах диких душистых растений.

Капитан продолжал:

— Это пахнет Корсика. Даже после двадцатилетнего отсутствия я узнаю ее запах за пять миль от острова. Уж поверьте, мадам! Он тоже говорил на Святой Елене об аромате родного края. Он был из наших!

И капитан, сняв шляпу, приветствовал Корсику, а с нею, где-то там, неведомо где, императора, который «был из наших».

Мне хотелось плакать.

На другой день мы пришли в Неаполь, и я этап за этапом проделала то путешествие, о котором рассказано в книге Жюльетты Ламбер.

Рука об руку с Рене я посетила все места, такие милые сердцу, где происходили описанные в этом романе сцены любви. Это — книга для новобрачных, которую им следует брать с собой, а по возвращении хранить как реликвию; эту книгу женщины всегда будут перечитывать.

Когда мы вернулись в Марсель после месяца, проведенного в лазурном краю, меня охватила неизбывная грусть. Я смутно чувствовала, что все кончено, что поездка в страну счастья позади...

18 августа 1882 г.

Погоня за здоровьем

Господин Панар был человек осторожный и боялся всего на свете: падающих с крыш черепиц, экипажей, поездов, всяких несчастных случаев, а особенно болезней.

Будучи весьма дальновиден, он понимал, что все, окружающее нас, непрерывно гро-

зит жизни. Взглянув на лестницу, он вспоминал о вывихах, переломах рук и ног; увидев витрину — об ужасных ранах от осколков стекла; кошка наводила его на мысль о выцарапанных глазах... И он жил, соблюдая всякие меры предосторожности — обдуманные, тщательные, всеобъемлющие.

Он говорил жене, славной женщине, разделявшей его манию:

— Подумай, милочка, как мало нужно, чтобы искалечить или убить человека! Страшно и представить себе. Вышел на улицу совершенно здоровым — и вдруг угодил под карету; или, не обратив внимания на то, что в подворотне сквозняк, остановился в ней минут на пять поговорить с приятелем — и схватил воспаление легких... Готово, тут тебе и крышка!

В газетах господин Панар особенно интересовался рубрикой «Здравоохранение». Ему было досконально известно количество умирающих в разные времена года от той или иной эпидемии, ее ход и особенности, симптомы, вероятная продолжительность, способы предупреждения, пресечения и лечения любой болезни. У него была целая медицинская библиотека из составленных популяризаторами и практикующими врачами общедоступных книжек о новых методах лечения. Раньше он верил в гомеопатию, металлотерапию, электротерапию, массаж, во все новонайденные панацеи, о которых в течение нескольких месяцев твердят, будто они излечивают все недуги. Теперь, став менее легковерным, он благоразумно считал, что лучший способ не заболеть — это спастись бегством из очага эпидемии.

В начале минувшей зимы господин Панар узнал из газеты, что в Париже постепенно распространяется тифозная горячка. Тотчас же его охватила тревога, быстро превратившаяся в навязчивую идею. Каждое утро он покупал по нескольку газет, чтобы вывести среднюю величину из их противоречивых данных, и вскоре убедился, что число заболеваний в квартале, где они жили, особенно велико.

Он отправился к врачу за советом: уехать или остаться? Из уклончивых ответов эскулапа сделал вывод, что опасность налицо, и решил уехать. Но куда? Этот вопрос он стал обсуждать с мадам Панар, вернувшись домой:

— Как ты думаешь, милочка: По — подходящее для нас место?

Ей хотелось побывать на Лазурном берегу, и она ответила:

— Говорят, там довольно холодно из-за близости Пиренеев. Канны — более здоровое место, недаром туда ездит принц Орлеанский с семьей.

Этот довод убедил ее мужа, но он все еще был в нерешительности.

— Да, но на Средиземноморском побережье уже два года наблюдаются случаи холеры.

— О, мой друг, зимой их никогда не бывает. Вспомни, что туда съезжаются все сливки общества.

— Это верно. Но на всякий случай возьмем дезинфицирующие средства и пополним нашу дорожную аптечку.

Они уехали в понедельник утром. На вокзале мадам Панар вручила мужу саквояж.

— Здесь все, что может потребоваться для лечения.

— Спасибо, милочка!

Прочтя немало брошюр о курортах Средиземноморья, написанных местными врачами, каждый из которых восхвалял свой пляж в ущерб всем остальным, господин Панар после долгих колебаний остановил, наконец, свой выбор на Сен-Рафаэле, по той причине, что в числе владельцев тамошних вилл были профессора парижского медицинского факультета. Уж если они там живут, то это, наверное, здоровая местность!

По приезде в Сен-Рафаэль они отправились в отель, рекомендованный путеводителями. Но тут господина Панара стали одолевать новые сомнения. Что может быть опаснее отеля, особенно в этом городке, любимом пристанище чахоточных? Сколько больных — и каких больных!— лежало на этих матрацах, пользовалось этими одеялами, подушками и простынями, оставляя в них тысячи невидимых зародышей болезни, которыми кишит их кожа и выдыхаемый ими воздух? Как решиться лечь в эту подозрительную постель, как заснуть с кошмарной мыслью о том, что на этом самом ложе несколькими днями раньше кто-то умирал?

Тут его осенило. Они попросят комнату с окнами на север, лишенную солнца: уж там-то наверняка ни один больной не жил!

Их провели в дышавший ледяным холодом огромный номер, который они сочли с первого взгляда вполне безопасным,— таким непригодным для жилья он казался. Велели затопить камин, принести чемоданы.

Господин Панар расхаживал по комнате взад и вперед, несколько обеспокоенный возможностью схватить насморк, и делился с женой своими мыслями:

— Знаешь, милочка, жить в таких прохладных, редко занимаемых комнатах опасно. Недолго и простудиться! Но все-таки давай устраиваться.

Мадам Панар открыла чемодан и стала раскладывать вещи по ящикам комода и шкафам. Вдруг ее муж остановился как вкопанный и начал внюхиваться, словно собака, почуявшая дичь.

— Здесь пахнет больным! — воскликнул он взволнованно.— Определенно пахнет каким-то лекарством. Я уверен, что этот номер занимал раньше больной туберкулезом... Чувствуешь этот запах, милочка?

Мадам Панар в свою очередь втянула ноздрями воздух.

— Да, немного пахнет этим... этим... Не могу узнать запах, но явно каким-то лекарством.

Ее муж бросился к звонку и велел явившемуся слуге:

— Немедленно позовите хозяина!

Владелец отеля почти тотчас же пришел и с улыбкой поздоровался. Господин Панар, глядя на него в упор, резко спросил:

— Кто жил в этой комнате последние дни?

Удивленный, хозяин попытался разгадать намерения, мысли и подозрения клиента: ведь этот номер уже несколько месяцев никто не занимал. Наконец ответил:

— Граф де ля Рош-Лимоньер.

— Француз?
— Нет, сударь. Он... он бельгиец.
— Вот как? Он был здоров?
— Д-да... Впрочем, не совсем так: приехал больным, но потом выздоровел.
— Чем же он болел?
— У него были боли...
— Какие боли?
— Боли... Боли в печени.
— Очень хорошо, благодарю вас. Мы собирались провести здесь несколько дней, но передумали и уезжаем сейчас же.
— Но, сударь...
— Не уговаривайте меня, мы уедем. Пришлите счет за комнату, омнибус и за все услуги.

Растерявшийся хозяин отеля ушел, а господин Панар сказал жене:

— Ловко я его вывел на чистую воду, милочка? Слышала ты, как он мямлил: «Боли... боли в печени...»? Знаем мы эти боли в печени!

В Канн они приехали ночью, поужинали и стали ложиться спать. Но не успели лечь, как господин Панар воскликнул:

— Опять пахнет, чувствуешь? Запах карболки, милочка. Видно, этот номер недавно дезинфицировали.

Он вскочил, оделся, и так как было слишком поздно, чтобы кого-нибудь вызвать, решил провести остаток ночи в кресле. Мадам Панар, несмотря на уговоры мужа, отказалась последовать его примеру и осталась в постели, где спокойно проспала до утра.

— Что за места! Что за ужасные места! — жаловался ее муж, потирая поясницу.— Во всех отелях — одни больные!

Лишь рассвело, он послал за хозяином.

— Кто жил в этом номере до нас?
— Великий герцог Баденский и Мекленбургский. Он — кузен русского императора!
— Он был здоров?
— Вполне, сударь.
— Совершенно здоров?
— Ну да.
— Достаточно! Мы сейчас же уезжаем в Ниццу.
— Как вам будет угодно, сударь.

Рассерженный хозяин ушел, а господин Панар сказал жене:

— Каков обманщик! Не хотел даже признаться, что жилец был болен... Да, болен! Могу поручиться, что он здесь умер. Разве ты не чувствуешь запаха карболки?
— Да, мой друг.
— Что за мерзавцы эти хозяева отелей! Покойник даже не болел... что за мерзавцы!

Они сели в поезд, отходивший в половине второго. Запах преследовал их и в вагоне. Очень встревоженный, господин Панар пробормотал:

— Всюду пахнет карболкой! Видно, тут пользуются ею везде в гигиенических целях. Вероятно, улицы, полы и вагоны поливают раствором карболовой кислоты по указанию врачей и городских властей.

Когда они приехали в ниццкий отель, запах стал невыносимым. Ошеломленный, господин Панар метался по комнате, заглядывал во все закоулки, открывал шкафы и ящики. В одном из них он нашел старую газету, мельком пробежал глазами по странице и прочел:

«ЗЛОСТНЫЕ СЛУХИ о плохом состоянии нашего города ни на чем не основаны. В Ницце и ее окрестностях не было ни одного случая холеры».

Он подскочил и закричал:

— Клементина, это холера... Холера... Холера... Я так и думал! Не распаковывай вещи! Мы немедленно возвращаемся в Париж!

Через час они сели в скорый поезд, все еще преследуемые неприятным запахом карболки.

Вернувшись домой, господин Панар решил принять в целях профилактики несколько капель сильнодействующего противохолерного лекарства и открыл саквояж с медикаментами. Ему ударили в нос удушливые испарения. Оказалось, что склянка с карболкой разбита и разлившаяся жидкость прожгла всю подкладку саквояжа.

Мадам Панар воскликнула, заливаясь смехом:

— Ха-ха-ха! Вот она, вот где твоя холера, мой друг!

18 июня 1886 г.

Напрасные советы

Дорогой друг! Совет, о котором ты меня просишь, дать очень трудно.

У тебя есть женщина, с которой ты никак не можешь порвать, и это тебя угнетает. Я стар; тебе говорили, что я многое повидал в жизни, и вот ты призываешь на помощь мой опыт... Боюсь, что он не принесет тебе пользы, ибо ты здорово влип.

Если не ошибаюсь, дело обстоит так: ты завоевал сердце замужней женщины, которая сильно к тебе привязалась. Ты молод, очень молод, тебе всего лишь 25 лет. Немного познакомившись с уличной жизнью и уличными женщинами, ты захотел, как все мужчины, найти более изысканный объект любви и обратил внимание на подругу своей матери, уже некоторое время поглядывавшую на тебя.

Она как раз в том возрасте, когда женщина еще красива, но уже недалек день, когда станет некрасивой. Ей за сорок, она привлекает полнотой и свежестью, но это свежесть законсервированных фруктов. И в ее сердце много нежности, которую некуда девать, ибо муж давно в этой нежности не нуждается.

Сначала вы обменивались взглядами, потом рукопожатиями, которые из робких становились все длительнее, все крепче, все многозначительнее. Затем однажды вечером ты поцеловал ее за дверью и она ответила на твой поцелуй.

После этого ты пошел гулять, веселый, оживленный, радостный. Но ты попался... Через несколько дней невидимая цепь, на которую тебя приковали, была готова. Тяжелая цепь, бедный мой друг!

Во-первых, возраст твоей любовницы таит большую опасность для тебя. Женщины

в летах ищут свою последнюю добычу, хотят, чтобы у них был запас на черный день. Они мягко стелют, но жестко спать. И запомни, что с наименьшей охотой женщины соглашаются признаться, что любви больше нет. Они всячески стараются, чтобы этот момент наступил как можно позже: если это в их силах — то в те дни, когда они уже разбиты старческим параличом. Мне хотелось бы, чтобы излишняя склонность пожилых женщин к любви осуждалась так же строго, как развращение малолетних. И начинать слишком рано, и кончать слишком поздно — одинаково предосудительно: в обоих случаях нарушается закон природы.

Как мне жаль тебя, бедный мальчик! Ты тянешь лямку уже пять лет. Понимаю, сначала любовница сохраняла для тебя привлекательность; но это время прошло. Пять лет, когда уже «едут с ярмарки»,— все равно что пятьдесят. Изо дня в день ты видел ее увядание. Когда вы сошлись, блюдо было еще съедобным; теперь — это объедки, которые надо выбросить.

Боюсь, у тебя не будет другого утешения, как наблюдать, что она стареет на твоих глазах. Это, по крайней мере, принесет тебе мстительное удовлетворение.

Ибо я не вижу, как тебе от нее избавиться. Разве что рассказать все матери? Но это неделикатно. Твоя любовница обедает у вас дважды в неделю, часто приходит и по вечерам; ее муж очень тебя любит, водит в театры. Это в порядке вещей. Что касается ее, то она не дает тебе передохнуть, всячески выказывая нежность, внимание, заботливость; все неопровержимо свидетельствует о ее любви к тебе.

Мальчикам следовало бы вместе с азбукой запоминать две вещи. Во-первых, никогда не надо заводить такую любовницу, которая не будет в состоянии вам изменить; во-вторых, связи, которые нельзя порвать с помощью денег, надо сохранять, пока это возможно.

Если женщина еще в состоянии возбуждать желания, то часто, если повести себя искусно, от нее можно избавиться, сбыв другу. На это тебе надеяться нельзя. И все-таки ты хочешь во что бы то ни стало порвать с нею. Порвать! Какая проблема!

Написавший руководство о том, как разрывать отношения с женщинами, окажет бо́льшую услугу человечеству, особенно мужчинам, чем изобретатель паровоза. Поговорим же о практических путях для этого.

Если бы мы жили в другие времена и у нас были бы другие нравы—я посоветовал бы тебе просто-напросто отравить ее, поскольку она часто обедает у вас. Но ты не сумеешь устроить это как следует, и тебя посадят.

Я-то знаю, что есть другие способы отравлять женщин, не предусмотренные законом и не влекущие за собой уголовной кары. Но учить тебя им — не мое дело, так что эту тему мы обойдем.

В сущности, имеется лишь одно хорошее средство порвать с любовницей: исчезнуть, не появляться в поле ее зрения. Она пишет вам — вы не отвечаете; она приходит — оказывается, вы переехали неизвестно куда. Она всюду ищет вас, но вы хорошо играете в прятки и остаетесь неуловимым. Случайно встретившись, вы делаете вид, что не узнали ее, и проходите мимо. Если же она вас остановит, вы холодно спрашиваете: «Что угодно, мадам?» и наслаждаетесь ее изумлением, негодованием, гневом. Действуя таким манером, можно опасаться лишь пузырька с серной кислотой.

Этот способ имеет то преимущество, что радикален, хоть и груб. Но, к сожалению, ты не можешь его применить, так как не одинок. Преследуемый кролик рано или поздно возвращается в свою нору; так и тебе придется в конце концов вернуться к родным пенатам, как бы долго ни длилось твое отсутствие. Она сцапает тебя, когда ты вернешься, вот и все.

Так что же делать? Смириться, сохранить ее. Хорошо понимаю, что сейчас она вызывает у тебя и отвращение и ненависть. Тем хуже! Думаю, что тебе нужно постараться искусно избегать свиданий. Уклоняйся от встреч, падай в обморок, симулируй нервные или эпилептические припадки, кричи: «Пожар! Убивают!», не снимай пальто, плати прислуге, чтобы она стучала в дверь, как только вы останетесь вдвоем. Но платонические проявления ее страсти придется терпеть.

Если тебе хочется обязательно порвать с нею, то устрой так, чтобы ее муж застал вас на месте преступления. Ты отделаешься двумя месяцами тюрьмы, это немного. Не считай этот способ неделикатным, он вполне законен.

Я знаю, что муж, быть может, не захочет ловить вас с поличным, и есть риск, что назначенное свидание окажется для тебя очень неприятным. Укажу тебе способ, как завлечь осторожного и подозрительного мужа в ловушку. Напиши ему любовную записку от имени молодой и красивой актрисы с просьбой встретиться наедине. Любому мужчине свойственно считать себя неотразимым, и он придет. Ты попросишь его в этой записке войти в указанную тобой квартиру без звонка. Держи дверь незапертой, но не пускай его как можно дольше. Рассердится ли он или простит — неважно, твое дело в шляпе. Постарайся все-таки, чтобы в шкафу были свидетели на тот случай, если он откажется признать очевидное.

Любовь, мой милый, в одно и то же время очень приятная и неприятная штука. «Раз вино налито — надо пить!» — говаривал маршал Саксонский. К несчастью, старое вино любви — совсем не то, что старое вино из погребов...

Вижу, что хоть мои поучения длинны, я, в сущности, не указываю тебе никакого практического выхода из положения. Его не существует. Все зависит от сноровки, изворотливости, индивидуальных особенностей.

Можешь ты податься в попы? Или пустить себе пулю в лоб? Ну то-то же!

Можно еще... жениться на ней. Но это, по правде говоря, означало бы попасть из огня да в полымя. И потом, разве ты стал бы свободным?

В конце концов знаешь, что я сделал бы на твоем месте? То, что я скажу — гадко, но когда защищаешься — все позволено.

Так вот, я попытался бы сделать ее матерью, если она еще в состоянии быть ею. Она так возненавидит тебя, что бросит.

Мне хотелось бы, чтобы в коллежах ввели специальный курс обучения — с целью оградить юношей от опасностей такого рода. Там преподают греческий и латынь, от которых нет никакого проку, но не учат, как защитить себя от женщин, а они представляют собою наибольшую опасность в нашей жизни. Следовало бы разъяснять, какой у них характер, как они хитры, настырны и еще многое другое, чтобы мы могли заранее принимать меры для обеспечения своей безопасности. Но, по правде говоря, это, вероятно, ничему не поможет.

Жму тебе руку, как у кладбищенских ворот жмут руку людям, не имея возможности ни помочь им, ни утешить их.

С подлинным верно:

Мофриньез.

26 февраля 1884 г.

Общественное мнение

Уже пробило одиннадцать и служащие, опасаясь прихода начальства, спешили разойтись по канцеляриям. Каждый кидал беглый взгляд на бумаги, поступившие в его отсутствие, а затем, сменив пиджак или сюртук на потертую рабочую куртку, подходил к соседям, чтобы поболтать.

В одной комнате со старшим письмоводителем Бонанфаном работало еще четверо. Начался обычный утренний разговор. Регистратор Пердри искал затерявшиеся документы, а заместитель помощника заведующего Пистон, уже удостоенный знака отличия, курил сигарету и хлопал себя по ляжкам, чтобы согреться. Старик экспедитор дядюшка Грапп предлагал, как обычно, всем поочередно понюшку табаку, а письмоводитель Рад, насмешник и скептик, с голосом, скрипучим как у сверчка, хитрыми глазками и резкими движениями, для забавы задирал всех.

— Что нового нынче утром в газетах? — спросил Бонанфан.

— Ей-богу, ничего! — отозвался Пистон.— Много пишут о России и об убийстве царя.

Регистратор Пердри мотнул головой и убежденно произнес:

— Я желаю счастья его преемнику, но свое место на его место не променяю!

Рад засмеялся.

— Он тоже не захочет с вами меняться!

Дядюшка Грапп сокрушенно спросил:

— Когда же все это кончится?

— Никогда, милейший! — ответил Рад.— С тех пор как на свете появились цари, всегда происходят их убийства.

Бонанфан вмешался:

— Объясните, Рад, почему всегда покушаются на хороших монархов, а не на плохих? Великого Генриха IV укокошили, а Людовик XV умер в своей постели. Наш Луи-Филипп всю жизнь был мишенью для убийц, да и царь Александр, говорят, был ничего себе — разве он не отменил крепостное право?

Рад пожал плечами.

— Убили же недавно начальника одной канцелярии...

Дядюшка Грапп, который никогда не помнил, что произошло накануне, воскликнул:

— Как, убили начальника канцелярии?

— Ну да! Вспомните дело с устрицами!— сказал Пистон. Но дядюшка Грапп все забыл.

— Нет, не помню.

Рад взялся заполнить пробел в его памяти.

— Ну как же, разве вы не слышали, что один молодой клерк (его потом оправдали) хотел как-то купить устриц себе на завтрак? Начальник ему запретил; тот настаивал; начальник велел ему замолчать и никуда не уходить; молодой человек заупрямился, взял шляпу; начальник бросился ее отнимать; тот, отбиваясь, схватил ножницы для резки бумаги и вонзил их в грудь начальника... Настоящая смерть бюрократа!

— Это еще как сказать! — покачал головой Бонанфан.— У власти есть границы; начальник не имеет права регламентировать мой завтрак, диктовать моему аппетиту. Он указывает, как я должен работать, но моим желудком он не распоряжается. Случай прискорбный, это правда; но кто виноват — это еще как сказать!

Заместитель помощника заведующего Пистон воскликнул, горячась:

— Нет, господа, начальник отдела должен командовать в канцелярии, как капитан на корабле! Его авторитет должен быть непререкаем, иначе невозможно будет служить. Власть начальника отдела дана ему правительством; он в канцелярии — представитель государства, и его право отдавать любые приказания неоспоримо.

Бонанфан тоже разгорячился. Рад успокоил обоих:

— Вот чего я ожидал! Еще миг, и Бонанфан вонзит в живот Пистона ножик для разрезания бумаги. То же самое с королями: у них свое понятие о власти, а у народов — свое. Это все тот же спор из-за устриц: «Хочу устриц!»— «Нет, ты не будешь их есть!» — «Буду!»— «Не будешь!» — «Буду!» — «Не будешь!» И этого иногда достаточно, чтобы привести к смерти того или иного.

Но Пердри заладил свое:

— Все равно мне больше нравится моя профессия. Быть государем нынче — дело нелегкое. Все равно что пожарным, это тоже тяжеленько.

— Наши пожарные — слава Франции! — возразил Пистон.

Рад согласился:

— Да, пожарные, но не их насосы.

Пистон выступил в защиту и насосов, и пожарных.

— Впрочем, вопрос изучают,— добавил он.— Внимание к нему уже привлечено, им занимаются сведущие люди, и скоро средства тушения пожаров будут соответствовать всем требованиям.

Но Рад покачал головой.

— Вы так думаете? Ошибаетесь! Ничего не изменится. Во Франции своя система тушения пожаров. Американская система — как можно больше воды, целые реки воды... Фи, залить пожар океаном — дело нехитрое. У нас, наоборот, на первом месте — инициатива, ум, находчивость, ни во-

ды, ни насосов, только одни пожарные... Французская система пренебрегает их жизнью: эти бедные герои тушат огонь топорами! Насколько мы превосходим Америку, подумайте! А когда несколько пожарных погибнет — муниципальные советники разглагольствуют, префект разглагольствует, депутаты разглагольствуют, спорят: какая система лучше — основанная на воде или основанная на инициативе? И какое-нибудь должностное лицо прочувствованно восклицает на могиле жертв: «Нет, не прощайте, только до свиданья!» Вот как обстоит у нас во Франции!

Дядюшка Граш, успевший забыть, о чем шла речь, спросил:

— Откуда эти слова, что вы процитировали: «Нет, не прощайте, только до свиданья!»? Я их где-то читал.

— Из Беранже! — важно ответил Рад.

Задумавшийся Бонанфан вздохнул:

— Какая катастрофа, однако, этот пожар в «Весне»!

Рад подхватил тему:

— Теперь, когда можно говорить об этом спокойно, мы вправе, мне думается, усомниться в красноречии директора магазина. Он — искренний человек, не сомневаюсь; искусный коммерсант, очевидно, но никудышный оратор.

— Из чего вы это заключаете? — спросил Пердри.

— Потому что, если бы ужасное бедствие, постигшее его, не вызвало общего сочувствия, то не было бы конца насмешкам над речью в духе Ла Палисса, которою он успокоил своих служащих. Он им сказал примерно так: «Господа, вы не знаете, на что пообедать завтра? Я тоже не знаю, где взять деньги на обед... О, меня тоже следует пожалеть! К счастью, у меня есть друзья. Один из них дал мне десять сантимов на покупку дешевой сигары (в моем положении гаванские не курят); другой одолжил франк семьдесят пять сантимов на фиакр; третий, побогаче, одолжил мне двадцать пять франков для покупки пиджака в «Белль-Жардиньер». Да, мне, директору «Весны», пришлось идти в «Белль-Жардиньер». А так как у меня не осталось даже зонтика, то я, одолжив деньги у четвертого, купил за пять франков двадцать пять сантимов зонтик, годный для любого сезона. Шляпа моя тоже сгорела, и, так как я не хотел больше ни у кого занимать, то поднял каску пожарного... вот она! Следуйте моему примеру, и если у вас есть друзья — обратитесь к их щедрости. Что касается меня, то, как видите сами, я уже в долгах по уши!» Разве кто-нибудь из служащих не мог ему возразить: «Что это доказывает, патрон? Во-первых, то, что деньги у вас были не с собой. Я тоже иногда забываю портмоне... Но разве мало у вас домов, отелей, ценностей и разве вы не получили страховку? Во-вторых, из этого следует, что у вас есть друзья; у которых можно взять в долг; тем лучше, пользуйтесь кредитом. В-третьих, вы хотите доказать, что вас постигло несчастье. Мы это знаем и сочувствуем вам от души, но нам от этого не легче. Не втирайте же нам очки россказнями о том, что приобрели одежду во второразрядном магазине!»

На этот счет все в канцелярии оказались одного мнения. Бонанфан добавил (вот балагур!):

— Хотелось бы мне взглянуть на продавщиц, как они спасались от огня в одних рубашках!

Рад подхватил:

— Эти общежития весталок не внушают мне никакого доверия. Ведь продавщицы чуть не сгорели в них, как лошади в конюшне омнибусной компании в прошлом году. Уж если запирать на ночь — то тех, кто несет ответственность за освещение, а не этих бедных девушек. Директор, черт возьми, не может отвечать за их сбережения, рассованные по укромным уголкам. Правда, деньги писцов сгорели в кассе; пусть хоть продавщицам заплатят! Но что меня особенно восхищает, так это сигнальный рожок для сбора служащих. О, какой сценичный эпилог! Представьте себе длинные галереи, полные дыма, отблески пламени, шумное бегство, общее безумие; и в это время на центральной площадке, в ночных туфлях и кальсонах, вовсю трубит современный Эрнани, новоявленный Роланд!

Регистратор Пердри сказал:

— Все равно мы живем в дурацкий век, в паршивое время. Взять хотя бы случай на улице Дюфо...

Но тут посыльный приоткрыл дверь.

— Начальник отдела пришел, господа!

Тотчас же все поторопились разойтись по своим местам, в такой спешке, как будто министерство загорелось.

21 марта 1881 г.

О чем они болтают

Всякий, кто делает визиты и с четырех до семи часов, улыбаясь, ведет беседы в гостиных, неизбежно находит там каждый день одних и тех же лиц в одних и тех же креслах и слышит из их уст одни и те же слова.

Они привыкли встречаться, хотя им нечего сказать друг другу. Дамы в гостиной ожидают других дам и мужчин, которые входят, раскланиваются, целуют руки, садятся и начинают делиться теми же мыслями (им кажется, что это — мысли), какими они делились ранее в другом доме и какими будут делиться в третьем. Затем они встают и уходят, чтобы вновь демонстрировать изящество своих поз и болтать те же пустяки.

Светские люди принадлежат к особой породе, замечательной своим круглым невежеством и удивительной способностью говорить с умным видом решительно обо всем.

Обо всем! В гостиных толкуют обо всем! Мужчины, никогда не читавшие ни одной газеты, кроме той, которую они выписывают; не учившиеся ничему, кроме грамоты, и помнящие лишь то, что есть в Готском альманахе; дамы, обладающие, благодаря болтовне с учеными-завсегдатаями гостиных, кое-какими псевдонаучными знаниями, судят и рядят, одобряют, оспари-

вают, решают без колебаний и зазрения совести, ничуть не стесняясь, самые сложные, самые жгучие, самые трудные, самые серьезные вопросы.

Нет ничего смешнее и забавнее, чем делать каждые три месяца ряд визитов. Всякий раз — дежурная тема, которая навязла у всех в зубах, ибо всюду говорят только об одном. Формируются два мнения, или, вернее, два лагеря, так как для того, чтобы спорить, нужна разница в суждениях. У каждого лагеря — свои аргументы, заранее известные другому и отвергаемые им; и в каждом доме, при каждой смене визитеров начинается спор, ведущийся на один и тот же манер.

Чаще всего пищу для болтовни в современных гостиных дают политические события, новые пьесы и романы и случаи скандального характера, которыми изобилует светская жизнь.

То, что говорят о политических событиях и о любовных похождениях, можно слушать без внутреннего протеста — ведь эти темы доступны недалеким и претенциозным умам светских людей, которых больше интересуют земные страсти, чем духовная жизнь.

Но суждения, изрекаемые ими обо всем другом, заставили бы взвыть от негодования или вздрогнуть от отвращения, если бы вежливость не обязывала выслушивать все с улыбкой и отвечать со спокойным видом.

Скандалы, связанные с Лимузеном и им подобные,—тема уже исчерпанная. «Мышь», по-видимому, осуждена; насчет «Тоски» к согласию не пришли; «Земля» решительно отнесена к числу книг, которые следовало бы запретить (что не мешает ее успеху). Но продолжаются споры вокруг «Лжи».

Сначала дамы возмущались, сердились, сожалели, что Бурже вступил на такой путь. Но в литературном мире, который связан со светскими кругами, безапелляционно и единогласно объявили, что это прекрасная книга, и все эти дамы, изображенные в ней с довольно непривлекательной стороны, постепенно изменили свое мнение и стали с такой же искренностью восхищаться этим романом. Ведь в нем речь идет об адюльтере — тема, всегда близкая их сердцам.

Итак, в одной гостиной обсуждали некоторые интересные и еще не совсем ясные места этой книги. Поскольку литературный шпионаж и отсутствие скромности сейчас в моде, позволю себе воспроизвести эти не очень деликатные высказывания (не называя имен, чтобы подать пример другим).

Пять часов; лампы зажжены; две красивые молодые женщины разговаривают за чайным столом с тремя изысканно одетыми мужчинами. Это госпожи А. и Б., господа В., Г. и Д. Вот как шла беседа.

Г-жа А. Совершенно недопустимо, что дом на улице Мон-Табор обслуживается старым лакеем.

Г-н В. Каким лакеем?

Г-жа А. Вы и не заметили? А ведь мужчины считают себя весьма наблюдательными... Знайте же, мой милый, что квартиру, где барон Дефорж принимает мадам Морен, убирает слуга, а не служанка. Женщина никогда не согласилась бы на это. Никогда, никогда! Подумайте обо всех интимных подробностях... Нет, это невозможно!

Г-н Г. Но мне кажется, что служанка стесняла бы их не меньше.

Г-жа Б. О нет, извините!

Г-н В. Все дело в привычке. Женщины, по-моему, в таких случаях мало стесняются других женщин. Они не церемонятся в их присутствии, между тем как...

Г-жа А. Не будьте грубы! Вы ничего не понимаете. А ведь это так просто... Не правда ли, дорогая, вы согласны со мной?

Г-жа Б. О да, целиком.

Г-н В. Но позвольте... Я, например, больше полагался бы на скромность мужчины, чем женщины.

Г-жа А. Дело не в скромности, а в такте.

Г-н Д. Больше всего меня удивляет то, что муж ни о чем не подозревал.

Г-н В. Милейший, мы все трое женаты и ни о чем не подозреваем.

Г-н Г. Ха-ха-ха! Позвольте, я уверен, что жена меня не обманывает.

Г-н В. Я тоже убежден, что жена мне верна; однако мне совершенно неизвестно, что она сейчас делает. То же самое можете сказать о своих женах и вы оба.

Г-н Д. Моя жена — у портнихи.

Г-н Г. А моя — у врача.

Г-н В. Вы верите? Чем же вы это докажете? Они вам так сказали. Но неужели вы воображаете, что они станут заранее вас извещать о своих встречах с любовниками? Если вы спросите за обедом: «Где ты сегодня побывала, милочка?» — неужели услышите в ответ: «Наставляла тебе рога»? Вам спокойно скажут: «Провела два часа у портнихи» или «Потратила целых три часа на визит к доктору. На приеме было очень много больных». И вам назовут имена, расскажут интересные подробности, которые вас позабавят, дадут повод посмеяться. К тому же ваша жена в прекрасном настроении, вам это приятно, она кажется вам еще очаровательнее, чем всегда...

Г-н Г. Этот парадокс забавен, но ничего не доказывает.

Г-н В. Возьмите хотя бы мадам Морен и ее отношения с де Венси—случай, часто встречающийся и хорошо изложенный. Женщина видит мужчину, который ей нравится, и так как больше всего ее могут скомпрометировать встречи, предшествующие падению, то она форсирует ход событий и отдается без проволочек... Разве какой-нибудь муж сочтет свою жену способной броситься в объятия почти незнакомого ей человека, не пококетничав с ним сначала?

Г-н Д. О, это очень редкий случай. Мы прекрасно знаем всех, кто ухаживает за нашими женами.

Г-н В. Вовсе мы их не знаем, и это доказывается тем, что мужей, взявшихся за револьвер, считают слепцами или сознательно закрывающими глаза. До такой степени их рога заметны всем еще прежде, чем они укокошат виновных.

Г-жа А. (улыбаясь). О, мужей, бьющих стекла, больше нет.

Г-н Д. Есть, есть! Если бы меня обманули, я убил бы обоих, не колеблясь.

Г-жа А. Это говорят те, кто не сомневается в верности своих жен, и все-таки... Я знавала одного, который, будучи предупрежден анонимным письмом, вернулся домой как раз тогда, когда... Он слышит шум, видит беспорядок в комнате и, твердо решив убить виновника, кидается со свечой в руке к шкафу возле кровати. Тот пуст. Муж закрывает его со словами: «В этом никого нет» и переходит к другому шкафу. Тот также пуст. Захлопнув его дверцу с возгласом: «И в этом — никого!»— муж устремляется к третьему и, открыв, видит в нем капитана драгун с саблей в руке. Тогда он запирает этот шкаф двойным поворотом ключа и объявляет успокоившимся голосом: «Нигде никого нет, я ошибся!»

Г-н В. (смеясь). Это забавно, но выдумано.

Г-жа А. Нет, милейший! На свирепые слова не скупятся, пока уверены, что жена ведет себя как следует. Тогда муж говорит и даже искренне думает, что в случае неверности он ее убьет не колеблясь. Но когда он обнаруживает, что обманут, то, потрясенный, в нерешительности взвешивает последствия... и запирает шкаф со словами: «Нигде никого нет, я ошибся!»

Г-жа Б. Вы когда-нибудь думали о том, что делают с любовными письмами?

Г-н В. После разрыва их возвращают.

Г-жа Б. А другие?

Г-н В. Какие?

Г-жа Б. Недавно умерла одна из моих подруг, у которой было много писем... от разных лиц. Муж, несомненно, нашел их, но оплакивает жену еще больше, чем ранее.

Г-н В. О, после ее смерти можно быть снисходительным.

Г-жа А. Я никогда не обманываю мужа, а ведь он, бог ему прости, ужасно некрасив.

Г-жа Б. Какой же выход вы нашли, дорогая?

Г-жа А. Ах, господи! Когда он обнимает меня — я закрываю глаза и думаю о... о ком-нибудь другом!

29 ноября 1887

◆

Наши гости

Бернар Дельвай

(Франция)

День этой встречи был знаменательным: утром вновь открылась Московская международная книжная ярмарка, а к вечеру сотрудники редакции журнала «Иностранная литература», московские переводчики, литературоведы собрались в редакции, чтобы увидеть французского поэта, критика, издателя Бернара Дельвая, расспросить его о французской поэзии, французской литературе.

Автор поэтических сборников «Блюзы» (Blues, 1951), «Ход жизни» («Train de vie», 1955), «Беспорядок» («Desordre», 1967), «Происшествия» («Faits divers», 1976), «Избранные стихи», лауреат премии Сент-Бёва, Бернар Дельвай знаком советскому читателю по стихам, опубликованным по-русски в антологии «Новые голоса», выпущенной издательством «Прогресс» в 1981 году.

Дельвай относится к тем поэтам — случай не столь уж частый! — которые азартно и умело пропагандируют других поэтов — своих современников. Являясь литературным директором издательства «Сегерс», Дельвай выпускает поэтические сборники, антологии, книги о поэтах, в течение ряда лет готовил выпуск альманаха «Поэтический год». Особенно внимателен он к начинающим: любовно, с профессиональной тщательностью составлены им два издания антологии «Новая французская поэзия», объединившие 100 поэтов в возрасте от 19 до 43 лет.

Издательство «Сегерс» родилось в дни войны. В 1939 году поэт Пьер Сегерс начал выпускать журнал «Поэты в касках», публикуя стихи, приходившие с фронтов «странной войны». В 1940 году, когда Франция капитулировала и немецкие армии оккупировали страну, журнал получил название «Поэзия». Существуя легально, журнал «Поэзия» печатал стихи ведущих французских поэтов, чьи имена составили славу французского Сопротивления — Элюара, Арагона, Жува, Десноса, Кейроля, Эмманюэля, Гильвика, Френо и других. Этот журнал и был основой издательства, которое Пьер Сегерс возглавлял многие годы после войны, пока не передал дела Бернару Дельваю. За сорок лет издательством выпущены сотни и сотни поэтических книг; особенной популярностью пользуется серия «Поэты сегодняшнего дня», насчитывающая уже около двухсот выпусков.

Первый вопрос к нашему гостю — о деятельности издательства:

— Как строится работа? Какие тиражи? Интересуются ли читатели поэзией?

— Поэтов во Франции очень много, но интерес к поэзии не проявляется так бурно, как в Советском Союзе. Тиражи наших поэтических книг невелики. Три-четыре тысячи экземпляров считаются хорошим тиражом. Даже такой известнейший поэт, как Сен-Жон Перс, издается обычно тиражом до семи-восьми тысяч, талантливый поэт Гильвик имеет две тысячи. Более высокие цифры для поэтических книг — случай редкий. Можно сказать, что читательский спрос на поэтические издания мы удовлетворяем полностью. Нам хотелось бы, чтобы поэтические сборники раскупались активнее, ведь каждый поэт мечтает, чтобы его читали... Пока же многие сборники издаются совсем ограниченными тиражами — для любителей. Однако как издатель я должен расширять круг имен, должен искать. Приходится просматривать огромное количество рукописей, присылаемых из провинции (там поэты ничуть не менее интенсивно пишут, чем в столице), и, рискуя понести убытки, отбирать книги начинающих для первой публикации.

Наше издательство несколько лет назад вошло в состав крупного издательского концерна «Лаффон», который, как вы, наверное, знаете, издает и романы, и документальную прозу, и мемуары. Известно, что сейчас велик интерес к документально-достоверному повествованию, а также историческому роману, который, безусловно, переживает сейчас возрождение. Хорошо раскупают, например, книги, составляющие серию «Пережитое». Специфика нашего профиля внутри издательства Сегерс-Лаффон — именно поэзия. В среднем мы выпускаем пятнадцать—восемнадцать поэтических книг в год. Если «Лаффон» в целом издает приблизи-

тельно четыре книги каждый месяц, то полторы книги из этих четырех — наши, поэтические. Это немало и требует от нас весьма напряженной работы.

Наш второй вопрос касается творчества самого писателя.

— Ваше имя часто связывают с «новым реализмом». Как вы относитесь к этому? Над чем работаете сейчас?

— Да, как и те французские поэты, которых несколько произвольно объединяют термином «новый реализм» — Франк Венай, Пьер Тильман, Даниэль Бига — они, кажется, вошли в антологию, выпущенную вашим издательством «Прогресс» под названием «Новые голоса»,— я люблю живые приметы реальности, люблю город, старые улочки, старые кварталы, тихие дворики и шумные вокзалы — все, что нас окружает, что привычно. Хочется ввести это привычное в поэтическую речь. В свое время я был под сильным впечатлением от Блэза Сандрара. Но постепенно в произведениях «новых реалистов» я почувствовал что-то мне чуждое. Конечно, они отражают наше время, но для меня наше время — стремительные поезда, сокращающиеся расстояния. Для них порой что-то совсем иное, вроде порнокиношек на Больших бульварах. Эти «приметы» современности не казались мне достойными внимания поэзии. Поэзия не может только «наблюдать», она всегда размышляет; может быть, поэтому я мало-помалу отошел от манеры Сандрара и увлекся Рильке. Сейчас я работаю — правда, увы, медленно, нерегулярно — над крупным по объему произведением, наверное поэмой. Пишу отдельными фрагментами, потом тружусь над сочетанием частей, подчиняя их общей теме. Тема? Она все та же — трудности бытия, невозвратность детства, страх перед смертью, интерес к жизни... Нет, это не философская поэма, но я пишу обо всем, что заставляет нас размышлять о жизни, ее начале и конце, ее ценности,—пишу о розах, которые так пронзительно пахнут в саду после дождя, о пляжах и морском прибое и еще о многом, многом другом...

Конечно, когда я кончу эту поэтическую книгу, я пришлю ее вам, а пока дарю вам предыдущий свой стихотворный сборник, он вышел уже после того, как на русский были переведены мои стихи в антологии «Новые голоса», я назвал книгу «Избранное», так как собрал здесь написанное в разные годы.

Третий вопрос к Бернару Дельваю как к литературному критику, внимательно изучающему современный литературный процесс:

— Вы хорошо знаете поэзию XX века, ставшую классикой, и хорошо знаете, что волнует новое поколение поэтов. Каково соотношение между традицией и новаторством в современной поэзии. На что ориентируются начинающие поэты? Как проявляется влияние сюрреализма? Какой путь прошла французская поэзия от 40-х к 80-м годам?

— Было бы большой дерзостью отвечать кратко на столь серьезные вопросы. Поделюсь лишь некоторыми своими соображениями, не претендуя на полноту поэтической панорамы.

После войны боевая, ангажированная поэзия уступила место поэзии, воспевающей природу, радости и тревоги бытия. Поэзия пыталась найти какой-то новый голос. Это определило рождение двух основных потоков, вызванных к жизни событиями 1968 года. Май 1968 года был важным моментом для французской литературы в целом и для поэзии. О «новом реализме» заговорили именно после 1968 года. Эта поэзия обнаруживает влияние американской поэзии и прозы (например, Керуака). Вторую тенденцию, обозначившуюся одновременно с «новым реализмом», я бы назвал абстрактно-философской. В ее русле пишут поэты групп «Тель кель», «Шанж», к нему близок — хотя это и особая фигура — Мишель Деги. Поэты, представляющие первую тенденцию, отдают предпочтение скорее описанию; представляющие вторую — в основном задают вопросы. Активность этих двух направлений к середине предыдущего десятилетия поутихла, и сейчас надо говорить не о направлениях, не о группах, а об индивидуальностях. Впрочем, я считаю, что всегда важнее открыть не некую новую группу, а поэтический настрой, общий для данного поколения. Поэзия сегодняшнего дня — это Мишель Деги, Жан-Пьер Фай, Франк Венай, Жан Риста, Матье Бенезе. Конечно, понятие «сегодняшнего дня», «современного» гораздо шире. Такие поэты, как Элюар и Арагон, и уходя из жизни, остаются живыми, современными. После того как молодые поэты отошли от определенных направлений, стали самостоятельнее, они почувствовали себя ближе к французской национальной традиции. Можно проследить линию стиха от Ронсара через Арагона к Матье Бенезе. Недавно молодые словно бы и не помнили, что одним из их предшественников был Бодлер. Теперь они ценят и эту традицию. Поэзия заговорила более понятным, прозрачным языком, перестала бояться традиционных поэтических слов. Смешно сказать, что лет 20 назад в стихах французских поэтов невозможно было встретить слово «роза». Теперь мы этого не боимся. И «старые» слова могут звучать современно. Если отвечать на ваш вопрос о воздействии сюрреализма, то с моей точки зрения чистый сюрреализм давно умер, ни Арагон, ни Элюар не могут считаться сюрреалистами уже с начала 30-х годов. Молодые, выбирая себе кумиров, идут сейчас вглубь — к Рембо, Бодлеру, Ронсару. Общая культура молодой поэзии стала, бесспорно, выше. Вы хотели услышать больше о самых молодых. К сожалению, у нас, как и у вас, «молодые» становятся известными только к 40 годам... Но мне хотелось бы назвать все-таки одно новое имя, достаточно юного, 28-летнего поэта — Доминика Преше. Он только что получил премию Пьера-Жана Жува, и хотя предсказания всегда опасны, мне кажется, что Доминика Преше ждет большое будущее.

Молодая поэзия становится более ясной, открытой и, наверное, заинтересует вашего читателя. Впрочем, ваш журнал переводил и поэтов достаточно сложных — Анри Мишо, Жака Рубо. У меня было много встреч в Москве и Ленинграде, и каждый раз ме-

ня радовал живой интерес к зарубежной литературе, к французской поэзии.

— А если поставить вопрос об интересе французской публики к русской и советской поэзии?

— Мне кажется, что русскую поэзию у нас знают и любят значительно больше, чем поэзию некоторых других стран. Я, например, много занимаюсь северными, Скандинавскими странами и могу сказать, что к ним интерес во Франции меньше, чем к культуре русской. Ну действительно, произнесите во Франции имена Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова, Гоголя, Тургенева, Блока, Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Маяковского — их знают, читают, любят. Это не так мало для полутора веков. Из новой советской поэзии у нас изданы отдельными книжками Вознесенский, Евтушенко, Гамзатов, Рождественский, Сулейменов... Мое издательство подготовило книгу стихов Геннадия Айги. Сейчас готовим новое издание Маяковского в серии «поэты сегодняшнего дня». В свое время, в 1965 году, Эльза Триоле составила хорошую антологию «Русская поэзия. От Ломоносова до Ахмадулиной». В прошлом году журнал «Сюд», выходящий в городе Марселе, подхватил эту традицию и, так сказать, продлил линию. Номер 44/45 журнала за 1982 год носил название «Советская поэзия», были представлены все ваши республики и очень много — около 80! — поэтов Теперь мне хочется пойти вглубь. Антология, которую я хочу предложить нашему издательству, по замыслу покажет не больше чем 10—12 имен, но достаточно полно, чтобы поэта можно было почувствовать, отличить от другого. Во время моих встреч в Союзе писателей СССР — в Москве и Ленинграде — и обсуждения состава будущей антологии меня обрадовало, что наш подход к критериям отбора имен (а это очень трудная задача!) оказался близким. Мне называли имена действительно больших поэтов, критерии высокой художественности и широкого звучания в своей стране мне кажутся верными. Впрочем, в отборе играют роль и личные вкусы, пристрастия. Хотелось бы показать советскую поэзию как многонациональную. Согласитесь, что в пределах 10—12 имен это не так просто... Лично я испытываю особый интерес к республикам Прибалтики, так как внимательно слежу за поэзией Скандинавских стран, и мне было бы интересно увидеть, есть ли тематическое сходство в поэзии стран, расположенных по разные стороны Балтийского моря. Как возникает, например, морская тема? Я читал в переводах и успел полюбить Межелайтиса, Малдониса...

В связи с проектом выпуска издательством «Сегерс» антологии советской поэзии сразу возник вопрос о методике перевода:

— Как вы относитесь к практике подстрочника? Кому поручаете переводы — специалистам, знающим язык, или поэтам? Предпочитаете ли вы переводы, сохраняющие рифмовку оригинала, или стремитесь в основном к точности поэтического образа?

— Я сам не раз выступал в роли переводчика. Например, переводил с болгарского Любомира Левчева. Конечно, с подстрочника. Можно назвать это не переводом, а адаптацией. Мне кажется, для поэзии лучше, если переводит поэт, даже если он не знает языка оригинала и вынужден пользоваться подстрочником. Успех антологии 1965 года, подготовленной Эльзой Триоле, во многом был обусловлен участием больших поэтов. Пьер-Жан Жув в свое время переводил сонеты Шекспира, не зная английского, и переводил мастерски. Но чаще, правда, музыку стиха сохранить не удается, мы и рифмованные стихи переводим, так сказать, прозой, то есть без рифмы, но звучать они должны все равно поэтически... Требуется огромный талант.

Творческих проблем много и у поэтов, и у переводчиков. А у издателя, кроме того, существуют еще и финансовые проблемы, которые нельзя не учитывать, когда берешься за издание поэтических книг, не обманывая себя надеждой на большие тиражи. Как вы видите, моя «панорама» положения дел во французской поэзии и издательской практике не очень оптимистична. Но поэзия и литература будут жить всегда. И наша с вами задача — помочь сближению культур и народов.

Т. БАЛАШОВА

◆

К нашим иллюстрациям

РАЗГОВОР В МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА

Наше знакомство с замечательным вьетнамским живописцем, генеральным секретарем Союза художников СРВ Чан Ван Каном состоялось лет пятнадцать назад. Шла ожесточенная война. Американские бомбы испепеляли вьетнамские города и деревни, и все население особого уезда Виньлинь, что на 17-й параллели, было вынуждено жить в блиндажах, глубоко под землей. В одном из бункеров, куда нас определили на ночлег, я увидел человека, стоящего у мольберта. Казалось, ничто и никто в том блиндаже не существовали для него. От разрыва бомбы с потолка посыпалась земля. Он аккуратно смахнул ее с холста и, видимо, только тогда заметил, что в землянке есть люди.

Встреча и беседа с художником в ту ночь во фронтовом блиндаже стали первыми шагами на пути в многолетнюю ныне дружбу.

Он родился в 1910 году, детство прошло в провинции Хайфон. Теперь нет родного дома. Камни далекого детства уничтожены безжалостной рукой агрессора. Обрушилась и сгорела кровля, под которой были сделаны первые рисунки.

— Хайфонский дом, утопавший в алых цветах гибискуса, я навсегда покинул в 1930 году и уехал в главный город Тонкина Ханой,— рассказывает художник,— где находилась единственная в колониальном Индокитае Высшая школа изящных искусств. В моем коричневом деревянном чемоданчике были кисти, краски, пара белья и книги Нгуен Чая[1] и Нгуен Зу[2]. Поступить в школу было чрезвычайно трудно. Для коренных жителей Индокитая, «индижен» — туземцев, отводилось не более шести стипендий на каждом курсе.

За годы учебы я понял, что колониальная зависимость — главная преграда на пути расцвета культуры вьетнамского народа.

1936 год. В Ханое прошла первая маевка. Я принимал в ней участие и попал в поле зрения полиции. Как подозреваемый в революционной деятельности после окончания школы изящных искусств заказов я не получал, был вынужден с мольбертом за плечами прошагать по дорогам через весь Вьетнам.

Это были мои университеты. Бедность, нужда, труд — не худшие учителя в жизни,— говорит художник.— Именно в тот период сложились политические взгляды, вырабатывался художественный почерк.

В своей работе я все больше стал использовать лак — материал, издревле широко применявшийся в декоративном искусстве стран Юго-Восточной Азии для создания станковых картин. Вместе с художниками Нгуен Ты Нгиемом и Нгуен Шангом — также выпускниками школы изящных искусств — мы штурмовали, казалось бы, неприступные бастионы традиционного вьетнамского лака. На протяжении четырех веков существования лаковой живописи во Вьетнаме (наиболее старая лаковая картина хранится в Шонтэе и относится к XVI веку.— М. И.) в ней безраздельно властвовали три цвета — золотой, красный и черный. Нам удалось свергнуть это «троевластие». Нгием впервые в истории использовал в лаке зеленый цвет, Шанг — голубой, мне пришла мысль совместить лаковую живопись с инкрустацией перламутром и яичной скорлупой. Так появился белый цвет, что привело к рождению своеобразных и выразительных панно.

Лаковые работы этих мастеров как бы осязаемы. Они притягивают, будто зовут притронуться к ним рукой. Впрочем, только на ощупь знатоки определяют качество лаковой живописи. И только они с точностью скажут, сколько слоев лака нанесено, установят, к какой лаковой школе она относится — к Северной или Южной.

Сороковые годы связаны с ростом революционной борьбы вьетнамского народа. И художники, среди них Чан Ван Кан, все

[1] Нгуен Чай (1380—1442) — великий вьетнамский поэт, мыслитель, полководец.

[2] Нгуен Зу (1765—1820) — великий вьетнамский поэт, автор романа в стихах «Стенания истерзанной души».

решительнее обращаются к социальным и политическим проблемам. Незадолго до Августовской революции 1945 года он вступает в Общество деятелей культуры за спасение родины. В канун разгрома японских милитаристов Кан пишет политический плакат «Вьетнам для вьетнамцев».

— Победа революции вдохновила меня,— говорит Чан Ван Кан.— В период войны Сопротивления с французскими колонизаторами я работал в партизанской зоне, в провинции Бакзианг. В картинах я старался запечатлеть места, памятные бойцам войны Сопротивления — «Улицами Хыонг», «Дайты», «Селение Тхи», «Река Гам», «Река Ло», «Эвакуированные в пещере»... На военных дорогах рисовал чем приходилось — авторучкой, огрызками карандашей, угольками.

Чан Ван Кан был избран депутатом Национального собрания. После победы в первой войне Сопротивления Кан много ездил по своей стране. Его впечатления нашли отражение в картинах «На заливных полях» (1958), «Зима идет» (1960), «В шахте» (1961).

— Но мир был недолгим,— продолжал художник.— Снова война пришла на землю Вьетнама. Теперь уже новый враг — американский империализм — посягал на свободу и независимость родины. Жизнь вьетнамских художников, проводивших дни и месяцы на боевых позициях, не отличалась от жизни солдат.

В беседах с Чан Ван Каном мы неизменно возвращались к неисчерпаемой теме вьетнамского национального искусства.

— Вьетнамское искусство,— с увлечением утверждал Чан Ван Кан,— это не только произведения литераторов, живописцев, скульпторов, резчиков по дереву и камню. Это и традиционные работы многих тысяч людей, занимающихся кустарными промыслами. Мыслим ли, например, вьетнамский дом без разноцветных соломенных циновок, без изящных глиняных изделий. Каждая фигурка в таком «селении» обладает своим символическим значением.

Около 400 пагод украшают столицу СРВ, будто передают нам дыхание столетий. Нас пленяет поющий говор половиц из черного дерева, наводит на размышление неровность каменных плит. Ведь по ним еще многие столетия назад ступали великие полководцы и поэты Вьетнама. Уникальные по красоте резные порталы, художественно оформленные интерьеры, величественные изваяния Будды, установленные у входа восемь ритуальных видов оружия — тоа кить. Их изготовляли из меди, железа или дерева, покрывали лаком и позолотой.

Эти реликвии времен минувших — культурное наследие всей вьетнамской нации. Они словно приглашают нас в удивительное путешествие в седую вьетнамскую старину, в настоящее и будущее вьетнамского народного искусства.

— Но путешествие это,— Чан Ван Кан говорит, закуривая старый кальян,— возможно лишь благодаря тому, что наш народ сумел не только выстоять и победить в многочисленных войнах Сопротивления с иноземными захватчиками, но и пронести, бережно сохранить свое древнее искусство. Искусство это укрепляет патриотический дух и национальное сознание.

Итак, с тихой ханойской улицы отправимся вместе с Чан Ван Каном в это путешествие. В самом центре Ханоя приютилась Тюа Мот Кот — Пагода на одной колонне. Она сооружена в 1049 году в виде цветка лотоса и стоит посреди небольшого озера. Пагода на одной колонне считается символом Ханоя.

— Древняя легенда гласит,— рассказывал Чан Ван Кан,— что правитель Ле Тхань Тон увидел во сне богиню Гуаньинь, спускающуюся с гор. Наутро он приказал воздвигнуть в честь богини пагоду. Деревянное сооружение, поднявшееся посреди небольшого водоема, приобрело форму лотоса. Внутри пагоды находилось скульптурное изображение богини. Весь ансамбль выражал мысль: лотос чист среди моря скорби...

В 1944 году пагода была взорвана по приказу колониальных спецслужб. После революции ее восстановили. Только старую колонну из черного дерева заменили на бетонную.

В предместье Ханоя в деревушке Батчанг Чан Ван Кан раскрывал мне таинства вьетнамской глины.

— Керамика, фаянс и фарфор,— говорит художник,— стали своеобразным «календарем», позволяющим вьетнамским ученым, ведущим раскопки в различных районах страны, весьма точно определять возраст находок. Изделия древних мастеров, обнаруженные в Куиньване, Дабуге, Майфа и Баса, насчитывают более 5—6 тысяч лет. Пожалуй, ничто для нас в XX веке не имеет оттенков такой новизны как... археологические находки. На Севере республики — в Хабаке и Тханьхоа, например, обнаружены печи по обжигу керамических изделий, относящихся к бронзовому и железному векам. Керамика тех времен была желтовато-зеленой, цвета неспелого лимона. И изделия из нее были достоянием каждого крестьянского дома. В XII—XIV веках керамические изделия обрели зеленоватый и светло-пепельный цвета.

Одновременно в период династий Ли — Чан[1] развивалось производство фарфора. С XI по XIV век преобладал так называемый фарфор коричневого цвета, а с XIV по XVIII век — фарфор голубых цветов, тайну изготовления которого свято хранили древние мастера.

В XV веке особую «власть» в древнем искусстве приобрел белый фарфор с темно-синим растительным орнаментом. Утверждают, что в этот период он перешагнул границы Вьетнама и отправился в заморские путешествия, достиг берегов Филиппин, Индонезии, а в XVI веке покорил сердца умельцев на Японских островах.

С каждым столетием видоизменялись, становились более изысканными линии и формы вьетнамских изделий из фарфора. Творения эти покрывались лаком сначала нефритового, а затем бледно-голубого цвета. Сложились и классические темы в украшении фарфоровых ваз. Например, утка всегда нахо-

[1] Династии Ли и Чан правили с начала XI века до начала XV.

дится среди листьев лотоса, олень стоит рядом с сосной, лошадь — с плакучей ивой, слон — у бананового дерева...

Более любопытного селения, чем Батчанг, пожалуй, не встретишь ни в одном из уголков Вьетнама. Здесь человек словно погружается в мир керамики. Серые, из керамического боя стены высотой в 2—2,5 метра укрывают от взора дворики домов. В извилистых улицах Батчанга едва могут разойтись два человека.

Легкий ветерок посвистывал в пальмовых листьях, которые, будто зонтики, прикрывали от лучей жаркого тропического солнца керамические проулки. Из стены, которая кажется монолитом, можно при помощи ножа или бамбуковой палки вынуть керамическую пластинку — открываются тайники прошлых столетий. В них местные жители, крестьяне, мастера сохраняли воду, еду, а также прятали драгоценности в случае вторжения захватчиков. Пластинка легко вставляется на прежнее место, и в сплошной серой стене почти не видно легкой трещинки.

Неделями простаивают у мольбертов молодые вьетнамские художники в двориках деревушки Батчанг, перенося на ватман рисунки керамических порталов, узорчатые фасады, линии «драконьих хвостов», венчающих крыши домов.

...Провинция Виньфу. В народе ее называют «колыбелью Вьетнама», рассказывает мне художник. По преданию, здесь, в Виньфу, почти четыре тысячелетия назад находилась столица династии правителей Хунгов. На горе Нгиакыонг сохранился древний храм, а также гробница одного из правителей Хунгов. Чтобы добраться до этого храма, надо преодолеть 523 крутые каменные ступеньки. Утверждают, что осенью в 1954 году в Виньфу слушал легенды президент Хо Ши Мин и затем сказал находящемуся поблизости солдату вьетнамской Народной армии: «Хунги создали нашу страну, наш долг — защищать ее, делать более прекрасной, хранить наследие национальной истории и культуры».

Здесь же, в Виньфу, находятся и многие другие исторические памятники, на которые распространяются охранные грамоты министерства культуры СРВ. Среди них — храм двух сестер Чынг, полководцев, разбивших в 40 году северных захватчиков, уникальная 13-ярусная башня Биньшон (Мирная Гора), воздвигнутая в XII—XIV веках. Ее называли вьетнамской Пизанской башней: вода постепенно размывала фундамент, башня дала крен. Создалась опасность падения здания и гибели оригинальных мозаичных картин, орнаментов, нанесенных на ее древние стены. Сразу же после прекращения американской агрессии специально созданная группа строителей и реставраторов принялась за восстановление здания. В конце ноября 1974 года работа была завершена. Башня вновь обрела вертикальное положение.

Издревле вьетнамцы производят изящные и красивые изделия из ценных пород дерева. Их покрывают лаком и инкрустируют перламутром. Истоки искусства инкрустации ученые находят в начале XVI века и считают, что родиной первых умельцев и художников, подаривших Вьетнаму долговечные изделия из дерева и перламутра, была деревушка Тюенми, лежащая западнее Ханоя, в предгорном районе провинции Хашонбинь.

В этой деревушке Чан Ван Кан поведал мне легенду о сподвижнике вьетнамского полководца Ли Тхыонг Киета, разбившего в XI веке на реке Ньынгует полчища северных поработителей. После победы он поселился в деревушке Тюенми и посвятил остаток своей жизни искусству резьбы по дереву и инкрустации перламутром. Он создал большое панно, на котором выгравированы строки: «Враги осмеливаются нападать на нашу землю. Сердца северных захватчиков черствы. Их нравы жестоки. Но они будут непременно разбиты». Говорят, что именно это панно и положило начало искусству инкрустации перламутром.

...Пролетели годы. К 70-летию Чан Ван Кана в Ханое экспонировались 138 избранных произведений художника, картины лаком, гравюры, лубки в стиле деревушки Донгхо, чьи традиции возродили и развили Чан Ван Кан и его ученики. Большое внимание уделяет художник книжным иллюстрациям, изданию сборников работ лучших вьетнамских художников.

— Наша живопись подобна орхидеям,— задумчиво говорит мне юбиляр.— Нелегко в джунглях на вершине вековых деревьев найти самые редкие, удивительные виды орхидей. Так нелегко и нам, художникам, отыскать кустарник кэйшон, из сока которого мы изготавливаем лак. А еще труднее передать наше искусство. Сегодня десятки юношей и девушек оканчивают Институт изобразительных искусств в Ханое, постигают мастерство владения кистью и резцом в Хошимине, Дананге, Хюэ, Хайфоне и других городах Вьетнама.

Вьетнамские художники по своему характеру неутомимые путешественники и пытливые исследователи. В различных уголках страны отыскивают они новые растения и стремятся получить новые виды лака, которые бы расширили возможности их письма. Чонг Кием, например, завершил в последние годы такие работы, которые создают впечатление, будто видишь картины, выполненные маслом или по шелку. Работа художника Ким Донга «Рыбаки» по манере исполнения напоминает кисть французского мастера Фернана Леже. В выставочных залах Ханоя можно увидеть бамбуковые или тростниковые вазы, на которые нанесены рисунки лаком. Впервые в 70-х годах такие уникальные вазы стал создавать художник Динь Кханг.

Сейчас в живописи социалистического Вьетнама преобладает тема мирного труда. Ряд интересных работ завершил один из самых молодых художников по лаку, 36-летний Ле Чи Зунг, закончил свой рассказ Чан Ван Кан.

Так в СРВ пополнится сокровищница искусств, которой отдают свои щедрые сердца, «золотые колокола» Вьетнама, деятели искусства.

М. ИЛЬИНСКИЙ
Ханой — Москва

◆

Среди книг

Издано в СССР

КТО ШАГАЕТ ПО ДОРОГЕ

Владимир Минач. Избранное. Рассказы, очерки и эссе. Библиотека литературы ЧССР. Перевод со словацкого. Составление и предисловие Ю. Богданова. Москва, «Художественная литература», 1982.

Сюжет этого рассказа Владимира Минача напоминает знаменитую балладу Гёте «Лесной царь», известную у нас в переводе Жуковского: дорога и путник с больным ребенком на руках. Только не на быстром коне скачет «под хладною мглой» встревоженный отец, а шагает пешком по ночной дороге. И не таинственный владыка лесов со своими дочерьми грезится горячечному детскому сознанию, а вполне реальные люди обгоняют того, кто идет по дороге, обдавая его светом фар,— ведь они едут на машинах. «Может, не заметили меня, сам виноват,— думает в очередной раз отец.— Надо остановиться поближе».

Но нет — «его, конечно, заметили. И шофер, и пассажир. Они переглянулись и тут же поняли друг друга — шофер даже не притормозил. Они понимали друг друга с одного взгляда: старые приятели, кумовья. Кум-пассажир строил себе дом и раздобыл «левое» строительное железо, а кум-шофер вез теперь это «левое» железо под покровом темноты...» Разумеется, нечаянный попутчик в кабине им вовсе ни к чему. «Да и ничего серьезного тут, конечно, не было,— утешает себя кум-шофер,— просто подвыпивший хуторянин опоздал на автобус, ноги его не держат, вот и просится подвезти... Стало быть, все в порядке, а если в душе и застряла маленькая колючка укора, то и она вскоре исчезла — надо было внимательно следить за дорогой, приближался поворот...»

В другой машине оказался начальник сельскохозяйственного отдела района. Тот даже заметил, что путник несет что-то в руках. И не что-то, а именно ребенка, закутанного в одеяло. И не идет человек, а почти бежит. Но у начальника были сложные отношения с шофером, который «не любил начальника за то, что тот таскает его до полного изнеможения». К тому же была суббота, а по субботам шофер играл в карты с приятелями, «а начальник как назло задержал его, и пулька сорвалась». Поэтому на требование — нет, скорее, просьбу — остановиться он ответил грубо: «И не подумаю». А своего водителя начальник хорошо знал и не стал настаивать. Да и у самого начальника лишнего времени не было: «Надо еще заехать в секретариат. Договориться насчет завтрашнего совещания. Подготовить материалы. На минутку домой, взглянуть хотя бы на спящих детей...»

В третьей машине ехала веселая компания: молодой инженер — директор лесного хозяйства с сотрудниками и сотрудницами. Днем они пекли на углях форель, немного выпили, были веселы, в машине шел легкий флирт. Куда же тут возьмешь в переполненную машину человека, хоть и видно, что на руках у него — ребенок и направляется он скорее всего в больницу? Уж не на колени ли к Юльке — пишущей барышне из канцелярии — его посадить? И директор, сам сидевший за рулем, высунулся из окна и показал назад: мол, нет в машине места. Быть может, он утешал себя: ничего, мол, не последняя машина на дороге, почему именно я?..

Машина действительно была не последней. Отчаявшегося, усталого отца подобрал добрый пожилой таксист. Он даже не стал брать с него плату — потом, когда выяснилось самое страшное, ведь финал этой истории вновь возвращает нас к балладе Гёте: «В руках его мертвый младенец лежал...» «На пять бы минут раньше!» — воскликнул молодой врач в городской больнице.

Рассказ «Кто шагает по дороге» — один из лучших в сборнике рассказов, очерков

и эссе Владимира Минача. Его «притчевая» природа очевидна. И в то же время в нем нет ни тени какой-либо назидательной натяжки. Все действующие лица ведут себя естественно — так сказать, сообразно своей человеческой природе. Никто из них не злодей, не преступник — разве что самую чуточку кум со своим «левым» железом, да и то — какое это преступление: ведь не убийство! И начальник сельскохозяйственного района — никакой не бюрократ, а действительно занятой человек, который видит своих детей только спящими. И лесной директор — вовсе не плохой человек. И каждый, наконец, вправе спросить: почему именно я? Но ребенок погиб. Единственная и любимая дочка рабочего лесопилки, родившаяся после пяти лет супружества, когда они с женой уже не очень-то и надеялись. И невольно думаешь о том, от каких случайных, ничтожных, большей частью остающихся неведомыми обстоятельств зависят порой человеческая жизнь и счастье, как тонка подчас граница между добром и злом. И люди, взявшиеся строить мир, основанный на новых началах — коллективизма, товарищества, взаимовыручки,— не могут не задумываться над этим.

Рассказ «Кто шагает по дороге» взят из одноименного сборника Минача, увидевшего свет в 1972 году. Не сразу писателю удалось достичь столь органичного слияния в своем творчестве публицистического и художественного начал. Об этом свидетельствуют более ранние произведения, включенные в книгу. В рассказе «Суд» (из сборника «На переломе», 1954) действие разворачивается именно на заседании суда. Собственно, действия как такового и нет: судят бывшего сельского богатея, а ныне, естественно, врага нового строя, некоего пана Мишинку, и крестьяне наперебой припоминают ему его злодеяния и высказывают все, что о нем думают. В рассказе «Обиженный» (сборник «Медвежий угол») черная и белая краски распределены уже не столь однозначно: герой рассказа — сельский учитель — человек, беспредельно преданный новой жизни, но с некоторых пор у него с этой жизнью разлад. Он был еще недавно на руководящей работе, делал ее с энтузиазмом, исходя из того, что «все должно быть направлено к победе, а все, что становится поперек дороги, сдерживает движение вперед, то враждебно и подлежит уничтожению. Какая уж тут жалость! Зачем нужна терпимость?» Но времена изменились, потребовались иные методы, и вот он не у дел, всего лишь учитель, да еще в медвежьем углу, в захолустье, и мучительно пытается разобраться в том, что происходит в мире и в нем самом. Однако «подано» все это в рассказе достаточно прямолинейно. Сначала — экспозиция: дорога, дождь, сломавшийся мотоцикл, случайная встреча мотоциклиста (он и есть учитель) с рассказчиком, а далее — их долгий диалог, за «драматургией» которого следить довольно трудно. Не думаю, однако, что эти и подобные рассказы включены в книгу напрасно: они безусловно обогащают наше представление о том, какими путями шла жизнь в послевоенной Чехословакии, с какими сложностями и противоречиями сталкивалось строительство социализма в этой стране. И творческую судьбу самого Владимира Минача (он родился в 1922 году, русскому читателю известны его романы «Смерть ходит по горам», «Вчера и завтра», трилогия «Поколение» и другие произведения) без этих рассказов представить трудно. Не было бы учителя Ондрея из рассказа «Обиженный» с его сомнениями и метаниями — не было бы, может быть, и председателя Палё Томко из рассказа «Случай» (сборник «Кто шагает по дороге»), терзаемого теми же, в сущности, проблемами. Только раскрываются они на этот раз не в монологах (хотя и внутренние монологи председателя занимают в рассказе немалое место), а в поступках, в столкновениях характеров. Ох и неоднозначен он, этот председатель Томко! И мы, читатели, на протяжении рассказа не раз меняем «гнев на милость» в отношении его, хотя отчетливо сознаем, что перед нами все время он — Томко, характер цельный и постоянный. Вот мы слушаем его раздумья: «Как не дать рукам воли, когда они действуют сами по себе. Кулак поднимается без всякого твоего участия. И здесь я начал наводить порядок кулаками. По крайней мере, начали меня бояться... Я сознательный, но проглотить себя я не дам. Я заставлю их стать лучше, ткну их мордой в будущее, как волов, не желающих пить... Я поведу их к расцвету, даже если мне придется гнать их, как стадо свиней к корыту...» И что-то знакомое, отнюдь не вызывающее нашего одобрения, слышится в этих словах. Но дальше у председателя вырывается почти беспомощное: «Я не могу ждать тысячу лет, пока они разучатся воровать». И мы уже вместе с ним думаем: как же быть, как жить? И верим, что делу-то он предан, душу за него положит, и если ненадежен сторож — сам будет, притаившись, караулить общественную кукурузу. На том и «погорел», как говорится: кинул палкой в вора, тот свалился с велосипеда, получил травмы — не бог весть какие, но достаточные для того, чтобы возбудить персональное дело «об избиении». Потому что времена переменились, и те же районные начальники, которые прощали ему, может быть, более серьезные прегрешения, требуя выполнения плана во что бы то ни стало, будут говорить: «Вот так, старик, ты влип» и «такая директива, старик». И даже не захотят взглянуть на привезенный им в качестве вещественного доказательства воровства мешок кукурузы. И тут уж мы будем заодно с председателем, потому что со всеми своими грехами он как-никак живая душа, болеющая не только о себе, и недаром автор предисловия и составитель книги Ю. Богданов сравнивает его с Макаром Нагульновым. Нет, не пропадет он, Палё Томко, когда его отстранят от дел,— слава богу, специальность есть у него, еще недавно крутил баранку автобуса. И не так уж далеко отчий дом, где выслушают и поймут. «Ты рабочий, и точка,— скажет отец.— В другом деле только осрамишься». Но мы не можем, вместе с Палё Томко, не думать о том, кто придет ему на смену.

Многие писатели начинают с журналистики, публицистики и лишь затем отдаются художественному творчеству. В жизни

Владимира Минача произошло нечто обратное. С некоторого времени он постепенно отходит от собственно художественных форм и целиком посвящает себя публицистике. «Эпическая фикция... сегодня для меня... лишь избыточный зигзаг»,—писал он, объясняя, почему для него становится предпочтительней прямой разговор с читателем, не заключенный в какую-либо историю или притчу. Из числа статей Владимира Минача, включенных в этот сборник, хотелось бы обратить внимание на эссе, которое называется «Инфляция слова». «Очень верное правило о том, что слово серебро, а молчание золото, уже давно не в ходу у наших художников»,— приводит в самом начале Минач слова Достоевского. Однако не против многословия отдельных писателей направлено острие его мысли. Минач анализирует явление вполне объективное, глобальное: «Тысячи радиостанций каждый час извергают в пространство миллиарды слов; ротаторы с головокружительной быстротой печатают миллионы экземпляров газет, в которых примерно столько же слов, сколько в повестях Тургенева. Сколько слов в день приходится на одного жителя нашей планеты? О горе нам, это астрономическая цифра!» Процесс этот идет во всем мире, и он имеет целый ряд последствий: «процесс девальвации слова происходит угрожающе и трагически быстро», «даже самый консервативный язык, язык деревни» теряет свою самобытность, «инфляция слова коварна и опасна для строительства социализма, потому что она опасна для мышления». Что же делать? «Литература может многое,— заключает Минач,— но далеко не все. Она может быть примером, может возвратить слову его смысл, вкус, цвет и музыку; она может вырвать слово из этого множества, может придать ему новое звучание, звучание новой эпохи. Все это возможно лишь при одном условии: что она будет экономить слова и не экономить мысли». Трудно, правда, согласиться с последующим категорическим утверждением: «Для современной литературы описание—такой же анахронизм, каким кажется нашей современной технике паровой котел Джеймса Уатта». Подобные параллели между искусством и техникой проводились не раз и всякий раз опровергались временем. Но безусловной поддержки заслуживает итоговая формула Минача: «Слово должно нести в себе все, что оно только способно нести»,— правило, которому он и сам стремится следовать в лучших своих произведениях.

ИЛЬЯ ФОНЯКОВ

ЧТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК?

Эмил Манов. Избранное. Перевод с болгарского. Москва, «Художественная литература», 1982.

Действие рассказа, открывающего книгу, происходит в Болгарии начала сороковых. Холодным февральским утром безымянный герой бродит по местам своего детства, подолгу стоит у моря, идет дальше. Перед его взором, сменяя друг друга, проходят пейзажи ранней весны. Медленно тянется день. Юноша вглядывается в совершенные очертания морских волн, в скалы и сады побережья, и руки его тоскуют по кистям и краскам.

Фабула проста: явки провалены, с наступлением темноты надо пробраться к тем из друзей, кто еще на свободе. Сказано об этом вскользь, это как условие задачи или пояснение к выставке холстов.

Написанные легкой рукой автора, пейзажи проплывают перед читателем дымкой мимолетных впечатлений. Юноша смотрит на мир глазами художника, он старается запомнить причудливые сочетания цветов, разглядывает живописную одежду албанца-шербетчика, любуется светлыми облаками зацветающих деревьев. Но идиллические картинки будто затаили угрозу, сам воздух наполнен тревожным ощущением беды. И тут на память приходит небольшое, но емкое стихотворение молодого Гейне, в котором поэт любуется ландшафтом, неторопливо обозревает окрестности. Разглядывая буколические подробности и мирных пейзан, он видит караульную будку и солдата в красном мундире, и вдруг: «Своим ружьем он играет, Горит на солнце ружье. Вот вскинул, вот взял на мушку,— Стреляй же в сердце мое!»[1] Вся панорама мирного пейзажа суживается до маленького кружочка дула, и это дуло нацелено в грудь поэта. Выстрел грянул в рассказе Эмила Манова «Веточка миндаля». И даже не один выстрел, а два.

Между стихотворением и рассказом есть нечто общее, есть Художник и мир. Мир прекрасен, но истинный художник видит не только прекрасное (это значило бы видеть половину), а и то, что прекрасному угрожает, и заслоняет мир своим сердцем, когда приходят тяжелые времена.

«Спасет ли красота мир?» — размышляет герой рассказа. Проходя мимо обывателей, беспечно предающихся своим привычным занятиям в столь тревожное время, он думает о том, что «судьбы мира их не интересуют, поскольку это не касается их шкуры». И погибает он из-за тупого упрямства обывателя, у которого с дерева сорвали веточку цветущего миндаля. Пушистое облачко соцветий на ладони и грубый окрик: «Эй, парень, зачем ты ломаешь деревья?» Следует нелепая сцена, свидетели которой, соседи и семья садовода, не хотят в нее ввязываться, и дело кончается арестом героя. Вот его ведут. «День померк. Из глубины улочки равнодушно поблескивает синий мертвый глаз моря. Полицейские сапоги отвратительно скрипят». Весь цветущий мир суживается до размера дула. Море, живое и так любимое художником, мертвеет. Но перед тем как побежать, юноша находит в себе силы воспрянуть духом. «Как он мог подумать, что у моря есть что-то общее со смертью? Море — это вечность...»

Спасет ли красота мир? Рассказ напоминает нам, что сама красота еще нуждается в спасении миром. Нет безмятежности даже в самых красивых пейзажах. И не случайно в финале рассказа выроненные юношей цветы миндаля подбирают влюбленные. Девушка говорит: «Знаешь, говорят, что миндальный цвет приносит счастье...»

[1] Перевод В. Левика.

В этом рассказе нет ни сходок, ни диверсий, ни застенков, ни пыток, но все это, находясь как бы за кадром, создает напряженную и тревожную атмосферу.

Рассказы «Ануша» и «Ваня и статуэтка» более камерны, хотя происходящее в них достаточно драматично. Автор показывает людей подполья такими, каковы они есть, со всеми их человеческими слабостями и заблуждениями. Особенно интересен образ девушки-подпольщицы, которая выросла в такой бедности, прошла через такие унижения нищеты, что когда в первые дни революции попала на виллу богатея торговца, то буквально окаменела при виде всей этой роскоши. И потом, получив ордер на одну из комнат виллы, она забила ее кушетками, безделушками, тряпками и прочим так, что там негде стало повернуться. Страшна эта первая реакция голодного человека, увидевшего стол, уставленный яствами.

О подполье Манов пишет, не сгущая красок, даже как бы приглушая, затушевывая мрачные подробности. Словно ему неловко рассказывать о геройстве, к которому он сам был причастен. Болгарский писатель не оставался в стороне от схватки с фашизмом — в 1941 году его приговорили к пожизненному заключению как активного организатора боевых групп в Софии.

Затем от психологически тонко разработанной повести «Неправдоподобная история», рассказывающей о личной драме архитектора Светозара Стойкова, читатель неожиданно перейдет к роману о судьбе человечества, к «Уибробии».

Поля фантасмагорических видений, на которых созидал свой мир, оттачивал беспощадное лезвие гениальный Свифт, посетил герой Манова, пытающийся, подобно своему предшественнику, методически фиксировать путевые впечатления. Но, в отличие от Гулливера, он был не англичанином-хирургом, а зоологом из Болгарии, который побывал в придуманной Свифтом стране в начале 70-х годов XX века. Мы узнаем эту местность, но как же она изменилась за два с половиной столетия! Автор безжалостно выявляет эти изменения. Но Манов не ограничивается трансформацией свифтовского мира, его герой демонстрирует Гулливеру весь наш земной шар в лохмотьях войн и раздоров.

Из всех свифтовских государств Манов выбрал то, к которому Свифт, несмотря на всю свою беспристрастность, отнесся с симпатией, но помимо гуигнгмов (расы разумных лошадей) заселил ее стадами отвратительных йеху, и эти животные—может быть, самая убийственная пародия на человечество в мировой литературе. Болгарский зоолог уже не застал там гуигнгмов разумных (у Манова — уининимов). Государство населено уибробцами, выдающими себя за потомков уининимов, а в действительности произошедших от уининимов и йеху. От первых у них только хвосты, гривы, да копыта, во всем остальном они плоть от плоти йеху, но это скрывается самым тщательным образом под маской высокой цивилизации.

Горестная ирония Манова, смягченная юмором и насмешливым отношением к персоне героя, отличается от презрительной иронии Свифта, но и она не менее язвительна. Автор показывает нам государство, управляемое триумвиратом идиотов, у которых из нагрудных карманов на манер платочков торчат лилипуты-советчики. В этом государстве нельзя задавать вопросы. Философ Шпик, приятель и «экскурсовод» зоолога, объясняет: «Наша главная философская задача... заключается в том, чтобы предотвращать излишние вопросы и таким образом содействовать интеллектуальному подъему нации. ...Наша философия весьма гибка и благодаря этому несокрушима». Философия в Уибробии зависит от состояния посевов. В урожайный год проповедуется материализм, а в недород — идеализм, стоицизм и прочее,— выбор большой, на все случаи можно что-нибудь подобрать.

В библиотеке Уибробии выведенные золотом надписи объясняют разницу между книгой и туалетной бумагой и советуют: «Не плюйте в книги, кроме как в книги классиков» ...Там есть книги, которые «полезны, даже если их не читать», они написаны на языке блефуску, совершенно никому не известном, и размером они с половину ногтя. Зато в ходу сборники цитат и детективы. К истории в Уибробии относятся как к мифу, и это позволяет трактовать историю сообразно вкусу правителей и требованиям дня. Законодательство тоже упрощено: судят не убийц, а тех, кто был ими убит. Краж давно нет, ибо закон о кражах украден. Клевета — в почете. Невинный всегда более виновен, чем виновный. Правосудие наоборот. И очень своеобразно насаждается свобода мнений: мнение имей, но не высказывай, ибо твое мнение «может повлиять на суждения других. И что тогда останется от свободы мнений?» Научно-технические достижения уибробцев фантастичны, они давно превзошли созданное человеком, но зачем они нужны, если прогресс прекрасно уживается со средневековым мракобесием? Загрязнение окружающей среды специально организовано и гордо демонстрируется в качестве показателя высокой стадии развития общества, а также практикуются казни всех эпох.

Что есть человек? Вот вопрос, который пытается решить герой романа. Свифт в своем «Путешествии Гулливера» был жестоко однозначен: человек — это йеху! Эмил Манов предусматривает несколько ответов. За каким будущее — зависит от Человека.

Эмил Манов мастерски владеет разными литературными формами, диапазон его возможностей широк — от тонкой лирики до социально-политического гротеска, в котором он особенно виртуозен. Перевод книги выполнен на высоком профессиональном уровне. Особенно хочется отметить работы К. Бучинской, Э. Урицкой и Т. Карповой.

АЛЕКСАНДРА СПАЛЬ

ПИСАТЕЛЬ ИЗ НАРОДА

Чинуа Ачебе. Стрела бога. Человек из народа. Перевод с английского. Предисловие В. Иорданского. Москва, «Радуга», 1983.

Романы, составившие эту книгу, написаны Чинуа Ачебе в первой половине 60-х годов. То было трудное для Нигерии время полити-

ческой нестабильности: страна, недавно освободившаяся от колониального господства англичан, делала первые шаги по пути независимого развития. Литературные критики, давшие высокую оценку «Стреле бога» и «Человеку из народа»[1], отзывались о Чинуа Ачебе как о «неизменно компетентном» авторе, имея в виду чуткость прозаика к актуальным проблемам современности и умение раскрыть эти проблемы на высоком художественном уровне. Компетентность эту следует объяснять не только талантом писателя, его горячим сердцем, в котором нашли отклик тревоги и заботы родной страны, способностью принимать на себя напряжение времени, делая художественную интерпретацию действительности фактором социального воздействия, но и общим состоянием национальной словесности, переживавшей период подъема. В то десятилетие вся нигерийская литература была озабочена сложной задачей национального культурного возрождения. Во многих произведениях нигерийцев мысль о богатстве и самобытности африканских цивилизаций противопоставляется колониалистскому мифу о «варварстве» африканцев.

В «Стреле бога» основу сюжетной проблематики составляет узел вопросов, относящихся к столкновению двух антагонистических культур, одна из которых — европейская — в силу своей превосходящей технической мощи стремится подавить другую. Пафос романа — в критическом осмыслении перемен, которые претерпело традиционное общество восточнонигерийского народа игбо в результате такой конфронтации.

Действие книги происходит в начале нашего века, когда английские колонизаторы закрепились в районах к востоку от реки Нигер. Мы встречаемся с обитателями лесных деревень: верховным жрецом клана Умуаро стариком Эзеулу, его родственниками, соседями. Привычный уклад жизни этих людей рушится. В некогда свободном краю теперь всем заправляет окружной комиссар Уинтерботтом. Он призван осуществлять на практике колониальную политику Великобритании.

Контрастное сопоставление опыта, мировоззренческих принципов, привычек, особенностей национального склада пришельцев из Европы и коренного населения оказывается чрезвычайно плодотворным, позволяет лучше понять тех и других и, главное, выяснить сущность отношений между ними. Это отношения поработителей и угнетенных. Создавая антиколониальный по своей направленности роман, Ачебе тем не менее не стесняется представить в невыгодном свете своих соотечественников. Чтобы заклеймить расизм и колониализм, писатель прибегает к более тонким средствам, нежели создание гротескных и отталкивающих образов колонизаторов.

Уинтерботтом и его подчиненные изображены реалистически, даже нарочито обыденно. Это исполнительные чиновники, невежественные во всем, что касается Африки, и оттого высокомерно предвзятые по отношению к народу, которым призваны управлять. Каждый из них в отдельности отнюдь не злодей, даже по-своему добродетелен, но они — винтики аппарата колониального угнетения. Само их присутствие в этой части света противоестественно, они разрушают то истинное, чем живут африканцы. Ачебе удается показать колонизаторов зримо, в лицах, в конкретных поступках. Благодаря этому у читателя создается верное впечатление о сущности колониальной политики англичан и о людях, на которых была возложена «цивилизаторская» миссия.

Основную смысловую нагрузку в «Стреле бога» несет образ африканца, верховного жреца бога Улу, одного из старейшин Умуаро Эзеулу. В руках этого человека сосредоточена большая власть: от него зависит, когда умуарцам следует приступить к полезным работам, когда начать сбор урожая. Даже в голодное время никто не решится выкопать из земли спелый клубень ямса без его благословления. Хотя престиж Эзеулу высок, в последние годы между ним и его народом возникла стена отчуждения. Соперники пытаются ограничить власть Эзеулу. Старик задумывает наказать клан, злоупотребив положением верховного жреца Улу. Он решается на страшный по своим последствиям поступок: отложить на длительный срок праздник Тыквенных листьев. По обычаю Умуаро только после этого праздника можно приступить к сбору нового урожая. Таким образом Эзеулу обрекает клан на голод. Этот шаг привел к тому, что над Умуаро сгустилась атмосфера небывалой вражды и ожесточения. Ослабленный внутренними раздорами, клан оказывается беззащитным перед лицом колонизаторов.

Действие книги происходит в сравнительно далеком прошлом, однако идеи романа не теряют актуальности для сегодняшней Африки, противостоящей неоколониалистским устремлениям бывших метрополий. Показав эволюцию образа главного героя от преданного слуги народа до фактического пособника его врагов, Ачебе предостерегает от опасности, которой не сумели избежать многие народы, добившиеся политической независимости. Это опасность внутреннего разлада, междуусобной борьбы за власть в ущерб общенациональным интересам. Отсутствие единства, разобщенность людей в решающий момент борьбы — вот что, по мысли писателя, в прошлом облегчило колонизаторам закабаление Африки и сегодня тормозит прогресс молодых независимых государств континента. Поднимая проблему единства, Ачебе разрешает ее с подлинно народных позиций. Бесславен конец предателя Эзеулу. Отвергнутый соплеменниками, он лишается рассудка. «Человек не может стать выше своего народа» — таков лейтмотив книги.

В романе «Человек из народа» Ачебе размышляет о губительных последствиях, которые влечет за собой злоупотребление властью, подчинение общественного блага личной корысти. Коррупция — еще не побежденное зло в Африке. Хотя действие книги перенесено в страну, название кото-

[1] Роман «Человек из народа» опубликован в «ИЛ», 1967, № 3, 4.

рой не найти на карте, автор менее всего стремится создать у читателя какие-либо иллюзии — приметы Нигерии легко обнаружить на каждой странице. Бори, где вершит темные дела одержимый амбицией и жаждой наживы «выходец из народа» Нанга,— не только родина писателя, но Африка в целом. Проблемы Нигерии для нее типичны. Где-то они стоят не столь остро, где-то, напротив, приводят к потрясениям поистине апокалипсическим, но везде они — порождение неоколониальной эпохи.

Беспринципные политиканы, некогда вышедшие из низов, опошляют саму идею народного представительства. Дав произведению многозначительное название «Человек из народа», Ачебе привлек внимание общества к проблеме, злободневной во многих африканских странах и поныне. Не так уж редко коррупция властей предержащих прикрывается ссылками на народность. Роман Ачебе помогает бороться с этим злом.

«Человек из народа»— блестящий образец политического памфлета. В нигерийской литературе Ачебе первым обратился к этому жанру. Он изображает страну, над которой проносится вихрь политического противоборства. Сталкиваются интересы партий, сшибаются амбиции личностей, все распадается, крошится на глазах. В пылу борьбы люди теряют ощущение реальности, попирается законность, преступаются нормы морали. Ситуация почти неуправляема. Что будет? Кто положит конец хаосу? Перипетии литературного произведения совпадают с событиями, имевшими место в реальности. Молодой учитель Одили Самалу (от его лица ведется повествование) включился в кампанию по выдвижению кандидатов в парламент на стороне партии, противостоящей возглавляемой Нангой политической группировке. Избитый наемниками Нанги и едва не умерший в больнице, он, поправившись, с облегчением узнает, что власть захватили военные и все правительство, в том числе Нанга, оказалось в тюрьме. В январе 1966 года в Нигерии произошел военный переворот. Читатели романа, получившие книгу за несколько дней до этого события, вряд ли были удивлены предсказанием писателя. Все шло к тому. Однако точность художнического предвидения изумляет. В «Человеке из народа» Ачебе даже указал на возможность контрпереворота, который действительно последовал через несколько месяцев.

Одили Самалу как бы торопится занести на бумагу впечатления от происходящего вокруг. В его повествовании почти нет пространных комментариев, длинных описаний, отвлечений от основной линии сюжета. Только главное — о себе, о Нанге, о стране. Да еще много сарказма, чтобы не только обличить коррупцию и цинизм политиканов, но и поддержать себя, найти опору в горькой усмешке — иначе не хватит сил вынести всю эту жестокую мерзость.

Страницы «Человека из народа», живописующие представителей господствующей элиты, прежде всего Нангу, — самые смешные и самые страшные в романе. Сарказм писателя беспощаден. Ачебе словно приглашает заглянуть в страну абсурда, где поступки людей нелепы и потому производят комическое впечатление, поначалу вызывая улыбку читателя. Однако у Ачебе абсурдность — мастерская карикатура на действительность. Реальные прототипы узнаются без труда. И узнавание порождает грусть.

Концовка «Человека из народа», как тихая заводь после порожистой стремнины, дышит умиротворением. Оправившийся от ран Одили вознагражден любовью желанной Эдны, Нанга отбывает срок заключения, политические партии распущены, улицы городов патрулируют солдаты, обеспечивая порядок. Но причины кризиса, как дает понять автор, не устранены. Все затаилось в ожидании чего-то непредсказуемого, должен начаться новый круг беспощадной борьбы, еще один цикл насилия. Жизнь подтвердила предчувствия писателя. Спустя полтора года после выхода в свет книги в Нигерии вспыхнула кровопролитная гражданская война.

Факт полного совпадения литературного вымысла с реальными событиями дал повод некоторым критикам говорить об Ачебе как о «мрачном пророке». Подобное мнение неверно. В своем творчестве Чинуа Ачебе не занимается пророчествами. Он тонкий наблюдатель, мыслитель, глубоко проникающий в суть объективных процессов, человек с обостренным чувством гражданской ответственности. Эти качества и делают его одним из самых проницательных писателей своей страны.

М. ВОЛЬПЕ

Издано за рубежом

ПИСЬМА БРЕХТА

Bertolt Brecht. Briefe 1913—1956. Band I: Texte. Band 2: Anmerkungen. Herausgegeben und kommentiert von Günter Glaeser. Berlin und Weimar. Aufbau-Verlag, 1983.

Бертольт Брехт. Письма 1913 — 1956. В 2-х томах. 1983.

Недавно мне попалось в одной журнальной статье советского автора такое суждение: «Главный документ писателя — это его тексты», то есть законченные и опубликованные им произведения, и при изучении его творчества можно, мол, обойтись и без биографических данных, без черновиков, писем, интервью. Обойтись можно, но нужно ли? Биографические, архивные материалы обогащают наше представление о писателе, вносят в его образ новые измерения.

Именно так обстоит дело с письмами Бертольта Брехта, которые опубликованы в ГДР. Двухтомное издание (в первом томе — около 900 писем, во втором — необходимые пояснения к ним) тщательно, с

глубоким знанием и любовью подготовил Гюнтер Глезер, научный сотрудник Архива Брехта при Академии искусств ГДР. В кратком введении он сообщает, что это издание надо считать «предварительным», оно не претендует на исчерпывающую полноту, но включает «все ставшие до сих пор известными и доступными письма Брехта, которые содержат достоверную информацию о его эпохе и биографическом окружении, о складе его личности, а также об истории создания его произведений, об их восприятии и воздействии».

Письма большого писателя всегда говорят многое о самом характере его творчества. Литература XX века знает выдающиеся образцы эпистолярного искусства, тесно соприкасающиеся с художественной публицистикой. Томас Манн, Ромен Роллан иной раз прямо предназначали свои письма для печати, обращались в них не только к конкретному адресату, но и к широкому кругу современников со словами убеждения, разъяснения, призыва. Другое дело — Брехт. Его письма вырастали из практики текущей литературной и театральной работы, они чаще всего обращены к близким людям, к друзьям-соратникам, в них идет речь о делах будничных, об условиях его жизни (как правило, нелегких), о постановках его пьес, которые не всегда удавалось осуществить. И попутно — о самих пьесах. Некоторые письма — ценнейший автокомментарий.

Стоит привести для примера письмо к режиссеру Златану Дудову (апрель 1938) по поводу готовившейся в Париже постановки нескольких маленьких пьес из цикла «Страх и отчаяние в третьей империи». Эти сценические миниатюры, взятые вместе, давали трагический, можно сказать зловещий, образ страны, скованной гитлеровским террором. Но Брехт настаивал на том, что постановка не должна вызывать у зрителей чувство подавленности: «Здесь все же, думается мне, становится видна в каждом отдельном звене вся непрочность третьей империи, которая держится только на насилии. Это народ, который режим хочет втянуть в одну из самых больших и тяжелых войн всех времен. Сопротивление, и притом нарастающее, отчетливо заметно — в разных слоях и разных формах. Крестьянин, как бы то ни было, кормит свою свинью (пугливо озираясь); физик использует работы Эйнштейна (громко ругая евреев-физиков); рабочий бросает противогаз в угол; солдаты дают мальчишке, который не говорит «Хайль Гитлер!», двойную порцию еды; пациент («Профессиональное заболевание») напоминает хирургу о требованиях науки; избиваемый поет «Интернационал»; судья не может найти требуемого от него решения; женщину, получившую «зимнюю помощь», тошнит, и она выплевывает яблоко; старый боец демонстративно вешается; сестра того, кто погиб и Испании, не дает зажать себе рот; и партия (в финале) не прекращает борьбы... Я избавил зрителей от бесконечно гнетущего вида тех, кто по-прежнему восторгается, и тех, еще более многочисленных, кто все еще нейтрализован».

Тут сказывается высокая трезвость художника, который накануне второй мировой войны отдавал себе отчет, как много его соотечественников «восторгается» гитлеровскими варварами, но целеустремленно выводил на первый план действия те робкие, полускрытые проявления недовольства фашизмом, которые могли вспыхивать то там, то здесь в потемках гитлеровского рейха. Позже в свете событий второй мировой войны для самого Брехта стал особенно очевиден и другой аспект его цикла пьес: предостережение народам мира о грозящей фашистской опасности. Летом 1941 г. Брехт, находившийся в США, писал Эрвину Пискатору о том, сколь поучительна была бы постановка этих пьес для заокеанской публики. «Спектакль мог бы оказаться неимоверно актуальным, он показал бы ту социальную среду, из которой выходят гитлеровские солдаты,— это своего рода огромный смотр войск, который помимо того еще показывает, что ожидает здешних людей, если они и тут получат такого рода диктатуру».

Доминанта, лейтмотив писем Брехта разных периодов — тесная связь искусства с общественной жизнью, с политической борьбой. Глубокий, органический демократизм драматурга-новатора сказывается даже в одном из самых ранних его писем. Шестнадцатилетний Брехт с юношеской запальчивостью утверждал: «Не нужны нам сюжеты, отличающиеся внешней красотой. Не нужны нам в качестве героев ни короли, ни поэты, ни философы... И судьба прачки может быть трагической, то есть прекрасной... Душа народа все еще не исследована». Много лет спустя, в 1946 г., Брехт выражал пожелание, чтобы в предисловии к собранию его пьес было отмечено самое главное: «Пьесы написаны в эпоху войн и революций»... И тут же уточнял свою мысль: «В периоды распада сложившихся социальных устоев литература вовсе не обязательно сама поддается распаду; часть ее, напротив, принадлежит к тем факторам, которые ускоряют распад». Он был убежден, что революционная, переходная эпоха, изобилующая острыми конфликтами, особо благоприятна для художественного творчества. В марте 1942 года — когда события второй мировой войны проходили через драматическую фазу и самому Брехту жилось крайне тяжко — он писал верному другу, датской романистке Карин Михаэлис, оказавшейся, как и он сам, в изгнании: «Время, в которое мы живем,— отличное время для борцов. В какую другую эпоху имелись большие шансы для торжества разума? Никогда еще не было так бесспорно, как теперь, что бороться стоит».

Задачи, условия, практика борьбы писателей против фашизма занимают большое место в письмах Брехта. Он множество раз подтверждал свою готовность противостоять фашизму — не только словами, но и делами, и прежде всего творчеством. Однако он оставлял за собой право решать, в какой именно форме, какими именно способами может и должен он участвовать в общем деле. Он писал об этом Сергею Третьякову в конце 1933 года: «Вы спрашиваете, почему я не выступаю в антифашистских акциях. Ответ очень прост. Для блистательных воззваний, протестов и т. п. время прошло. То, что сейчас нужно,— это терпеливая, упорная работа, просветительская, а также исследовательская». Эти слова, как

и многие утверждения Брехта, не надо понимать буквально. Его стихи и песни, обращенные к самым широким массам, много раз, в различных условиях приобретали мобилизующую силу воззваний. Но для склада его личности было и осталось характерно стремление докопаться, дойти до корня, глубже постичь логику социального развития и запечатлеть результаты своих размышлений в стихотворениях и пьесах. В письмах разных лет отражены его раздумья о природе фашизма, о причинах его временного торжества в Германии. В первые годы изгнания Брехта занимали проекты — организовать международный центр (или архив) для изучения проблем борьбы с фашизмом или создать коллективными усилиями антифашистскую энциклопедию. В условиях эмиграции эти проекты оказались практически неосуществимыми.

После того как США вступили в войну с Германией, Брехт написал письмо поэту Archibald Maclish на английском языке — краткое, энергичное, привлекающее своей искренней взволнованностью: «Теперь, когда эта страна тоже воюет, я одержим желанием внести свой, хоть небольшой, вклад в битву с нацистами, этим бичом человечества». Брехту хотелось, в частности, вещать по радио на Германию, но ему не было дано такой возможности. Брехт приложил немалые усилия к тому, чтобы организовать в США комитет эмигрантов-антифашистов, наподобие комитета «Свободная Германия», который был создан на территории СССР. Но и эти его усилия натолкнулись на разнообразные препятствия. Власти США вовсе не были расположены к тому, чтобы поощрять антифашистскую деятельность — даже в разгар войны с гитлеровской Германией.

После войны Брехту не сразу удалось вернуться на родину. В его бумагах сохранился проект письма к некоему американскому генералу, составленный в 1948 году; там прямо сказано: «...опасаюсь, что американские оккупационные власти не дают мне возможности вступить на германскую землю именно из-за моих социальных воззрений... Как я слышал, Ваши чиновники не поддерживают, а задерживают многих немецких противников Гитлера, желающих бороться против нацистской эпидемии».

Впечатления послевоенной жизни США отнюдь не настраивали Брехта на радужный лад. Он отдавал себе отчет, что задачи борьбы с фашизмом, и шире того — с империалистической реакцией, милитаризмом, не решены в широком международном масштабе и после краха третьего рейха. В августе 1946 года он писал американскому театроведу, переводчику его пьес, Эрику Бентли: «Очень трудно сейчас писать для театра или о нем из-за того, что в воздухе носится смесь трупного запаха с запахом просперити; то новое, что буржуазия произвела на свет, именуется фашизмом, а он и побежден и, по новейшим сведениям, не побежден, а выступает в обличье «неофашизма».

После того как Брехт возвратился на родину и обосновался в демократическом Берлине, начался новый период его жизни, исключительно яркий и плодотворный. Занятый по горло работой драматурга и режиссера, он находил время для разнообразных общественных дел. Его письма этого периода адресованы не только литераторам, актерам, постановщикам его пьес, но и виднейшим политическим деятелям ГДР, а также и новым зрителям, педагогам, школьникам. Брехт участвовал в составлении учебных программ по литературе, был одним из деятельных членов вновь созданной Академии искусств ГДР. И конечно же, энергично отстаивал дело мира не только в статьях и стихах, но и в личных письмах. Характерны строки из его письма к литератору христиански-пацифистского склада Р. Зибербергу: «Мы — люди разных воззрений, единые в том, что нельзя разрешать споры посредством оружия,— должны постараться выяснить, что мы можем сделать совместно для мира. Мир не требует, чтобы я стал христианином, а Вы — рационалистом: война столь же противна разуму, сколь и христианской вере. Ведь Германия может прийти в такое состояние, что будет уже совершенно все равно, каких взглядов придерживаются немцы».

Твердость, принципиальность идейной позиции Брехта отчетливо сказывается в его письмах на острые политические темы. Он не раз критиковал отдельные явления культурной жизни ГДР, резко высказывался против догматизма и администрирования в вопросах искусства. Однако 17 июня 1953 года — в день, когда силы, враждебные социализму (в значительной своей части засланные с Запада), попытались спровоцировать беспорядки в городах ГДР,— Брехт отправил Вальтеру Ульбрихту письмо такого содержания:

«Уважаемый товарищ Ульбрихт,
история с уважением относится к революционному нетерпению Социалистической единой партии Германии.

Большой разговор с массами о темпе социалистического строительства поможет обозреть и лучше обеспечить завоевания социализма.

Я чувствую потребность выразить Вам в этот момент мою приверженность к Социалистической единой партии Германии».

Две недели спустя Брехт, желая рассеять слухи, враждебные ГДР, распространившиеся на Западе, послал Петеру Зуркампу, издателю его произведений в ФРГ, подробное, содержательное письмо, где он дал анализ событий 17 июня и откровенно писал, что в течение нескольких часов — пока не вмешались советские войска — Берлин стоял на краю третьей мировой войны. Брехт говорит в заключение письма, что он, будучи беспартийным, разделяет позиции СЕПГ в решающем и главном: «...Я уважаю ее исторические достижения, и я чувствовал себя привязанным к ней, когда она подверглась нападению со стороны фашистской и милитаристской сволочи — не из-за своих ошибок, а из-за своих заслуг. В борьбе против войны и фашизма я стоял и стою на ее стороне».

Ясность политических воззрений Брехта отразилась и в письме, которое он отправил в феврале 1955 года француженке, автору монографии о нем, Женевьеве Серро. Он оспорил утверждение Серро, будто советско-германский пакт о ненападении, заключенный в 1939 году, «закрыл ему до-

ступ» в СССР: «Это абсолютное недоразумение. В то время некоторые литераторы-эмигранты осуждали этот пакт, который дал Советскому Союзу возможность еще в течение нескольких лет оставаться в стороне от войны, которая началась как война чисто империалистическая. Я не был в числе этих литераторов; я находил, что пакт — верный политический шаг. Во время действия этого пакта стало труднее публиковать в Советском Союзе разве только стихотворения и пьесы, прямо призывавшие к войне с Гитлером... Что до моих отношений с Советским Союзом, то они оставались и в это время нормальными и дружественными, и я в дни действия пакта проехал через весь Советский Союз, при заботливой помощи со стороны Союза советских писателей».

Тема дружбы со страной Ленина и Горького проходит через письма Брехта разных лет и особенно живо и часто звучит в письмах последнего периода. Он с радостью и благодарностью принял в Москве международную премию «За сохранение мира между народами». Он переписывался с советскими театральными деятелями относительно возможных постановок его пьес в СССР, сообщал Ф. Раневской, что хотел бы увидеть ее в роли мамаши Кураж, пытался заинтересовать В. Топоркова ролью Галилея. Его порадовало известие, что журнал «Иностранная литература» готовит к печати его пьесу «Добрый человек из Сезуана». Одно из последних его писем (от 9 августа 1956 г.) обращено к издательству «Искусство»: он хотел, но по состоянию здоровья уже не смог написать предисловие к сборнику своих пьес на русском языке...

Нетрудно убедиться, что письма Брехта представляют не только научный, но и общественный интерес. К ним не раз будут обращаться исследователи. Задача настоящих заметок — дать нашим читателям хотя бы первоначальное представление о богатстве и значительности их содержания.

Т. МОТЫЛЕВА

КРИТИКА ЦИНИЗМА

Peter Sloterdijk. Kritik der zynischen Vernunft. Bd. 1—2, Frankfurt/Main, Suhrkamp. 1983.

Петер Слотердайк. Критика цинического разума. 1983.

Петер Слотердайк — новое имя, представитель молодого поколения от лица которого он обвиняет в цинизме тех, кто толкает сегодня человечество по пути самоуничтожения. Его книга вышла весной того года, сразу вызвала споры и стала бестселлером. Она написана в жанре размышляющей публицистики, ярко, местами остросатирически, снабжена иллюстрациями (старые гравюры, современные карикатуры, выразительные фотографии).

Поводом для создания «Критики циничесого разума» послужил юбилей «Критики чистого разума», двухсотлетие со дня ее выхода, отмечавшееся в 1981 году. Состоялся тогда в Майнце конгресс, на который съехалось 600 ученых. Как бы выглядели они, если бы вдруг появился среди них Кант? Что за юбилей, что за торжество, присутствие виновника на котором крайне нежелательно? Где грань между непониманием Канта и умышленным, циничным искажением его мыслей? Но Кант и его «Критика» — только повод.

Основанием для книги послужил кризис критической традиции. Франкфуртская школа застряла в негативизме. Адорно поплатился за свою «негативную диалектику» тем, что его слушатели решили пойти дальше его рассуждений. Он стал жертвой «голого насилия»: однажды его не пустили на кафедру его же собственные студенты и студентки, последние — в знак протеста против умеренности профессора — обнажили себя до пояса.

Слотердайк намерен снова придать философии позитивный смысл, он не обещает создать новые ценности, но намерен вызвать радостное переживание уже давно известных. Пусть снова расцветет умирающее древо мировой мудрости! Автор не упоминает о «зеленых», но образ заимствован у них, как и многое другое. По мнению еженедельника «Ди цайт», откликнувшегося на книгу Слотердайка восторженной рецензией, «Критика цинического разума» интересна прежде всего тем, что показывает причины растущей популярности «зеленых».

Отметим сразу: позитивная часть книги автору не удалась. Дальше общих фраз и кантовского призыва: «Имей мужество пользоваться собственным умом!» — он не пошел. Его намерения благородны, но крайне расплывчаты (как и программа «зеленых»). Его книга сильна критическим пафосом.

Отметим и другое: критика не всегда направлена по надлежащему адресу. Ныне любой теоретик в ФРГ, стремящийся к тому, чтобы его читали, не смеет умалчивать о марксизме. Слотердайк говорит о нем много и, как правило, неудачно. Он повторяет расхожий тезис о двух Марксах — раннем, «хорошем», и позднем, «плохом». В зрелом Марксе он обнаруживает «двойную натуру» — «бунтовщика» и «монарха», «Дантона» и «Бисмарка». Лучший знаток Маркса в наши дни, по мнению Слотердайка,— французский философ Альтюссер. Это имя нужно Слотердайку для того, чтобы высказать несколько сомнительных острот по поводу того, что Альтюссер в припадке умопомешательства убил свою жену.

Если отвлечься от подобных, попросту неудачных и ошибочных по сути пассажей, книга Слотердайка важна как выразительное описание феномена современного цинизма. Автор противопоставляет современным циникам древних киников. Киник — чудак, одиночка, выставляющий себя и свои странности напоказ. Это Диоген в бочке, называющий себя собакой и ведущий собачий образ жизни, публично удовлетворяющий сам все свои незатейливые потребности, включая половые.

Циник сегодня — совсем не аутсайдер, это массовый тип, отнюдь не претендующий

на уникальность, это асоциальное явление, полностью растворившееся в обществе. В силу своей массовидности цинизм многолик. «В огромном пространстве циничного сознания встречаются полярные противоположности: Уленшпигель и Ришилье; Макиавелли и племянник Рамо; ренессансные кондотьеры и элегантные циники рококо; не знающие удержу предприниматели и лишенные иллюзий «выходящие из вагона»[1], тертые политические стратеги и утратившие идеалы битники».

Обобщая, автор определяет цинизм как «просвещенное ложное сознание». Формулировка неточна: можно придерживаться ложного сознания (например, религии), быть образованным, просвещенным и все же не быть циником. «Ложное сознание» — слишком общая формулировка, речь, видимо, должна идти о ложном сознании вседозволенности.

Цинизм — сознательная антитеза морали, открытое или лицемерно прикрытое пренебрежение нравственными запретами и повелениями. Второй вариант особенно опасен. Современный циник действительно просвещен, образован и поэтому прячет от других свою аморальность; он знает все необходимые формулы, соблюдает принятые правила, умеет казаться принципиальным и произносить зажигательные речи во славу принципов, но ведет себя, руководствуясь одним — беспринципностью. Он виртуоз двоемыслия, вернее, в мыслях и на деле у него одно, а на словах — другое. Каждый шаг свой, каждое движение, каждую мелочь он оценивает только под одним углом зрения: какая ему от этого выгода. Он мастер интриг. Всю культуру, всю сложную конструкцию духовности он считает пустой иллюзией, предназначенной для того, чтобы таким, как он, легче было обделывать свои делишки. Он может найти партнера по преступной игре, делиться с ним барышом, но на людей в целом смотрит только как на материал, средство.

Слотердайк придает своей книге политическое звучание. Борьба с цинизмом для него — проблема выживания человечества, обуздания гонки вооружений, которая на руку сегодня только политическим авантюристам. «Критика цинического разума осталась бы академической игрой в бисер, если бы не прослеживала связь между проблемой выживания и опасностью фашизма». Фашизм — кульминация цинизма. Философы на Западе, полагает Слотердайк, не принимают всерьез фашизм как идеологическое явление, не критикуют фашизм, считая его ниже всяческой критики. Но тем хуже для критики: отыскивая достойного противника, она не вступает в бой с наиболее опасным. Одну из задач своей книги Слотердайк видит в бескомпромиссной борьбе со всеми разновидностями фашистской идеологии. И это главное. Неточности, неосведомленность, ошибочные формулировки, хотя и вызывают возражение, отходят на второй план.

Сюда относится и явная переоценка кинка, попытка изобразить его как «провоцирующего моралиста себе на уме», как нечто, достойное похвалы и подражания. Слотердайку, например, по душе «неокинизм» современного феминистского движения. Да и сам он готов принять позу кинка, нарушителя спокойствия, бросающего правду в глаза. Впрочем, объективная логика оказывается сильнее любви к парадоксам, и мы видим лицо киника без каких-либо прикрас. Возникает диалектическая ситуация: когда киник обличает устаревшее, мертвое в жизни, он делает полезное дело, но когда заодно он наносит незаслуженную «пощечину общественному вкусу», то это плохо. Граница здесь весьма зыбкая, и киник легко становится циником. Слотердайк знает это и в «музее циников» (так называется одна из глав его книги) отводит кинику Диогену соответствующее место.

Здесь место и гётевского Мефистофеля. Взгляд Слотердайка на этот образ оригинален и актуален. По его мнению, Мефистофель — не традиционный христианский сатана, это дитя эпохи Просвещения. Его волшебная сила — всемогущество научного знания. Циник-эмпирик, он противостоит кантианцу Фаусту, искателю истины, добра и красоты. Мефистофель стремится к победе над «метафизиком», хочет завладеть его душой. Крах Мефистофеля — провал позитивистской науки, пытающейся выйти за свои пределы: душа человека ей неподвластна.

Другой «вечный циник»—великий инквизитор из «Братьев Карамазовых». В нем Слотердайк видит «основателя позитивистской политологии». Достоевский полагал, что описал феномен религиозного сознания, но получился у него прообраз современного манипулятора массовым сознанием. «Злобная его антропология нашептывает ему, что человек должен и хочет быть обманутым. Человеку нужен порядок, а порядок требует господства, господство, в свою очередь, требует лжи. Кто хочет господствовать, должен сознательно использовать для этого религию, идеалы, соблазн и (при необходимости) насилие. Все, что относится к сфере целей, становится для него средством»,— пишет Слотердайк.

Завершает галерею циников образ безликого сознания, герой книги немецкого философа Хайдеггера «Бытие и время» — безличное местоимение man, не переводимое на русский язык. Это все вместе и никто в отдельности, унифицированный индивид, манекен, автомат—бесценный материал для Великого инквизитора. Среди иллюстраций этого раздела — рисунок Г. Гросса «Республиканские автоматы»: на фоне современной безликой архитектуры два не то робота, не то человека. Видны шестеренки, с помощью которых их, видимо, можно заставить делать все что угодно — сегодня они за республику, завтра — за фюрера.

Таковы три компонента фашистской диктатуры — безликая масса циников, готовых выполнить любой приказ, циник-фюрер, владеющий мастерством политической манипуляции и всеведущий ученый-циник, обеспечивающий научно-техническую сторону господства.

Слотердайк внимательно прослеживает и

[1] «Выходящие из вагона» (Aussteiger) — так называют себя в ФРГ те, кто не желает двигаться курсом боннского режима.

исторический генезис германского национал-социализма. Веймарская республика была чревата фашизмом. Это отразило и искусство того времени, ведущим направлением которого был дадаизм. Две стороны имел дадаизм — киническую и циническую. Первая, по мнению автора, была продуктивной, ироничной, великодушной, вторая носила деструктивный характер: «Отделить друг от друга эти два аспекта непросто; они превращают феномен дадаизма в пестрый комплекс, который не поддается простым и однозначным оценкам. Амбивалентен дадаизм и по отношению к фашизму: кини-ческими своими элементами дадаизм безусловно принадлежит антифашизму, логике и «эстетике сопротивления»; циническое в нем тяготеет к профашистской эстетике разрушения». Если вспомнить недавние споры в нашей печати о том, кому служил авангардизм в искусстве — фашизму или антифашизму, то рассуждения Слотердайка могут привлечь внимание: есть в них зерно истины.

Слотердайк сравнивает две ситуации на немецкой земле: Веймар — 1933 и Бонн — 1983 и находит между ними нечто общее — «скрытую готовность к катастрофе». Полвека назад это привело к капитуляции перед фашизмом, сегодня все может закончиться атомной катастрофой. Что делать? «Выходить из вагона» или продолжать путь, оставаться или бежать? Последняя альтернатива реальна: из книги Слотердайка узнаем, что начиная с пятидесятых годов граждане ФРГ покидают свою страну, бегут в Америку, Индию, куда угодно, подальше от театра возможной атомной войны. Слотердайк не принимает такую альтернативу и предлагает свою: жизнь или коллективное самоубийство. Для жизни нужно преодолеть «катастрофильный комплекс» и полностью развенчать цинизм.

А. Г.

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

НОВЫЙ РОМАН ПЕТЕРА ХАНДКЕ

В произведениях Петера Хандке сюжет никогда не играл большой роли. В новом своем романе «Китайский отшельник», который выпустило издательство «Зуркамп», автор по существу совсем отказался от сюжета. «В нем почти нет повествовательной связи, последовательности действия — лишь нанизанные одно на другое мгновения, натюрморты (среди них встречаются великолепные)», — пишет в газете «Франкфуртер альгемайне» критик Райнгард Баумгарт.

Героя романа зовут Лозер. Это отставной преподаватель древних языков и любитель-археолог, странный человек, порвавший с семьей. Знакомые прозвали его «китайцем». События внешнего мира не интересуют, а лишь раздражают его. Характерен эпизод, когда Лозер, возвращаясь ночью домой, вырывает из земли стойки с предвыборными плакатами и бросает в канал «эти лозунги, лезущие целый день в голову», чтобы освободить «мир и мозг» для восприятия природы и стихов.

Лозер мечтает о «пустоте», которую он сам мог бы заполнить предметами и звуками, воспринятыми как бы впервые, опоэтизированными его воображением. Критик швейцарского еженедельника «Вельтвохе» Клара Обермюллер называет его «великим наблюдателем». Лозер коллекционирует мимолетные впечатления, он внимателен, словно архивариус, к любой мелочи, будь то птичье перо или теннисный мяч, шорох или уличный шум, холодильник или автомобиль. «Поэтическое восприятие мира в романе предстает как жизненная необходимость», — пишет в западногерманском журнале «Шпигель» Бригитта Кронауэр. При этом явления воспринимаются не сами по себе, а вводятся в сложную систему литературных ассоциаций. Сам Хандке на страницах романа заявляет, что «восхищаться вещами» учился у Вергилия. Благодаря стихам Вергилия простой автомобиль «светится какой-то особой синевой». Повествование временами превращается в настоящий филологический трактат.

Однако убедительного целого из всего этого не получилось — в этом единодушны все рецензенты. «Чтобы из деталей реальности возникла сказка, недостает чуда, создаваемого необходимостью», — считает Бригитта Кронауэр. Все происходящее в книге лишено внутренней логики, а потому не трогает и читателя. Как и в известном романе Хандке «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым», герой тоже совершает нечаянное убийство, но это ничего не меняет ни в нем, ни в характере повествования. «Здесь все возможно и ничто не имеет значения... В результате из множества отдельных, нередко впечатляющих наблюдений возникает лишь зыбкая схема... Замысел остался неисполненным», — пишет рецензент «Шпигеля».

«Роман не оправдал ожиданий, — соглашается Райнгард Баумгарт. — Книгу трясет от таланта и противоречий... Кажется, будто Петер Хандке разучился рассказывать, а только «старается». В романе нет персонажей, одни символы». А рецензент «Вельтвохе» называет новую работу Хандке «свидетельством серьезного творческого кризиса».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ЭМИГРАНТАМ БЫЛО НЕЛЕГКО

Кристофер Хэмптон, известный английский драматург, написал новую пьесу — «Голливудские истории». Тема пьесы — жизнь немецкой интеллигенции, не пожелавшей примириться с гитлеровским режимом, и живущей в Калифорнии в 30—40-е годы. В числе действующих лиц — Бертольт Брехт и Елена Вайгель, Генрих и Томас Манны, Лион и Марта Фейхтвангер, немецкий режиссер Бертольт Фиртель и его жена Салка (чьи воспоминания послужили основой для фактического материала пьесы), немецкие киноактеры братья Маркс. Главный герой пьесы (собственно говоря, даже не пьесы в обычном смысле этого слова, а своеобразного коллажа из 21 сцены) — Эден фон Хорват, австрийский писатель, к творчеству которого за последние годы западногерманская интеллигенция стала проявлять живой интерес. Любопытно, что в действительности Эден фон Хорват не жил в ту эпоху в Калифорнии, после прихода Гитлера к власти он уехал из Германии в Австрию и погиб в Париже в 1938 г. в результате несчастного случая. На столе у него остались наброски романа «Прощай, Европа», начинавшегося словами: «Поэт эмигрирует в Америку...». Может быть, эта деталь и послужила отправной точкой для Хэмптона, не впервые прибегающего к использованию документального материала для своих пьес. В основе его пьес «Дикари» (о жизни бразильских индейцев) и «Полное затмение» (о судьбе Верлена и Рембо) также лежат строго проверенные факты.

Основным действующим лицом пьесы Хорват стал не случайно. К. Хэмптон давно интересуется его личностью. Еще будучи «штатным драматургом» лондонского театра «Роял корт», Хэмптон познакомил английскую публику с пьесой Хорвата «Сказки Венского леса».

В 1983 г., после появления пьесы «Голливудские истории» в печати и постановки ее в ФРГ (перевод на немецкий язык был сделан известным писателем Мартином Вальзером и его женой), Хэмптон, отвечая на вопрос корреспондента западногерманского журнала «Театер хойте», есть ли связь между писателями, изображенными в «Голливудских историях», и автором, сказал вполне определенно: «Да, конечно. Я думаю, что для того, чтобы оживить своих героев, заставить их жить на сцене ярко, полнокровно, автор должен до некоторой степени отождествить кого-либо из своих героев с самим собой... Я ввел в пьесу много автобиографических деталей...»

Но дело не только в конкретных фактах. Ведь основная тема пьесы — место эмигрантской интеллигенции в обществе, отношение ее к окружающему миру. Эмигрантам было нелегко. Томас Манн, проживший в эмиграции в США около 20

На снимке: актеры Джозеф Мэхер и Дэвид Хукс — исполнители ролей Томаса и Генриха Маннов в спектакле «Голливудские истории».

(*Журнал «Театер хойте»*)

лет, в одном из писем характеризовал внутреннее состояние эмигрантов как «удушье изгнания, оторванность от корней, нервное напряжение безродности». Каждый из эмигрантов в пьесе отражает определенную сторону эмигрантского бытия: Брехт — протестующий, активный политический деятель; Генрих Манн — полный нейтралитет; Томас Манн — оратор, совершивший максимум возможного. И лишь Хорват — наблюдатель, стоящий над эмиграцией, единственный человек, по мнению автора, «справляющийся с эмиграцией». Его кредо (в пьесе): живи и давай жить другим, приспосабливайся к обстановке, но не продавайся при этом. Подобная позиция всегда достаточно неустойчива. И в конце пьесы Хорват говорит: «Лос-Анджелес стал для меня призрачным городом... Вдруг мне стало ясно — яд распространяется вокруг... Я собрался назад в Европу... Я приехал слишком поздно...»

Бессилие эмигрантской интеллигенции в пьесе очевидно. Один из крупных американских театральных деятелей, режиссер и драматург Джордж Табори, живший в Голливуде в описываемую эпоху и общавшийся с большинством прототипов действующих лиц, так отзывался о спектакле «Голливудские истории», виденном им в Дюссельдорфе в постановке П. Палитцша: «Вместо множества «Голливудских историй» я предпочел бы услышать какую-нибудь одну — скажем, «Брехт в Голливуде», которая бы заканчивалась допросом Брехта в комиссии Маккарти...»

ВЕНГРИЯ

«КРУПНЫМ ПЛАНОМ»

Так называется новая серия книг-буклетов, к выпуску которой приступила студия «Мафильм» совместно с Бюро пропаганды народного образования. Каждое издание этой серии, популяризирующей венгерское киноискусство, посвящено одному из выдающихся по мастерству фильмов. Любители венгерского кинематографа смогут теперь одновременно с премьерой фильма познакомиться и с материалами, которые легли в его основу, а также с тем, как создавался фильм. Об этом расскажут интервью, статьи, фотодокументы. Редактор серии «Крупным планом» — Андраш Герваи.

На прилавки книжных магазинов уже поступили два издания этой серии: «Виадук», одновременно с выходом фильма того же названия, и «Мефистофель» — фильм режиссера Иштвана Сабо, удостоенный впоследствии премии Оскара.

В ближайшее время студия «Мафильм» и Бюро пропаганды народного образования планируют выпустить книги-буклеты, посвященные фильму о Миклоше Зрини, венгерском полководце XVI века, участнике многих сражений с турками (режиссер Ференц Кардош), и фильму «Красная графиня» (режиссер Андраш Ковач), рассказывающему о жизни Катинки Андрашши, позднее жены Михая Каройи, выдающегося деятеля буржуазно - демократической революции 1918 г., первого президента Венгерской республики (об этом фильме см. «ИЛ», 1983, № 9). В книге-буклете «Красная графиня» будут опубликованы неизвестные ранее фотографии Михая и Каталин Каройи.

Готовятся также книги: «Превращение», документально - художественный фильм Иштвана Дардаи, и «Шабаш ведьм» — фильм-сказка режиссера Яноша Рожи, снятый совместно с американскими кинематографистами.

На снимке: обложка книги-буклета «Мефистофель».

(*Журнал «Фильмвилаг»*)

ПЕРВАЯ ВЕНГЕРСКАЯ БЬЕННАЛЕ КАРИКАТУРИСТОВ

Осенью прошлого года в городе Ньиредьхаза состоялась первая всевенгерская бьеннале карикатуристов. Большая статья, посвященная этому событию в культурной жизни страны, была опубликована на страницах газеты «Непсабадшаг». Ее автор — искусствовед Дюла Рожа — писал, что об искусстве карикатуры трудно говорить. Тем не менее он хочет отметить, что художники злободневного рисунка, представленные на бьеннале, доказали свою органическую причастность к изобразительному искусству вообще, выявив при этом особую эмоциональность, темпераментность, открытость авторской позиции.

Одним из самых значительных карикатуристов венгерской печати автор статьи называет Тибора Каяна. В своих работах, регулярно публикующихся на страницах газет «Непсабадшаг», «Мадьяр немзет», жур-

нале «Уй тюкёр» и других изданиях, Каян последовательно обращается к наиболее острым моментам венгерской жизни, живо откликается на важные события международной политики. Праздивость его карикатур, простое и ясное художественное решение, гуманистическая направленность, указывается в газете, — вот истоки притягательности его творчества.

Второе и третье места заняли на бьеннале Дьёрдь Бреннер и Ференц Шайдик.

В карикатурах Бреннера автор статьи отмечает характерный для него выразительный второй план, очень яркие фигуры «незаменимых статистов», без которых не был бы полным юмор художника.

Работы Ференца Шайдика отличаются интересным пространственным решением, они преисполнены духовностью, а главное, заставляют зрителя думать.

Имена Хегедюша, Варнаи, Сюр-Сабо, Балажа-Тери, указывается в статье, свидетельствуют о высоком уровне венгерской карикатуры, ее соответствии мировому уровню этого жанра.

Обобщая частные замечания об отдельных художниках, Дюла Рожа пишет, что своеобразной чертой работ всех карикатуристов, принявших участие в бьеннале, является их стремление побудить зрителя к размышлениям, к самостоятельным выводам. Тем самым, подчеркивает автор статьи, они приобретают силу гражданского и политического звучания.

ГДР

ПИСАТЕЛИ ПРОТИВ ВОЙНЫ

В издательстве «Миттельдойчер ферлаг» (Галле — Лейпциг) вышла книга «Перо голубя. Писатели — за мир во всем мире» — обширный сборник художественных произведений и документов.

Коллектив составителей постарался отразить здесь борьбу писателей за мир в историческом развитии, начиная с первой мировой войны. Отрывок из «Открытого письма Герхарту Гауптману», которое Ромен Роллан опубликовал в августе 1914 года, статья Анри Барбюса, датированная июнем 1917 года, напоминают о том, что антивоенная деятельность крупных мастеров культуры продолжается уже в течение почти семи десятилетий. Идея мира вдохновляла и вдохновляет большие художественные таланты. В книге воспроизводятся рисунки и плакаты, посвященные этой идее, — в том числе и те, которые давно приобрели международную известность: фотомонтаж Дж. Хартфильда «Никогда больше!», плакат Кете Кольвиц «Пусть никогда больше не будет войны», плакат Пабло Пикассо с голубем мира, а также работы современных графиков и карикатуристов.

В книгу включены широко известные стихотворения, такие, как «Сирень и розы» Арагона, «Жди меня» К. Симонова, отрывок из поэмы «Пусть проснется лесоруб» Пабло Неруды, «Хотят ли русские войны?» Е. Евтушенко. Широко представлена писательская публицистика, речи участников Конгрессов писателей в защиту культуры в Париже (1935) и Мадриде (1937); представлено в документах международное движение сторонников мира, развернувшееся с конца 40-х годов, речи и статьи Мартина Андерсена-Нексе, А. Фадеева, А. Зегерс, И. Эренбурга, Б. Брехта, Л. Кручковского.

Две трети сборника отведены документам последних лет. В особом разделе помещены ответы писателей разных стран на анкету советского журнала «Вопросы литературы» в конце 1976 года. Большое внимание в сборнике уделено софийским встречам 1980 и 1982 годов. Материалы этих встреч дают представление о том, как расширилось за последние годы писательское движение в защиту мира.

В сборнике содержатся документы берлинской встречи деятелей культуры — писателей и ученых, — состоявшейся в 1981 году, а также писательских встреч в Кёльне и Гааге в 1982 году, речи С. Михалкова, А. Чаковского, Германа Канта, Кристы Вольф, Г. Вальрафа, Н. Хертлинга, Б. Энгельмана.

Сборник завершается речью Стефана Хермлина, произнесенной на международном собрании писателей в Западноберлинской академии искусств 22 апреля 1983 года. Хермлин напоминает о том, как важно сегодня найти путь к взаимопониманию деятелей культуры, придерживающихся различных взглядов, но стоящих так или иначе на позициях защиты мира. Общая главная задача сторонников мира сегодня — «договориться о том, как мы можем избежать истребления».

НОВЫЙ РОМАН ЭРВИНА ШТРИТТМАТТЕРА

Издательство «Ауфбау» выпустило новый роман Эрвина Штриттматтера «Лавка». Как и в других книгах («Шульценхофский календарь», «Синий соловей», «Тинко»), писатель вновь обращается к своему детству. Время действия романа — от конца первой мировой войны до периода инфляции. Штриттматтер не ставит себе целью описывать глобальные исторические события. В центре его внимания «маленькие люди», их проблемы, их заботы, их радости и горести. Но ему удается нарисовать широкую картину действительности того времени, показать страшные последствия войны.

Семья пекаря Генриха Матта приезжает в Бездом — деревню в Оберлаузице. Там Генрих Матт становится обладателем лавки и пекарни. Лавка — своеобразный деревенский клуб. Туда приходят самые разные люди, обсуждают новости, ссорятся, мирятся, сплетничают. Быт деревни предстает перед читателем в интерпретации мальчика — внука Генриха Матта, в котором легко угадать маленького Эрвина Штриттматтера.

«Новая книга Эрвина Штриттматтера очень поэтична, в реалистическое повествование вплетены элементы фантастики, она написана образным, красочным языком», — пишет рецензент «Нойес Дойчланд».

«Рассказывая о прошлом, писатель связывает его с настоящим, — пишет газета «Берлинер цайтунг». — Он раскрывает психологию людей, их взаимоотношения. Роман «Лавка» займет видное место в нашей современной литературе».

ЕГИПЕТ

«КАИРИАНА»

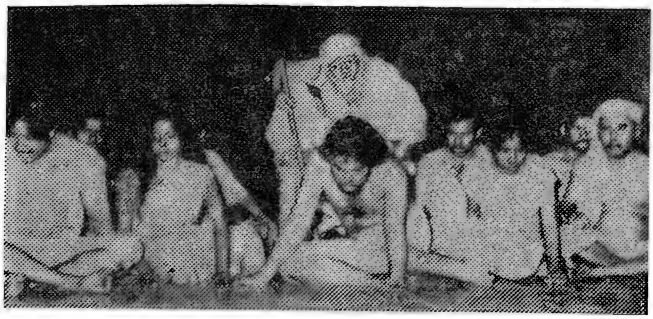
Как сообщает журнал «Кулль аль-Араб», в Каире в книжной серии «Китаб аль-Хиляль» вышла новая книга известного египетского писателя Гамаля аль-Гитани под названием «Каириана». В этой книге так же, как в своем историческом романе «Аз-Зейни Баракат» и других произведениях, писатель обращается к эпохе позднего средневековья — периоду правления мамлюков. Однако, в отличие от этих произведений, в «Каириане» аль-Гитани соединяет романическое повествование с историческими документальными свидетельствами. Он рисует красочные подробности народного быта и жизни Каира эпохи мамлюков, которые обычно игнорировались или лишь слегка затрагивались историками.

«Эта книга, — пишет обозреватель журнала, — знакомит нас с кофейнями и рынками, с народными костюмами и праздничными вечерами. Все это излагается в живой и увлекательной новеллистической манере, возвращая пожелтевшим страницам исторических фолиантов новую жизнь».

ИНДИЯ

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН НА ИНДИЙСКОЙ СЦЕНЕ

В Индии хорошо знают и охотно ставят спектакли по произведениям Гоголя, Толстого, Горького, Чехова,



Сцена из спектакля «Сказка о двух господах».

(*«Театральный бюллетень»*)

Погодина. Но горячий призыв к социальной справедливости великого русского сатирика Салтыкова-Щедрина со сцены в Калькутте прозвучал впервые. Театральная группа «Сайак» поставила спектакль по сказке Салтыкова-Щедрина «Как мужик двух генералов прокормил». Ее инсценировал бенгальский драматург Чандан Сен, создав веселую, острую пьесу. Взяв основную сюжетную линию сатирической притчи, он сделал пьесу актуальной в современной Бенгалии, раздираемой социальными противоречиями.

Режиссер Мехнад Баттачария создал яркий зрелищный спектакль «Сказка о двух господах». Спектакль, как и большинство постановок театральных коллективов Калькутты, очень музыкален. Тексты песен и мелодии к ним написали композитор Баскар Митра и поэт Ратин Чакраборти.

Два престарелых государственных мужа — бывший политик и бывший полицейский — попадают на необитаемый остров. Они не могут обеспечить себя пропитанием. Создатели спектакля предельно заостряют сатирическую характеристику «государственных деятелей»: бывший полицейский предстает перед публикой грубым и алчным, политик — хвастливым. После целого дня блужданий они неожиданно наталкиваются на бедного молодого крестьянина — жителя острова, и, выяснив, что остров населен трудолюбивыми простыми людьми, «генералы» вне себя от счастья: они спасены! Они ни минуты не сомневаются, что жители острова будут их кормить и служить им только потому, что они высокого происхождения, могут кое-как изъясняться между собой по-английски и занимали важные государственные посты.

Вечером после трудового дня собирается совет жителей острова. Все живо обсуждают случившееся: один крестьянин не захотел трудиться вместе со всеми — ночью он пошел в поле и взял себе тайком риса. Все крестьяне стараются убедить его, что только сообща они смогут вынести и засуху, и неурожай. Провинившийся сознается, что на нечестный по отношению к племени поступок его толкнули недавно прибывшие на остров гости. В крестьянах зреет возмущение непрошеными гостями, ранее встреченными ими так открыто и приветливо.

Убедившись, что переделать пришельцев невозможно, что, оставаясь на острове, они лишь сеют раздор между обитателями, требуют себе привилегированного положения и не желают трудиться, совет крестьян объявляет свое решение об изгнании их с острова, крестьяне сажают их в лодку и отталкивают от своего берега...

Под звуки веселой народной мелодии просыпаются в парке Калькутты разомлевшие на солнце «генералы». Испуганно озираясь вокруг, они с радостью убеждаются, что страшные испытания им только приснились.

Происшествие на острове их ничему не научило! Участники спектакля обращаются со сцены к зрителям: народу нечего ждать помощи от сильных мира, пора самим решать свою судьбу.

ИОРДАНИЯ

ВЫСТАВКА ДЕТСКОЙ КНИГИ

В столице Иордании Амман е регулярно проводятся выставки детской книги, организуемые иорданским обществом «Друзья детей».

Недавно, по сообщениям арабской печати, там состоялась восьмая выставка детской книги. На ней было представлено большое число научно-популярных книг и произведений художественной литературы для детей. Цель этих выставок, как заявляют их устроители — «Развить таланты подрастающего поколения, пробудить у него любознательность, познакомить с писателями родной страны».

ИСПАНИЯ

ЧТО ЧИТАЮТ ИСПАНСКИЕ ДЕТИ

В последние годы прогрессивные круги испанской общественности, специалисты самых разных профилей все чаще выражают беспокойство в связи с тем, что очень большой процент испанцев не читает книг. В этой стране, которая стоит на шестом месте в мире по количеству выпускаемых книг, 64% населения их вообще не читает. Испанские социологи, встревоженные падением интереса к литературе, решили выяснить, как складываются отношения с книгами у читателей будущего.

Такое исследование было проведено Министерством культуры, а журнал «Расон и фе» опубликовал его результаты. Анкетирование охватывало возрастную группу от 6 до 13 лет, проживающую в различных районах страны. Выяснилось что 41% испанских детей вообще не читают книг, кроме тех, что входят в обязательную учебную программу, у них отсутствует интерес даже к комиксам и иллюстрированным журналам; ежедневную потребность в чтении ощущают только 11% опрошенных. Результаты исследования дали также возможность представить «географию» детского чтения. Так, больше всего увлекаются книгами ребята, живущие в Мадриде, Барселоне, их окрестностях, Наварре и Арагоне. Меньше всего читают в Эстремадуре, Галисии и Андалусии. Книги детям покупают взрослые, считаясь, как правило, со своими вкусами, а не с желанием детей, что, по мнению специалистов, отбивает у ребят любовь к чтению. Только треть родителей оставляет ребятам право решающего голоса при выборе книг, и в этих случаях обычно покупается приключенческая литература. Результаты анкетирования свидетельствуют об отсутствии интереса у маленьких читателей к классике, литературе по искусству, книгам о путешествиях и географических открытиях.

Специалисты считают, что проведенное исследование имеет большое практическое значение, поможет своевременно принять меры, способствующие развитию у маленьких испанцев интереса к книге.

ИТАЛИЯ

ЯРКИЙ ДЕБЮТ

Первое произведение Эудженио Витарелли, повесть «Плачида», представляет читателю виднейший совре-

менный писатель Леонардо Шаша. Он подчеркивает особую любовь к слову, упоение самим процессом письма у начинающего автора. Восторги Шаши разделяет и рецензент «Униты». Витарелли, считает он, «писатель, который владеет языковыми оттенками, их явным и тайным смыслом и умеет при помощи слов создавать такую осязаемую действительность, которая подчас оказывается «истиннее настоящей».

Действие повести происходит в Сицилии в 1943 году, как раз накануне высадки там англо-американских войск. С большим мастерством, считает «Унита», Витарелли воспроизводит атмосферу тех дней — напряженную, неустойчивую: люди чувствуют неуверенность не только в завтрашнем, но и в сегодняшнем дне, небеса бороздят самолеты, здания как будто «разодраны», «фрукты заражены смертью» — и над всем этим зловоние непогребенных трупов.

На этом наводящем ужас фоне разворачиваются трогательные отношения между студентом Симоне и молодой крестьянкой Плачидой, потерявшей мужа в первые дни войны. Простую и трогательную историю сердец Витарелли излагает «чуть ли не с математической выверенностью слога», отмечает «Унита». Особенно хорош образ Плачиды.

Кратко, но выразительно обрисованы и другие персонажи повести.

ЕВРОПА, ИДУЩАЯ КО ДНУ

Новый фильм Федерико Феллини «А корабль плывет...», впервые показанный на Венецианском кинофестивале в сентябре 1983 года, вышел на итальянский экран и продолжает привлекать внимание критиков. Рецензию на него поместил в журнале «Эспрессо», где он много лет ведет отдел кинокритики, писатель Альберто Моравиа.

«Феллини все больше отдаляется от воображения, понимаемого как отражение реальности, и все более доверяется фантазии, идущей из глубин подсознания чисто умственного опыта,— пишет Моравиа.— Фантазия всегда поджидала в засаде во всех фильмах Феллини; наконец, благодаря психоанализу, то есть умственному опыту, основывающемуся главным образом на толковании снов, она наиболее очевидно выплеснулась наружу в его недавнем «Городе женщин»... Теперь же, в фильме «А корабль плывет...», фантазия Феллини находит выход уже в Истории. Но в Истории, рассматриваемой как сон: он словно грезит с открытыми глазами; при этом политический, экономический, социальный фон происходящего остается в стороне, однако мало-помалу этот фон проступает все явственнее».

Действие фильма происходит в июле 1914 года, накануне первой мировой войны. От причала неаполитанского порта отплывает огромный трансатлантический пароход «Глория Н.», на борту которого, словно на оперной премьере, собралось блестящее светское общество. Цель плавания необычна и накладывает свой отпечаток на всю атмосферу, воцаряющуюся на корабле: аристократическое общество собралось на необычную похоронную церемонию. Они провожают в последний путь знаменитую оперную певицу Эдмею, завещавшую развеять ее прах в море у какого-то острова. Этим объясняется и то, что на судне много людей, связанных с театром: дирижеры, музыканты, певцы. Тут же и обаятельный журналист, ведущий светскую хронику в духе начала века. Жизнь на борту течет как обычно в подобных плавающих шикарных отелях: любовные романы, измены, снобизм, разные странности и чудачества пассажиров, занятия спиритизмом и даже дворцовый заговор по всем правилам...

Все это неожиданно кончается в тот момент, когда телеграф передает весть о выстреле в Сараево, а затем о вступлении в войну новых стран.

Корабль принимает на борт группу сербских беженцев, спасающихся от наступления австро-венгерских войск, и сам подвергается нападению вражеского броненосца. В момент, когда с броненосца требуют выдачи сербов, какой-то террорист бросает в пороховой погреб броненосца бомбу. Тот взрывается, но повреждена и «Глория Н.» Корабль начинает медленно погружаться в море вместе со всеми пассажирами, застывшими, как в оперном апофеозе — неподвижно, выстроившись в ряд, они отпевают Эдмею...

Это гениальный фильм, говорит Моравиа, хотя и несколько непоследовательный, отрывочный. Пустое западноевропейское общество начала века представлено как участник посредственного оперного спектакля. Время классовых боев еще не настало: обливающиеся потом у котлов кочегары с восторгом аплодируют певцам, словно в опере. Сцены кораблекрушения проникнуты иронией, чуть пародируя картину гибели «Титаника»: по залитым водой салонам и коридорам плывут ресторанные столики, за ними рояль, плавают чемоданы...

Вскрывая характер этого фильма как современной притчи, писатель заканчивает:

«Последние сцены весьма эффектны и вместе с тем раскрывают потаенный смысл фильма. Феллини в действительности хотел не только вернуться в эпоху

Фильм «Травиата» известного режиссера Франко Дзефирелли (см. «ИЛ», 1983, № 6) с успехом демонстрировался на экранах многих стран.

На снимке: исполнительница главной роли—канадская певица Тереза Стратас.

(*Журнал «Аван-сен опера»*)

Сараево, как в ныне уже безобидную отошедшую в прошлое сказку, но и филигранно показать то, что завтра может случиться с нынешним европейским обществом, не желающим ни о чем думать и готовым лопнуть от благосостояния. Трудно говорить о прошлом, не намекая на настоящее».

КУБА

МАНУЭЛЬ РУИС В КНИГЕ И НА ЭКРАНЕ

В конце 1983 года издательство «Летрас кубанас» выпустило новую книгу известного кубинского писателя, поэта и этнографа Мигеля Барнета «Галисиец», которая завершает трилогию, начатую в 1966 году. Первая часть трилогии «Я — беглый раб» (см. «ИЛ», 1967, № 7) рассказывала о судьбе бывшего раба, старика-негра, дожившего до ста шести лет. Современник Хосе Марти, он стал свидетелем победы кубинской революции. Жанр трилогии — «тестимонио», то есть роман-свидетельство, очень популярен в Латинской Америке последних лет. В данном случае речь идет о романизированных биографиях, построенных на строго документальной основе. Новая книга Мигеля Барнета повествует о судьбе иммигранта из Испании, решившего в начале века поселиться на Кубе.

История Мануэля Руиса типична, в ней нет ничего исключительного. Сирота из полунищей крестьянской семьи, Мануэль с детства был заворожен легендой об Эльдорадо в том «деревенском» ее варианте, который можно было услышать на галисийских ярмарках. И вот, используя свой единственный шанс, истратив все сбережения на самый дешевый билет, юноша отплывает на Кубу. Крушение иллюзий подстерегает его уже в гаванском порту: не имея знакомств и рекомендательных писем, неопытный Мануэль становится легкой добычей для взяточников из таможни и консульского отдела. Золотые россыпи вожделенной мечты оборачиваются на деле томительными днями заключения в карантинном бараке для нищих иммигрантов... Но вот, выкупленный из беды земляком, Мануэль начинает искать работу. И оказывается, что это не так-то просто — в Гаване хватает своих бедняков. Переменив множество занятий — он был и грузчиком, и разносчиком, и бродячим торговцем, и плотником,— Галисиец, наконец, кое-как устраивается на новом месте. Он тоскует по родине, во всем себе отказывает, чтобы иметь возможность туда возвратиться... И только приехав в родную деревню в середине 30-х годов, осознает, насколько сам он переменился. Поэтому неудивительно, что когда разражается гражданская война, Галисиец, не колеблясь, принимает сторону республиканцев: забитому крестьянину помог сделать выбор урок рабочей солидарности, полученный в годы мытарств на Кубе.

Попав в концлагерь в Аржелес-сюр-Мер, Галисиец понимает, что в родную деревню возвращаться нельзя. Ему один путь — назад, на Кубу. Снова долгие годы упорного труда, лишений. Но Мануэль Руис «втягивается», перестает смотреть на свою жизнь в Гаване «извне», остраненно. Испания теперь в его представлении лишена всякого романтического флера. В Гаване у него семья, дети. И все-таки он вновь навещает — уже в конце пятидесятых годов — свою галисийскую деревню. Там его застает весть о победе революции на Кубе. Символична концовка романа: в переполненном гаванском аэропорту хмурые люди с недоумением смотрят на старого галисийца, который только что прилетел из Испании. Сами они — банкиры, финансисты, фабриканты — торопятся покинуть революционную Гавану. А Мануэль Руис с просветленным лицом пробирается сквозь толпу: он вернулся домой.

Необычайный успех новой книги Барнета привлек внимание кинематографистов.

Как сообщает журнал «Боэмия», кубинский режиссер Мануэль Октавио Гомес и испанский режиссер Марио Камю будут снимать по роману «Галисиец» фильм. Сценарий пишет сам Мигель Барнет. Марио Камю известен своим бережным отношением к литературному произведению, за экранизацию которого он берется. Доказательство тому — снятый им фильм «Улей» по одноименному роману известного испанского писателя Камило Хосе Селы («ИЛ», 1983, № 1). «Мы хотим,— говорит Мануэль Октавио Гомес,— сохранить всю силу и чистоту произведения Барнета. Работаем с большой отдачей, надеемся передать всю поэзию и очарование, которыми проникнута книга».

ЛИВАН

ИССЛЕДОВАНИЕ ТВОРЧЕСТВА ДЖУБРАНА

В связи с исполнившимся в декабре минувшего года столетием со дня рождения ливанского поэта, писателя, художника и философа Джубрана Халиля Джубрана (1883—1931) в Ливане и других арабских странах появились новые книги, посвященные этому выдающемуся представителю арабской культуры.

Одна из последних работ, посвященных Джубрану, принадлежит перу ливанского литературоведа Гассана Халида и носит название «Джубран, его личность и творчество». Ее опубликовало бейрутское издательство «Муассасат Науфаль».

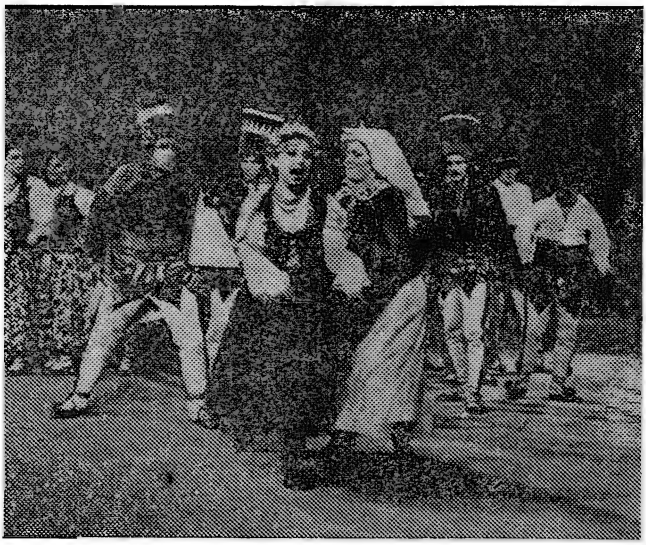
Как сообщает журнал «Аль-Мактаба аль-арабийя», книга Г. Халида представляет собой «научное исследование как личности Джубрана, так и различных жанров его произведений: рассказа, сказания, притчи, проповеди, афоризмов, поэзии». В книге исследуется влияние романтизма и сюрреализма на творчество Джубрана, его значение для литературы арабского Возрождения в начале XX века. Отдельная глава посвящена анализу философского произведения писателя «Пророк». В заключительной части книги рассматриваются философские взгляды Джубрана, его представления о жизни, о совершенном человеке.

ПОЛЬША

О ТВОРЧЕСТВЕ ЯРОСЛАВА ИВАШКЕВИЧА

В феврале нынешнего года будет отмечаться девяностолетие Ярослава Ивашкевича, явления в польской культуре уникального, мастера, сочетающего в себе поэта, прозаика, драматурга, музыканта, искусствоведа, переводчика. Вклад его в польскую культуру огромен. Все его творчество посвящено философским проблемам человеческого бытия, изображению человеческих характеров в их сложном диалектическом, социальном развитии. Стихи, новеллы, эссе, публицистика, автобиографический мемуарный цикл, многочисленные литературно-критические статьи и музыковедческие работы, переводы Чехова, Толстого, Фета, Ахматовой, Пабло Неруды, Валери, трехтомная эпопея «Хвала и слава» — все это сочеталось с огромной общественной деятельностью. До последних дней он возглавлял Союз польских писателей и был бессменным редактором журнала «Твурчость». В минувшем году была издана книга «О творчестве Ярослава Ивашкевича», куда вошли материалы конференции, организованной Институтом литературных исследований Польской Академии наук по случаю празднования 85-летия писателя незадолго до его смерти. В этой работе, как отмечает критика, впервые предпринимается попытка оценить в целом все многообразие творчества писателя, попытка анализа наиважнейших и наиболее характерных для писателя проблем и устремлений.

Это издание не претендует на исчерпывающий анализ творчества писателя, которое еще требует тщательного изучения, если учесть его огромный диапазон и многообразие жанров, но оно представляет собой определенную ценность. Историкам литературы в будущем предстоит огромная ра-



В «Театре Народовом» (Варшава) поставлен спектакль по пьесе известного драматурга Войцеха Богуславского (1757—1829) «Мнимое чудо, или Краковяне и горцы». «Общественная потребность в этом спектакле так велика,— отмечает журнал «Театр»,—что можно только приветствовать лауреата премии культуры и искусства Ежи Красовского, возобновившего постановку этой пьесы».
На снимке: сцена из спектакля.

(Журнал «Театр»)

бота по созданию монографии о творчестве Ярослава Ивашкевича, которое можно определить его же словами: «Все, что я писал, я писал с мыслью о читателе... И значение моих произведений, если оно есть, заключается именно в том, что я стремился раскрыть перед ним возможность красоты в жизни и красоты в человеке».

ИНТЕРЕСНЫЕ ПЕРЕДАЧИ

По польскому телевидению организован цикл передач «История польской драмы», рассчитанный на два года и включающий сто передач. В новой программе предполагается не только демонстрация спектаклей, показывающих польскую драматургию в ее историческом развитии, но и цикл лекций о становлении телевизионного театра, о совершенствовании телевизионных театральных программ, об их зарождении и развитии.

США

И СНОВА САРОЯН

Когда в 1980 году умер Уильям Сароян, на его письменном столе осталась лежать рукопись — дневник, который уже смертельно больной писатель вел летом 1979 года. Это было последнее произведение Сарояна. И вот через три года после кончины писателя этот дневник увидел свет под названием «Дни рождений». Он вышел в небольшом калифорнийском издательстве «Криэйтив артс бук компани». Одновременно в нью-йоркском издательстве «Кауард-Маккэнн» вышел том «Мое имя — Сароян», куда включены стихи, рассказы, небольшие пьесы и очерки, написанные Сарояном в течение 1933—1954 годов и опубликованные в периодических изданиях Армянской ассоциации Бостона, с которой писатель сотрудничал многие годы. Как пишет рецензент еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», обе эти книги «стали необходимым дополнением к собранию произведений Сарояна», насчитывающему около четырех десятков книг.

За свою долгую творческую жизнь Сароян перепробовал все литературные жанры — с меньшим успехом он выступал в поэзии, с большим — в прозе и драматургии. Наиболее плодотворный период его работы пришелся на 30-е — начало 40-х годов, когда он выпустил свои лучшие сборники новелл и когда были созданы самые значительные его пьесы — «Путь вашей жизни» и «В горах мое сердце», а также романы «Человеческая комедия» и «Приключения Весли Джексона», знакомые и советским читателям. И все же, подчеркивает еженедельник, несмотря на столь большое разнообразие творческой деятельности, Сароян был и остался мастером одного «самого трудного жанра» — рассказа. Это становится очевидно, когда открываешь обе недавно изданные книги.

Лучшие страницы в томе «Мое имя — Сароян», по мнению рецензента, принадлежат именно рассказам, в том числе и тем, что до сих пор оставались затерянными на страницах небольших журналов и не были известны широкому читателю. А «Дни рождения» свидетельствуют о том, насколько органичным для Сарояна-писателя был жанр короткого рассказа: он словно мыслил рассказами, свободно и безыскусно выходившими из-под его пера. Дневник Сарояна, по словам рецензента, представляет собой причудливую смесь неосуществленных писателем сюжетов — воспоминаний, смешных и грустных историй из его жизни, анекдотов, раздумий. Как и проза Сарояна, его дневник пронизан любовью к человеку, верой в торжество добрых начал человеческой души.

«Может быть, мы стали слишком циничны теперь, чтобы верить в доброту, которую Сароян находит в людях»,—не без горечи пишет рецензент. Но Сароян заставляет все же верить в добро — недаром его девизом были такие слова: «Я думаю, что назначение писателя состоит в том, чтобы восстанавливать по кусочкам целостного человека».

ФРАНЦИЯ

НОВЫЙ ФИЛЬМ АЛЕНА РЕНЕ

«Мы хотели сделать фильм о стремлении людей к добру и справедливости, стремлении, заставляющем делать много глупостей, но без которого тем не менее было бы невозможно делать что-либо вообще», — говорит о новой картине А. Рене «Жизнь — роман» его сценарист Жан Грио.

Ален Рене — автор таких всемирно известных фильмов, как «Хиросима — любовь моя», «Прошлым летом в Мариенбаде», «Мой американский дядюшка». Последняя работа в кино шестидесятилетнего режиссера достаточно необычна. В фильме «Жизнь — роман», который повествует о вполне реальных событиях, происходивших в начале нашего века в Бельгии, нашлось место и фантастике, и опере, и гротеску, и сказке.

В главной роли снялся замечательный оперный певец Руджеро Раймонди. Его герой, арденнский аристократ граф Фербек, решает построить для своих друзей «храм счастья», который по замыслу его создателя должен служить первой ступенью к обществу будущего, обществу, где между людьми будут царить гармония и взаимопонимание. Уже готов проект сказочного дворца — это синтез архитектурных стилей всех

На снимке: кадр из фильма «Жизнь — роман».

(*Журнал «Премьер»*)

эпох и народов, которые знала история. Но сама жизнь наносит удар по утопичным планам аристократа. Разразившаяся первая мировая война не дает завершить строительство «храма счастья». Через много лет в здании, так и оставшемся недостроенным, будет организован коллоквиум по вопросам преподавания и коридоры эклектичного дворца Фербена вновь заполнят люди. Но согласия, о котором мечтал граф, между ними не будет. Слишком уж необычен предмет дискуссии: речь идет о методике преподавания... воображения. Пока участники коллоквиума проводят время в ожесточенных и бесполезных спорах, их дети, предоставленные взрослыми самим себе, начинают фантазировать. Так, на глазах у зрителей рождается сказка о прекрасном принце, изгнанном из своего королевства злодеем-тираном, узурпировавшем его трон, об огнедышащем драконе и томящейся в заточении принцессе. Принц свергнет тирана, убьет дракона и женится на принцессе — добро, как и во всех сказках, восторжествует. По мысли авторов фильма, дети, силой своего воображения утверждающие справедливость, — хозяева будущего, ведь в их руках — заветная мечта человечества о счастье. И то, что тщетно пытался осуществить граф Фербек, будет воплощено будущими поколениями — в этом пафос картины французского кинорежиссера.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ ПЧЕЛА» НА ЭКРАНЕ

На традиционном XL Международном кинофестивале в Венеции двухсерийный словацкий фильм «Тысячелетняя пчела», созданный по сценарию словацкого писателя Петера Яроша и словацкого режиссера Юрая Якубиско, получил единодушное признание: специально образованное жюри во главе со всемирно известным итальянским художником Ренато Гуттузо вручило создателям фильма один из главных призов фестиваля — «Золотой феникс».

Глубоко народный фильм, в основу которого был положен известный роман П. Яроша «Тысячелетняя пчела» — сага словацкой семьи Пихандов (главы из романа печатались в «ИЛ», 1981, № 5, 6), удивительно ярко раскрывает своеобразие словацкого характера, его исконное свободолюбие.

Словацкий фильм, запечатлевший в напряженных и художественно выразительных кадрах судьбу Словакии на стыке двух столетий — конца XIX и начала XX века,— заслужил небывалое для чехословацкого кинематографа признание как жюри фестиваля, председателем которого был в этом году Бернардо Бертолуччи, так и зрителя, до отказа заполнившего венецианский Дворец фильмов.

На снимке: кадр из фильма «Тысячелетняя пчела».

(*Журнал «Фильм а дивадло»*)

◆

Авторы этого номера

ОСВАЛЬДО ЭСКОБАР ВЕЛАДО — OSVALDO ESCOBAR VELADO (1918—1961). Сальвадорский поэт. Автор ряда поэтических сборников «10 сонетов для тысячи и более рабочих» («10 sonetos para mil y más obreros», 1950), «Древо борьбы и надежды» («Arbol de lucha y esperanza»), «Куба—Америка» («Cubaamerica», 1960). Публикуемое стихотворение взято из сборника «Избранные стихи» («Poemas Escogidos», 1967).

ДАВИД ЭСКОБАР ГАЛИНДО — DAVID ESCOBAR GALINDO (род. в 1943 г.). Сальвадорский поэт. Его перу принадлежат стихи «Надежда и бронза» («El Bronze y Esperanza»), «Освещенная станция» («La Estación Luminosa»), «Руки в огне» («Las Manos en el Fuego»), «Странный мир рассвета» («El Mundo Extraño del Amanecer») и др. Публикуемые стихи взяты из «Антологии поэзии Сальвадора» («Antologia General de la poesía en el Salvador», José Roberto Cea, El Salvador, 1971).

ХАЙМЕ СУАРЕС КЕМЕН — JAIME SUARES QUEMAIN (1950—1980). Сальвадорский поэт и журналист. Автор стихов «Когда идешь навстречу урагану» («Huracán de arriba para abajo»), «Бывают дни («Hay días»), «Когда заканчивается фильм» («Cuando se acaba la pelicula»), «Пою самому себе» («Canto a mi mismo») и др. Стихотворение «Когда идешь навстречу урагану» было напечатано в журнале «Сальвадор» («El Salvador», 1981, № 4).

МАРИЯ МАРТИНЕС — MARIA MARTINEZ Сальвадорская журналистка, специальный корреспондент агентства печати «Нотисол».

ДОНЧО ЦОНЧЕВ (род. в 1933 г.). Болгарский писатель. По окончании факультета геологии Софийского университета более десяти лет работал геологом. Его первая повесть «Мужчины без галстука» («Мъже без вратовръзки») вышла в 1966 году. С тех пор издано много сборников его рассказов: «Воскресенье, после обеда» («Неделя след обяд», 1967), «Опасные типы» («Опасните типове», 1971), «Обратный луч» («Обратен лъч», 1973), «Мосты» («Мостовите», 1979) и др., повесть «Красные слоны» («Червените слонове», 1970), романы «Правила» («Правилата», 1972), «Принцы» («Принцовете», 1977), «Желтый дом» («Жълтата къща», 1982), несколько книг для детей и юношества.

Произведения Д. Цончева переводились на русский язык: «Роман на колесах», рассказы («ИЛ», 1973, № 2), книги для детей. Предлагаемая подборка включает рассказы, взятые из сборников «Око» («Окото», София, Български писател, 1977), «Протест» («Протестът», Български писател, 1981), «Звездная пыль» («Звезден прах», София, Партиздат, 1981).

ГЛЕН НИКА НИКОЛАЕВНА

Советский переводчик болгарской прозы и драматургии. В ее переводе опубликованы романы К. Калчева «У истоков жизни», Й. Радичкова «Праща», повесть Б. Райнова «Дороги в никуда», рассказы Св. Минкова, А. Гуляшки, Э. Станева, В. Петрова, А. Карасимеонова, С. Стратиева и др.

ШУБХАШ МУККХОПАДДХАЙ (МУКЕРДЖИ) (род. в 1919 г.)

Индийский поэт и прозаик, лауреат международной литературной премии «Лотос», пишет на бенгальском языке. Первые сборники его стихов вышли в 40-х годах: «Пешеход», «Чиркут», «Юго-восток». Затем последовали книги «Где бы я ни был» (1962, премия Литературной академии Индии 1968 г.), «Люди добрые!» (1970), «Дети ушли в лес» (1972), «Торопитесь, друзья» (1979) и др. В русском переводе стихи Ш. Мукхопаддхайя печатались с конца 50-х годов, подборка стихов публиковалась в «Иностранной литературе» (1973, № 3). На русский язык переведен также роман «Голодовка» (М., 1977), повесть «Куда ведут дороги...» («ИЛ», 1980, № 11). Повесть «Мыс, или Болезнь Гансена» вышла в Калькутте в издательстве «Ананда паблишерс» в 1983 г.

УИЛЬЯМ КАРЛОС УИЛЬЯМС — WILLIAM CARLOS WILLIAMS (1883—1963). Американский поэт, прозаик, эссеист. Автор многих поэтических сборников. Его первая книга «Стихи» («Poems») появилась в 1909 г. Последний прижизненный сборник «Картины из Брейгеля» («Pictures from Breughel»)

вышел в 1962 г. В 1946—1958 годах им написаны пять книг поэмы «Патерсон» («Paterson»). Перу Уильямса принадлежат также книга эссе «На американской почве» («In the American Grain», 1925), романы «Белый мул» («White Mule», 1937), «При деньгах» («In the Money», 1940), «Подготовка» («The Build-Up», 1952), образующие трилогию, сборники рассказов, пьесы и другие произведения.

Творчество поэта отмечалось многими литературными премиями, в том числе Национальной книжной премией.

Публикуемые стихи взяты из книги «Избранные стихи» («Selected Poems». New York, New Directions Publishing Corporation, 1968).

СИДОРИНА НАТАЛЬЯ КИРИЛЛОВНА

Советская поэтесса и переводчица с английского. В ее переводе публиковались стихи Р. Лоуэлла, С. Ортиса (США), Ш. Хини (Ирландия), валлийских поэтов Джилиан Кларк, П. Финча и др.

ГУЛЫГА АРСЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1921 г.)

Советский философ и критик, доктор философских наук, профессор. Автор многих работ по эстетике, истории философии, литературе и искусству, в том числе книг: «История немецкого материализма» (1962), «Гердер» (1963, 1975—2-е изд.), «Гегель» (1970), «Эстетика истории» (1974), «Кант» (1977, 1981—2-е изд.), «Искусство в век науки» (1978), «Искусство истории» (1980), «Шеллинг» (1982).

РОБЕР АНДРЕ — ROBERT ANDRÉ (род. в 1921 г.)

Французский писатель, критик; доктор филологических наук, профессор, президент Международной ассоциации литературных критиков (МАЛК). Автор более десяти романов, работ о Бальзаке, Стендале, Достоевском.

В русском переводе опубликованы его повести «Взгляд египтянки» («ИЛ», 1977, № 1), «Дитя-зеркало» («ИЛ», 1981, № 6).

Статья «Дельфы, или Критика сегодня» получена редакцией в рукописи.

ШРАЙБЕР ЭЛЕОНОРА ЛАЗАРЕВНА

Советский литературовед, критик, переводчик. Кандидат филологических наук. Автор книги «Жорж Сименон. Жизнь и творчество» (1977, 1983), многих статей и предисловий. В ее переводе печатались романы и интервью писателя в сборниках и журналах, в том числе в «Иностранной литературе».

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5.
Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., . телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных де
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в

Сдано в набор 2.12.83. Подписано в печать .84. А. 03310. Формат 70×108 1/16
Печать высокая 16 п. л. (22,4), усл.

Тираж 377 000 Зак. 4077

Отпечатано с матриц ордена Трудового Красного Знамени Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская пл., 5. в типографии ордена Ленина комбината печати издательства «Радянська Україна» Киев-47. Брест-Литовский проспект, 94.
Тираж 377 000 экз. Зак. 06508.

ВАН БИНЬ. Бамбук и бананы.

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394